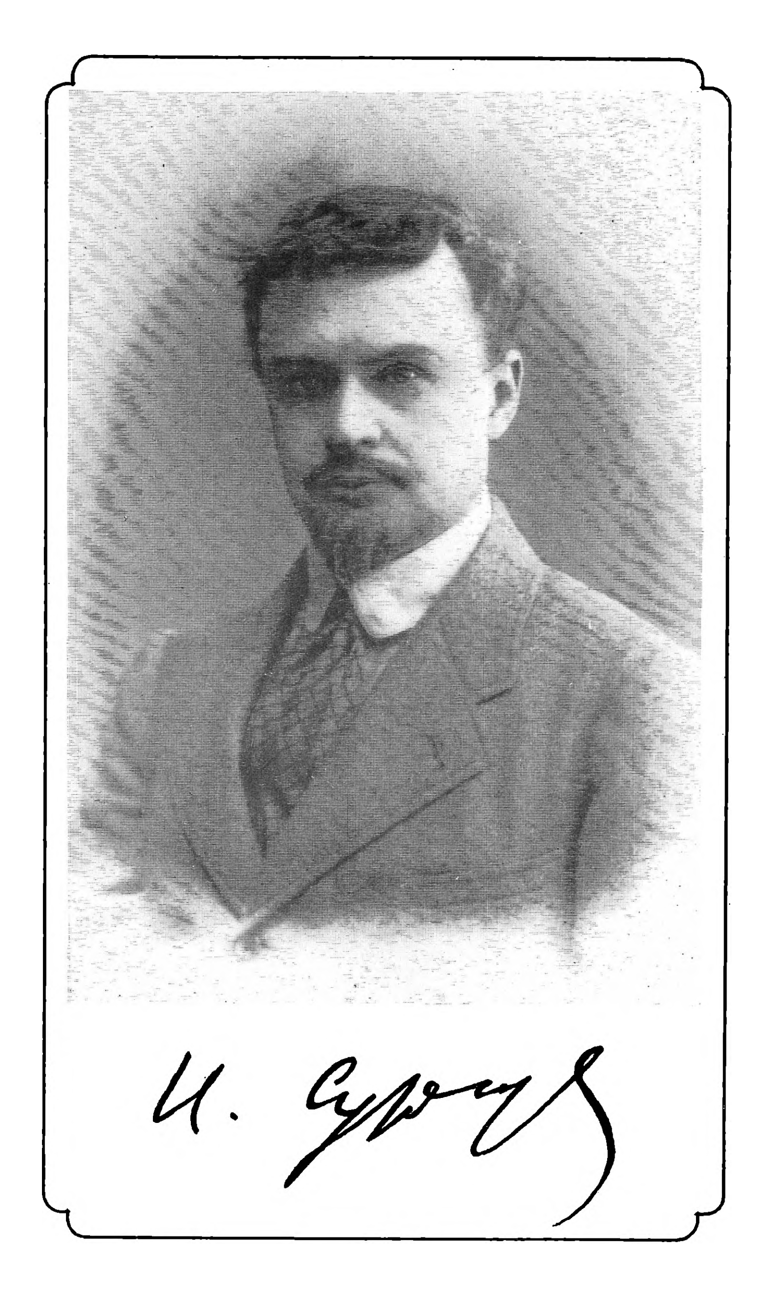

И. Д. СУРГУЧЕВ
И. Д.
СУРГУЧЕВ

Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи».
(Ленин В. И. О литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699)



ИЗ НАСЛЕДИЯ

И. Д.
СУРГУЧЕВ

ГУБЕРНАТОР

Повесть, рассказы

МОСКВА
«Современник» 1987

Р1
С90

Составление
Т. Н. Ильинской
Вступительная статья
А. М. Кузнецова

С $\frac{4702010100-319}{М106(03)-87}$ 19—87

«Сургучев обещает немало»

«У Сургучева... язык необыкновенно яркий, красочный, образный, оригинальный и притом такой, которому веришь; чувствуешь, что он не придуман в какой-нибудь литературной канцелярии, а автор либо сам с молоком матери его всосал, либо талантливо подслушал где-то далеко, среди векового простора подлинной России...»

«Мягкое и трогательное «чеховское» настроение проникает его творчество с начала и до конца и окутывает его облаком тихой грусти о страдающем человечестве, все еще не разгадавшем загадку счастья...».

«Автор знает то, о чем пишет, и там, где пишет не мудрствуя лукаво, его рассказ сочен и крепок...»

Цитаты, близкие приведенным, можно было бы продолжать долго. В них — оценка творчества русского писателя И. Д. Сургучева критикой 1910-х годов. Оценка, как видим, доброжелательная, можно сказать даже — высокая. Иных оценок творчества Сургучева, если внимательно перелистать газеты и журналы той поры, мы и не встретим (за исключением суждений «близоруких» критиков, суждений, неизбежных в литературном процессе).

Большевистская «Правда» 26 января 1914 года (тогда она называлась «Путь правды») поставила Сургучева в ряд с лучшими писателями современности: «М. Горький, гр. А. Толстой, И. Бунин... Сургучев и др. рисуют в своих произведениях не «сказочные дали»...— а подлинную русскую жизнь со всеми ее ужасами, повседневной обыденщиной».

«Сургучев обещает немало»,— скажет в эти же годы Максим Горький, и его суждение прозвучит в унисон общему мнению.

Почему же писатель, о котором так искренне и непредвзято высказывались лучшие критики, остается неизвестным нашему широкому читателю? Лишь от специалистов — историков русской дореволюционной литературы — можно услышать: да, был такой «знаньевец», которого горячо поддерживал Горький... Да, Сургучев был отмечен немалым дарованием... Выходило собрание сочинений... И пьесы Сургучева ставились с немалым успехом... Однако И. Д. Сургучев практически выпал из истории русской литературы — факт очевидный. Настолько же очевидный, насколько требующий пересмотра.

Если открыть академические истории нашей литературы или же однотомные курсы русской литературы, о Сургучеве мы найдем немного слов (если вообще найдем!). Не о «ярком», «оригинальном» прозаике и драматурге, «обещавшем немало», прочитаем мы там, а о «бытописателе», да к тому же — «темных углов». Оценки, мягко говоря, произвольные. В этом легко убедится каждый, кто откроет настоящий том.

Виновником выпадения из истории родной литературы, из памяти читателя — а что может быть страшнее такой судьбы?! — к сожалению, оказался сам И. Д. Сургучев. Покинувший родину в 1919 году и примкнувший на некоторое время по идейной и политической незрелости к кругам, враждебно настроенным к Советской власти, впоследствии разочаровавшийся в тех, кто втянул его в недостойную истинного патриота политическую игру, Илья Дмитриевич Сургучев стал литературным отщепенцем. Драматична судьба художника, прожившего долгую жизнь, лишь небольшой отрезок которой, 1910-е годы, оставил след в отечественной культуре!.. Драматична и поучительна.

И. Д. Сургучев родился 15 (27 по новому стилю) февраля 1881 года в Ставрополе, в городе, с которым связана почти вся его жизнь до эмиграции и который, кстати сказать, первым вернул имя своего земляка из забвения[1].

Сын крестьянина, переселившегося в город, Илья Сургучев с детских лет тянулся к знаниям и потому, закончив гимназию, при первой возможности поспешил уехать в Петербург. Поступил в университет, выбрав редкую специализацию — китайский язык. Окончил в 1907 году восточный факультет, но почти сразу забросил занятия китайским языком, отдавшись литературной работе (впрочем, интерес к литературе и философии Востока сохранил надолго).

Писать Сургучев стал еще будучи студентом и тогда же напечатал свои первые рассказы. Публиковались они в ставропольской газете «Северный Кавказ» и в петербургском «Журнале для всех». А после революции 1905 года молодой литератор попал в среду писателей, группировавшихся вокруг сравнительно недавно возникшего книгоиздательского товарищества «Знание». Держался Сургучев несколько особняком, не сближаясь ни с кем, избегая тесного общения даже с известными писателями (эту замкнутость сохранил он и в эмигрантский период, отделив себя от любых «коалиций»). Переезд в 1907 году, после женитьбы, в Ставрополь вовсе вывел его за пределы непосредственно литературной среды, хотя, печатаясь в сборниках «Знание», он сохранял с ней связь, переписывался с Горьким, Л. Андреевым, изредка с Буниным.

[1] К 100-летию со дня рождения И. Д. Сургучева Ставропольское книжное издательство выпустило повесть «Губернатор».

История товарищества «Знание», его роль в литературно-общественном движении начала века сегодня хорошо изучена. То, что Сургучев весьма активно сотрудничал с товариществом, подчеркивает демократические тенденции его творчества, созвучного творчеству коренных «знаньевцев», в большинстве старших по возрасту.

Товарищество возникло в 1898 году по инициативе либерального Комитета грамотности и первоначально преследовало просветительские цели. В 1900 году в него вступил Горький. С его приходом товарищество изменило характер, ибо Горький — теперь один из идейных руководителей издательства — реорганизовал его, наладив выпуск художественной литературы, адресованной массовому читателю. Товарищество давало широкую возможность печататься писателям — представителям так называемого «нового реализма», как на первых порах критика окрестила творчество самого Горького, а также Скитальца, А. Куприна, В. Вересаева, Л. Андреева, И. Бунина, Н. Гарина-Михайловского и других литераторов демократического лагеря. Сам факт возникновения подобного, нового для России типа издательства был вызван, в первую очередь, ширившимся распространением в стране социалистических идей, резкой активизацией общественной жизни.

Горький же стал инициатором издания сборников «Знание» (№ 1 вышел в 1904 году), знакомивших публику с новинками, в которых отразились общественные настроения эпохи Первой русской революции, а затем — и наступившего за ней периода реакции. В сборниках «Знание» нашел яркое отражение революционный подъем в стране, протест против царской политики контрреволюционного террора, подавления общественных свобод. Сборники были чрезвычайно популярны как среди читателей, так и в писательских кругах. Кроме тех, кто назван выше, в них печатали свои произведения Н. Телешов, С. Гусев-Оренбургский, Е. Чириков, А. Найденов и ряд других писателей, входивших прежде в литературный кружок «Среда». Публиковались неизданные рассказы Чехова. Постоянно сотрудничал в сборниках и сам Горький, который в первом номере опубликовал поэму-манифест «Человек».

Как видим, сборник, созданный Горьким, собрал под одной обложкой имена, сегодня неотделимые от истории отечественной культуры. В. И. Ленин, знакомясь со сборниками «Знание», отметил, что это были издания, «стремившиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы»[1]. А. Серафимович, один из «знаньевцев», вспоминал впоследствии: «Горьковские сборники имели громадное значение. Они стали выходить, когда революционные настроения закипали все больше и больше. Сборники «Знание» помогали подыматься этим настроениям».

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 48, с. 3.

Горький, чутко встречавший молодых писателей, привлекал их к сотрудничеству в «знаньевских» выпусках. Привлек он и Сургучева. В письмах начала 1910 года к М. Коцюбинскому и В. Миролюбову (одному из ведущих сотрудников издательства «Знание» с 1911 года) он писал, что у Сургучева «хорошие задатки» и — «большой он поэт...» (самому Сургучеву Горький писал радостно-подбадривающие письма, на которые молодой литератор отвечал длинными, содержательными посланиями). А. М. Горький советовал Е. П. Пешковой прежде всего читать Бунина и Сургучева, ставя их выше многих писателей-современников.

Рассказы молодого Сургучева печатались в сборниках «Знание», соседствуя с реалистическими, нередко острыми и смелыми произведениями опытных «знаньевцев». В 1912 году в 39-м номере была опубликована повесть «Губернатор», с одобрением встреченная Горьким (как и большей частью критиков). Еще до публикации ее Горький проявил живейшее участие в работе Сургучева над книгой, обсуждал и сюжет ее, и эпизоды, что нашло отражение в их переписке, ныне частично опубликованной. С симпатией отнесся к Сургучеву и Бунин, к тому времени уже прославленный писатель.

В 1907 году Сургучев, как сказано, вернулся в Ставрополь, и наезды в Петербург и Москву стали эпизодическими, связанными с издательскими делами, позднее — с постановками пьес. Живя в Ставрополе, преодолевая замкнутость, писатель старался найти приложение своим творческим силам. Сплачивая местных литераторов, добился издания альманаха, регулярно печатал очерки на общественные темы в газете «Северный Кавказ», следил за новостями русской литературы и жизни страны в целом. В переписке с Горьким эти стороны жизни молодого ставропольского писателя раскрываются очень ярко.

Ставрополь в те годы был развивающимся промышленным центром на пересечении крупных торговых путей. Город, несмотря на все признаки провинциальной затхлости, имел «свое лицо», быть может благодаря очень пестрому этническому составу жителей; бился в нем и «пульс» политической жизни — город гордился тем, что в Государственной думе постоянно заседали несколько его депутатов — представителей Северокавказского края, причем голос их был не последним при решении серьезных государственных вопросов; городские власти стремились «идти в ногу с прогрессом», поэтому столица края интенсивно застраивалась промышленными и торговыми предприятиями.

Наблюдательному писателю, каким был Сургучев, Ставрополь дал основное — богатый художественный материал. А «Губернатор» стал своего рода летописью, пусть краткой, но исчерпывающей летописью жизни южного города. Писатель не указывал места действия повести (как и рассказов), но современники, следившие за жизнью страны, всех ее уголков,

по многочисленным периодическим изданиям той поры, узнавали и прототипы и реальные события.

События, происходившие в Ставрополе, были те же, от которых сотрясалась Россия: стачки, бомбометания, ответная жестокость полиции. В «Губернаторе» поэтому нетрудно обнаружить сходство с многими книгами, предшествовавшими ему, прежде всего с романом Горького «Мать» (1906), с его же повестями «Городок Окуров» (1909) и «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910—1911), с произведениями Л. Андреева, А. Куприна, но особенно с теми, в которых авторы пристально всматривались в мелочи провинциальной жизни, тщательно прорисовывая их, охватывая все, что относилось к условиям существования «обыкновенного российского провинциала». Повесть поэтому близка, например, также незаслуженно забытым сегодня, а в свое время очень популярным (еще и в двадцатые годы) повестям Н. Н. Русова... Но подчеркну сразу же, что Сургучев при всей его любви к деталям никогда не замыкался в камерном бытописательстве (что присуще талантливому Русову), неизменно ставя перед собой более масштабные художественные задачи.

Первые же рассказы Сургучева свидетельствовали, что в русскую литературу пришел самобытный талант. Их сравнивали с рассказами Чехова, что было справедливо: Сургучева тоже интересует жизнь простых людей, внешне незаметная, в недрах которой, однако, происходят события, исполненные высокого смысла. Сургучеву важно понять внутренний мир человека, заглянуть в него как можно глубже, до самого «сокровенного».

Читая Сургучева, действительно вспоминаешь мир чеховской прозы, построенный целиком на душевной жизни с ее тревогами, надеждами, эмоциональными и интеллектуальными движениями, влияющими на образ мыслей героев, на их «социальное поведение».

Герои Сургучева, впитывая все, что несет с собой действительность, бурные события, перетряхивающие привычный уклад, воспринимая новое болезненно остро, вместе с тем сохраняют поражающую невозмутимость духа, не утрачивают какой-то особой, «корневой» своей закалки. Вот отчего рассказы Сургучева (при всем их драматизме) оставляют ощущение оптимизма, даже радости, ощущение внутренней просветленности, духовного здоровья. Этими свойствами они отличаются от сочинений многих современников Сургучева, в этом их *особое значение...*

И даже если встречаются у Сургучева персонажи изломанные, внутренне растерянные, живущие как бы «настороженно» — подобные тем, каких мы встречаем и у Горького, и у Андреева, и у Телешова, и у Сергеева-Ценского, то, при всех их странностях (как у героев повести «Губернатор» или рассказов «Седельников», «Горе»), мы все время ощущаем их духовное ядро, помогающее им стойко противостоять болезнен-

ным ударам жизни. Сургучев постоянно *сострадает* своим героям и делает это потому, что ему удалось разгадать, уловить их душевную основу, природу их стойкости.

Быть может, стоит все же пояснить, откуда берут силы герои Сургучева для своих «тайных подвигов» и что является ядром их души. Это — убежденность в том, что жизнь, их собственная, как и вообще жизнь, всегда освещена смыслом, освещена в любой миг,— «несмотря ни на что». Смысл этот они находят прежде всего в вечных ценностях — красоте, любви.

Красноречиво авторская позиция раскрывается в рассказе «Седельников». Интересен ли его главный герой, симпатичен ли? Нет. Что может быть привлекательного в озлобившемся на весь мир человеке? Потеряв ногу в русско-японской войне, Седельников утратил всякое расположение к другим. Но что же происходит? Седельников садится в поезд... Вместе с ним в купе находится пара, вызывающая у него приступ злобы. Стоило лишь прелестной чете выйти из купе, как наш герой обнаруживает оставленный женщиной букет белых роз, подаренных ей. Седельников «наклоняет к ним лицо и чувствует, как струится из них аромат, белый, чуть ощутимый аромат: дыхание полюбившей. И ясно: ни роз своих она не забудет. Ни слов своих она не забудет. Ни слез своих она не забудет». Седельников обрывает лепестки и кладет их в записную книжку между страниц, заполненных подсчетами долгов, рецептами и прочими ничтожными записями. Он укладывает лепестки, и вдруг, как озарение, его наполняет какое-то счастливое состояние и понимание того, что вокруг «все ласковые люди». «Как хорошо!» — этим возгласом заканчивается новелла о возрожденной душе.

«Как хорошо!» — эти слова, похожие на девиз, можно «расслышать» и в других рассказах Сургучева. И в этой неброской реплике можно уловить ту же чеховскую интонацию примирения с жизнью, «какой бы она ни была».

Сургучев писал в эпоху сложную, подверженную колебаниям общественных настроений, прямо влиявших и на эстетику творчества. В литературе, заполнявшей книжный рынок, сплошь и рядом звучали мотивы безысходности бытия, бессилия человеческой личности перед лицом взметнувшихся социальных бурь. Андрей Белый, писатель выдающийся и очень наблюдательный, искренне признавался: «Еще недавно мы были на прочном основании. Теперь сама земля стала прозрачна. Мы идем как бы на скользком прозрачном стекле, из-под стекла следит за нами вечная пропасть. И вот нам кажется, что мы идем по воздуху. Страшно на этом воздушном пути. Можно ли говорить теперь о пределах реализма?.. Ныне реалисты, изображая действительность, символичны: там, где прежде все кончалось, все стало прозрачным, сквозным».

В ситуации, описанной Белым, крайне важна была четкость позиции писателя. Таких писателей, не растерявшихся, сохранивших нравственную твердость, было не так много. К тем, кто не испугался «вечной пропасти», следует отнести и Сургучева, не отступившего ни от демократических идеалов, ни от реализма в изображении действительности.

Чувство «прозрачности» жизни, на которое указывает А. Белый, то есть трагедия ее, переживалось писателями-реалистами и философски. В суть происходящих событий они проникали как мыслители, как моралисты. Еще недавно Чехов показал это на примере своего творчества. Хотя он и далек был от морализаторства, от прямой тенденциозности, но герои его так или иначе всегда устремлены к поиску смысла жизни. Творчество Льва Толстого также коснулось серьезнейших проблем. И очевидно, что уроки Толстого не прошли мимо Сургучева, как не прошли они для любого честного писателя той поры. Вспомним написанные в те же годы, полные нравственного пафоса повести и рассказы А. Толстого, Куприна, Вересаева, Серафимовича.

Горький, откликаясь на смерть Толстого, писал Е. П. Пешковой: «С ним исчезает старый паладин правды, уходят аристократические традиции литературы — и как раз тогда, когда необходимо их возрождение, необходима строгость мысли и образа, воздержанность и скромность языка... Его слово должно было как-то действовать на совесть людей, отвлекало их от будничного и низкого — к настоящим, коренным и чистым заветам литературы. Уходит судья».

Возвышенность толстовского слова, нравственная проповедь писателя нашла резонанс и в книгах Сургучева, также с болью пережившего кончину апостола русской литературы. Если Чехов привил ему, как писателю, психологизм, правдивость во всех «мелочах», то Лев Толстой обратил интерес писателя к насущным вопросам жизни, к нравственным проблемам. Толстой как бы привил ему иммунитет против бытописательства как самоцели, против эстетства, черт, к которым были склонны писатели-декаденты.

В повести Сургучева «Губернатор», центральном произведении писателя, уже сам строй фразы выдает прямое воздействие на него поздней прозы Толстого:

«Сделалось (губернатору.— *А. К.*) ясно, что нужно бы как-нибудь загладить это далекое прошлое, когда за службой, как за высокой стеной, не было видно жизни, когда совсем не думалось о смерти, когда важным и значительным обстоятельством считалось печатное предписание из министерства... Стало ясно, что перед смертью нужно исправить все зло, которое он сделал на земле».

Разве не слышатся в этих строках интонации автора «Анны Карениной» и «Смерти Ивана Ильича»? Голос морализующий, голос строгого

судьи. Сургучев, разделяя духовный поиск великого писателя, ставил те же темы нравственного перерождения личности, ее освобождения.

Давая характеристику губернатору, переосмысливающему свою жизнь, Сургучев почти цитирует Толстого (вспомним рассуждения о Нехлюдове в конце романа «Воскресение»): «Все ясней и ясней становилось, что в своей длинной губернаторской жизни он далеко отбросил от себя то высокое и истинное, чем бог благословляет человека. Теперь понемногу рассеивается липкий и густой туман, который он принимал за воздух, и стало ясно, что не было в его жизни горячего солнца, яркого света» И так далее на многих страницах...

История губернатора, которую воссоздал Сургучев, это обобщенная история социального банкротства правящего слоя (у губернатора в повести даже нет имени!), но одновременно — история морального крушения человека, крушения, за которым следует попытка исправить зло, свершенное за долгий период фальшивой жизни. Зло было и прямым — убийство крестьянина Волчка, порка крестьян, приказ расстрелять толпу, создание беспрецедентно жестокой и по тем временам полицейской машины, где особенно «отличался» садист-городовой Пыпов, и «косвенным» — пренебрежение нуждами близких, равнодушие к собственной жене и проч. и проч.

Когда приходит прозрение, губернатор решает исправить все прежнее зло самыми неожиданными поступками: например, попыткой выпустить заключенных из тюрьмы. Затея, естественно, оказалась невыполнимой — на подобные распоряжения губернатора сначала смотрят как на старческую причуду, затем — как на сумасшествие.

В бюрократическом механизме губернатор не может изменить положение ни единого рычага. Как «выжившего из ума» его отстраняют от исполнения своих обязанностей. Покинутый всеми, он в конце концов теряет и горячо любимую, хотя и не родную, дочь — она погибает от тайных родов. Не выдержав всех ударов, губернатор умирает.

Заканчивается повесть на светлой ноте (поразительны сцены видений губернатора на смертном одре!): борьба со злом принимала у губернатора нелепые, порой комичные формы, внешне он так ничего и не смог изменить ни в своем, ни в чужом существовании, но те моменты внутреннего совершенствования, которые он пережил, стали высшими достижениями его жизни.

Оправдывает ли Сургучев все злые деяния губернатора его запоздалым раскаянием? Разумеется, нет. Но этот последний его шаг, шаг к целенаправленному добру, считает автор, очень важен, ибо он уменьшает — хотя бы на незаметный градус — царящую в мире несправедливость.

Если проследить за поступками губернатора после перерождения, то

станет ясно, что он избегает таких действий, которые можно было бы назвать «недобродетельными», он вообще «пассивен», но не столько от того, что смертельно болен, сколько от того, что не желает делать зло. В этом «недеянии» губернатора много сходного с толстовским «освобождением» от гнета общества (в данном случае «испорченного общества»). Весь образ жизни губернатора совпадает с тем, что проповедовал в конце жизни Толстой-моралист.

Интересно, что Горький, обсуждая в письмах отдельные эпизоды повести, прямо направлял писателя к «высокому» — общечеловеческому, нравственному, предостерегал от слепого копирования реальных событий. «Милый Илья Дмитриевич!.. Чего боюсь? — писал Горький 10 января 1912 года.— А того, чтобы Ваша история с действительным губернатором не отразилась на губернаторе Вашей повести, чтобы нищая и уродливая *правда нашего момента жизни* не нарушила высокой правды искусства, жизнь которого длительнее нашей личной жизни, правда важнее жалкой правды нашего сегодня».

С пристальным вниманием относясь к литературной деятельности Сургучева, Горький старался также своевременной и порой нелицеприятной критикой всячески способствовать идейному и творческому росту его дарования, подчеркивая всякий раз, что единственно правильный путь, по которому молодому писателю следует идти,— демократический. «Я знаю Вас литератором, человеком несомненного и, мне кажется, крупного дарования — это мне дорого, близко, понятно; я хочу видеть Вас растущим и цветущим в этой области; каждое Ваше литературное начинание возбуждает у меня тот же острый органический интерес, какой, вероятно, чувствует девица к своей беременной подруге. Не смейтесь сравнению: истинный литератор пред каждой новой темой — девственник».

Однако столь же пристальное внимание великий писатель уделял и попыткам Сургучева делать шаги в общественно-политической деятельности. В письме от 26 января 1912 года, в ответ на сообщение о попытке «выступить с кандидатурою в Гос. Думу», Горький прямо пишет: «...мне думается, что преобладающим Вашим свойством является созерцание, а не деяние. Я не знаю также объема Ваших политико-экономических сведений и не могу поэтому судить о степени подготовленности Вашей к политической работе... Говоря безотносительно, я скажу более определенно: литератор, если он чувствует себя таковым,— должен оставаться литератором: у нас на Руси это самый ответственный и трудный пост». Год спустя, ознакомившись с недопустимо разухабистым письмом Сургучева в журнале «Кругозор», Горький строго, но по-дружески советует ему беречь свое доброе литературное и человеческое имя: «...тон письма Вашего убийственно нелитературен, точно вы, сидя в халате после бани и выпивки, рассуждаете... Вы странно смешали журнал с предбанником, чего не надо

было делать... Вы вероятно рассердитесь и, может быть, закричите мне, какое право имею я учить Вас? Право сказать молодому литератору, что он не понимает куда пришел и как надобно себя вести в этом месте,— мне дано двадцатью с лишним годами работы моей в русской литературе. Это — неоспоримое право. У Вас его, пока, нет. И Вы, пожалуй, вовсе никогда не приобретете его, если будете вращаться среди Ясинских, Сологубов и прочих артистов для кинематографа и уличных забавников, не достойных стоять рядом с Вами, человеком талантливым и, как показалось мне, относящимся к литературе с тем священным трепетом, которого она — святое и чистое дело — необходимо требует...

Дорогой Илья Дмитриевич! Ведите себя поскромнее, потише, стойте подальше от авантюристов и пьяниц, это для Вас — для Вашего таланта — гораздо лучше...»

Призывы Горького оставаться литератором, не нарушать высокой правды искусства, служить литературе со священным трепетом были созвучны тому, что переживали в те сложные в нравственном и политическом отношении годы лучшие представители художественной интеллигенции. Блок, в частности, писал: «Несчастен тот, кто не обладает фантазией, тот, кто все происходящее воспринимает однобоко, вяло, безысходно; жизнь заключается в постоянном качании маятника; пусть наше время бросает и треплет этот маятник с каким угодно широким размахом, пускай мы впадаем иногда в самое мрачное отчаяние, только пускай качается маятник, пусть он даст нам взлететь иногда из бездны отчаяния на вершину радости».

В «Губернаторе» качание маятника, о котором пишет Блок, представлено в его высшей точке — в той радости нравственного возрождения, которую пережил герой. Эта нота «радости» в блоковском смысле, следование «высокой правде» искусства, как и острая обличительность, делают повесть Сургучева одним из лучших произведений русской прозы предоктябрьского периода.

Надо сказать, что «Губернатор», бесспорно этапное для Сургучева произведение, все же оказалось единственным, в котором «тенденциозность» и прямое морализаторство выступают обнаженно. В рассказах Сургучев менее дидактичен, «диалектика души» раскрывается им тоньше, без всякой заданности, в какой-то степени он даже становится оппонентом Толстого.

Вникнем в рассказ «Счастье». Толстовскую мораль Сургучев вкладывает здесь в уста портного Петухина — «правдоискателя», повидавшего в жизни «невеселые, горькие виды». Петухин резко осуждает нынешнее «устройство жизни»: «С одной стороны люди поразительно умны: они додумываются до железных дорог, телефонов, будильников...— все хорошо делают для тела; а для души, которая есть самое главное, от чего зависит

счастье, они сочинили законы, которых вот уже две тысячи лет не хотят переменить, которые и жестоки, и несправедливы, которые жизнь делают адом. И все это похоже, думал Петухин, будто люди придумали обувь: легкую, красивую, прочную, а саму дорогу, по которой идут, не хотят исправить...»

Уже в этой сентенции толстовская мысль о неумении людей распознать главное в жизни звучит почти пародийно, ведь автор вложил ее в уста человека, который повсюду выискивает несправедливость, но «исправляет» ее на свой лад — со злостью, бессердечно. Человек, вырвавшийся из пут несправедливости с помощью Петухина, в конце концов попадает в новые путы, еще более страшные. Так и случилось с Таней, которую Петухин вырывает из ада жизни с нелюбимым мужем. Один ад оборачивается другим, к которому Петухин, как он сам заявляет, не хочет больше иметь «касательства». Критика толстовской морали сводится в рассказе к важной мысли, которую Сургучев повторит в других своих вещах: человеку невозможно навязать следование законам «добродетельной» жизни, он может ее, эту жизнь, лишь выстрадать, пройдя сквозь трагические испытания, познав себя, поняв окружающих.

В такой позиции автора еще раз проявилась классическая традиция мировой литературы, смысл которой хорошо передают слова великого английского гуманиста Ч. Диккенса (цитирую именно его, чтобы подчеркнуть общечеловечность позиции русского писателя):

«В жизни есть тайная борьба и тихая, никому не ведомая победа в глубине человеческих сердец. В жизни, при всех ее противоречиях и изменчивости, все же встречаются геройские подвиги самоотвержения, совершить которые тем труднее, что они происходят без свидетелей и не заносятся ни в какие летописи. Это мы видим всякий день при самой серой, будничной обстановке. Одного подобного подвига достаточно, чтобы примирить с жизнью самого черствого человека, наполнив душу его верой и надеждой...»

Эти «тайные подвиги» и совершают герои Сургучева, и всякий раз подвиг этот завершается непреходящей победой в их сердцах, а значит, и в мире, который от таких побед становится добрее.

В том же рассказе «Счастье» есть второстепенный персонаж — церковный сторож, «лохматый, с длинной седой бородой и густыми, нависшими над глазами бровями». Очевидно, что его Сургучев противопоставляет «правдолюбцу» Петухину. Он почти бездействует, изредка возникая как бессловесный театральный персонаж, но каждое его появление запоминается. Он не забывается и тогда, когда закроешь рассказ. Именно от того, что он никого не поучает, но — и это мы остро чувствуем — он тот человек, который устремлен к реальному поиску смысла жизни, который и может совершить в глубине души «тайный подвиг», подвиг понимания

жизни. Вот как рисует старика Сургучев: глаза его «почти не моргая смотрели в середину церкви и видели, казалось, только массу свечей, и только эта масса, масса огня, жившего какой-то особенною, своею жизнью, привлекала его внимание и живыми пятнами скользила у него по лицу. А остального — народа, икон, священника — словно и не существовало... Думал он, думал упорно, настойчиво...»

Таких людей, «упорно, настойчиво» думающих о главных вопросах жизни, немало у Сургучева. Разве губернатор (при всей заданности авторской позиции) не из той же породы?.. А в прекрасном рассказе «Еленучча», «красавец русский», в которого влюблена Еленучча, тоже упорно думает о чем-то своем, никому не ведомом, и читатель, конечно, останется убежденным, что и его мучит та же «главная мысль», которая вставала перед людьми горьковского и блоковского поколения.

Страстная мысль или страстное чувство настолько порой захватывают героев Сургучева, что перед ними как бы отступает все прочее, устоявшееся: и привычный «здравый смысл», и освященные веками нормы. В рассказе «Горе» спивающийся после смерти любимой жены псаломщик Илья совершает святотатство — в оклад иконы вставил фотографию умершей. Вдумываясь в этот житейский эпизод, описанный с глубоким пониманием трагедии псаломщика, видишь, что и здесь проглядывает та же любимая мысль Сургучева — о душевной жизни как мериле смысла ее.

Правые, на первый взгляд, служители церкви, разгневанные на кощунствующего Илью, оказываются по сути не правыми. И не оттого, что не разделяют горя товарища,— нет, они даже сочувствуют Илье,— они не правы в том, что легко судят поступок человека, чувства которого достигли степени боготворения другого человека. Для псаломщика Ильи любовь к жене — поистине Любовь, и писатель передал это чувство с проникновенностью необычайной.

Итак, «диалектика души» для Сургучева — это поиск смысла жизни, поиск, сопряженный с переживанием самых высоких мыслей и чувств. Автор не спешит дать своим героям раскрыться, хотя на душе у них накопилось много невысказанного. Писатель как бы боится, что высказанное может стать истиной в последней инстанции,— как перед другими героями, так и перед читателем. В таком подходе к персонажам Сургучев занимал кардинально иную позицию, чем, скажем, Горький или Бунин по отношению к их героям. У Горького они охотно говорят о других, часто философствуют. Нельзя отказать основоположнику литературы социалистического реализма в силе, меткости и жизненной правде этих высказываний. Реализм Горького исчерпывающ в отражении как правды жизни, так и полноты человеческих характеров. Но герои Горького — что называется «монологисты», они слышат прежде всего себя, (что, собственно, тоже не расходится с «правдой жизни»). Потому, несмотря на правдивость их слов,

сами они часто циники. «Правдоискатель» Губин, из рассказа «Губин», на которого похож сургучевский Петухин, разбрасывает сплошь и рядом такие сентенции: «Я, брат, людям доброжелатель... ежели я вижу где промежду них злобу или лживость какую — я всегда обязан это вскрыть — наголо! Людей надобно учить: живите правдой, дряни...»

В словах Губина — цинизм «высшей пробы». Это монолог «доброго человека», душа которого наглухо закрыта для других. Горький как бы не щадит своих героев, заставляя их высказывать «свою» правду так, будто других правд не существует, и они делают это напористо, вызывающе. Вспомним, хотя бы монологи (такие блестящие!) героев пьесы «На дне»: Барон, Сатин, Лука — все, все они говорят рассчитанные на других слова, но говорят... не слыша, не замечая этих других...

Герои Сургучева такой безаппеляционности избегают. Они «задумчивее», что ли, смотрят внутрь себя, но слышат там, в душе, и себя, и окружающих. Они никому не навязывают своей точки зрения, скорее примеривают ее к чужой, допуская, что и она может оказаться *равной их собственной.*

Именно эта, «диалогическая» позиция во взгляде на человеческую личность, близкая Чехову, рождает множество разнообразных, живых интонаций в рассказах Сургучева, отсюда и согретость их внутренним теплом, их оптимизм. Эта теплота, разлитая в произведениях Сургучева, резко отличает их и от бунинских вещей.

Об эстетической созерцательности, внутренней холодности манеры Бунина-прозаика писала критика и предреволюционной поры, и наших дней. Редко кто в нашей литературе может сравниться с Буниным по широте охвата жизни. Не может сравниться с ним и Сургучев. Но, думаю, «диалектику души» Сургучев познал в чем-то глубже, чем Бунин. Холодок блестящих бунинских описаний природы проник и в его описание жизни души. Рассказы Сургучева мерцают многими оттенками в передаче душевных движений, новеллы Бунина часто демонстрируют характеры статичные, однотонные.

Сопоставляя художнические манеры Сургучева и Горького, Сургучева и Бунина, манеры такие разные, я делаю упор лишь на их отличие, а не на какие-то «слабости». Перед нами, естественно, большие художники, каждый со своим мироощущением, своим взглядом на человека.

Несколько слов о языке Сургучева. Критика, как мы обратили внимание, единодушно отмечала естественность, красочность и образность сургучевской фразы. Но она не только точна и образна, приближаясь к бунинской (хотя автора «Деревни» и «Темных аллей» трудно превзойти в красоте слога), она и по-своему очаровательна. Можно сказать, что это ароматный язык, потому что с помощью языка Сургучев умеет не только создать пластичный образ, но и одушевить его, тесно сблизить со всем тем,

что находится рядом. Взаимосвязь всего сущего, полифония, пронизывающая жизнь,— эта еще одна дорогая для Сургучева мысль находит отражение и в пейзаже. Один из примеров (из повести «Губернатор»): «Вагоны двинулись необыкновенно мягко: было такое ощущение, будто бы поплыла земля. Когда усилился ход, внизу стало что-то мягко, как через плотную резину постукивать. Пронеслись белые крыши маленьких пригородных домов, какие-то белые полянки, вывеска чугунолитейного завода на двух высоких столбах. Кладбище было прекрасно: оно лежало на горе, и казалось, что кресты выросли на снегу, как знаки отошедших жизней». Настоящее, прошлое, будущее (кладбище в описании — это намек на близкую трагическую кончину дочери губернатора) — все здесь переплетено в один нерасчленимый пласт бытия.

Сургучев был автором нескольких пьес, ставившихся на русской сцене (а позднее за рубежом). Первая из них, «Торговый дом», в 1913 году была поставлена в Александринском театре в Петербурге с М. Савиной в главной роли. Постановка не стала удачей театра, но о пьесе критики писали очень благожелательно: «Редко когда удавалось видеть более удачную пьесу, представленную на суд публики молодым новым автором. Превосходная пьеса, редкая по своей конструкции!.. Необыкновенно живая пьеса. Материал распределен с умелостью, удивительной для новичка и драматургии. И потом, язык! Вот вещь, которую, не запомню, когда приходилось отмечать, до того в этом смысле современные театральные писания бесцветны... У Сургучева же — язык необыкновенно яркий, красочный, образный, оригинальный...» («Ежегодник императорских театров», 1914, № 5).

«Торговый дом», на первый взгляд, пьеса в духе Островского, о разрушающей силе денег. Но это драма современного человека. Пьеса многим напоминает толстовскую «Власть тьмы» — тот же трагизм, та же контрастность характеров. Покоряет в ней и богатый, подлинно народный язык.

Следующая пьеса — «Осенние скрипки» (1914). К ней обратился Московский Художественный театр в 1915 году и показал ее с большим успехом в Москве и Петрограде. Драма выдает в Сургучеве внимательного читателя пьес Ибсена и Чехова и мало чем напоминает первый его опыт. В ней решаются те же проблемы, которые Сургучев ставил в прозе: любовь как очищающее начало, преодолевающее пошлость быта и деловых расчетов. Как и рассказы, как повесть «Губернатор», драма «Осенние скрипки» пронизана гуманизмом, нравственным пафосом.

Сургучев обладал врожденным талантом драматурга, пониманием законов сцены. Только этим можно объяснить высокий профессионализм первой пьесы, мастерство, с каким написаны «Осенние скрипки». Сам писатель, кстати, порой выступал на сцене как актер-любитель. Однажды

он участвовал и в инсценировке пьесы Горького «На дне», сыгранной известными писателями, и показал себя незаурядным исполнителем.

Пьеса «Реки Вавилонские» открывает наиболее трагический период в жизни и творчестве Ильи Дмитриевича Сургучева. Не сумев преодолеть глубокий идейно-политический кризис, не поняв и потому не приняв Октябрьскую революцию, писатель, отличавшийся в прежнее время интеллигентски-бунтарским мировоззрением, во всяком случае оппозиционным по отношению к монархической России, почувствовал острую потребность ориентироваться на что-то твердое и определенное. Начинается настоящая переоценка ценностей, сопровождаемая попытками разобраться в том, что произошло и происходит в настоящее время в покинутой им России. Герои пьесы Сургучева представляют самые разные слои бывшего русского общества. Один из героев так говорит об этом: «Когда еще такая компания собиралась под луной? Губернатор, актер, сыщик, художник, офицер, прокурор, монах Киево-Печерской лавры, помещик, церковный староста...» Купец-ярославец красноречиво подводит невеселый для этой компании итог: «...все, что сейчас в России случилось,— все ей на превеликую пользу пойдет... Купцов выгнали? Правильно! Сам купцовал! Кто на войне государство в тылу разграблял? Кто миллионы в это время в дивиденты получал? Наш брат купец. ...Дворян выгнали? Вас, губернаторов да камер-юнкеров?.. Разве в России можно было без протекции тетушки или без хвоста бабушки получить место или на службу попасть?..»

Журнал «Печать и революция» (1927, № 8) отмечал: пьеса «чрезвычайно любопытная в смысле характеристики настроений наиболее обездоленной части эмигрантов... Общественная позиция реалистов смыкает их с действительностью. Эта смычка происходит по линии национального чувства. В пьесе Сургучева апостолом этого чувства является художник,— единственное действующее лицо пьесы, которое, по мысли автора, достаточно сильно, чтобы избегнуть эмигрантского декаданса и не только начать новую жизнь, но и других научить «слышать движение земли... этот чудесный, великолепный, гордый лет нашей земли».

В пьесе ярко звучат патриотические мотивы; в ней дается беспощадно трезвая оценка не только эмиграции, ее враждующим группировкам, но и социальным порокам царского строя. Пьеса «Реки Вавилонские» написана той же мастерской рукой, что и две предыдущие. Переоценка политической позиции автором намечена в ней неприкрыто. Горькая доля эмигрантов, открытая любовь к далекой, уже недостижимой Родине сообщает пьесе одновременно и обличительный, и трагический смысл. Черты, свидетельствующие, что эта драма пережила свое время. Пьесы Сургучева еще ждут своего второго рождения как сценического, так и читательского.

Эмигрантская судьба Сургучева шаблонна: короткое пребывание в Константинополе в бедности и отчаянии, недолгая жизнь в Праге, затем

и навсегда — в Париже. После пьесы «Реки Вавилонские», написанной в Константинополе, наступил затяжной творческий кризис. В Праге и Париже Сургучев издал несколько тоненьких сборников — в них несколько десятков новых рассказов.

Пьесы переиздавались на европейских языках и шли в театрах Праги, а в Париже по-русски на подмостках любительских эмигрантских трупп. Автор этого предисловия в Пражской национальной библиотеке листал газеты и журналы с рецензиями на постановки «Осенних скрипок» русской труппой в тридцатые годы. По-чешски та же пьеса шла в Праге перед самым началом войны, шла с успехом... Поставлены ли были «Реки Вавилонские» — неизвестно.

В 1956 году писатель скончался в Париже.

Лучшее из написанного Сургучевым пережило время, забытая страница русской прозы открывается заново. Можно быть уверенным, что рассказы Сургучева, повесть «Губернатор», а со временем и пьесы, найдут своего благодарного читателя.

Анатолий Кузнецов

Губернатор

Повесть

I

Когда губернатор ехал с вокзала к себе, в свой дом, помещавшийся на главной улице города, рядом с магазином «Американский свет»,— было четыре часа: в Троицком соборе звонили к вечерне. Не ожидая багажа, он, никем не встреченный, приехавший без предупреждения, сел на очередного извозчика и снова, как пять месяцев назад, ехал по плохой мостовой вверх, мимо бульвара, разделявшего улицу на две половины.

Пять месяцев назад, в марте, когда губернатор еще верил в Наугейм, в целебность его вод и климата, верил в свое выздоровление,— он возмущался и говорил сопровождавшему его на вокзал ротмистру Клейну:

— Это не город, а кабак! Черт знает что! По таким мостовым только мертвых да кислое молоко возить можно! Всю управу, собственно, разогнать бы нужно. А в особенности этого, как его?

— Петрухина? — спросил Клейн.

— Вот-вот, Петрухина. Этакое мурло! Ведь он, кажется, заведует починкой мостовых. Ничего не делает, только зря деньги получает... Да и подворовывает небось. Не без греха у них, в самоуправлении-то...

Губернатор говорил тогда громко, и теперь только стало ясно, что этим задорным тоном и неестественным раздражением ему хотелось заглушить ту глубокую, недавно вошедшую в душу тревогу, которая все время говорила ему: не храбрись. Помни, что между тобою и мертвецом, которого можно возить по этой дороге, разница невелика. Сердце твое уже пошатнулось,— разве ты не замечал, какие виноватые лица у докторов, как они после ослушиваний и остукиваний часто уходят в столовую и там шушукаются между собой непонятными латинскими словами?

Задорным тоном хотелось побороть эти тревожные, не дающие покоя и сна мысли, хотелось самому себе показать,

что мы-де еще поживем, еще поразговариваем с толстыми членами управы, еще не один раз нагоним им холода...

Ротмистр Клейн, здоровый, толстощекий человек в сером пальто, слушал тогда губернатора, как-то особенно щурил свои немецкие мутноватые глаза, поеживался, будто ему было холодно, посматривал в сторону и издавал малопонятные, одобрительные звуки. И потому, что он старался не смотреть губернатору в глаза, было у него то же выражение лица, как у докторов, когда они осторожно уходили шептаться в столовую.

Теперь, когда губернатор, усталый, почти сутки ничего не евший, возвращался из Наугейма, мостовые уже не тревожили его. Фаэтон прыгал направо, налево, подскакивал, дребезжал: была только привычная, тупая, нудная боль в левом боку. Но и ее не хотелось замечать. Он знал, что уже все кончено. Пройдет год или, от силы, полтора — и от губернаторского дома потянется процессия во главе с архиереем Германом, и понесут его, губернатора, по этой дрянной дороге, понесут осторожно, плавно. На юге умеют хоронить хорошо и весело. Заколышутся впереди позолоченные хоругви, как знамена. Хор хороших, крестовых певчих широко, громко и медленно будет петь молитву. Денег на похороны не пожалеют: гроб сделают на заказ у Ермолова — просторный, дорогой. Будет он в нем покачиваться, как в гамаке. Правитель канцелярии, умеющий сочинять восторженные телеграммы со словами: «днесь, во веки веков», прольет из своих узеньких глаз слезу и скажет речь с отрывистыми, удрученными жестами, а там на новых, скользких полотенцах спустят его превосходительство в просторную, свежую яму, заложат ермоловский гроб серыми камнями, спаяют их цементом, завалят разрыхлившейся, потревоженной землею; месяца через четыре привезут из Москвы черный, солидный мраморный крест и напишут на нем золотыми, глубоко вырезанными буквами: «Генерал такой-то, родился тогда-то, умер тогда-то. От роду его жития было столько-то», а на другой стороне: «Помяни мя, Господи, егда прийдеши во царствии Твоем».

Губернатор любил бередить душу такими думами и воображать картину своей смерти со всеми подробностями. Ему тогда становилось глубоко жаль себя, как бывает жаль обиженного, одинокого, беззащитного ребенка. Чужие люди закроют ему глаза; холодные и, быть может, брезгливые

руки вымоют его мертвое, вялое тело и, отвернувши лица в сторону, перенесут его на стол, покрытый простыней и установленный в святом углу.

— А впрочем, все равно! — старался думать он, глядя наверх, на телефонный столб, где какой-то парень в жокейской фуражке чинил проволоку.— Все равно. Один черт. Сегодня, завтра,— какая разница.

День был ясный, нежаркий. Звонили к вечерне, которую будет, вероятно, служить плотно пообедавший, заспанный священник. К вечерне никто, кроме завтрашних именинников, не придет. На улицах никого не было.

Фаэтон у извозчика был старый, четырехместный, весь отрепанный, что-то в нем дребезжало, на одном колесе не было, кажется, шины: оно постукивало как-то странно, словно хромая. Извозчик чувствовал это, хотел взять лихостью коней и стегал их, приподнимаясь с сиденья и доставая кнутом до самой шеи. Ехать от толчков было неудобно, больно: по локтю все время била какая-то железка. А когда фаэтон катился по пыли, и было мягко, и колесо не дребезжало, то сейчас же приходили обычные мысли, длинные и одинаковые, как рельсы,— мысли о том, что нужно бы перед смертью поговорить с министром, поговорить не о губернии, не о подавлении революции, не о насаждении лесов, а о жизни и о боге. Приходила и другая мысль: как хорошо было бы теперь, приехавши домой, найти там жену, дочерей, которые вот уже много лет уехали от него и стали чужими. Хотелось, чтобы в прошлом не было таких тяжелых воспоминаний, как измена жены, чтобы не было самоубийства Тышецкого, который перед смертью написал записку, что до петли довел его губернатор. Записка была маленькая, криво оторванная, и на конце ее тянулись тоненькие волокна бумаги. Писал Тышецкий, видимо, наспех, потому что в окончаниях слов не было твердых знаков, а в одном месте была неправильно поставлена буква «е». В петле, говорили тогда, Тышецкий был страшен: с растопыренными пальцами и криво высунувшимся синим языком.

— Приехали, ваше превосходительство! — сказал, поворачиваясь, извозчик.— Имею честь поздравить с приездом! Извозчик говорил: «проздравить».

Губернатор приехал за месяц до окончания отпуска, и дом его, большой, двухэтажный, выстроенный в 1876 году, с прекрасными, строгими зеркальными окнами, с балконом,

который поддерживали четыре согнувшиеся гипсовые женщины,— дом молчал, никто не выбегал навстречу, никто не улыбался ему. Был даже беспорядок: не караулили дверей обычные часовые, хотя полосатые будки по-прежнему стояли на углах. В левой половине первого этажа помещалась губернаторская канцелярия, и подъехавший экипаж был замечен дежурным чиновником.

Сразу вспомнился этот чиновник: у него как-то были необыкновенно скрипучие сапоги, и губернатор, не выдержав, крикнул ему, что если только он не переменит их, то будет немедленно выгнан со службы. Испуганный чиновник до конца занятий ходил на цыпочках; на другой день явился в каких-то широких растоптанных штиблетах и все-таки ходил на цыпочках.

Губернатор вспомнил молодое побледневшее лицо — и улыбнулся. Сделалось ясно, что нужно бы как-нибудь загладить это далекое прошлое, когда за службой, как за высокой стеной, не было видно жизни, когда совсем не думалось о смерти, когда важным и значительным обстоятельством считалось печатное предписание из министерства, когда огромным мучением казалась измена жены. Двумя звездочками горели глаза чужой, не его девочки,— жестоким, нестерпимым огнем жгли простые слова: «папочка, мой папочка». Особенно бесило и волновало, что эта чужая девочка Соня, рожденная его женой от любовника, очень любила его, как отца, и горько, вздрагивая плечиками, плакала, когда он не пускал ее к себе в кабинет.

Всю дорогу, от Наугейма до дома, не давала губернатору покоя одна мысль, которая скользнула в сознании и которую никак не удавалось точно уяснить себе. Когда же он увидел в окне чиновника, которого давно, года полтора назад, ругал за сапоги, то эта мысль оформилась и как-то сразу сделалась простой. Стало ясно, что перед смертью нужно исправить все зло, которое он сделал на земле. Эта мысль, как неожиданным огнем, охватила его душу, его мозг и твердым, горячим шаром прокатилась внутри по всему существу. Надо было сейчас же броситься в жизнь, как в текущую воду, и что-то делать, что-то исправлять, что-то спасать; вспыхнули желания быстрых, отчетливых, как в молодости, движений: нужно было бы вот сейчас соскочить с фаэтона, взбежать по лестнице, торопливо умыться с дороги и переодеться, быстрым почерком написать письма, которые еще

поспели бы к почтовому поезду,— но чувствовалось, что тело стало уже тяжелым, грузным, больным.

— Если бы протянуть еще год, полтора! — думал губернатор, не слезая с остановившегося фаэтона.— Господи! — и слегка, чтобы было незаметно, повернувшись к собору, который виднелся из-за бульвара, он, давно потерявший веру, шептал.— Поддержи меня! Дай мне еще эти год, полтора! Дай мне почувствовать себя иным, не скверным, не грязным, не жестоким! Пошли на меня свою благодать, ясную и исцеляющую.— Душа и губы шептали эту молитву, а старые, солдатские, зоркие глаза посматривали,— не видел ли кто и не улыбается ли его малодушию. Слова молитвы были просты, и казалось, если есть бог, то он услышит ее.

Впереди, в гору, шла улица с электрическими фонарями, магазинами, трехэтажными домами, окружным судом, направо — дремал густой, зеленый бульвар.

Извозчик стоял и, вероятно, удивлялся: почему губернатор не слезает с фаэтона? Прохожие, узнавшие его, кланялись и старались пройти поскорее,— казалось, что у них мелькала тревожная мысль: губернатор приехал.

II

Чиновник выбежал на улицу в застегнутом сюртуке; вид у него был испуганный, и во всем — в широко раскрытых черных глазах, в низких поклонах, от которых встряхивались и падали наперед длинные, лоснящиеся волосы, в суетливых, бестолковых движениях сразу нарисовалась прежняя тяжелая, обременительная жизнь.

— Мое почтение! — ответил на приветствие губернатор, и в голосе его послышались те ноты, которые говорили, что он хочет быть простым и несердитым.— Все еще служишь?

— Служу, ваше п-во! — отвечал чиновник, стоя перед ним по-солдатски, во фронт и, видимо, не зная: бояться ему или радоваться.

— Дежурный по канцелярии?

— Точно так!

— А сапоги все по-прежнему скрипят?

— Никак нет! — рапортовал чиновник.— Я их, подошвы то есть, восемь дней тогда коровьим маслом мазал.

— И что ж? Прошли?

— Точно так. Прошли.

Было видно, что чиновник этот — славный парень; по-

лучает он в месяц рублей, вероятно, 38; ухаживает за швейками; особым, благородным манером танцует на вечерах коммерческого клуба; когда выпьет, то любит петь тенором ту песню, в которой есть слова: «слезы горькие льет молодец», и избранную даму пленяет морской накидкой, разочарованным видом и разговорами о сырой могиле. Губернатор улыбнулся и сказал:

— Тебя бы, сударь, хорошо в солдаты отдать. Да драть бы тебя разика по три в день.

Эти слова нужно было сказать, чтобы чиновник какимнибудь образом не догадался о молитве.

Лицо парня, дежурного по канцелярии, сделалось счастливым от губернаторской шутки,— засмеялись ей три человека, засмеялись весело. Губернатор удивился: откуда третий смех? Оказалось, что смеется и извозчик. Губернатор посмотрел на него: это был старик в синем армяке, с фуражкой на длинных, скобкой обрезанных волосах.

— А ты чему рад? — строго и наставительно спросил он.

— Да как же? — ответил тот.— Такого малого да не драть? Не токмо три, его тридцать три раза на день драть нужно. Тогда бы из него начальство вышло.

Справа был бульвар, такой зеленый и густой, что, казалось, там, дальше в гору, идет длинный сад,— совсем не было видно аллей и гуляющих; просветами, как маленькие калитки, выглядели узенькие выходы на дорогу. Очевидно, недавно был дождь: темно-коричневые камни мостовой казались отлакированными; на небе еле заметно плыли, как глыбы мрамора, облака. Немного парило: предвещало к вечеру еще дождь.

Странно и смешно повертываясь, маленькими шажками, придерживая на весу саблю, прибежал сверху околоточный Спичка и отсалютовал, выставляя у козырька потную ладонь:

— Здравия желаю! С благополучным приездом!

Усердие и преданность были видны в нем: пот катился с него градом, крупными и мутными каплями, как дождь по стеклу. Ладонь у него была жесткая, с глубокими линиями. Почему-то показалось, что Спичка сидел сейчас где-нибудь в погребке, выпивал, держал себя важно, как начальство, и с него не взяли денег.

— Ну хорошо! — сказал губернатор, обращаясь к чиновнику.— А дом скоро отопрут? Мне сидеть надоело.

— Послали за Свириным,— бойко доложил тот, опять вытягиваясь в струнку,— ключи у него.

— А где же Свирин может быть, что за ним посылать нужно? — удивленно спросил губернатор.

Чиновник замялся, покраснел, пошевелил ладонями.

— Время послеобеденное,— сказал он нерешительно,— они его иногда проводят у Николая Ивановича. Приятель у них есть стародавний. Можно сказать, с юношеских лет.

Свирин служил у губернатора лет тридцать, был у него когда-то денщиком, вместе с ним провел турецкую кампанию, и ни о каком Николае Ивановиче он никогда от него не слышал.

— Какой это Николай Иванович? — спросил губернатор.

— Маркер-с! биллиардный маркер-с,— отвечал чиновник,— маркер второразрядного трактира «Мадрид».

— Да разве Свирин играет на бильярде?

— Вне конкуренции. Любому игроку завсегда пять крестов готов дать. Пока что,— посоветовал чиновник,— можно в канцелярии посидеть. Телеграмму напрасно не дали: тогда и полы натерли бы, и воздух в комнаты пустили.

Губернатор, накренивши собой фаэтон, слез на тротуар и пошел в ворота. Околоточный, держась как-то боком, прыснул на мальчишку, державшего обеими руками какую-то большую пустую бутылку, и, просунувшись вперед, широко отворил железную решетчатую калитку. Как будто не своими ногами шел губернатор по асфальту, поднялся по порожкам, вошел в приемную. Здесь по средам и субботам его ожидали просители, здесь он кричал на содержателей гостиниц и на монахов, приходивших с Афона.

Губернатор сел. После вагона, извозчика и душного полдня здесь было удобно и прохладно; ноги ныли, была такая лень, что не хотелось полезть в карман за папиросами: утомительным казалось открывать портсигар, зажигать спички.

— А я не узнал вас, ваше п-во! — сказал чиновник, появляясь в дверях.

Показалось странным и подозрительным, что у этого мальчугана, который раньше дрожал перед ним, теперь появились в голосе ноты какой-то снисходительности, пропал его прежний, бывалый страх, и разговаривает он с ним, как с приятелем. Кажется, что скоро вот возьмет папиросу и, расставив ноги, прежде чем закурить, постучит мундштуком о коробочку.

«Почему? Чувствуете, что скоро умру, и теперь все равно считаться со мной нечего? Может быть, смерть уже ясно и отчетливо видна на лице?» — подумал губернатор, и что-то захолодело у него под сердцем. Он вгляделся в чиновника: молодое, обыкновенное обывательское лицо; вчера брился, франтовски закрученные усы; мажет их, должно быть, коричневым фиксатуаром.

— Не узнал? — боязливо спросил губернатор.— Значит, богатым буду.

— Обязательно, ваше п-во! — осмелился пошутить чиновник.— Богатым будете.

— А почему не узнал? Изменился я, что ли? — стараясь быть небрежным, спросил опять губернатор.

— Изменились, ваше п-во! — ответил чиновник.— Изменились! Прежде вы ходили в мундире генерал-лейтенантом, а теперь — в штатском костюме, не имеющем военного вида, и в черной шляпе.

Губернатор усмехнулся; под сердцем колыхнулась радость. Сделался милым этот темноватый пыльный костюм со множеством карманов, купленный им в Берлине; входило в душу хорошее, легкое настроение; хотелось попросту глядеть на жизнь, как после летнего дождя хочется глядеть на свежее синее небо,— и губернатор спросил:

— Что же ко мне больше идет, мундир или пиджак?

— В мундире величия и грозы больше,— ответил чиновник.

— А в штатском?

— А в штатском — ничего подобного.

— Дело дрянь,— шутливо сказал губернатор,— нужно скорее мундир надевать.

Он с радостью и облегчением почувствовал, что старое величие и гроза — теперь утомительны для него. Когда в Наугейме выяснилось, что песня его спета, то к душе вплотную, властно подошло новое, темное чувство, и с тех пор оно — всегда с ним. Дорогой все время он лежал на диване и как-то неожиданно уяснил себе, что штатский костюм, который он носил первый раз в жизни и с которым он не особенно еще умел справляться, дает ему новые, непонятные ощущения, и с ними не хочется и очень жаль расставаться.

Все ясней и ясней становилось, что в своей длинной губернаторской жизни он далеко отбросил от себя то высокое

и истинное, чем Бог благословляет человека. Теперь понемногу рассеивается липкий и густой туман, который он принимал за воздух, и стало ясно, что не было в его жизни горячего солнца, яркого света. Жизнь его была, вероятно, самой печальной на земле. Тянулась ночь, длинная и темная. Ничего не разглядеть в этой тьме, и только, как тени, медленно плавали в памяти образы туманные, кошмарные, уродливые.

«Где же этот свет? В чем он?» думал все время, всю дорогу губернатор,— думал он и тогда, когда ехал с вокзала, когда увидел чиновника, когда вошел в прохладный каменный дом.

В приемной висело большое старинное зеркало в коричневой, когда-то отлакированной, широкой раме. Губернатор подошел к нему. На фоне глубоко отраженной комнаты с окном и кожаными истертыми стульями стоял старик с седою, не особенно ровной бородой, с коротко остриженными белыми волосами, с глазами, далеко и сурово ушедшими внутрь. Показалось не то важным, не то странным, что этот старик одет в темный, в плечах немного смявшийся пиджак, что галстук у него шелковый, длинный, как у щеголя. Губернатор долго смотрел на себя, на свои глаза, на галстук, на то место в плечах, где помялся пиджак, и мысли новые, созданные Наугеймом и болезнью, опять медленно зашевелились, как змеи в траве.

«Вот этот старик, утомленный, седой,— думал он,— одетый в непривычный костюм, должен повести борьбу с тем блестящим генералом, который ехал в Наугейм. Этот старик, сгорбленный, больной, должен поправить то зло, которое когда-то сделал блестящий генерал. Но как его нужно поправлять? Где оно и в чем это зло?»

Когда губернатор начинал думать о зле, то первым в воображении у него почему-то вырисовывался острог, стоявший в городе далеко, за акцизным управлением. Острог был двухэтажный, но казался всегда маленьким, приплюснутым к земле, и никогда нельзя было подумать, что в этом доме с красной, ржавой крышей и маленькими решетчатыми окнами живут люди с женами и детьми. Губернатору казалось, что все зло, которое есть на земле, сосредоточилось под этой крышей. В острог сажали по постановлению суда, следователей, ротмистра Клейна; но губернатор всегда переворачивал в мозгу, как тяжелый жернов, угрюмую и томи-

тельную мысль, что все эти изнуренные люди, больные женщины, голодные дети сидят по его приказанию и с его ведома.

Губернатор стоял перед зеркалом, жадно всматривался в него; сразу мелькнула мысль, что чиновник может по глупости подумать, что он любуется собой.

— Вскочил вот прыщ за дорогу. Послать бы за ртутным пластырем надо,— говорил губернатор и не мог оторвать глаз от холодного серебряного стекла. Темный костюм как-то странно и неожиданно подчеркивал в нем то, чего он раньше никогда не знал и не ведал в себе. Было досадно, что сзади стоит чиновник, и губернатор быстро искал в уме: под каким бы предлогом выслать его из комнаты. Он оглянулся: у чиновника было такое выражение лица, как будто он собирался посоветовать средство от прыща, будет долго говорить, а в это время может ускользнуть из души то важное, что в ней теперь нарождается.

— Надо вот еще получить на станции багаж,— торопливо сказал губернатор, доставая из кошелька помятую желтенькую бумажку,— вот и багажная квитанция.

Вспомнилось, что наверху, в большом зале, есть зеркало лучше этого, ясное и четкое.

— Ну, а Свирин-то где же? Долго его нет...— спрашивал он.

— Сию минуту-с, ваше п-во! — отвечал чиновник таким тоном, будто был виноват.— Сию минуту-с. Послал за ним.

III

Минут через пять в канцелярию вбежал запыхавшийся Свирин и, высоко дыша, полагая, что сейчас начнутся так хорошо известные губернаторские громы, испуганно поздравлял его с приездом, со счастливым возвращеньем и все время ожидал, что вот-вот заволокутся глаза тем туманом, который знали все, вот дернутся в правую сторону губы, рука возьмется за борт сюртука.

Скоро, однако, выяснилось, что приехал не губернатор, а, скорее, какой-то человек, похожий на него. Сидел он, странный и грузный, в желтых, слегка запыленных ботинках, и когда поднялся, то оказалось, что пиджак у него был длинный, обшитый по краям черной шелковой тесьмой, с высоким разрезом и складками сзади. Он лениво и тяжело

пошел за Свириным, и пока тот торопливо поворачивал ключ в замке, пока бежал по широкой лестнице, с которой были сняты ковры, потом спешно отворял окна на террасе, стучал каблуками в кабинете,— губернатор потихоньку, постариковски, взявшись правой рукой за перила, поднимался со ступеньки на ступеньку. Лестница была высока и широка. По ней сразу, грудь в грудь, могло идти шесть человек. И сразу, одна в мире, словно десятью солнцами освещенная, вспомнилась почему-то узенькая лестница корпуса, по которой на свидание к хорошенькой гувернантке часто шнырял какой-то далекий, никогда, кажется, не существовавший юнкер. Она, эта гувернантка, так смешно и искренне говорила: «Мой милый. Лублю милаго»,— говорила так, что чувствовались все буквы каждого слова, и целовала, охвативши его голову руками.

С террасы были видны поднимавшиеся по горе дома: широкий, весь стеклянный, блещущий под солнцем, павильон егоровской фотографии, а дальше — нигде, кажется, не кончающиеся каштановые купы городского сада.

«Везде живут люди,— думал губернатор,— живут странные существа, забывшие о конце: недолговечные, болезненные, несчастные, никогда ничем не удовлетворенные, жалкие».

Когда губернатор вошел в дом, Свирин суетился около него, но было видно, что он приглядывается к нему,— совсем пропал у него прежний угодливый тон. Походило на то, будто бы губернатор получил отставку. В голосе у Свирина появились покровительственные ноты,— такие, какие бывают у дядек, когда они разговаривают с маленькими кадетами. Глаза его как будто ушли вглубь, стали острее и наблюдательнее.

Зал был большой, двухсветный; зеркало, о котором думал губернатор, было огромное, в золоченой зигзагообразной раме. Странной, несколько перекосившейся перспективой отражался в нем ряд окон, выходивших на улицу, и далекий, видный через них бульвар. Оно висело немного наклоненное, и когда, например, по улице ездили извозчики, то в зеркале отражались только их головы. В самом низу, около рамы, чуть заметными буквами были нацарапаны алмазом слова:

«Я люблю тебя».

Губернаторов в доме перебывало много; некоторые из

них жили широко, давали балы, о которых ходила молва по всей губернии, и вот, может быть, во время одного из таких балов кто-нибудь из молодежи, когда все убежали в сад, нацарапал это признание.

«А может быть? — вдруг мелькнуло в мозгу, и губернатор остановился посреди комнаты.— А может быть?» — эхом откликнулись какие-то суровые воспоминания, которые так хотелось забыть, отогнать от себя.

— Нет! Нет! — закрыв глаза, сказал он вслух.— Нет! — и подошел к зеркалу.

При свете оно еще резче и ярче отразило штатский костюм. С детства губернатор носил только форму. Его петли всегда застегивались блестящими пуговицами, шея была обтянута цветным воротником, слева, на бедре, всегда висело оружие. А теперь спиной к бульвару стоял старик, похожий на профессора, снявшего очки. Смерть его ясна: она — в сердце. Мелькала такая мысль: если хочешь видеть в зеркале профессора, снявшего очки, если хочешь видеть зелень бульвара, синеву неба, белизну облаков, похожих на корабли, нужно беречь какую-то маленькую машинку в левой части груди,— там, где так много прикладывалось докторских ушей.

Пришла мысль о том, что он мог бы быть профессором. Жить бы сейчас в большом университетском городе: на улицах было бы шумно, по бульвару гуляли бы с барышнями студенты. На свете есть большое и важное, чему учат, что трогает, волнует и живет в людях красивым, нежно согревающим огнем. А его генеральская жизнь наполнена ссорами, упреками и анонимными письмами. Случилось так, что он как будто все время собирался жить, а когда собрался, наладился, когда отошел от жизни настолько, что стало возможным правильно разглядеть ее и оценить,— тогда пришлось ехать в Наугейм и подставлять грудь под докторские уши.

— Итак, что же? Смерть? — спрашивал губернатор у старика, отраженного в зеркале.

И глубоко запавшие, большие, усталые глаза и борода с пятнами нетающего снега, желтоватые, ввалившиеся щеки, далеко над ними выдвинувшаяся кость лба — все это давало один ответ.

«А вдруг,— подумал губернатор,— все это только кажется потому, что одет он в непривычный берлинский костюм?

Этот костюм изменяет его и показывает в нем не то, кем он был, кем его знали все: и чиновники канцелярии, и Свирин, и околоточный Спичка. Может быть, потому во всех углах дома мерещится смерть, может быть, потому мысль о ней не выходит из мозга, а на самом деле стоит стать прежним генералом, прежним губернатором — и весь этот кошмар пройдет, исчезнет бесследно и станет вокруг ясно, просто и легко».

Генерал зазвонил в звонок, и слышно было, как по гулкому, пустому дому бежал Свирин. Губернатор торопливо сбрасывал с себя пиджак и долго не мог расстегнуть сзади галстук. Жилетка упала на пол, и из какого-то карманчика весело покатились иностранные серебряные монетки.

— Мундир! Сейчас же мундир! — торопливо приказывал губернатор Свирину.— Новый дай! Тот, что к Новому году шили...

Свирин бросился к гардеробу, зазвонил связкой ключей и долго не мог найти нужного.

— Он вычищен? — как будто собирался делать важный визит, спрашивал губернатор.

— Пылинки одной нетути! — говорил Свирин.— Два раза за лето сушил. Моли проклятой развелось в доме много.

— Погоны в исправности? Не тусклые?

— Боже спаси! Самолично из Варшавы выписывал.

— Ну, давай! Скорей давай! — торопился губернатор, не мог попасть сразу в рукав и сердился.— Ну, где же он там? Ах ты, господи! Застегни на крючок воротник!

Мундир был узковатый, на груди морщился; Свирин одергивал его сзади, тоже суетился и, как портной на примерке, разглаживал его ладонями по бокам. Наконец были застегнуты все пуговицы. Губернатор пощупал почему-то боковые карманы, которых он прежде никогда не замечал, поправил в петлице орден с римскими цифрами, повернулся к Свирину и впился глазами в его лицо.

— Ну, что? Прежний?

Свирин несколько мгновений разглядывал его.

— Точно так-с, ваше п-во! — отрапортовал по-солдатски, становясь во фронт, Свирин.— Прежний-с! — и много радости и преданности было в нем.

— Ну, а теперь иди! — приказал ему губернатор.

На лице Свирина скользнуло недоумение. Он пошел, и когда шаги его пропали в коридоре, когда уже не было

сомнения, что он далеко, губернатор запер за собой все двери и осторожно, с бьющимся сердцем подошел к зеркалу. Опять стали видны немного перекосившиеся окна, зеленые верхушки бульвара, портреты, странно в отражении повернувшиеся взглядом в другую сторону.

Губернатор взглянул на себя, и опять из глубины толстого, четкого серебра посмотрели на него большие, тревожные, что-то спрашивающие и чего-то боящиеся глаза; далеко над ними выступила кость большого, выпуклого над бровями лба, сухого, желтого; были видны синие, бескровные жилки немного впавших висков. Мундир был блестящий, темно-зеленый, пуговицы с орлами, на эполетах выделялись золотые выпуклые зигзаги, и на ордене из темно-красной эмали была видна трехзначная римская цифра. Стало ясно, что Свирин соврал. И вдруг он почувствовал, что в нем зажигается и растет бешенство, что ему сейчас захочется размахнуться ногой и толстым каблуком ударить в это холодное толстое стекло.

«Как? — росла в голове быстрая мысль.— Он? Генерал-лейтенант? Гроза губернии? Это его глаза? Его лоб? Это — смерть!»

И откуда-то из души, из десятков лет прожитой жизни, сами собой вырвались два слова:

— Не хочу! Не хочу!..

Губернатор топнул ногою, замахнулся рукою на генерала в зеркале, и гулко под потолком около люстры пронесся удар толстого каблука по желтоватому скользкому паркету. Сделалось жарко, душно: он почти побежал к балкону, толкнул ногой зазвеневшую стеклом дверь, вышел на воздух — и первое, что бросилось ему в глаза, было небо.

Небо было огромное, как под синим льдом застывший океан, и с севера на запад, как три брата, плыли три белых облака.

— Где, когда он видел еще раз это небо? — и когда вспомнилось, то все стало ясно.

В селе Далеком взбунтовались мужики,— пришлось ехать на усмирение. Целую ночь катили по степи на извозчиках, два раза переменяли лошадей, и к утру, часам к девяти, показалось село. У въезда его встретили с хлебом-солью; но он его не принял и выбил блюдо из рук старосты ногой. Блюдо разбилось, хлеб покатился по земле.

Когда же, после обедни, был собран сход, и он начал

кричать на мужиков, грозить им расстрелом, топать ногами и ругаться,— из молчаливой, угрюмой толпы вышел какой-то оборванец, как потом выяснилось, Волчок. Резко, вплотную он подошел к губернатору и вдруг начал ругать его теми же словами, какими тот только что ругал сход. И когда над самым ухом что-то кричало, когда перед глазами было это темное, как-то странно расширившееся лицо, распухшее от пьянства и лихорадки, то было ясно, что вон она явилась — смерть, что у оборванца под полой спрятан револьвер, сейчас он вынет его, нажмет собачку, и тогда — конец. И неоткуда ждать помощи, никто не спасет его. Все будут рады и довольны, если его убьют, как собаку, как последнюю тварь. Всю ночь ехал с ним целый обоз чиновничьей челяди, угодливо заглядывавшей ему в глаза, откупоривавшей бутылки, открывавшей перочинными ножами коробки с сардинками,— все стоят сзади него, и никто не хочет теперь, когда есть опасность, броситься на этого человека. Бешенство тогда охватило его, но нельзя было ни сделать резкого движения, ни дрогнуть. И, помнится, взглянул он тогда нечаянно на небо, и поразило оно его, широкое и спокойное. Соломенными крышами кругом разбросалось село; на каком-то мужике с красными, слезящимися глазами была надета серебряная цепь; стояла близко хмурая, затаившая дыхание толпа; прямо в душу впивались чужие, острые, сверлящие, как буравом, глаза.

— Эх ты! Душа-человек! Как назвать тебя! — исступленно кричал Волчок.— Тебя встречают с лаской, приветом; тебе хлеб-соль несут, а ты ногой,— ногой отбрасываешь его от себя! Кто тебя родил? Собака или человек? Ведь, небось, и в бога ты веруешь, и в церковь ходишь, и крест на шее носишь!

Если крикнуть, то придет скорее конец, скорее грянет выстрел — и тогда пропало все: и жизнь, и небо, и крыши, и лица. А меж тем чужое, жадное лицо приближалось все ближе и ближе, проклятия и ругательства все слышнее отдавали противным, пьяным перегаром. Тогда пришла в голову мысль — хитренькая, маленькая, обещающая.

Губернатор перестал дышать и, закусив губы, впившись в Волчка глазами, осторожненько, незаметно подался назад и, когда между ними образовалось расстояние на полшага, он неожиданно, с тройной силой и быстротой, ударил его

ногою в живот, и, как треск топора по мясу, отдалось кругом:

— Хлясь!

Волчок смолк на полслове, смешно встряхнул головой, зевнул раза два ртом, словно ему не хватало воздуха, хотел, видимо, устоять на ногах, но не удержался и как-то странно, неразжавшимися кулаками вперед, упал, захрипел и долго двигался левым, не коснувшимся земли, плечом.

Губернатор медленно, словно ожидая нападения, повернулся назад, и расступился перед ним молчаливый сход.

Большими шагами, молча, поднимая пыль, пошел он на общественную квартиру, где остановился, и чувствовал, как за спиной у него тянется виноватая, чувствующая расправу челядь. Через полчаса были поданы лошади, и он уехал из села. Всю дорогу до города он молчал, ничего не ел, а через неделю перевел полицмейстера исправником в самый глухой уезд, а пристава совсем прогнал со службы.

Пристав приезжал в город, пять часов сидел в приемной, плакал, говорил, что у него осталось без хлеба шесть душ детей, и когда становился на колени, то желтые дешевенькие эполеты его блестели, как лампадные цепочки.

Через несколько дней губернатор почувствовал в теле, в левом боку, тупую, ноющую боль. Свирин на ночь натер его летучей мазью, но это не помогло. Несколько дней он крепился, стараясь преодолеть озноб, ходил по комнатам в старом пальто со стиснутыми зубами, потом не выдержал и сказал:

— Поди, позови помощника смерти.

Так он называл докторов.

Свирин засуетился, испугался и привез ему доктора Цыпкина, от которого пахло валерьяновыми каплями. С тех пор началась болезнь.

IV

В комнатах чувствовался тот особенный запах, что бывает обыкновенно летом в нежилых, непроветренных помещениях, окна которых выходят на север, пахло пылью и пересохшей мастикой. Дом был неуютный, гулкий: жить в нем одному человеку было жутко и неприятно. Всегда хотелось

вспомнить, что в нем умерли два губернатора,— лежали они в зале, и зеркала тогда завешивались простынями.

— Мундир прикажете убрать? — спросил Свирин.

— Убери! — сурово ответил губернатор.

Перед вечером принесли из ресторана обед в четыре блюда. Свой повар уехал в деревню. Обед, чтобы не стыл, принесли в лиловых эмалированных кастрюльках. Вспомнилось то время, когда обедали при переходе через Дунай, в Румынии. Ели тогда какую-то дрянь, какие-то желтоватые стручки, ели прямо на земле, на белой полсти. Кругом вертелась куча ребятишек, чумазых, похожих на чертенят. Из тяжелых темно-зеленых бутылок, прямо из горлышка, пили настоящее французское вино, которое закипало, как сельтерская вода, вызывало на глазах острые слезы, и это сглаживало все недостатки суровой, утомительной походной жизни. Обедать из эмалированных кастрюлек одному было скучно, и губернатор хотел пригласить встретившего его дежурного чиновника, но потом вспомнил, что тот будет бояться, и раздумал.

Часов в семь пришел правитель канцелярии, высокий, лысый человек, со странно блестящими, словно лакированными глазами, и поздравил с приездом. Так как был момент, когда шутка кажется уместною, то правитель, сидя на кончике стула, говорил о штатском платье губернатора, говорил, что в нем он похож на одного министра, который как-то летом жил на берегу Черного моря, в Сочи.

Губернатор отвечал ему неохотно. Правитель начал смущаться, начал говорить о делах и, чтобы скрыть свое смущение, добавил:

— Теперь бы вам поехать на море искупаться.

Губернатор тяжело, недружелюбно посмотрел на него, внутренне усмехнулся и спросил:

— На море поехать? Разве я уж так плохо выгляжу? Мне кажется, что в Наугейме я достаточно окреп.

Правитель засуетился, покраснел, начал долго уверять, что губернатор выглядит прекрасно, и что на море ему нужно поехать для развлечения. Губернатор смотрел на него и думал: прогнать ему этого лысого человека в длинных, загнутых кверху ботинках или не надо? Когда-то часто приходили анонимные письма, написанные кривыми печатными буквами, в которых писали, что он бьет жену и мошенничает в карты.

— Знаете, Василий Лаврентьевич,— сказал он правителю.— Я устал с дороги, мне хочется отдохнуть.

Тот сразу смутился, встал, выпятил грудь, густо покраснел, кашлянул в ладонь и неожиданным басом сказал:

— Не смею утруждать...

И осторожно, словно на полу были рассыпаны острые камни, вышел в столовую. Доносилось оттуда, как он все тем же басом говорил о чем-то со Свириным; голоса их все больше и больше удалялись, потом в коридоре совсем пропали, и стало снова тихо.

Шли сумерки. Чья-то волшебная рука бросала в свет дня куски темноты. Эти куски, густые, темные, появлялись то на небе, то около креста колокольни, то повисали над бульваром, расплывались, тянулись друг к другу, делались нежные и прозрачные и, затягивая воздух сплошной вуалью, все более и более сгущались и налегали на город.

Сгорбившись, сидел в кресле губернатор. Большой, гулкий дом молчал, темнел; но казалось, что если сделать хоть маленькое движение, то сейчас же на него отзовутся и оживут все эти высокие угрюмые комнаты.

Опять влезало в память воспоминание о таком же теплом, нежном вечере начинающегося августа. Так же сидел он в кресле, еще молодой, бодрый, здоровый, но душа почему-то была встревожена и беспокойна. Вдруг замолчал все время игравший рояль. Послышались легкие, осторожные шаги. Чуть зазвенела балконная дверь. Он встал, тихонько скользнул в гостиную, остановился у портьеры и видел, как на балконе, в сумерках, стояла, наклонившись через перила, фигура женщины. Внизу кто-то, вероятно, говорил, потому что женщина спрашивала:

— А?

И была она полна счастья и забыла о всякой опасности.

— На горе, у креста? — наклоняя ухо, повторяла она. Что-то, видимо, отвечали ей; голос ее дрожал от волненья, и в сумерках, нежных, августовских, эти слова звучали, как далекая, неповторимая песня.

Внизу, вероятно, не верили или хотели, чтобы счастье повторилось еще раз... Человек, стоявший за портьерой, осторожно, тихонько подошел к балкону. Впрочем, он мог бы идти и громче,— все равно никто не услышал бы его шагов. Он подошел к женщине и тихонько, дрожащими пальцами коснулся ее плеч: та вздрогнула, вскрикнула от

этого прикосновения, оглянулась,— и ужасом блеснули широко раскрытые глаза.

— И меня любишь? — спросил он.— Двоих?

Потом пришла ночь, тихая, холодная, с черным небом. Были закрыты окна, и в полутемной комнате, освещенной одной свечой, сидели, как два зверя, два человека, и непонятным оказалось, откуда у них взялось сразу столько ненависти, жестокости, змеиных, жалящих слов и жестов, острых, готовых убить.

— И Соня его дочь? — задыхаясь, спрашивал один.

— Да! — отвечали ему упрямо, злобно и решительно.

— И ты обманывала меня? — спрашивали еще.

— Да! — слышался ответ.

— И тебе не было стыдно? — В вопросе слышалось мучение непереносимое, и вырастало оно еще больше, когда слышалось глухое, чему-то радующееся:

— Нет, не было.

Сжимались кулаки: нужно было бить, уничтожать, сокрушать. Он пошел в зал, нащупал в темноте гладкий, скользкий рояль. С яростью захлопнул полукруглую крышку,— загудели в ответ все струны. Повернул налево маленький мудреный ключик и далеко, чтобы никогда не найти, бросил его через окно в сад. Слышно было, как он ударился о ствол дерева, потом зашуршал в листве, цеплялся за нее и падал вниз.

Когда началось утро и нельзя было почему-то сосчитать, сколько раз били часы, он стал звонить, и Свирин, тогда еще бривший усы, прибежал неумытый и сонный. Губернатор бросил ему две бумажки и крикнул:

— Поди на пятьдесят рублей купи чемоданов!

Свирин, наклонив одно колено, подобрал с пола деньги и робко заметил:

— Лавки еще закрыты. Только пять часов.

Взглянул на него губернатор,— дернулась в сторону нижняя губа.

— Иди и жди! — крикнул он.— Когда откроют!

Свирин ждал долго, купил четыре больших чемодана с внутренними замками и принес сдачу, два с полтиной, которую положил на край стола.

Началась в доме суета, укладывание вещей; губернатор уехал на охоту, на Пинино озеро. Когда через три дня он вернулся, то дом был уже пустой: жена и дочери уехали;

Свирин почему-то глядел исподлобья и ходил на цыпочках. Губернатор подошел к роялю и потрогал крышку,— она была закрыта.

Началась новая жизнь. Жена и дочери поехали в Москву и сняли квартиру на Никитской. Каждый месяц он отсчитывал из жалованья несколько сторублевок, отдавал их, не поднимая головы, Свирину и говорил:

— Переведи.

Свирин шел на почту, долго, больше часа, надписывал переводной бланк, сообщал новости,— и полученную квитанцию прятал у себя в том месте, где хранилась сухая запылившаяся троицына трава.

Было жаль ту маленькую голубоглазую девочку, чужую дочь, которая часто присылала ему, когда научилась писать, письма. Их было тяжело читать. Начинались они, эти письма, так: «Дорогой мой и милый губернатор, папочка!» Раз она ошиблась и написала «губернитор». Он их бросал в нижний ящик стола, разборчиво писал ей коротенькие ответы и посылал в подарок куклы и раскрашенные книжки. Перед самым отъездом в Наугейм, дней за пять, он получил в заказном пакете кабинетный портрет. На фоне деревьев и какого-то смутно видного, очень высокого замка была снята девушка в длинном платье. Было странно, что голубоглазая чужая Соня выросла.

Старшая же дочь, его родная, похожая на мать, запомнила, вероятно, скандалы и ссоры, ненавидела отца, который на весь дом кричал и топал ногами. Письма от нее были холодны, редки и почти всегда только поздравляли с высокоторжественными праздниками.

Стенные часы сначала пошипели, а потом пробили восемь раз. В городе зажгли фонари, и синеватый свет перекосившимися, натрое разграфленными квадратами лег на полы темных комнат.

Потихоньку поднялся губернатор со своего кресла и пошел в зал. Рояль стоял там же. Был он все такой же гладкий, скользкий, тяжелый. Губернатор погладил его рукою, потрогал крышку, улыбнулся.

— Заперт,— невольно, сами собой, шепнули губы.

Было ясно, что не будь тогда, одиннадцать лет назад, прозрачных августовских сумерек, жили бы теперь в этом доме две невесты, всегда около них толпилась бы молодежь, стоял бы вечный веселый шум, и этот самый, теперь немой,

рояль играл бы под нежными пальцами волнующие, задумчивые вещи. А за чаем по утрам, когда в столовой бывает светло, когда круглые солнечные пятна, пересеченные тенью рамы, скользят по шкафу и полу,— шел бы то с грустью, то со смехом разговор о тревожных, всегда интересных, особенных девичьих снах.

V

Началась прежняя, по внешнему складу жизнь. Вице-губернатор, управлявший в его отсутствие губернией, человек робкий, молодой, заика, с большими, по жене, связями в Петербурге, не решался самостоятельно разрешать многих по существу незначительных дел,— и теперь, чтобы все это наладилось и вошло в колею, нужно было просиживать за столом целые дни, читать бумаги, написанные на ремингтоне, и толстые, разными нитками сшитые «дела» со множеством всяких отношений, рапортов и отписок.

Приходили по утрам чиновники, все почтительные, в наглухо застегнутых сюртуках, и монотонно, как дьячки, тянули свои доклады. Если же чиновник оживлялся, на минуту замолкал, потом осторожненько, вкрадчиво кашлял в ладонь, делал один шаг поближе к столу, горбился больше прежнего, говорил изменившимся глухим голосом,— это значило, что чиновник собирается сделать донос.

В приемной, где стояло зеркало в коричневой раме и кожаные стулья, всегда толпилось много народу. Сидели трактирщики,— выходцы из Калужской губернии, молчаливые, с намасленными, посередине расчесанными головами, в длинных просторных сюртуках с костяными пуговицами, и просили о разрешении биллиардов и поздней торговли. Сидели вдовы с жеманными, напудренными лицами,— эти хлопотали о пенсиях, смотрели жалобными глазами и каждую секунду готовы были всхлипывать и утирать слезы специально приготовленными маленькими шелковыми платочками. В стороне держались почтительные, необыкновенно вежливые, бритые, одетые в смокинги антрепренеры, приходившие умолять о допущении евреев, и самые задние, самые робкие, нерешительные стояли около дверей молодые люди в высоких воротничках с прошениями о местах.

Нужно было читать эти листы, написанные с особым показным старанием, чистотою и почтительными, очень высо-

ками, размашистыми заглавными буквами; нужно смотреть, представлены ли в надлежащем размере гербовые марки; нужно разговаривать, советовать, приказывать и упрашивать вдов, чтобы они не плакали.

Все это утомляло, и когда кончался служебный день, губернатор любил сидеть у раскрытого окна, смотреть на бульвар, на далекие, уплывающие в другие края облака, и думать о всем том, что переменилось и что должно еще перемениться в его жизни.

Однажды он увидел, что через дорогу, стараясь не запылить сапоги, переходит на бульвар какой-то высокий человек в серой круглой шляпе и морской накидке. Было в нем что-то знакомое, давно виденное и почему-то сразу, без всякой причины, его взволновавшее.

— Свирин! — крикнул губернатор.— А ну посмотри в окно. Вон идет через дорогу в накидке. Это — не Ярнов?

Свирин, устанавливающий в шкафу посуду, подбежал к окну с тарелкой в руках, прислонил ко лбу ладонь, прищурился, вгляделся и сказал:

— Они самые! Ярнов. Постаревши немного.

— Поди, позови его сюда! — нервно и торопливо попросил губернатор. Свирин засеменил было по комнате, но потом сообразил, сразу остановился и спросил:

— А может, через окно ему покричать?

— Через окно неудобно,— ответил губернатор,— а вдруг не пойдет? Неловко будет. Догони его на бульваре и скажи, что я, мол, его очень прошу. Слышишь? Так и скажи: очень, мол, прошу.

Свирин смешно, на цыпочках, балансируя двумя вытянутыми пальцами, побежал через кабинет. Губернатор видел, как с тою же смешной торопливостью он, словно по горячим углям, перешел через дорогу, особым движением, приловчившись, по-солдатски, прыгнул через канаву и, подогнувшись под деревом, юркнул на бульвар.

Ярнов был сыном видного провинциального чиновника. Отец его, статский генерал, надутый как спесь, жил рядом с губернатором, в том доме, где помещается теперь магазин «Американский свет». Когда он умер, то месяца через два Ярновы переехали в верхнюю часть города, на Грузиновку, а в этом доме прорубили посередине дверь, опустили окна, вместо ставней сделали железные сцепляющиеся решетки и сдали его в аренду под модный магазин. А тогда, когда

жили рядом, сад Ярнова сходился с садом губернатора, и этот вот человек, за которым побежал Свирин,— тогда маленький, шаловливый мальчишка,— часто перелезал через забор, появлялся в доме, расхаживал по зале, выстукивал на рояле одним пальцем «Заиньку», играл с Катей и Соней в краски, в «Гусь, домой», в «Бом-бом — черт с помелом», в пятнашки. Мальчишка был он забавный, смелый, находчивый,— и губернатор часто, в шутку, угощал его пивом; тот охотно пил и просил об этом отцу не рассказывать.

Когда он поступил в гимназию и дошел до шестого класса, образовалась у него своя компания: в саду и зимой, и летом постоянно вертелись какие-то гимназисты,— озорники, курильщики и ухажеры. В этой компании деятельное участие принимал огромный, черный, весивший три с половиной пуда, пес Жук. Гимназисты выдрессировали этого Жука лаять на генеральские красные лампасы, и бывало так: стоит губернатору выйти в сад, как Жук мгновенно появлялся на заборе и, вытянув шею, закрыв глаза, свирепо, до слез лаял, выл, задрав голову и, как мельницей, азартно крутил хвостом.

Когда губернатор к какому-то празднику получил большой орден с бриллиантами и об этом напечатали в газетах, на первом месте «Хроники», Ярнов, за своей очень размашисто сделанной подписью, прислал ему по городской почте вырезку из басни:

«Осел останется ослом, хоть ты осыпь его звездами».

Среди общего лакейского раболепства и втайне злобной приниженности губернатор любил быстроглазого, болтливого озорника,— теперь уже много, по политическим делам, посидевшего в тюрьме, состоящего под гласным надзором, исключенного из университета с третьего курса. Ярнов вошел в комнаты, как-то странно оглядываясь по сторонам, не зная, куда положить шляпу, где повесить свою накидку, в каком углу поставить палку. Свирин принимал у него из рук и то, и другое, и третье, и Ярнов молча благодарил его угловатыми, неловкими поклонами.

Губернатор встретил его с улыбкой,— и улыбка эта была то заискивающая, как будто он боялся, что Ярнов сейчас осмотрится вокруг себя, молча же заберет свою шляпу, накидку и палку и, еще более согнувшись, уйдет туда, откуда пришел,— то улыбка эта была радостная и веселая, когда опять приходило воспоминание о том, как далекий, остро-

носый мальчишка, из которого теперь вышел угрюмый, близорукий человек, жадно, с сознанием преступности, пил пиво, охвативши обеими руками пузатый граненый бокал, и просил об этом помалкивать.

Губернатор посадил его против себя и, все улыбаясь, вглядывался в знакомое, сильно теперь изменившееся лицо. Ярнов тоже разглядывал его, снял пенсне и, подышав на него, стал вытирать стекла помятым платком. От прежнего мальчишки не осталось и следа: это был высокий худой человек с тонким, довольно длинным носом и большими, очень утомленными, серыми глазами. Когда он смотрел через стекла, глаза эти были светлы и прозрачны, а когда снимал пенсне, то исчезала эта прозрачность, и серые кружки вокруг зрачков заволакивались туманом и делались мутными.

«Вероятно, очки очень сильные»,— подумал губернатор.

Ярнов смотрел на губернатора и с любопытством, и со скрытой, казалось, насмешкой, и с настороженностью. Все время у него, видимо, вертелась мысль: «Что, собственно, сей сон значит, и на что это я мог понадобиться?» Когда-то ему нравился этот блестящий генерал, перед которым трепетала вся губерния, который красиво и лихо принимал парад в царский день и умел кричать команду так, что от восторга сжималась душа, хотелось поскорее окончить курс и тогда сделаться если не генералом, то хоть полковником. Но когда Ярнов узнал историю о том, как он выгнал из дома и жену, и дочерей,— историю, известную всему злорадному городу,— то в душе его, тогда еще гимназиста, поселились начатки первого, потом все более и более возраставшего и уяснявшегося раздражения.

Некоторое время они сидели молча, не зная, как, с какого конца удобней подойти друг к другу. Губернатор первый начал разговор:

— А сколько лет мы с тобой не видались? — спросил он.

Ярнов не торопясь надел пенсне,— сидело оно у него нетвердо и все сползало на левую сторону,— и придержал дужку около переносицы. Как только глаза его взглянули через стекла, то сделались сейчас же светлыми, прозрачными и слегка насмешливо-лукавыми.

— Сколько лет мы с вами не видались? — переспросил он голосом, которого губернатор не знал: был это тяжеловатый, несколько срывающийся басок. Такой голос бывает

у людей, лишенных музыкального слуха.— Сколько лет мы с вами не видались? Давненько не видались.

— Давненько, брат! — ответил губернатор.

Опять, как световое пятно, родилась перед глазами далекая, давно пережитая картина: жаркий жгучий день; за день так надоели все эти докладчики, просители, хлопоты, разговоры по телефону, руготня, бумаги. Хочется пойти в сад; там широкая, почти черная тень, как будто земля сочно полита водой,— но нельзя; сейчас же на заборе появится огромный, похожий на теленка, лохматый пес, выгнет спину, как верблюд, и начнет скандалить. Гуляет по саду Свирин, кучер, работает на клумбах садовник,— ничего; стоит показаться губернатору — беда.

— А помнишь,— улыбаясь этому воспоминанию, спрашивает губернатор,— как мы с тобой соседями были?

— Помню,— односложно отвечает Ярнов, и видно, что и в нем ожили те же переживания, которые занимают губернатора: шире растет улыбка, дальше отодвигается опасливость и настороженность, с которыми он вошел в этот дом.

— А Жука помнишь? Этого окаянного, дрессированного? — спрашивает губернатор, и нет в нем ни болезни, ни тревог, ни дум, ни суровости: есть человек, который помнит жаркие дни, утомление, тенистый сад и неугомонного, своего неумолимого врага.

— Еще бы не помнить,— отвечает Ярнов.— Его и помнить нечего. Он и теперь еще благоденствует.

— Да не может быть! — изумляется и даже слегка вскрикивает губернатор, приподнимаясь с кресла.— Жук? Жив?

— Жив,— говорит Ярнов,— только ослеп на один глаз. На правый. Но все равно: если вы наденете красные штаны, взвоет по-прежнему.

— И такой же по-прежнему толстый?

— Такой же! — охотно отвечает Ярнов.— Что ему делается? Теперь от скуки воробьев ловит. В том и жизнь состоит.

— Скажи на милость! — удивился губернатор.— Воробьев ловит, а? Чем занимается, старый черт!

Странное дело: откуда-то явилось желание показаться Ярнову суровым, гневным человеком, перед которым, бывало, его важный, надутый отец трепетал, как осиновый

лист,— и губернатор, нахмурив одну бровь, спрашивает:

— А за что же ты, братец мой, под надзор-то попал? За что в тюрьмах, как арестант, сидел? А? Не стыдно тебе? Ведь отец у тебя — действительный статский.

— Ну и пусть действительный статский,— отвечает Ярнов и, словно от тяжелого воспоминания, отворачивается к окну: какие-то угловатые, угрюмые тени легли ему, как покрывало, на душу.

«Должно быть, въелась в тебя в свое время эта действительная статскость»,— думает губернатор, ярко представляет себе кудрявого, неумного, раздражительного чиновника, с тяжелыми, редко моргающими глазами,— и опять, стараясь быть суровым, спрашивает:

— Ведь университет-то окончить надо?

— На что? — отвечает Ярнов и пытливо, давно уже все решившими глазами смотрит на него.— Не надо.

Губернатор замолчал. Долго и внимательно прислушивался он к чему-то на улице, потом сразу повернулся к Ярнову и тихо сказал:

— Пожалуй, твоя правда. Я академию кончил, а вот, видишь, умираю.

От этих слов,— как будто где-то выстрелили,— Ярнов насторожился. Внимательно взглянул он на губернатора, как-то, видимо, сразу, в одно мгновение охватил его глаза, лоб, уши, странно прижавшиеся к черепу, руки, сложенные палец к пальцу, и опять встретился со старыми, потемневшими, углубившимися глазами и ответил:

— Вижу.

— Правда, видно ведь, что умираю?

— Правда. Видно,— равнодушно опять ответил Ярнов.

Губернатор подумал немного, дрожащей рукою потер по лбу и добавил:

— Вот то-то и оно. В Наугейме вот был. Лечился,— ничего, никакой пользы,— подумал, повертел пальцами и сказал: — Жарища там адская. Понимаешь? Градусов по 27 в тени. И это, брат, утром, часов в восемь. Беда прямо. Хоть караул кричи. Когда ходил в ванну, всегда на углу трех евреев встречал. Стоят с зонтиками и разговаривают. Каждый божий день! И черт его знает, о чем это можно каждый день разговаривать!

Ярнов молчал. Ему было, видимо, скучно, и он подолгу

смотрел то на письменный стол, то на печку с цветным кафелем, то на портрет Лорис-Меликова.

Губернатор сидел в глубоком плюшевом кресле, и пальцы рук его, ладонями приложенные друг к другу, заметно дрожали. То и дело проводил он ими по лбу, словно вытирая пот. Что-то, по-видимому, он хотел сказать, но не решался и, чтобы скрыть это от Ярнова, внимательно приглядывался к чему-то на улице, делал вид, будто там происходит интересное, занятное происшествие.

В Троицком соборе зазвонили к вечерне — значит, наступило четыре часа. Завтрашние именинники должны собираться в церковь.

День на дворе стоял ясный, тихий. Небо было еще синее; бульвар был еще зеленый, но уже веял откуда-то прохладный ветерок; вечера бывали уже холодные, и чувствовалось в этом, как аромат в дорогом вине, приближение осени,— осени в этих местах чудесной, нежной, похожей на загрустившую прекрасную женщину. Всегда в августе, после того, как наступит четыре часа и в Троицком соборе зазвонят к вечерне, облака похожи на белые, важные, таинственные корабли. Плывут они куда-то друг за дружкой, как птицы осенью в чужие края,— плывут медленно, глядя на широкую землю, плывут бесшумно, как время, и немного, кажется, задумчиво.

— А я, брат,— потихоньку, как будто передавая секрет, большой и опасный, вдруг после долгого молчания заговорил губернатор,— вот теперь подолгу сижу здесь у окна и вспоминаю, как вы, детьми, бегали тут и мешали мне. А там, в зале, кто-то играет полонез из «Миньон». Играет, понимаешь, а сам, видно, тревожится, ждет чего-то,— важного письма, например. Сыграет тактов пятнадцать, дойдет до трудного места — и опять сначала. И, брат, становится обидно...

Ярнов удивленно посмотрел на него.

— Чего же вам обидно? — спросил он.

Так сразу стало ясно, что губернатор — теперь больной, одинокий старик, хилый и беспомощный, и уже не пройти ему больше по соборной площади перед войсками, уже не прокричать ему после молебна широкого, громкого и раскатистого приветствия, от которого загораются глаза и музыкантам хочется поскорее грянуть марш.

— А вот и сам не знаю,— ответил опять, словно по сек-

рету, губернатор,— и сам не знаю. Письма вот пишут мне. Вот покажу тебе, какие письма.

Тяжело, по-стариковски, схватившись сначала за ручки кресла, он поднялся, пошел к столу; из бокового выдвижного ящика достал несколько писем в белых конвертах, с круглыми почтовыми штемпелями и подал их Ярнову. Тот, повернувшись к свету, начал читать. Первое письмо начиналось так:

— Издыхаешь, собака?

Дальше шли ругательства и проклятия. Писали, видимо, чиновничьи руки. Это чувствовалось и в конструкции предложений, и в манере расставлять знаки препинания. Ярнов читал строки, в которых до ужаса, видимо, боялись обнаружить почерк, в которых сквозил отчаянный страх быть узнанным и в то же время — неудержимое желание крикнуть от дикого восторга, растоптать чужой труп, осквернить ненавистную могилу,— читал и улыбался. Потом переложил эти письма на окно и сказал:

— Ругают, а боятся. Почерки-то выворачивают. А когда вы умрете, то, вероятно, будут бояться вас и мертвого. И только писцы из губернского правления будут на пасху приходить к вам на могилу и христосоваться. Знаете, как христосуются с покойником? Два человека катают по могиле друг против друга крашеные яйца, и один говорит: «Христос воскрес», а другой отвечает: «Воистину воскрес». И так до трех раз. А потом выпьют водочки и красные скорлупки бросят вам на памятник.

Ярнов оживился и с легкой, насмешливой улыбкой разглядывал губернатора.

— А какая же вы, в сущности, собака? — спрашивал он.— Семью вы разогнали. Ну? Никто вас не любит. И сидите вы вот теперь в вашем штатском платье. И жилет у вас вон уже не совсем чистый. И еще два дня вы носить его будете. А губернатору в грязном жилете ходить в высшей степени неприлично. И нужно вам какую-нибудь Мистификацию Ивановну.

— Какую Мистификацию Ивановну? — удивился губернатор.

— А это я так прачек зову,— ответил Ярнов,— московская привычка. У меня была в Москве прачка, рябая баба. Так, бывало, радуется, когда ее назовешь Мистификацией Ивановной. «Вроде как,— скажет, бывало,— опера».

Губернатор поморщился, словно хотел рассердиться, но это чувство, видимо, не задержалось в нем; он притронулся к рукаву Ярнова и спросил:

— Слушай, Вася. Вот ты учился в университете, жил в Москве; скажи, пожалуйста, ты бывал у них на Никитской?

— Бывал,— ответил Ярнов.

Глаза губернатора блеснули. Быстрым, неожиданно сильным движением он придвинул кресло к Ярнову и со страшной жадностью скорее все узнать, все спросить о том, чем он не интересовался, о чем не думал целых одиннадцать лет, заговорил:

— Вот и отлично. Вот и отлично, что ты бывал у них. Ты, брат, прости, что я зову тебя на ты. Ну какой же ты для меня — вы? Ведь тебя еще вот такого пильзенским пивом поил. Ну, скажи же мне, как они там, в Москве-то, живут? На Никитской?

— Да что ж я вам скажу? — спросил Ярнов.

— Ну как что? — губернатор опять заволновался, опять двинул креслом так, что его колени коснулись Ярнова.— Как они там живут? Какая у них квартира? На Никитской?

— На Никитской,— ответил Ярнов, высоко поднимая брови и наморщивая лоб,— да что ж? Живут они хорошо; квартира у них небольшая, четыре, кажется, комнаты.— Ярнов подумал, мысленно сосчитал и сказал: — Ну да, четыре. Комнаты хорошие, просторные. Три женщины — три комнаты. Одна — общая: тут и столовая, и гостиная, и приемная. Тут и пианино стоит. Народ у них всякий бывает. У Кати жених есть, чиновник какой-то судейский, с законом на кокарде. Ну-с? Еще что? — и Ярнов припоминал.— Писатели к ним захаживают; сидится у них хорошо, уютно. Катя — красивая. Высокая такая, стройная. С карими глазами, умными такими, холодными. Хотела поступить на драматические курсы, но потом раздумала. Занимается фотографией.

Губернатору почему-то было приятно, что Катя умная и холодная и что на драматические курсы она не поступила.

— Ну а жена как? — торопливо спросил он, и голос его дрогнул: сейчас же стало ясно, что об этом не нужно было заводить речи. Он знал наверное, что тогда же, после отъезда из города, у ней все было кончено с любовником, помещиком Броцким. Броцкий приезжал в Москву; у них

произошло какое-то объяснение, после которого он уехал, а с тех пор, за все одиннадцать лет, ни разу там не показывался.

— Да что ж? — опять поднимая свои полукруглые, густые в начале и тонкие в конце брови, ответил Ярнов.— Живет...

— Постарела? — тихо спросил губернатор.

— Есть этот грех,— не сразу, с какой-то укоризной сказал Ярнов.— Голова поседела. И глаза у нее всегда печальные, не улыбающиеся.

— А красивая? — опять тихо спросил губернатор.— По-прежнему?

— Красивая... Высокая такая, стройная, строгое лицо,— похожа на французскую императрицу.

И сразу в душу вошло утомление. Ослабли и опустились напряженные руки. Медленные, круто и больно поворачивающиеся круги заходили в голове, и нужно было прислонить ее, чтобы легче дышалось, к верхушке кресла. Опять перед глазами заструился выходящий из земли густой серый туман, и хотелось, чтобы появились в комнате большие крылья и скорее разогнали его, чтобы опять можно было смотреть ясными глазами, чтобы скорее застыли в них постыдные, неожиданные слезинки,— и не было сил оттолкнуть назад, к окну, кресло.

«Высокая такая, стройная. Похожа на французскую императрицу,— бесконечно, как близкий звон, и беспрерывно звучало в ушах,— высокая такая, высокая такая... На императрицу.. На французскую императрицу...»

Чтобы отогнать от себя эти навязавшиеся слова, губернатор опять начал думать о том, как хорошо, что Катя не пошла в актрисы: сейчас же вспомнился целый ряд антрепренеров в смокингах, гордых актерских лиц, принужденных, бывало, идти в губернаторскую канцелярию и, краснея, еле слышными, лепечущими фразами просить восемнадцать рублей на выезд из города,— прекрасных, грустных, талантливых женщин, живших поневоле на содержании у купцов с корявыми лапами.

— Ну а Соня? — спросил губернатор через силу, чтобы не выдать охватившего его волнения, и когда открыл глаза, то увидел, что Ярнова в кресле уже нет, а ходит он гулкими, крупными шагами по кабинету, как-то странно раскачиваясь, согнувшись, заложив руки в карманы, и лицо у него,

все время холодное, спокойное, слегка ироническое, вдруг завяло, обвисло, и казалось, что щеки опустились, как легкие, колыхающиеся при движении мешки.

— Ну а Соня как? — повторил свой вопрос губернатор.

— Я уже сказал, как! — раздражительно ответил Ярнов.

Губернатору показалось странным это непонятное, сразу откуда-то появившееся раздражение, и он спросил:

— Чего ж ты сердишься?

— Я не сержусь,— более мягко и примирительно ответил Ярнов.

— А Соня — красивая?

— Красивая! — недовольно буркнул Ярнов.

— Карточку она мне свою недавно прислала. Как раз перед отъездом в Наугейм. Большая уже. Невеста. В длинном платье.

Губернатор поднялся с кресла, не сразу нашел в карманах ключи, подошел к столу и из того же ящика, из которого доставал чиновничьи письма, вынул кабинетную карточку, завернутую в прозрачный конверт.

— Вот посмотри-ка! — сказал он, протягивая Ярнову карточку.— Похожа?

— Похожа! — не глядя на портрет, опять недовольно буркнул тот.

«Что за черт! — подумал губернатор.— Чего он злится?» — И вдруг все стало ясно. Голубоглазая девушка. Длинноносый студент с угловатыми плечами. Частые встречи, уютные комнаты, кругом все полно женским обаянием.

«Эге! Вот оно что!» — подумал губернатор и опять, уже с затаенной мыслью проверить предположение, сказал:

— Да ты на карточку-то посмотри. Что ж ты, не глядя, говоришь — «похожа».

Ярнов досадливо сделал крутой поворот, мельком взглянул на портрет, который губернатор держал в руке на далеком расстоянии от глаз, и по-прежнему пробормотал:

— Похожа! Очень! Весьма!

Губернатор молча вложил карточку в конверт, опять спрятал ее в стол и щелкнул ключом.

Медленно, протяжно в надтреснутый, печальный колокол зазвонили к вечерне в армянской церкви,— там, где-то за бульваром. Это значило, что наступило пять часов. Скоро что-то дрогнет в воздухе, и начнет умирать день, миллионы лет ждавший своего рождения.

Ярнов собрался уходить и искал, в каком углу он поставил палку. Губернатор заволновался. Все время он чувствовал, что его охватывает какое-то не вполне уяснимое, но острое, захватывающее дух и мысль желание: оно приближалось к сердцу, сокращало его больные, нервные движения и мучило, и радовало, и волновало. Ярнов, беспокойно прищурив близорукие глаза, искал палку, и губернатор молил бога, чтобы она подальше куда-нибудь запропастилась. Что-то нужно было делать сейчас же, безотлагательно,— иначе все пропадет; о чем-то нужно было просить этого человека с серыми глазами, у которого, теперь ясно, что-то было с Соней: наверное, она не полюбила его.

— Ну, я пошел! — сурово сказал Ярнов и протянул руку.— Шестой час уже. До свидания, ваше превосходительство. Желаю вам...

И опять завертелись в голове медленные, круто поворачивающиеся круги, и опять потянулся удушливый, вяло, но густо поднимающийся туман, и как-то сами собой пошли мелкие, просительные слова, которых никогда, ни разу в жизни, не говорил и не произносил губернатор.

Ярнов сначала не разбирал его задыхающихся фраз, но потом, когда первое, самое острое волнение прошло, стало слышно, как просит старик:

— Напиши, что умираю, что скоро конец, что я ничего не прощаю себе, мучаюсь. Пусть придут сюда. Ты понимаешь меня? Пусть придут сюда, ко мне. Мне вот хочется, чтобы играли на рояли, а я бы издалека, вон оттуда, из сада, слушал. Я,— оживленно приближаясь к Ярнову, дыша ему в лицо, заговорил губернатор,— я в отставку подам, поедем в какое-нибудь имение,— знаешь? Такие бывают в Орловской, Тамбовской губернии. С садом, со старым домом. Поедем и ты с нами. И Жука прихватим, а?

Лились сами собой долгие, накопившиеся слова, поднимавшиеся с какого-то незнаемого, черного дна, и когда губернатор открыл глаза, то увидел, что он держит Ярнова за руку, а тот смотрит в окно, и серые, большие, прежде всего заметные в нем глаза думают.

— Напишешь? — спросил губернатор.

Ярнов еще помолчал; было видно, как глаза его за чем-то проследили на улице и медленно повернулись направо.

— Напишу! — тихо ответил он.

Губернатор выпустил его руку.

Когда Ярнов пошел и был уже в коридоре, губернатор что-то вспомнил, не ступая каблуками, перебежал по комнате и крикнул ему вслед:

— Скорее напиши!

Странно, отдаваясь эхом в гулких комнатах, прозвучали эти слова. Губернатор прислушался к далеким, уже замолкающим шагам. Они у всех и всегда исчезали одинаково: сначала громкие и отчетливые, потом стихающие в зале и еле слышные, совсем в один тупой, сплошной звук слившиеся в коридоре.

VI

В этот день приезжал еще вице-губернатор, молодой человек в белом жилете на слегка располневшем животе. Вице-губернатор делал все время вид, что очень рад приезду губернатора; говорил, заикаясь и глотая слова, о том, что без него ему по неопытности было трудно управлять губернией; передавал приветы от жены, а в глазах все время неотступно скользила и жадными блестками играла мысль: «Конечно, у жены — большие связи, и я выйду в люди; но как мне хочется этого поскорее! Ты уже стар, тебя за твою службу любят и ценят в Петербурге. Сам министр пишет тебе собственноручные письма и спрашивает советов. Если бы ты захотел, то давно бы управлял большой губернией и получал бы в год восемнадцать тысяч. Но ты стар, скоро умрешь, и тебя ничто уже не интересует. Помоги же мне. Дядюшка, заседающий в Совете, скажет свое слово, а ты скажи свое. Скажи, что я мастер управлять губерниями, что у меня — большой административный талант и опыт, и что по моим заслугам мне давно бы пора дать самостоятельную должность».

Вице-губернатор долго говорил о том, какие меры принимались за лето для предупреждения эпидемии; что в Ивановском уезде выяснился полный неурожай; звал в кинематограф «Рококо», где демонстрировались виды Сорренто.

— П-п-превосходные виды! — говорил вице-губернатор и от напряжения, с которым выговаривал трудное слово, краснел, конфузился и, чтобы не заикаться, ел из красной коробочки какие-то продолговатые, с печатными словами лепешки. Лепешки эти, которые он всегда носил в жилете, да-

вали ему возможность говорить некоторое время не заикаясь; тогда он подтрунивал над собою и рассказывал о каком-то профессоре, у которого ему пришлось учиться в университете.

— Я заикаюсь в начале слова, — говорил вице-губернатор, — а вот тот заикался в конце. Бывало, скажет фразу: «будем продолжать» и не остановится: «жать, жать, жать...»

Было приятно слушать рокочущий баритон вице-губернатора. Было приятно, что совсем не нужно стараться понимать его: пусть говорит. Было хорошо сидеть и думать о том, как прелестна земля и вечер, зеленый, уже умирающий бульвар. Шли думы о том, что если права религия, то душа после смерти будет три дня витать около тела, вот по этим комнатам, — будет она грустна, печальна и впервые увидит того человека, в котором жила столько лет. Душа человеческая всегда представляется в виде женщины, сотканной из матового, похожего на туман воздуха: глаза у нее большие, неуловимого цвета, и волосы длинные, густые и мягкие, рассыпаны по прекрасным плечам. После трех дней придут ангелы, возьмут ее под руки, поведут по мытарствам, и увидит она за сорок дней все грехи своей жизни, вольные и невольные. Потом поведут ее на поклонение к богу. Бог будет сидеть на престоле. Несомненно, он улыбается, когда к нему на поклонение приводят души людей, которым на земле очень хотелось быть губернаторами...

Часов около девяти, когда начала всходить луна и по городу — по крышам, церквам и тротуарам — поползли странные, осторожные, что-то замышляющие тени, губернатор взял Свирина и пошел с ним на гору, к кафедральному собору. Давно он слышал, что оттуда открывается чудесный вид на город, но все как-то, за всю жизнь, некогда было сходить и посмотреть, да и неловко, казалось, заниматься губернатору рассматриванием видов.

Потихоньку, чтобы не беспокоить сердца, шли они по бульвару. Бульвар был большой, в несколько расходящихся аллей, темный, пустынный. Город закрывал свои магазины, тушил огни, уходил в театры, кинематографы, а на бульвар сходились осторожные парочки, садились на низеньких скамьях, стараясь спрятаться от лунных пятен, шептались о любви и крепко, беззвучно целовались.

Чтобы попасть на гору, нужно было свернуть с бульвара и пройти мимо электрической станции. Остановились пред ее огромными, разделенными на квадраты крупных стекол, окнами. Станция была ярко и ровно освещена синеватым светом; блестели части машин, вертелись ремни, ухал расходившийся и, казалось, почему-то на черного медведя похожий мотор. Сидели двое рабочих в неподпоясанных блузах: один, опершись на руку и заломив голову вверх, спал, а другой, перегнув газету на восемь частей, читал и ел хлеб.

Пошли дальше, попали опять в темноту, спотыкались о какие-то камни, и тут заговорил Свирин, на этот раз уже сурово, тоном осуждения:

— Вот еще не могу я понять телефона! И как это так сделано,— ума не приложишь! Мне сказывали, что от телефона может у человека грызь приключиться.

Направо от тротуарчика, по которому они шли, был парк; в нем по весне бывает много соловьев; в нем, около каменной беседки, отравился нашатырным спиртом секретарь городской полиции, обвиненный в растрате. Налево, через широкую дорогу, помещалась и сама полиция. В одном окне, во втором этаже, горел свет, но никого не было видно. На каланче всегда, и днем, и ночью ходит дежурный солдат и посматривает на город. Затем начиналась широкая площадь, и в конце ее стоял белый, от луны издали кажущийся горбатым, собор.

На этой площади губернатор принимал парады в царские дни. Тянется, бывало, молебен, гнусавит что-то славянскими словами Герман, в своем круглом облачении похожий на позолоченную заряженную пушку; в высоком соборе с чугунными выпуклыми плитами вместо пола сыро, зябко,— и чувствуется, что там, на площади, ярко и тепло; собрались солдаты, лежат на траве блестящие трубы, в козлы составлены ружья.

Но вот затрезвонили,— все бросились на свои места: на левом фланге обвились на солдатских плечах, как змеи, огромные, к концу расширяющиеся геликоны; длинной шеренгой, как по линейке, развернулась человеческая ровная цепь; вытянулись около своих частей изящные офицеры; потеет, держа рапорт за поясом, толстый, перетянутый шелковым поясом, командир.

Хорошо тогда выйти из собора, прищуриться от теплого солнца и твердыми, начальническими шагами, натягивая

на руку узкую перчатку, чувствуя себя на глазах густой, привыкшей к будням толпы,— направиться к фронту, принять, не читая, рапорт от вытянувшегося по швам полковника, потом, со свитой позади, обойти линию и громко, с торжественными паузами выкрикнуть приветствие войскам.

Прогремит солдатский гортанный, слившийся в один неразборчивый звук, ответ, загремит всегда нетерпеливая музыка, сольется с ней бесконечный крик, раздастся теноровая команда на церемониальный марш: хорошо тогда вскочить в коляску, блеснуть на солнце бриллиантами орденов и на мягких, чуть слышно подпрыгивающих шинах, в пальто, небрежно накинутом на одно плечо, с оттопыривающимися эполетами,— поехать домой, обгоняя пестрые, облитые утренним еще солнцем, группы женщин, почтительных, низко кланяющихся людей, и слышать вслед:

— Губернатор! Губернатор!

Бывало, всегда жаль черного Германа, который в запертой карете, как в большой коробке, тихонько едет в свое роскошное, но угрюмое и молчаливое монастырское подворье.

Теперь по этой площади, часто видавшей его таким блестящим и нарядным, тихо, опасаясь за больное сердце, идет губернатор в штатском платье, которое делает его как будто ниже ростом. Сзади него осторожно шуршит тяжелыми сапогами тоже что-то вспоминающий, что-то сосредоточенно обдумывающий Свирин.

Когда подошли к собору близко, то он, освещенный с юга месяцем, перестал казаться горбатым и выглядел молодым и новым.

На лестнице колокольни, около сигнальной проволоки, сидел задремавший сторож.

Окна собора, высокие, византийские, заделанные узорчатой, кружками, решеткой, были так странно освещены, что казалось, оттуда, изнутри кто-то смотрит; пришла мысль, что если лунным предосенним вечером долго смотреть на тихую, молчаливую церковь, то можно поверить, неожиданно и легко, в божье бытие.

— Где же гора? — спросил губернатор.

— А вон там. Через ворота пройти,— ответил и указал прямо Свирин.

Пошли через ворота. Зашуршала суховатая трава. Что-то белое, как широкий столб, вырисовывалось на темном фоне.

Это было неожиданно и почему-то жутко. Губернатор остановился и, стыдясь своего внезапно явившегося волнения, спросил:

— А это что такое?

— Где? — спросил, тоже что-то разглядывая, Свирин.

— Да вон прямо, белое.

— Ах, это! — Свирин сразу догадался и объяснил: — Это памятник на могиле полковника Белогривова. Во время покорения Кавказа зарезан был. Туземцы, татарва, на сорок частей его рассекли и собакам бросили. Ну вот потом косточки собрали, привезли сюда,— он уроженец здешний,— похоронили вот здесь, на самом видном месте... Крест поставили.

— Крест? — с каким-то тревожным, внезапно родившимся чувством спросил губернатор и слегка отшатнулся назад.

Свирин в темноте не заметил того движения и спокойно пояснил:

— Ну да, крест. Самый обыкновенный. Рублей сто восемьдесят стоит.

— Рублей сто восемьдесят,— повторил механически губернатор.

— Не больше,— сказал Свирин,— мраморный он, но, по-моему, фальшивого мрамора. Жилка в нем не настоящая. Полковнику можно было бы и получше. Герой! На сорок частей расхватили. Св-волочь народ!

Дрожали ноги. Стоять было тяжело. Губернатор чувствовал, что он первый раз в жизни переживает это странное, о чем-то догадывающееся чувство. Откуда оно? Почему? Нельзя объяснить. Нужно было идти вперед, а ноги не двигались... Хорошо, что стояли в тени, которую давали широко свисавшие через каменный забор, тихо шелестящие сонные деревья.

— Крест...— вертелась в голове все время, как вода, ускользающая мысль,— крест...

— Подойдем туда? — своим ясным, грубоватым голосом спрашивал около самого уха Свирин.— Там скамеечка есть. Со спинкой.— И с улыбкой добавил: — Обыкновенно здесь возлюбленные ютятся. Как тараканы, смотришь, по вечеру сидят. Ну, а теперь время видное, луна,— ну, вот на бульвар пошли. Там пониже, потеплее... Люди-человеки!

Каким-то чудом сделала первый шаг правая нога, и, пока подошли к кресту, показалось, что прошли много

верст, самых утомительных. Хорошо было сесть на скамейку, правда, удобную, с отлогой спинкой. Можно сидеть не согнувшись, а откинувшись назад и смотреть прямо на торжественно освещенное небо, похожее на мантию царя, который хочет завоевать всю землю.

Губернатор сидел один: Свирин устроился где-то позади, у памятника, на ступеньках, и был не виден.

Невольно, сами собой, слились в одно целое, неразрывное два слова,— одиннадцать лет, никогда не теряя своей свежести, живущие в памяти, заполонившие ее одной думой,— два слова, робко, чуть слышно когда-то сказанные в сумерки,— сказанные туда, вниз, на тротуар, какому-то ожидающему человеку:

— На горе, у креста...

«Вот она, гора. А вот и крест»,— сами собой шептали губы.— «Вот она, гора. Вот он крест»,— тихо повторялись, как эхо, эти слова в мозгу, в сердце, во всем существе, во всех прожитых днях и ночах, во всех думах, во всем озлоблении, которое не уходило из души за эти одиннадцать лет. Создалась новая фраза,— горькая, вопрошающая, укалывающая, как жалом.

— Так, значит, здесь? На этой горе? У этого креста?..

И образ стройный, который вырастал перед закрытыми глазами, образ обаятельный, который так тогда обидел душу, образ, похожий на французскую императрицу, спокойно, как в ту последнюю ночь, одиннадцать лет тому назад, любуясь своим спокойствием и презрением, ответил:

— Да, здесь. Вот здесь. На горе, у креста...

Стала ясной и близкой истина,— вся, как в больших томах мудрости, заключающаяся в звучном, коротком, пятибуквенном слове.

Губернатор потихоньку открыл глаза и посмотрел вокруг себя: много справа и слева деревьев, сзади — крест и собор; прямо, шагов через двенадцать,— обрыв, вероятно, глубокий, потому что маленьким кажется там, внизу, расположившийся город.

Неизвестно почему, но сразу пришло в голову, что в то время, когда его жена ходила сюда на гору, к кресту, для свиданий с Броцким, тогда не было электрической станции, которую построили семь лет тому назад: на ее месте был в то время пустырь, заросший лопухами. Не было, вероятно, и этой скамейки: эта скамейка новая, крепкая, поставлен-

ная весной, в марте, когда везде в городе выставляют зимние рамы, привешивают у ворот скворечни, открывают к благовещению пчел, рыхлят в огородах землю...

Сделалось необходимо нужным, существенным убедиться в этом сейчас же.

— Свирин! — опять закрывая глаза, говорил губернатор.

— А? — слышится ответ.

— Поди сюда...

Зашуршала трава. Крякнув, поднялся Свирин, отряхнул, слышно, пыль с колен. Подошел. Стоит близко, ждет.

— Посмотри-ка,— сказал губернатор, стараясь быть небрежным.— Эта скамья, на которой я сижу, новая?

Свирин наклоняется, сопит, рассматривает скамью, хлопает ее ладонью, пробует покачать — и после тщательного, напряженного исследования недоумевающе отвечает:

— Новая! Совсем новая!

По тону, по голосу слышно, что он ни о чем не догадывается, и это радует. Радует, что человек во всем этом огромном, широком мире может, если захочет, остаться один, и никто, никакая власть, никакая сила не сможет заглянуть ему в душу. Свирин, например, стоит и старается узнать, почему задан этот вопрос,— сумеет ли догадаться, почему?

— Новая? — опять спрашивает губернатор.

— Но-овая! — с сознанием правоты отвечает опять Свирин.

— Больше ничего. Ладно. Иди,— говорит губернатор.

Свирин, видимо удивленный, идет на прежнее место, садится на ступеньку и закуривает. Слышно, как одну за одной портит он быстро вспыхивающие, на ветру гаснущие спички и с мешающей папиросой во рту, издали, не особенно разборчиво и нараспев, еще раз заявляет:

— Сосновая скамейка.

В голове его что-то, видимо, проносится, что-то вспоминается далекое и прожитое,— быть может, молодость, высокие российские леса, широкие реки, которых нет в этом крае,— и он, словно мечтая, как-то особенно выговаривая, какою-то теплою лаской поглаживая слово, как ребенка по головке, сказал еще раз:

— Из сосенки.

VII

Когда губернатор открыл глаза, луны уже не было, и только по небольшому кругу, мерцающему в темноте, как фосфорическое пятно, можно было видеть, что спряталась она в том месте, где были молоканские хутора.

Стало темно. Не было видно соседних деревьев, и только слышалось, как по-осеннему боязливо шуршит уже слабая, бессонная, больная листва. Небо висело над землей, как люстра, в которой, от края и до края, по случаю праздника загорелись все огни.

Темным, крупным куском чуть был виден обрыв горы, на которой сидел губернатор. Под обрывом внизу, как около высокой стены, расположился город, как лист конторской книги, разграфленный на длинные столбцы улиц ровными, огненными линиями то синеватых электрических, то желтеньких керосиновых, чуть мерцающих фонарей. На самом краю города, в восточной его стороне, совершенно отдельно от других, видны далекие, особенные огни вокзала. Можно проследить, как от них влево тянется невидная полоса рельс: как высокие, недосягаемые, спокойные сторожа, стоят по ее направлению цветные сигналы. Время такое: скоро пойдет почтовый поезд, повезут на север письма и людей. Если хорошо приглядеться к городу, то можно различить архиерейскую церковь, духовное училище, водокачку, дом купца Егорылина с чугунным медведем на крыше, темную ленту бульвара, спускающегося сверху до Семеновской площади.

В успокаивающуюся мысль снова тянется осторожный, легонько и незаметно вползающий вопрос:

— Вот скоро умру. Куда все это денется? Куда провалится?

Пятьдесят лет тому назад в корпусе был маленький кадетик, которого звали Арбузом. Этот кадетик любил, бывало, идти по коридору и орать во все горло:

— Кэскэсэ? Муркусэ?

Вспомнился почему-то он, толстый, краснощекий, которого в один час, перед рождеством, задушило крупом.

— Где он теперь, например? — подумал губернатор.

Около него умерло много людей; на Дунае он видел целые горы распластавшихся по земле, гниющих на солнце трупов, а вспомнился почему-то этот Арбуз, и звучит его

голос в ушах, как будто он сейчас вот над самым ухом орет свое: «Кэскэсэ-муркусэ...»

Шевелится около памятника и покашливает Свирин.

— Свирин! — говорит губернатор и наперед знает, что сейчас же, как неизменное эхо, последует обычный отклик:

— А?

— Свирин! — говорит губернатор.— Поди сюда, ближе.

Свирин кряхтит, поднимается, вероятно придерживаясь рукой за памятник, сбивает пыль с колен.

— Садись сюда! — говорит губернатор и показывает на скамью.

Свирин сел. Помолчали.

— Вот гляди,— сказал губернатор,— город видишь?

— Вижу,— отвечает Свирин.

— Правда, красиво? Наверху звезды, на земле — огни, дома, храмы.

— Красиво.

— И правда: вот хочется пойти к людям в этот красивый город и жить там тихо, покойно, безгрешно?

— Хочется,— отвечает Свирин.

— Ну а сколько зла в этом городе,— ты чувствуешь?

— Чувствую.

Ответы Свирина были спокойны и уверенны: видимо, те вопросы, которые задавал губернатор, не явились для него новостью; звучала у него в голосе любопытствующая нота, как бы спрашивающая: «Ну да, конечно. Все это так. Что же дальше?» При губернаторе Свирин не смел курить, сидел он на краешке скамьи, искоса поглядывая на грузную, тяжелую фигуру, наклонившуюся над тихо шумящим, как на медленном, к вечеру ослабевшем огне, городом.

Губернатор сидел и, положив голову на руки, смотрел вниз. Гора была высокая, крутая, и шум города: езда, крики, звонки, какие-то песни — долетали сюда глухим, все в себе слившим гулом.

Губернатор смотрел на город, и в образе отвлеченной, далекой силы сознавал в себе странную волнующую власть: захочет он — и многое изменится в этом широком, прилипшем к земле гнезде, в той жизни, которая за много лет наладилась в нем и идет привычным, одинаковым, редко изменяющимся чередом. Отдаст он завтра распоряжение,— и будут раньше потухать фонари, раньше затворятся и погасят свои цветные гирлянды кинематографы, и после ука-

занного им часа не заиграет уже музыка в садах. И послушаются люди, и будут исполнять его капризные, своевольные желания, и только молча, может быть, поропщут меж собой, тихонько посудачат люди, которых собрано здесь почти восемьдесят тысяч.

И еще думалось, что вот в эту звездную ночь где-нибудь в доме, в этом городе, лежит под парчовым покрывалом покойник, и читают над ним псалмы, в которых свое горе и свою радость описывает несколько тысяч лет тому назад живший еврей: и плачут над умершим человеком, и целуют теплыми поцелуями его уже разлагающуюся кожу. И есть, несомнено, дом в этом городе, где на кровати, в муках и стонах, корчится роженица и не помнит себя от радости, когда родит, ибо человек родился в мире.

«Ибо человек родился в мире!» — мысленно, про себя сказал губернатор и подивился значительности и музыкальности этих слов, и не мог вспомнить, где он их слышал или когда-то, давно, в какой-то книге прочитал.

— А можно ли исправить то зло, которое человек, родившись в мире, сделал на земле в свою жизнь? — спросил губернатор вслух, отвечая собственным мыслям и совсем забыв, что рядом с ним, на скамье, сидит молчаливый Свирин.

Было тихо кругом. Горели огни вверху, в небе. Горели огни внизу, на земле. Шла ночь. И вдруг губернатор услышал, как кто-то дает ответ на его вопрос:

— Нельзя.

Губернатор вздрогнул. Говорил Свирин. Губернатор взглянул на него: сидит он — темный, большой, и видно белеющее лицо, которое смотрит прямо перед собой, на восток, на вокзальные, квадратами положенные огни.

— Чего нельзя? — недоумевающе спросил губернатор.

— Нельзя исправить зло, которое человек сделал на земле, — еще раз повторил Свирин, — повторил, как истину, давно ему известную, продуманную и непререкаемую.

— Почему? — с возрастающим удивлением к этому тону, к манере так спокойно и уверенно говорить, спрашивал губернатор и, чтобы лучше в профиль видеть Свирина, передвинулся немного дальше от него.

Говорил человек, который больше тридцати лет живет около него, ухаживает за ним, ворчит о мундире, подает лекарство, бегает по базару, ищет у старьевщиков ржавых

гвоздей для ванны,— и теперь говорит твердо и уверенно о том, что для него, губернатора, отлично окончившего военную академию, является тяжким мучением и сомнением.

— Сил у человека нет на это,— решительно, как мысль давно обследованную, сказал Свирин,— бог и то не мог исправить зло, которое наделали люди на земле. Бог! Всемогущий! — и Свирин высоко поднял один палец.

— Как бог не мог исправить зла? — спрашивал, уже повернувшись к нему совсем, губернатор.

— Не мог, конечно! — спокойно и убежденно настаивал Свирин.— Потому что, если бы мог, зачем бы сына посылал на распятие? Ну? — и теперь уже Свирин повернулся к губернатору, и смотрели они друг на друга.

— Да откуда ты знаешь? — спрашивал губернатор.

— Писание читаю,— отвечал Свирин, стараясь, видимо, не упустить из головы правильно развивающуюся мысль,— а уж если бог не мог, то как же человеку мочь? Зло исправить нельзя. Его можно только искупить.

— Чем?

— Кровью.

— Да почему ты это знаешь? — снова допытывался губернатор.

— Говорю: Писание читаю. Ищу,— по-прежнему спокойно отвечал Свирин.

— Чего ищешь?

Свирин улыбнулся, помолчал, точно хотел подразнить молчанием. Блеснули в темноте его глаза. Конфузливо потер он свои сухие, шуршащие ладони, как-то застенчиво кашлянул и сказал:

— Ищу, почему нет счастья на земле.

Помолчал и губернатор и после молчания со странной, неизвестно откуда пришедшей надеждой спросил:

— И что же,— нашел?

Хотелось ему сделать свой вопрос слегка ироническим, и боялся он, что тогда Свирин обидится и ничего не скажет.

Свирин ответил не сразу. Видно было, как в темноте он улыбнулся, постучал пальцами о скамью, подумал. Раздался высокий свисток, и из-за стен кладбища, рассекая темноту тремя неподвижными, неморгающими глазами, вывернул почтовый поезд и, казалось, поплыл по глубокой, черной долине. Когда около Череповского бассейна он повернул направо, по направлению к казенной даче, и в последний

раз, как зверь хвостом, мелькнув, скрылся на крутом повороте цветной фонарик, Свирин тихо сказал:

— Нашел.

Помолчал губернатор еще. Было странно, что то огромное напряжение, которое жило в его душе все эти дни, повернулось к Свирину, который прячет почтовые квитанции около троицыной травы и digitalis называет «егетались».

— Но почему же, по-твоему, нет счастья на земле? — спросил губернатор.

Свирин усмехнулся.

— Очень просто! — словно кокетничая легкостью ответа, сказал он.— Бог не может слышать молитв человеческих.

— А почему бог не может слышать молитв человеческих?

— Почему? — снова прежним неизменившимся тоном, не обращая внимания на нотки недоверия и снисхождения, которые слышались в вопросе губернатора, переспросил Свирин.— Молитвы человеческие заглушаются стоном,— стоном большим, как огонь, как пламень,— вот такой большой! — И Свирин, показывая величину огня, взмахнул обеими руками вверх.

— Кто стонет? — тихо спросил губернатор.

И так же тихо, сделав паузу, ответил Свирин:

— Земля. Земля стонет.

Опять в голосе у него появились те ласковые ноты, с какими он говорил о сосне, и точно хотел приголубить и другие давно живущие в сердце слова, он сказал:

— Земля-матушка.

— Какая земля? — с удивлением спрашивал губернатор.

— А вот та, на которой стоят ноги ваши. Она стонет. По ночам, когда тухнут звезды. По ранним утрам, когда рождается роса. Надо послушать только. Надо уходить в поля. В леса. Подолгу сидеть около воды.

Свирин вдруг придвинулся близко к губернатору и, обдавая его запахом только что выкуренного табаку, добавил:

— Только вам одним могу сказать. Религии нет настоящей на земле. Религии. Нужно религию настоящую. Только в настоящей религии бог услышит людей. Только это секрет,— таинственно сказал, почти шепнул Свирин.— Вы — барин, бог для вас — что? А бог есть. Бог — это дело великое и истинное.

Снова, уже из-за дачи, вывернул поезд и тянулся, все

дальше и дальше уходя от города, вверх, волоча за собой красную маленькую, беспомощную точку фонаря. Когда замолк разговор, то чуть-чуть слышно было в тишине, как стучат то сильно, то тихо покорные колеса.

В соборе ударили часы, и здесь, вблизи у креста, чувствовалось, что колокол, в который звонят, висит высоко,— вероятно, на третьем, самом последнем этаже колокольни. Потихоньку растаяла и грустно расплылась в воздухе волна звука. Свирин, считавший удары, сказал:

— Одиннадцать,— и добавил: — пошел поездок. Повез письмецо. Сегодня письмецо в Тарусу загнул. Мужичку одному. Славный мужи-ик! — и протянул, опять, видимо, возвращаясь к своим только что высказанным мыслям: — Да-а. Такие дела,— и вдруг обычным, деловым тоном спросил: — А не пора ли нам, ваше превосходительство, час до дому сделать? А?

Губернатор знал, что «превосходительством» Свирин звал его только тогда, когда был настроен особенно нежно, и это его почему-то тронуло. Показалось, что Свирин заметил и видит ту тревогу, которая поднялась в душе его,— видит, сочувствует, но никогда не подаст виду, что знает, и никому не скажет.

— Два часика незаметно просидели,— заметил Свирин,— а то мга уже поднимается. Видите, туман вон там, в долине, где поезд шел? Это в народе называется — мга. В царстве Польском от нее на полях кресты ставят. Вредоносная она. Поднимется она и все съест: всю фрукту, всю овощь, все растения. Вредоносная.

Становилось сыро. В теле чувствовалось утомление. Пошли домой.

По-прежнему ухала электрическая станция, и опять казалось, что где-то в ней спрятан работающий черный медведь.

Рабочий, читавший газету, ушел, а тот, который спал, теперь сидел и, выпятив губы, внимательно обрезал себе ногти на левой руке.

VIII

Ярнов писал в Москву, и скоро, дней через шесть, на хорошей, с выпуклыми полосками бумаге пришел ответ,

что приехать не могут: собираются за границу, в Берлин, к брату-доктору. В Берлине жил брат жены губернатора, давно звал их к себе,— и теперь они, все трое, едут погостить.

Ярнов принес это письмо генералу. Тот дрожащей рукой вынул листок из неровно оторванного конверта, прочитал, посмотрел на обороте,— нет ли там чего-нибудь,— и отдал его обратно.

— Ну, что же делать? — сказал он.— Нельзя так нельзя. Что ж ты будешь делать?

Ярнов поговорил немного о Берлине, положил письмо в карман и ушел.

Начались дни тусклые и ленивые.

По утрам губернатор вставал рано и прямо с постели, босыми ногами, подходил к окну. Странно было затвердевшей на подошвах кожей ощущать холодноватый, скользкий пол, но было в то же время приятно наблюдать, как этот холодок идет по ногам вверх и, кажется, пробирается в душу. Наружные окна выходили на север, и потому перед домом, на тротуаре и на половине дороги в это время лежала, доставая до бульвара, коричневая полоса тени. Ранним утром бульвар, огромный и густой, дышал, как лес, густым, душистым дыханием. Сердце, успокоенное предрассветным сном, когда снится детство, билось ровно и плавно, как здоровое, и хорошо было думать, что можно, пожалуй, прожить еще до зимы, увидеть снег, закутаться от мороза теплым воротником, поехать к лесу на санях, выпить с холода греческого коньяку из бутылки с пятью звездочками.

Являлся Свирин и помогал одеваться. После ванны, которую насыщали каким-то газом, губернатор медленно и любовно надевал свой штатский костюм. Было большим наслаждением вставлять запонки в тугие, заглаженные петли крахмальной, твердой, шуршащей рубашки, завязывать галстук цветным атласным бантом.

Часто губернатор думал о том, что сказал бы он теперь, если бы очутился перед сотней молодых студентов? Вот он — старик. Скоро — смерть. Он вошел на вершину горы, с которой ясно уже ему, мудрому, должно быть видно, что такое жизнь и что такое смерть, что такое счастье и что — горе, что стоит человеческое наслаждение и какая цена страданию. Он должен все это ясно, как с горы долину, видеть и знать и должен точно и определенно обо всем этом

говорить. А что, на самом деле, он может сказать? Чему он может научить?

— Пустота! Пустота! — шепчет и горько улыбается губернатор.

Он очень полюбил смотреть на себя в большое, что висит в зале, зеркало и часто думал о том, как этот старик в штатском платье, похожий на профессора и стоящий теперь на фоне далеко отраженной комнаты, хотел, по приезде из Наугейма, бороться с блестящим генералом, от которого трепещет вся губерния. И казался ему этот профессор странно бледным, мертвым, а генерал с витым шнуром через плечо — живым, бодрым и ярким. И почему-то всегда вспоминалась одна поездка в Петербург.

Был май. Часа в четыре он поехал в Михайловский манеж на цветочную выставку, и это коротенькое время, прожитое случайно, неожиданно, среди чужой, незнаемой толпы, составило самое нежное впечатление жизни. Цветы прекрасные, временные звезды земли, тени звезд небесных говорили о жизни прекрасной, тайна и пути которой еще не разгаданы человеком,— о жизни, которая, страдая, молчит; говорили о какой-то встрече, которая могла бы быть у него на земле и, по странной случайности, прошла мимо...

В дверь уже стучались: приходил доктор Пепенко, говорил на «о» и, криво, на середину носа надев увеличительное пенсне, писал рецепты, которые Свирин сейчас же торопливо относил в Красную аптеку.

В девять часов утра губернатор сходил в нижний этаж, в свой служебный кабинет.

Два этажа дома соединялись меж собой внутренней деревянною лестницей, по которой губернатор любил ходить. Лестница была дубовая, с широкими, сделанными в виде лотка, перилами. Ступеней в ней было четырнадцать; когда по ним шел губернатор, то чувствовал, что они скользкие, крепкие, толстые и твердые, как камни. В его жизни случалось много неприятностей, но когда он, придерживаясь за перила с точеными, пузатыми колонками, медленно, спокойно сходил по этой лестнице, то, неизвестно почему, у него прежде всего являлась уверенность в своей правоте, силе и непоколебимости. В это время губернатор ясно видел, как живет его большой дом, в жизни которого он был главным, неоспоримым руководителем.

Наверху, в квартире, убирают из столовой отпитый

кофе и покрывают стол для завтрака — меняют скатерть. Стоят высокие, пустынные комнаты, в которых теперь деловито и уверенно хозяйничает Свирин...

Кипучая жизнь идет в нижнем этаже.

Работает канцелярия: пишут бумаги, заграничные паспорта, получают пакеты и расписываются в почтовых книгах. Правитель с кипой заготовленных, чисто, на хорошей скользкой бумаге переписанных рапортов, уже застегнувши и одернувши сюртук, ждет звонка из губернаторского кабинета. В приемной собрались: полицмейстер, кто-нибудь из губернского правления, присутствия, из управы, какой-нибудь поп,— всех, сидя за особым зеленым столом, записывает на особый лист красивый, изящный чиновник. Все они собрались, ждут звонка, разговаривают между собой о вчерашних новостях, и привычно в накуренной комнате шуршат обывательские слова. Красивому чиновнику скучно. Зевая, то и дело зажигая папиросу, он вяло пишет столбец знакомых фамилий и думает, что если тухнет папироса, то это — хороший признак: значит, кто-нибудь скучает по нем.

Вдруг тонким язычком затарахтел повешенный над дверью звонок. Прекратились сразу разговоры, оборвались думы: губернатор уже в кабинете. Является красивый чиновник и подает список лиц, явившихся на прием. Уходит, и, как столб, на смену ему идет с бумагами высокий, ровный, лысый, вчера несомненно пьянствующий правитель. Зашуршали листы, послышалась скрипучая речь, потянулись длинные, неумные соображения, ссылки на законы, циркуляры и секретные предписания.

Хочется, чтобы поскорее ушел этот человек, у которого не особенно чистые манжеты, разные запонки, сюртук с двумя болтающимися пуговицами. Губернатор всегда с нетерпением ждал полицмейстера.

Как делец, полицмейстер был плох и нерадив. Часто он не знал того, что обязан был знать, и не делал того, что должен был делать, но был в нем — в его спокойствии, в его черствости, в его невозмутимости — тонкий, красивый аристократизм, какая-то незаметно чувствующаяся пренебрежительность ко всему: к этим делам, бумагам, выговорам, угрозам, крикам.

Года два тому назад, неизвестно откуда и почему, явился на прием красивый офицер, штабс-капитан, вежливо отрекомендовался, заявил, что он на днях оставил полк и про-

сит места. Губернатор взял прошение, прочитал и почувствовал, что его влечет к этому человеку, что хочется поскорее исполнить его просьбу. Быстро были наведены все справки,— и он назначил его исправляющим должность полицмейстера. С тех пор каждое утро этот человек приезжал к нему и ровным, спокойным голосом докладывал об убийствах, пожарах, крупных кражах и о всем том, что замечательного случалось в городе в минувший день.

В театре, дней через десять, губернатор увидел его жену. Это был человек тоже молчаливый, красивый и тоже чем-то неуловимо к себе манящий. С самых первых дней приезда в город ее назвали цыганкой Азой, и это имя шло к ней, красиво и верно оттеняя какую-то часть ее души. Приходили эти два человека в театр, садились в ложу, смотрели на представление, в антрактах молчали, а потом, после конца, садились на извозчика и ехали домой,— и всегда было завидно, что вместе, в один дом поехали эти два красивых и странных человека.

Нельзя было уяснить себе: любили ли они друг друга или ненавидели и что связывает их между собою? И всегда казалось, что совершили они вместе какое-то страшное дело, теперь оно связывает их и, как к тачке, как цепью, приковывает друг к другу на всю жизнь: без ропота, без протеста, с покорностью нужно вместе сидеть в ложе, вместе ехать в один и тот же дом.

Во время доклада губернатор обыкновенно ничего не слушал. Он смотрел на полицмейстера и видел, что все в существе этого человека говорило: «ведь это чепуха, о чем я тебе делаю доклад. Есть вещи такие, от которых ты закричал бы, если бы узнал».

«Что же есть в тебе?» — думал губернатор, глядя на него, на красивое, холодное лицо. Он чувствовал, что никогда ему не приходилось видеть другого, так занимавшего и так тянувшего к себе человека. Когда губернатор был в Наугейме, то наступали такие моменты, когда являлось удивительное, необъяснимое желание увидеть их, этих людей,— мужа и жену,— увидеть сейчас, увидеть, как они молчат, как не смотрят друг на друга, как в половине двенадцатого едут домой: он с левой, она — с правой стороны.

Когда полицмейстер входил в кабинет, губернатор начинал ощущать легкое, неудержимое волнение. Начинал полицмейстер говорить, ничего не было слышно, было только

видно: вот стоит высокий человек с красивыми глазами, смотрит ими прямо, в упор, шевелит губами. Какое-то иное, другое существо вошло вместе с ним, стоит вот тут, неподалеку, около него, словно сторожит, и чувствуется это невидимое присутствие, неотвратимое и неизбежное. Полицмейстер кончил доклад.

— Как супруга ваша поживает? — предлагал губернатор всегда один и тот же неизменный вопрос и всегда ждал ответа необычного, удивительного.

— Благодарю вас,— всегда одинаково вежливо говорил полицмейстер, слегка кланяясь, и было видно, что дальнейшие вопросы не нужны, и ответил бы он на них уклончиво и неохотно.

Губернатор отвечал ему тоже легким поклоном, и это значило, что прием окончен. Полицмейстер откланивался, легко, по-военному поворачивался, шел к двери,— тогда губернатор невольно приподнимался и, с ясно ощущаемой дрожью, с желанием крикнуть и остановить эту широкую, изящную спину, чувствовал, как за полицмейстером тянется какая-то особая, мутная тень.

Губернатор не давал следующего звонка, останавливался у окна и ждал, чтобы посмотреть, как полицмейстер выйдет на подъезд, как подадут ему пролетку, как вытянется перед ним постовой стражник, как легко и свободно, колыхнувшись от первого движения лошади, он поедет по улице вверх.

Уезжал полицмейстер, и тогда длинной, однообразной вереницей входили в кабинет, что-то говорили и докладывали чиновники из правлений, управлений, присутствий, палат, управ и комиссий. Приходилось выслушивать их, отвечать,— и невольно, сама собой рождалась мысль:

«А что теперь делает полицмейстер? Хотелось бы в эту минуту быть около него, проследить, посмотреть, как он живет, как разговаривает с подчиненными, как принимает просителей, как курит, как ест».

Губернатор часто получал анонимные письма и верил им, что полицмейстер берет взятки. Письма эти он торопливо, нервно рвал на мелкие куски, чтобы нельзя было собрать их вновь, и бросал в корзину, а если горела печь, бросал в огонь и ждал, пока кусочки бумаги обратятся в черную, пепельную, завернувшуюся паутину.

IX

Полицейский двор, четырехугольный, большой, выстланный серыми известковыми плитами, весь залитый солнцем, был оживлен. У заднего фасада полицмейстерского дома стоял новый, изящный, ослепительно лакированный фаэтон. Дрянненькая, взятая случайно у извозчика лошадь, которая привезла этот фаэтон, была отправлена, и оглобли, длинные, выгнутые наружу, лежали на земле. Колеса фаэтона были туго и аккуратно обтянуты упругой, еще почти неезженной резиной, сиденье обито гладкой дерматоидовой кожей, место для ног заклеено ковровой, с вышитыми цветами материей. Все это, до последнего гвоздика, блестело, отливало солнечными щевелящимися пятнами и напоминало игрушку.

Около фаэтона ходили, лениво и завистливо осматривая его, несколько пожарных, пристав в серой дождевой накидке с погнувшимися погонами и какой-то черный, с резким голосом господин, высокий, одетый в модное, широкое внизу пальто и лакированные сапожки,— ходили, трогали сиденье, крылья, рессоры и ногтем давили шины.

— Харьковская работа! — сказал черный господин.— Из Харькова выписал.

— А сколько обошлось? — спросил пристав, и худое, насмешливое лицо его улыбнулось.

— Не говори, что молодость сгубила! — сказал черный господин и безнадежно махнул рукой.

— Ты ревностью отравлена моей? — в тон ему ответил пристав и засмеялся.

Кое-кто из пожарных, слышавших этот разговор, тоже ухмыльнулся. У всех было такое выражение лица, как будто все знали, в чем заключается дело.

Против полицмейстерского дома, на противоположной стороне, в длинном, низком сарае с растворенными дверьми-воротами стояли, каждая в отдельной загородке, пожарные лошади, здоровые, красивые, с подрагивающими спинами; в другой половине — зеленые бочки на дрогах, всегда готовых к быстрой упряжке. По третьей стороне двора тянулись казармы с желтыми окнами, по четвертой, лицом к площади, стояла полиция с пожарной каланчой.

Полиция была двухэтажная; в верхнем этаже — канцелярия с обычным разделением комнат, писцами, пишущими

машинами, деревянными шкафами, серыми и раскрашенными портретами, дежурными комнатами; внизу — казармы для городовых и камеры для арестов. Камер этих было несколько. Одна большая, просторная, с нарами, как на сельских постоялых дворах, называлась «вытрезвительной» и еще почему-то — «фельдмаршальской». Сюда свозили пьяных; здесь кипела жизнь, слышался храп, и пассажиров, как называли арестованных, всегда бывало много.

Кроме большой комнаты, было еще три отдельных камеры: успокоительная, нравоучительная и вразумительная. Вразумительная была страшна необычайным обилием всегда голодных, тощих, сухих, медленно ползающих клопов. Стен и потолка здесь никогда умышленно не белили, полов не мыли и клопов не истребляли. В этой комнате нельзя было ни лежать, ни сидеть; но и к стоявшему человеку клопы, сколько их ни дави, ползли медленными, густыми полчищами, лезли по сапогам и добирались до тела. Если человек их давил, то распространялось зловоние, от которого кружилась голова и начиналась рвота.

При управлении находилось пятнадцать городовых, которые постоянно менялись, потому что жалованье получали маленькое и жить было трудно. Во главе их стояло двое «старших», служивших уже лет по двадцати, опытных, до точности знавших хитрую полицейскую службу.

Один из них — маленький, щупленький, с истощенным лицом схимника, и на самом деле очень богомольный, говевший по три раза в год, назывался Хорьком. У него было странное лицо, все выбритое,— сбривал он даже брови. Было известно, что для уничтожения волос на лице он употреблял специальную помаду, но помада помогала мало, и бриться все-таки приходилось. Специальностью Хорька, любимым делом было переодевание: он хорошо, как актер, умел приклеивать усы и бороду, надевал парики, великолепно, без промахов налаживал засады в канавах, накрывал трактирную торговлю в незаконный час или запрещенную игру на биллиарде — в «ботифон» или «пачко», и в революционное время был знаменит и страшен, как разведчик всяких собраний, сходок и массовок. Делал он все это хитро, неслышно, осторожно, любовно, ползком, и, когда дело кончалось успехом, Хорек искренно, радостно сиял и ставил богу свечку, перевитую золотом.

Другого звали Пыповым. Был он человеком большой

силы, толстый, плечистый. Когда в город приезжал цирк и, для поправления сборов, устраивал французскую борьбу, Пыпов записывался в кассе и выступал на спор с профессиональными чемпионами в медалях и поясах, нередко ломал им кости, прикладывал к земле с неумолимой настойчивостью и получал призы, которые требовал сейчас же, не уходя с арены. Пыпова посылали арестовывать буйных пьяных. Пыпов приходил, упрашивал, и если пьяный на речи не поддавался, Пыпов брал его за талию, поднимал, всовывал под мышку и, натужась, покраснев от напряжения, наваливал его, как колоду, на дрожки. Если пьяный смирялся, то Пыпов чувствовал к нему нежность: приехав в полицию, любовно забирал его с дрожек, нес в большую фельдмаршальскую комнату, аккуратно клал на нары и приговаривал:

— Приехали, господин пассажир! Ваш билет пожалуйте предъявить!

И все смеялись.

Если же пьяный на дрогах не успокаивался, а ругался, пытался вырваться от Пыпова или ударить его, то спокойствие не уходило от городового: только темнели, становились почти черными, серые спокойные глаза его, да рука крепче прижимала арестованного, чтобы не упал.

В полиции он помещал его в одиночку, сам запирал дверь и заявлял дежурному чиновнику:

— Буен очень. Безобразить будет в фельдмаршальской. Взбаламутит всех.

Часа через три, когда темнело, когда пьяный мог уже несколько выспаться и отрезветь, Пыпов шел к нему на «беседу», будил его и начинал разговор:

— Ну вот, боярин. С добрым утром! Хорошие ли сны видели? Пуховичок бочков вам не намял ли? Может, и теперь еще на гулянках подраться вздумаете? А?

Не разозлившись, Пыпов бить не мог или бил, как он сам говорил, неаккуратно, без удовольствия,— и поэтому долго, сидя перед арестованным, разжигал себя.

Пыпов был человек совершенно одинокий, но когда у него отдыхала душа, в тихую, например, зорю, вечерами, когда приходила теплая ночь и спать можно было на дворе, на крыше,— он мечтал о семье, о женской любви, о чистых комнатах, о детях, из которых вышли бы хорошие люди, и о своих думах, как о действительности, говорил арестанту:

— Вот видишь. Ты меня дорогой ударил,— так? Сознаешь? А знаешь ли ты, что я три раны имею? Что я своему государю кавалер? Что я в боях за церкву и отечеству кровь проливал? Может, милостивый государь, желаете посмотреть?

Никаких ран у Пыпова не было, в солдатах он никогда не служил, но геройство на войне всегда снилось ему; он расстегивал рубаху и нащупывал там тело:

— Вон они, ранушки... Вот одна, вот другая, вот на спине, около лопатки, третья. Которую рукой нельзя достать. А одну, брат, так и не вынули, так, окаянная, и застряла. Доктора диву дались, как это я вынести мог. И теперь: как вот сырая погода, так у меня ревматик начинается.— Пыпов старался из-за спины, сзади, нащупать это место.

— А знаете ли вы,— продолжал он,— господин боярин, милостивый вы государь, что я хоть и городовой, хоть, скажете вы, и хам, и холуй, и мурло, и селедка, и фараон треклятый,— а знаете ли вы, что у меня есть дочь-невеста, красавица, тонкая, нежная, деликатная? А знаете ли вы, что сватается к ней, вот второй год уже, человек — полковник, сто восемьдесят рубликов в месяц получает, и теперь, еще до венца, папашей меня зовет? Значит, как по-вашему: могу я выходить почтенным человеком или нет? И можно ли меня такой поганой рукой, как ваша, по морде, скажем, бить?

Пыпов замолкал и смотрел, какое действие производят его слова. Пьяный начинал понемногу приходить в себя, осматриваться кругом, чесать затылок и разглядывать: кто это перед ним сидит и о чем он говорит?

— А вы меня ведь били при людях, и я горел от стыда и смотрел по сторонам: не идет ли будущий зятек-полковник, не посматривает ли он по сторонам — и вдруг видит: тестя его будущего, нареченного, какой-то неизвестный человек в штатской жилетке — и вдруг его по мордасам бьет. Каково было бы смотреть на это благородному человеку? И за что бьет? За то, что тот, по разуму своему, честно и благородно свою службу исполняет, а?

Серые круглые глаза Пыпова начинали темнеть, начинали вздрагивать его густые каштановые брови, чуть подергивался крутой бритый подбородок.

— И, увидя такое с вашей стороны поведение, пожалуй, не пришел бы он в мою квартирку вечерком чайку попить! Не пришел бы!

В голосе Пыпова чувствовались зловещие нотки...

— А, пожалуй,— продолжал он, прислал бы он с маленьким мальчиком записочку и написал бы в ней карандашиком: так и так, мол, милый папаша. И вас я люблю, и дочь вашу, Катюшу, паче спасения жизни моей люблю, но так и так, папаша. Сегодня я шел по улице и видел, как неизвестного звания человек бил вас по физиономии вашей, и вы терпели, и люди, стоящие округою, смеялись и поносились над вами. И если я, милый папаша, перед господом и творцом отдал бы вашей нежно любящей дочери свою благородную руку и сердце, то товарищи не потерпели бы меня в своем кругу, так как родитель возлюбленный жены моей был бит на улице, при всех, человеком звания неизвестного. Как вы думаете, господин пассажир,— поднимая голос, спрашивал Пыпов,— не заплачет ли дочь моя невинная от такого удара? И не заплачу ли я сам, старый, раненый человек? А за что же вы меня ударили? Разве я вас не просил? Разве я вас не умолял? Разве, ты думаешь, мне с тобой, прохвостом, возиться — удовольствие большое? Разве я не подневольный человек? А? Тебя спрашиваю или нет?

И Пыпов все больше и ближе надвигается на человека. Но это еще не все. Еще не совсем разгорелась душа. Пыпов сдерживает себя и долго, плавно, заученными словами говорит о сыне, студенте третьего университета, говорит о том, как профессора пишут ему письма, если он уезжает на каникулы домой. От сына Пыпов переходил к белому генералу, который со слезами на глазах целовал его при всем войске, называл спасителем родины и храбрейшим солдатом, показывал раны и уже начинал испытывать приступы нужного бешенства.

— И ты — такая, можно сказать, стерва,— уже шипел он,— грызь паршивая, осмелилась ругать меня? Осмелилась руку свою поганую поднять? На улице? При людях?

Пыпов медленно, отставивши сжатые кулаки назад, наступал на человека и потом вдруг, когда кровь, так долго волновавшаяся, закипала, начинала ходить тепло и весело, и пальцы уже судорожно, до боли впивались в ладонь, Пыпов размахивался, приноравливал силу по особому «исаевскому рецепту»,— и первый удар приходился по лицу, и падал переставший дышать от страха человек на землю, раздавался странный, короткий звук.

Хрк...

Пыпов наваливался на темную тушу, подминал ее под себя и начинал бить. Бил он жестоко, но умно и осторожно: после его боя на теле не оставалось следов, и доктора не выдавали медицинских свидетельств, но случалось, что человек выходил из полиции, хирел, ходил, как горбатый, согнувшись, и потом, месяца через три, умирал, кашляя кровью.

Когда туша переставала взмахивать руками и замолкала, Пыпов приходил в себя, поднимался, тяжело дыша, с пола, оправлял на себе сюртук, приглаживал дрожащими руками волосы по обеим сторонам головы, выходил из камеры, снова запирал ее на ключ и говорил сам себе:

— Побаловался.

Потом шел в казармы, принимал на воде тридцать три капли из коричневого пузырька, ложился на кровать и снова уже не мог прогнать дум о девушке-дочери, глаза которой похожи на цветы, о зяте, благородном полковнике, о сыне-студенте в толстых золотых очках; думал о чистом маленьком домике, с крашеными полами, с изразцовой печкой, с висячей лампой, с горящими лампадами в святых углах, с благословенным хлебом после всенощной под годовой праздник,— думал, и становилось ему жаль самого себя, жаль жизни, которая у него не сложилась, как у хороших людей. Нужно было кого-то ругать, кого-то упрекать, и прежде всего самого себя,— и Пыпов, ощущая на лице теплые солоноватые капли, толкал в подушку опять судорожно сжавшимся кулаком и, стиснув зубы, приговаривал за каждым ударом:

— Хам ты, холуй, мурло, селедка несчастная, фараон бесштанный! Так тебе и надо!

Запивал он редко, с каждым годом все реже и реже: на рождество, на пасху, в осеннюю ярмарку. Когда же напивался, когда красным, как свекла, делалось лицо, когда в туманную голову лезли воспоминания, Пыпов загибал палец за пальцем и говорил:

— Зайцева убил. Учителя Емельянова убил. Поляка Пташицкого, псякрю, убил. По закону убивал. По правде. Следовало их, иуд, прохвостов! И на страшном суде, перед господом богом, за эту паршь отвечать не буду. А хорошего человека,— и Пыпов высоко поднимал не разгибающийся прямо палец,— никогда в жизни своей ногтем не тронул. И не позволю! И не позволю!

X

Жизнь в полиции начиналась рано. Первым на дрожках приезжал помощник полицмейстера Крыжин, сильно со лба облысевший, здоровый, толстоносый человек. Он заведовал канцелярией и был грозой Шульмана,— маленького, тихонького, с кучерявыми промасленными волосиками выкреста, отставного, выгнанного из полка ротмистра и прочей канцелярской мелкоты. В полиции выдавались виды на жительство, отсрочки, паспорта; через полицию велась огромная переписка со всеми ведомствами, вручались судебные повестки; в полиции происходили разного рода явки и регистрации проституток. Приходили за разрешением афиш антрепренеры, хироманты, отгадыватели мыслей, шпагоглотатели, короли огня и черной магии. Являлись девушки за получением желтых билетов. Являлись они часто, большей частью еще робкие, в платочке, у щеки забранном внутрь, принаряженные, с ярким, то и дело меняющимся на бледность румянцем, иногда для храбрости выпившие.

Если девушка была хорошенькая, если под одеждой чувствовалось молодое, только что тронутое тело, у Крыжина загорались глаза, пересыхало в горле, он переставал понимать самые ясные, напечатанные на ремингтоне бумаги, сурово из-под рыжих, торчащих бровей взглядывал на нее и отрывисто, внутренне задыхаясь, говорил:

— Подождать!

Девушка опять выходила на площадку лестницы и, глядя на пожарный двор, ждала, ждала все утро, когда посетители будут приняты, когда бумаги, назначенные в этот день к отправлению, будут написаны и заклеены в длинные, печатные внутри, конверты; когда требования ведомств, полученные письменно и по телефону, будут удовлетворены; когда репортеры газет, расхаживающие здесь с видом привычных посетителей, получат сведения,— когда Крыжин совершенно освободится от всех обязанностей.

Когда все бывало окончено, когда Шульман и ротмистр, просунувши по очереди головы в полуоткрытую дверь, прощались и уходили в трактир «Русское хлебосольство»,— Крыжин шел в соседнюю с его кабинетом комнату, где были только стол да плохонькая шаткая кровать для дежурных чиновников, смотрел, пригнувшись, на свою лысину в маленькое, трехвершковое с косым стеклом зеркальце, при-

глаживал, плюнув на ладони, волосики с темени наперед, расправлял жесткие, никакому фиксатуару не поддающиеся усы и зычно кричал:

— Зови оставшуюся!

Отворялась половинка двери, и девушка не входила, а проскальзывала в комнату, становилась перед столом, заваленным книгами, бумагой и штемпелями в красных плоских коробочках.

— Вы что? — спрашивал Крыжин, не умея сдерживать не нужной ему, мешающей и в то же время притворной суровости.— Проституцией желаете заниматься?

Девушка чаще всего молчала: тогда в глазах у ней наливались слезы, пальцы рук сильнее начинали дрожать, и это молчание,— после некоторого со стороны Крыжина колебания и разглядывания еще свежего лица, только что налившейся груди, выбившихся из-под платочка волос,— истолковывалось как утвердительный ответ.

— Причина какая? — спрашивал Крыжин.

На этот вопрос почти никогда не отвечали, а если и отвечали, то только одним, насилу выдавленным из горла словом:

— Хочу!

— В заведение поступаете или думаете вольно? — спрашивал Крыжин.

Девушка отвечала.

— Дело ваше,— сказала мамаша! А только бы не советовал бы. Грязная история! — говорил Крыжин и решал, что совет дан, дело доброе сделано, совесть его чиста и перед службой, и перед людьми, и перед господом богом.

Он крякал, поворачивался к окну и долго думал, как бы полегче и игривее перевести разговор на другую тему, чтобы не было крика и грубости. Вспоминалась ему собственная жена,— маленькая, с раннего утра густо напудренная женщина, родившая пять больных, рахитичных ребят, которые высосали ее когда-то красивую грудь, блеск глаз, пышность волос, краску губ, упругость щек. Лезли в голову постоянные ссоры, ревность, упреки, просьбы в гимназии за старшего, и загоралась душа при мысли: «А что, если бы взять где-нибудь, на далекой улице, маленький домик, поселить в нем вот такую свежую, почти чистую девушку и по вечерам, когда все стихнет, когда откроются театры и уйдут Шульман и ротмистр,— ездить к ней: и любила бы она, и

целовала, и говорить бы с ней можно было обо всем, и, снявши мундир, полулежа, тихо наигрывать на гитаре с итальянскими струнами, петь старинные бурсацкие песни». Крыжин был из духовного звания, дошел до третьего класса, не преодолел супина, герундия и винительного с неопределенным и поступил на службу в полицию, отличился во время революции и теперь мечтал о полицмейстерстве. Он был уверен, что красивому, мало занимающемуся службой полицмейстеру долго не протянуть: мешают ему какие-то думы, какие-то часто приходящие по городской почте письма, видимо, анонимные, которые он нервно рвет на мелкие клочки и выбрасывает, как хлопья, в окно, на ветер. Крыжин вплотную, близко подходил к девушке, брал ее жесткими, холодноватыми пальцами за подбородок и, дыша ей в лицо табачным и от гниения зубов запахом, говорил:

— Миленькая, хорошенькая. Эх, много здесь идет вашего брата! Так билет тебе?

— Да,— отвечала девушка.

— Ну ладно,— снисходительно говорил Крыжин, встряхивая потускневшую портупею: — Иди теперь в эту комнату и жди...

Списывал с паспорта ее имя и фамилию в желтый, крупным курсивом с обеих сторон напечатанный бланк, ставил четкий номер, осторожно, с левой стороны, прикладывал фиолетовый с орлом штемпель и, неразборчиво выводя огромную букву К, расписывался. Когда все было готово, Крыжин опять приглаживал волосы и усы, вызывал на лице неестественную, кривую улыбку, долго к чему-то прислушивался и, дрожа телом, на цыпочках шел к девушке; если она сопротивлялась, громко шипел:

— Без р-разговоров! Таковская!

И когда все кончалось, когда рядом, в соборе, начинали в средний колокол звонить к вечерне, Крыжин вспоминал, что его ждут дома обедать, что может прибежать сюда чутьем узнающая ревнивая жена, тогда он наскоро одевался, ронял на пол запонки, левый сапог надевал на правую ногу, торопил девушку и совал ей в руки еще не смятый бланк. На лестнице ее ожидал злобно улыбающийся солдат и с криво, жадно к ее телу перекошенным лицом спрашивал:

— Проздравить можно? С вручением?

И когда девушка торопливо сбегала по деревянным, дрожащим, стоптанным ступенькам, он выругивал ее вслед длинной, как кнутом бьющей, бранью.

XI

Пожарные осматривали фаэтон, пробовали, наседая, рессоры, отворяли сделанные из шлифованных стекол дверцы фонарей. Пристав Ерема отвел черного господина в сторону и разговаривал с ним дружески и интимно. Этот господин имел странный вид: лицо у него было крупное, красивое, но неопрятное, хищное, жадное. В длинном галстуке, концы которого прикрывались жилетом, торчал плохо горящий камень, а белье было несвежее, мятое, с полосками желтого, высохшего пота по краям воротничка; на цепочке висело много тяжелых, грубоватой работы медальонов и брелоков в виде тигровых глаз, золотой ноги, миниатюрного бинокля. Вещи были все такие, в которых сразу видна дороговизна. Звали этого человека Яковом Бронштейном; были у него великолепные лошади, в городе он славился щедростью, на студенческих вечерах платил огромные деньги за билеты; но когда жертвовал на синагогу, там на его пожертвования устраивали только выгребные ямы.

— На этот раз тебе несдобровать! — говорил Ерема, завистливо ощупывая глазами торчащий из галстука Бронштейна бриллиант.

Глаза Бронштейна сразу сделались маленькими, забегали по двору, замелькали в них острые, трусливые искры.

— Попробую,— сказал он с акцентом,— авось. Черт на авосе ехал!

— Здорово кадило раздули! — говорил Ерема, шурша своим серым плащом, из-под которого выглядывал кусочек вдвое сложенного портфеля.— Того и гляди, в газетах ахнут. А тогда, господин общий тесть, шабаш!

— В газетах не ахнут...

— Уже? — и пристав Ерема потер палец о палец.

— Там уже,— успокоительно подтвердил Бронштейн и сделал умильное лицо.— Слушай, сто раз прошу тебя,— нежно сказал он,— не зови меня господином общим тестем. Ну что тебе сладко, что ли, если ты говоришь: господин общий тесть. Ну?

— Ну не буду,— примирительно ответил Ерема и с заботливостью спросил: — Теперь только сам, значит, остался?

— Только он.

— Подлабунься. Представься Алексеем, человеком божьим. Деньги ему нужны — во! — и пристав Ерема провел пальцем по шее.— Супруга-то,— и пристав незаметно подмигнул на окно полицмейстерского дома,— по сто монет за перо на шляпу платит. Вот ты и нюхни...

— Кроме фаэтона, сдачи буду давать с двух,— сказал Бронштейн.

— И великолепно! И великолепно! — словно сделав открытие, тоненьким голоском вдруг заговорил Ерема.— А если потребует сдачу с трех,— вали и с трех... Тебе что? Три ночи поторговал — и опять капитал на руках. Как из бездонной бочки деньгу ловишь...

— Да, три ночи! — укоризненно заметил Бронштейн.— Прошли, брат, те времена, когда за три ночи капитал собирали.

Пристав Ерема покосился на него, покачал головой и сказал:

— Рассказывайте азовские басни! Запускайте арапа! Мы отлично ваш странный характер знаем!

В это время во двор въехал полицмейстер. Кучер Ефрем, гордившийся тем, что на своем веку перевозил восемнадцать полицмейстеров, круто сдержал, откинувшись назад, пристяжку и острыми, наблюдательными глазами сразу оглядел всю компанию, собравшуюся во дворе. Пристав Ерема вытянулся во фронт, Бронштейн снял котелок и кланялся, блестя на солнце черными с проседью волосами.

Полицмейстер встал с пролетки и подошел к фаэтону. В сравнении с фаэтоном, блестящим, похожим на большую игрушку, пролетка, на которой он приехал, была жалкой и бедной. Глаза его слегка блеснули, когда провел он рукой по гладкой, холодноватой поверхности кожи. Молча, как и пожарные, потрогал он шины, надавил рессоры, качнул несколько раз кузов.

— Этот экипаж вы продаете? — после подробного осмотра спросил он, не глядя на Бронштейна.

— Точно так, этот! — не своим, а каким-то высоким, зазвеневшим голосом ответил тот, опять сбрасывая с головы котелок, и опять ветер прошелся по его роскошной, густой, седоватой гриве: не будь этих бриллиантов и одесских бре-

локов, про него можно было бы подумать, что он — скульптор, или художник, или музыкант.

— Тэкс-с! — сказал полицмейстер, подумал, сразу очень сильно покраснел и добавил: — Только больше пятисот ни копейки.

— Ваше высокородие! — взмолился Бронштейн и опять сделал маленькие, умильные глазки.— Как одну копейку, всего месяц тому назад, девятьсот колес отсчитал. Теперь проигрался в карты; жена со свету сжила... Ну вот и продаю.

— Ладно! — сказал полицмейстер.— Последнее слово мое — шестьсот. Как угодно. Если согласны, пожалуйте расписку писать. Не согласны,— от ворот есть поворот.

Бронштейн улыбнулся, беспомощно покорясь судьбе, развел руками и бормотал, идя в дом за полицмейстером:

— Не проиграйся,— не расстался бы... нужда...

В кабинете у полицмейстера было темно от спущенных штор. После яркого света темнело в глазах, и Бронштейн шел ощупью, боясь, как бы не натолкнуться и не разбить чего-нибудь.

Полицмейстер потянул шнурок, и, шурша пышными в несколько рядов складками, поднялась штора, и осветился боком к окну стоящий большой письменный стол, массивный мраморный прибор с одной только наполовину налитой чернильницей и целый ряд портретов грустной, с большими черными глазами женщины.

— Садитесь, берите перо и пишите,— сказал полицмейстер.

Бронштейн нерешительными движениями сел за стол, долго не знал, куда ему положить свой котелок, неумелой и, видимо, не часто пишущей рукой взял перо, несколько раз ткнул им в чернильницу, осмотрел кончик и осторожно, боясь капнуть, приблизил его к бумаге.

— И за оный фаэтон наличными получено,— диктовал ему, прогуливаясь по кабинету, полицмейстер.

Перо скрипело, брызгало, бумага как сукно на бильярде, рвалось. Бронштейн вертел головой то направо, то налево и писал, повторяя, как школьник за чистописанием:

— Полу-чено...

— Шестьсот рублей,— говорил полицмейстер.

— Шестьсот рублей,— повторял, громко кашляя, Бронштейн

— Прописью и цифрами напишите...

— Есть и прописью, и цифрами,— отзывался, как эхо, Бронштейн.

Когда было готово, полицмейстер прочитал расписку, высушил ее пропускной бумагой и сказал:

— Такой вы эффектный мужчина, Бронштейн, а ворону через ять пишете. Хоть бы самоучитель купили...

— На медные деньги учен, ваше высокоблагородие! — оправдывался Бронштейн, вздохнул несколько раз, сейчас же перешел в деловой тон и взялся за боковой карман. Бумажник, который он вынул, был красивый, шероховатой кожи, в углу его блестел крупный замысловатый вензель, такой же дорогой и блестящий, как все в Бронштейне.

Бронштейн выжидательно прищурил левый глаз и, глядя правым на полицмейстера, припоминал:

— За коляску следует мне шестьсот. Получено мною от вас две тысячи,— значит, сдачи вам следует тысячу четыреста...

Полицмейстер, повернувшись к окну, сказал:

— Не две, Бронштейн, а четыре. Вы забыли.

Бронштейн побледнел, пальцы его, с толстыми, плохо вычищенными, давно не обрезанными ногтями, затряслись.

— Ваше благородие! Две! — просительным тоном говорил он.

— Четыре! — настойчиво сказал полицмейстер, и грозные нотки зазвучали в его голосе.

— Ваше благородие! Три! Ну пусть будет три! — жалобным голосом просил Бронштейн.

С минуту не было ответа. Бронштейн стоял в наклоненной позе, смотрел на спину полицмейстера и ждал. Тот медленно повернулся от окна, холодно, в первый раз за все время взглянул на Бронштейна и сказал:

— Послушайте, вы! Вы здесь не на базаре и кошерную говядину не покупаете! Возьмите ваш фаэтон, вашу расписку и не поганьте моего дома... Слышите, вы? К черту!

Бронштейн согнулся, пожал плечами и с ласковой укоризной сказал:

— И зачем кричать, господин полицмейстер? Зачем кричать, когда я вспомнил, что действительно получил от вас не две, а четыре тысячи. Я теперь знаю, что сдачи вам нужно не тысячу четыреста, а три тысячи четыреста.

Бронштейн долго вздыхал, вынимал деньги, по нескольку раз пересчитывал их, перекладывая бумажки между пальцами, опять вздыхал и наконец сказал:

— Ну вот, на столе лежат уже три тысячи четыреста! Как будто человек не может забыть. Как будто в голове у него только одна дума. Как будто не ошибаются даже самые гениальные изобретатели... Господи боже мой!

Протянулось молчание: Бронштейн, все время беспокойно вздыхая, шевелил пальцами, пробовал, хорошо ли лежит бумажник в боковом кармане, топтался на одном месте, и так как полицмейстер к нему не поворачивался, то он робко сделал шаг вперед и спросил:

— И что же? Могу я надеяться? Недоразумение будет улажено? — спросил и застыл, согнувшись, глядя поднятыми глазами на снова повернувшуюся спину.

— Будет! — глухо послышалось от окна.

Бронштейн дрогнул лицом, еще ниже поклонился и, оборачиваясь, как бы чего не повалить, все кланяясь, шел к дверям.

Когда полицмейстер оглянулся — его уже не было.

XII

Через две комнаты, за стеной, заиграли на рояле. Полицмейстер прислушался: жена играла свою любимую вещь. Как волны в ясный полдень, беспрестанно набегающие друг за другом на берег, звуки быстро шли вверх, и, чуть там задержавшись, спускались немного медленнее, по той же гамме, потом вдруг смешивались, занимали каждый свое место, давали один широкий, тревожный аккорд, — и вдруг, не успокоясь, взлетали опять ввысь, еще дальше, и опять тою же дорогой, уже утомленно, словно в бессилии, спускались, опять сливались в аккорд, на этот раз звучащий тихою покорностью, — и сразу было видно, что музыка говорит о красивой человеческой грусти и о любви.

Полицмейстер поднял штору на другом окне, и в кабинете стало совсем светло, богато, уютно, — вошел сюда ясный, спокойный день позднего лета. Все исчезло: и деньги, и расписка, и Бронштейн. Осталась только одна душа, которой там, за двумя комнатами, не нужно было бы рождать этих взлетающих нот, не нужно бы травить в себе грусть, навалившуюся на жизнь тяжело, жестоко и упрямо.

Полицмейстер взял ручное зеркало, осмотрел свое лицо, достал из стола белую пуховку, как лебяжье перо, вытер ею лицо,— и потные, блестящие пятна на щеках исчезли, кожа стала матовой и оттеняла его черные брови и глубокие, усталые глаза. Он пошел в залу.

В широком утреннем капоте сидела за роялем жена: пальцы ее правой руки быстро перебегали, выделяясь на черных клавишах, а левая — твердо и уверенно брала волнующие и при каждом движении изменяющиеся аккорды.

Полицмейстер взял стул, подсел к ней, смотрел в нотный лист и, когда пьеса стала ослабевать, когда утомление почувствовалось в душе написавшего ее, когда и в левой руке, вместо аккордов, только тихо и лениво переплетались три-четыре басовые, мужские ноты,— наклонился к ней к уху и тихо сказал:

— Утром я говорил, что люблю тебя. Теперь, посмотри, солнце. Высоко и горячо. И душа моя просит тебя, твоих слов. И молит о них тебя. И любит тебя. Любит всю — милую, родную: эти волосы, эти плечи, эти руки.

Окончилась пьеса. Упали тонкие с голубыми, чуть намечающимися на коже жилками руки, повернулось к нему красивое когда-то, как светом, напоенное любовью лицо,— теперь холодное и скучающее, как осеннее утро, когда нет уже на земле цветов, на небе — синевы, а только скучно и монотонно собирается идти долгий, вялый, как старческие слезы, дождь.

— Я устал,— говорил полицмейстер,— я ни о чем не могу думать, кроме тебя. Ну, пойми же, пощади... Цыганка Аза... Прекрасная... Только на сцене бывают такие, как ты.

Женщина потянулась, хрупнули в сочленениях ее руки, на лице мелькнули холодные, острые линии, в глазах — враждебные, неумолимые точки, дрогнули в углах розовые губы,— и тихо, насмешливо прозвучали ее слова:

— Слушайте-послушайте,— сказала она,— тебе — тридцать пять лет. Семь лет я живу с тобой, как твоя жена. Знаю тебя, и ты знаешь меня. Поэтому — раз навсегда. Не говори ты о солнце и о том, что твоя душа просит меня. Я знаю, что эти слова ты вычитал у петербургских поэтов. У тебя это выходит и скучно, и вяло. Ты прежде всего — полицмейстер. И притом жестоко, как намекают в газетах, берешь взятки. Видишь?

Она встала, прошлась по комнате, сорвала сухие листья

с цветов, остановилась перед зеркалом и, поправляя назад волосы, увидела мужа в стекле и насмешливо добавила:

— Потом знаешь еще что? Брось ты привычку пудриться. Ну посуди сам: какой полицмейстер в Российской империи, кроме тебя, пудрился когда-нибудь или пудрится теперь? Ты и так красив. Уверяю тебя. Правду говорю.

Полицмейстер ушел в кабинет, присел к столу и потянул к себе какое-то дело. Дело было свежее, новое: попадались какие-то неизвестные имена, говорилось о каком-то скандале, который учинил в саду Пегриева помощник пристава Яичко. Выходило так, что нужно было вызвать и допросить околоточного Еровского, какого-то Николая Ермилова и бакалейного купца Ларионова.

В зале опять заиграл рояль,— и как-то сразу, ясно почувствовалось, что над жизнью, молодой и здоровой, нависает несчастье. Было беспокойно, тоскливо и мутно до озноба.

Скоро пообедали; прислуживал Назар. Не было боржома, и это рассердило полицмейстера. Жена молчала, и все время казалось, что у ней не идут из головы мотивы пьес, игранных в полдень, и как-то особенно тревожно направляют ее мысль.

После обеда полицмейстер, не снимая мундира, прилег отдохнуть, но сон не шел, и он услышал, как в четыре часа по соседству, в соборе, тоскливо зазвонили к вечерне; на дворе побренчали колокольчиками пожарные лошади и куда-то поехали: вероятно, поливать улицу перед губернаторским домом.

Когда спала жара, полицмейстер велел запрячь лошадей в новый фаэтон, сам помогал Ефрему надевать чересседельники и ждал, когда на пороге крыльца появится жена. И когда вышла она в большой шляпе с пышными, развевающимися, черными перьями,— опять заныла душа, и большим счастьем было то, что он, как и прежде, сел около нее, обнял ее за талию и снова почувствовал ее как свою жену.

Новый фаэтон катился мягко; сухо шуршали твердые свежие шины, и казалось, что едешь по переменившимся, похорошевшим улицам. Полицмейстер отвечал на поклоны, прикладывая руку к козырьку.

Поехали далеко, к кругленькому лесу, и там на большой зеленой поляне казалось, что вечер наступит здесь не так скоро, как в городе: лес еще не хотел тьмы, и она, неже-

ланная, не шла к нему. А над городом, над его колокольнями, домами и площадями высоко, круглым шатром повисали уже сумерки, медленно спускались вниз и шли, неотвратимые. Когда вернулись назад, и утомленные кони, скользя подковами, тихо шли по камням улиц, то кое-где в окнах мелькали огни, а перед госпиталями зажглись керосино-калильные, шипящие фонари.

— Я сегодня иду на симфонический концерт,— сказала цыганка Аза, в сумерках опять далекая, чужая, враждебная.

— В клуб? — зачем-то спросил полицмейстер, хотя знал, что симфонический оркестр играет только в клубе.

— Ну да, в клуб,— подумав, вероятно, об этом же, ответила она.

Когда приехали домой, уже стемнело. Ефрем снял свой кафтан, лакированную шляпу, надел старый картуз с потрескавшимся козырьком и пошел водить лошадей по площади.

Полицмейстер пошел к губернатору, который мог от скуки собраться в театр, а Аза, когда осталась одна, торопливо спустила на всех окнах шторы, зажгла две свечи, села близко к зеркалу, осветив лицо с обеих сторон, посмотрела на себя и улыбнулась своим каким-то хитрым и, видимо, любимым мыслям.

Пошла она в клуб пешком. Около дома было пустынно и тихо; было видно небо, постепенно рождающее звезды; но когда она подошла к бульвару,— послышался шум города, освещенного цепью высоких матовых фонарей, и блеснула своими огромными полукруглыми окнами электрическая станция. Было приятно подойти к окошечку кассы, стать в очередь, купить за сорок пять копеек синенький билет и программу, предъявить его контролеру — толстому, очень красивому армянину.

Народу было еще мало, и на эстраде, около вторых скрипок, устанавливали, проверяя акустику, вызолоченную арфу. В глубине сада виднелось здание клуба с разноцветной, изнутри освещенной розеткой над входом, с широкой, идущей кругом террасой, на которой были расставлены еще не занятые зеленые столы со спускающимися к ним с потолка колпаками.

Предъявив билет, Аза пошла по узкой аллее направо, к пруду, и видела, как с темной скамьи поднялся и пошел

к ней навстречу высокий мужской силуэт, и скоро услышала горячие, обжигающие слова:

— Так долго... Ну разве можно? Ну разве можно?

И на тугую кожу перчатки сыпались горячие, острые поцелуи.

— Кататься ездила,— оправдывалась Аза и, когда сели на темную скамью около решетки, загораживающей пруд, шепотом спросила: — Любишь? Ну, говори: любишь?

— А ты?

— Я? — и Аза, не сдерживая волнения, усмехнулась, закрыв глаза, долго о чем-то думала, что-то взвешивала и потом, отвечая своим мыслям, решительно сказала: — Знаю. А люблю! Люблю!

Низко наклонившись, он целовал ее руки в затянутых перчатках и говорил:

— Милая Аза. Желанная! Зачем ты поехала сюда? Катались бы мы теперь с тобой на реке, сидели бы на лужайке. Помнишь нашу землянку?

И то, что здесь же, мимо пруда прошли под ручку и посмотрели на них две девочки,— вероятно, гимназистки,— не принесло им ни тревоги, ни испуга.

Далеко, как искусная декорация, сквозь густые, очень высокие деревья была видна освещенная рядом спускающихся лампочек эстрада в форме раковины; музыканты в черных сюртуках, настраивающие свои инструменты; публика, старающаяся занять передние места; лакеи, под деревом накрывающие для заказанного ужина стол и, видимо, спорящие, как нужно расставить две вазы свежих осенних роз.

— Сегодня в первом отделении играют Калинникова,— сказал он, вставая,— первую симфонию. А во втором — увертюру к «Тангейзеру». Идем слушать.

Она притянула его снова на скамью и ответила:

— Нет, не идем. Может явиться мое сокровище. Тогда разговоров и расспросов не оберешься. Посидим здесь...

— Посидим здесь,— согласился он.

От пруда потягивало сыростью; слышно было, как высокою струей бил фонтан. Ровно в половине девятого заиграли первую симфонию. Дирижер был, видимо, неспокоен и все время следил за духовыми.

XIII

Неожиданно пришло маленькое письмецо от Сони. Строчками, спускающимися направо, она писала:

«Милый папочка! Очень прошу, позволь мне приехать к тебе. Мне не хочется ехать в Германию: я плохо знаю немецкий язык, мне будет там скучно. Меня очень потянуло к тебе, и хотя про тебя говорят, что ты — суровый и нелюдимый губернатор, но мне ты представляешься маленьким седеньким старичком, похожим на Гончарова. И кажется мне, что ты очень любишь играть в шашки. Я мало помню тебя. Если разрешишь,— приеду к тебе надолго».

Губернатор засуетился, первое время не знал, что нужно делать, и была в голове только одна мысль: как бы не опоздать. Вся опасность заключалась в том, что можно опоздать. Он начал писать телеграммы в Москву, внезапно забыл адрес, испортил три бланка и послал Свирина разыскать Ярнова. Свирин ушел, и только тогда губернатор немного успокоился, сел в кресло и начал думать о том, что скоро в этих комнатах будет жить девушка, которая считается его дочерью; с ней можно будет гулять под руку. Почему-то первою ему нарисовалась картина, как он, старик, согнувшись, с палочкой, ползет по тротуару, а с ним рядом идет высокая, прекрасная, гордая девушка,— удивление улицы,— держит его под руку и указывает путь. Он отомкнет рояль, и вечерами, когда еще не зажгут огня, Соня будет играть грустные, говорящие о прожитой жизни сонаты.

Губернатор выбрал для Сони самую лучшую, самую уютную комнату в доме. Окна ее выходили в сад.

Губернаторский дом был куплен городом у князей Касаткиных, когда последний князь разорился на актрисе Лежан. Сад был старый, дворянский, и около комнаты, назначенной для Сони, росли высокие липы.

Для уборки комнаты позвали маляров, штукатуров и обойщиков. Губернатор радовался, когда эта грязная, вся испятнанная братия шмыгала мимо него с ведрами, с какими-то острыми, скипидаром пахнущими красками, с неуклюжими, выщипанными щетками. Что-то делали со стенами, полом, потолком; в окнах переменяли стекла: вставляли толстые, прозрачные.

Губернатор часами следил за отделкой комнаты, съездил к Вейне, купил там белую мебель; кровать заставили ширмами, на которых были вышиты золотые птицы с длинными носами; на комод поставили туалетное зеркало с хрустальными винтами по углам, каких-то смешных, японской работы, слонов с поднятыми хоботами, флаконы берлинских духов, а между окон, в простенке, устроили маленький письменный стол с синим выглаженным сукном.

За это время губернатор помолодел; галстук у него был небрежно завязан, в голове как-то уместилась и была приятною мысль, что если родная не захотела к нему приехать,— пусть едет дочь помещика Броцкого.

«Она, должно быть,— думал губернатор,— нежный и хороший человек. Значит, в отца пошла,— сам себе не раз говорил он,— потому что мать — французская королева — не нежная и холодная».

Мелькала в памяти фигура соперника, помещика Броцкого, и припомнилось, что теперь он перестал показываться в городе, живет безвыездно в имении, а прежде — белокурый красавец, богач, Броцкий пивал на благотворительных вечерах, после концерта покупал в киосках все цветы и разбрасывал их по зале меж танцующих барышень.

Ревнивое чувство поднималось когда-то, когда он вспоминал или слышал фамилию Броцкого,— теперь все прошло. Да и раньше было обидно больше потому, что вся эта чиновная челядь строила в его присутствии серьезные рожи, а за спиной хихикала, указывала смешливо пальцами, писала торжествующие анонимные письма.

Снявши жакет, потный, быстро устающий губернатор руководил расстановкой мебели, целый день отыскивая место, где повесить зеркало: его нужно было повесить так, чтобы в нем отражалось небо, бульвар и старая далекая колокольня, похожая издали на красивую башню.

— Ты, брат, никогда не обставлял девичьих комнат,— говорил он маляру Кривобокову,— девушка, брат,— существо особенное: утром она — одно, вечером — другое. И нужно, чтобы она в этой комнате чувствовала себя утром — утреннею, вечером — вечернею. Этого, брат, не расскажешь. Это чувствовать нужно. Опять вот этажерка. Разве можно этажерку за две версты от стола ставить? Этажерку нужно вот сюда, поближе. Чтобы протянуть руку, и книга — вот она.

Сказал и вдруг вспомнил, что кроме вещей нужно в ком-

нату принести книг. Каких? Сам он давно уже ничего не читал, в газетах пробегал только телеграммы от собственных корреспондентов.

Вечером, когда все успокоилось, когда ушли рабочие и шум утих, он пошел к себе в кабинет и отворил шкаф. Там стояли корешками наружу, с потускневшими на них золотыми буквами книги: сочинения по военным наукам, которые он изучал в академии в Петербурге. От них пахнуло грустью, забытостью, молодыми годами, Кирочной улицей, на которой он тогда жил. На краю средней полки лежали запылившиеся серебряные часы, которые он когда-то хотел подарить любимому гайдуку; лежали забытые в коробке конфеты, теперь растаявшие и слипшиеся в одну коричневую массу, заплесневевшие. Вторая полка была занята непереплетенными французскими романами, которые когда-то, через какой-то московский магазин, выписывала из Парижа, от Олендорфа, жена. От шкафа пахло пылью, и это было почему-то грустно. Книги походили на замурованного живого человека. Где-то по черным, ровным напечатанным жилкам течет живая мысль.

Губернатор стал пересматривать переплетенные томы верхней полки: все это было неинтересно для Сони. «Есть, вероятно, в России новая литература,— подумал он,— новые писатели, новые книги... Нужно поговорить с Ярновым»,— решил он.

На другой день губернатор послал ему письмо. Ярнов пришел, и они вместе отправились в магазин Стопани. Было жарко, хотя асфальтовый тротуар оставался в тени. Идти было недалеко и приятно. В магазине с самого утра спустили шторы и сплетающимися узорами полили из чайника холодной водою пол. В первой длинной комнате, что выходила на улицу, продавали книги, а во второй, задней, отделенной ступеньками,— музыкальные инструменты. Там кто-то пробовал пианино и, играя вальс, так сильно ударял по басам, что к мелодии примешивался вместо аккомпанемента только густой и грубый шум.

Когда узнали, что пришел губернатор,— засуетились и сразу подали три стула. Губернатор стал слушать вальс и ударяющие басы, а Ярнов выбирал книги, любовно осматривал их обложки и, нежно проводя рукой по необрезанному краю, говорил:

— Вот эту. Вот эту, пожалуйста,— и, обращаясь к гу-

бернатору, добавлял: — Будет у вас библиотека, ваше превосходительство.

Так как книг было отобрано на девяносто шесть рублей, то губернатор сказал:

— Бери уж ровно на сто. Для ровного счета.

Ярнов долго думал, попросил дать еще Гаршина и добавил:

— Хотя Гаршина она наизусть знает.

Губернатор вынул десять золотых скользких монет, которые Стопани принял от него с особенным почтением, низко поклонившись.

Книги расставлял на этажерке сам Ярнов. Он сидел на полу, по-татарски поджав ноги, и, прежде чем поставить книгу на место, развертывал ее на середине и долго читал, подсматривая в неразрезанные листы.

Губернатор сказал, что, может, лучше было бы, если книги теперь же отдать в переплет. Ярнов мельком взглянул на него и деловым тоном ответил:

— Не стоит. В переплете книга что-то теряет. Какой-то свой аромат. Пока она вот такая, чистая, нежная — с ней ничего делать не надо. Так она похожа на девушку. Правда?

Ночью губернатору не спалось. Потихоньку, в чулках, прошел он в Сонину комнату, смотрел, как стоят книги, и почему-то казалось, что они и в самом деле похожи на девушек, которые в троицын день плетут венки. Так как Свирин подвергал дом тщательной охране, то все окна запирались на шалнеры. Было душно и пахло свежей краской. Губернатор с небольшим усилием оттолкнул слегка прилипшую к окну раму, и из сада потянулось в комнату густое свежее дыхание. И только перед утром, чтобы не рассердить Свирина, он по-воровски, торопливо прошел в спальню, лег под одеяло и притворился спящим. Мерещились ему какие-то водопады, путешественники в меховых шапках и Герман, играющий на флейте.

XIV

Когда на душе становилось особенно тяжело и тоскливо, Ярнов уходил на полотно железной дороги. Маленький дом на Порезной улице, в котором он жил, душил его своими низкими старинными потолками, белыми вырезными карнизами, окнами с восемью переплетами. Некрасивая сестра,

неверно, медленными аккордами наигрывающая на плохо настроенном рояле с пожелтевшими клавишами; молчаливая, застывшая навеки в глазах любовь матери,— складывали жизнь холодную и неуютную.

С севера приходили дурные вести о деле, которому Ярнов отдал душу и молодость, и когда письма, торопливо, с неоконченными словами, написанные на сероватой бумаге, были прочитаны, Ярнов вынимал револьвер, клал его перед собой на стол и долго разглядывал. Было очень странно представлять себе, что нажим маленькой, загнутой, как коготь, машинки уничтожит, может быть, не его, Ярнова, а весь мир с его солнцами, звездами, полями, горами, долинами, городами. Мелькала мысль:

— А вдруг повезет? Игрокам перед утром везет. Раздвинется стена, и тогда можно будет увидеть вещи удивительной красоты!

Приезд Сони взволновал Ярнова. Целыми днями он думал о ней, вспоминал московское житье, когда вместе с нею приходилось доставать билеты, дежурить у касс ранними холодными утрами, мерзнуть и есть холодные пирожки. А раз, когда ехали из театра светлой, холодноватой ночью, он сказал ей о любви,— и увидел ее огромные удивленные глаза, и услышал:

— Что вы? Что вы, Ярнов?

И хотя все было ясно, хотя не нужно было задавать никаких вопросов, он спросил тогда:

— Вы не любите меня?

Соня спокойно так, как будто это никогда даже в голову ей не могло прийти, ответила:

— Да, не люблю.

Он спросил:

— Я некрасив? Меня любить нельзя?

И она по-прежнему спокойно ответила:

— Вас любить можно. И горячо, и глубоко. Вас так полюбят. Но я вас не люблю. Ну, не сердитесь вы!

Тогда же, в эту светлую холодноватую ночь, ему пришлось узнать, что она любит другого и счастлива. Он видел, каким счастьем горели ее глаза, и ушел от нее так, как и нужно было: с покорностью, с острой скрытой болью, с глубоким молчаливым поклоном.

Когда город начинал жить своей вечерней жизнью, и в саду играла музыка, когда на улицах показывались семьи

нарядившихся обывателей, и небо становилось выше и грустнее,— Ярнов уходил на полотно. Нужно было пройти поперек города: сначала по бульвару, затем около спиридоновской церкви, свернуть в тихие окраинные улочки с домами, крытыми камышом. И чем дальше уходил он из города, тем тише становилась жизнь, тем больше видно на небе звезд, тем темнее и прекраснее казалась земля. Полотно лежало в обрыве, по которому спускаться нужно было осторожно, устанавливая ноги поперек. Наверху обрыва, на краю, стоял крытый бассейн — маленький выбеленный домик с двумя трубами наружу. В этом домике жил старик-караульщик, который вечерами всегда сидел около бассейна, на камнях из повалившейся ограды.

У Ярнова с детства сохранилось благоговейное отношение к этому бассейну: нельзя было понять тогда, как из домика, обыкновенного домика, может вытекать такая холодная и светлая, как жидкое стекло, вода,— стоит только потянуть к себе какое-то кольцо, вделанное в стену. Вода текла из львиной пасти; лев был странный, чугунный, с усами, мало похожий на львов. Казалось тогда, что вот-вот он оскалит зубы и закричит: «Пошел вон, маленький мальчишка! Нет тебе сегодня воды!» Этот лев часто тогда снился ему.

Сторож был молчалив, на разговоры не шел и только курил да смотрел через обрыв, в ту сторону, где при лунном свете чернели, как огромные восклицательные знаки, тополя казенной дачи; чуть блестели, как гоняющиеся за чем-то, две змеи, рельсы, обведенные полукругом по горе; виднелся квадрат армянского кладбища, а еще выше и дальше — верхушка монастыря.

Ярнов спускался к полотну. Шуршали под ногами скатывающиеся голыши. Приятно и немного утомительно было идти по мягкому нагретому песку. Снизу, с полотна, было видно, как на высокой горе расположился город с домами, сливавшимися в одну линию, садами и колокольнями. На самом краю, как точка в конце фразы, стояла коричневая кирпичная синагога.

Бывало очень хорошо, когда в это время,— время тишины, наступающего сна и все более и более сгущающейся темноты,— наверху, в церквах поочередно начинали звонить часы. Волны звука, плывя по воздуху дрожащими кругами, лились сюда мягко и призывно,— и тогда хотелось верить

в бога и особенно в ангелов-хранителей. Ярнову до боли было стыдно и в то же время невыразимо приятно думать,— где-то далеко, на дне души,— что вот он идет по полотну: темно,— может быть, здесь ползают, поднимая головы, гадюки, а он идет бесстрашно и бодро и не чувствует одиночества. Звучат с детства полюбившиеся слова,— слова темных всенощных, бабушкиных молитв, нянькиных убаюкиваний:

— ...На аспида и василиска наступиши. И попереши льва и змия...

Рождается сам собою образ ангела, который с широко распростертыми белыми крыльями, почти касаясь земли, летит за ним. У ангела — прозрачные, синие глаза и густые, развевающиеся по ветру волосы. Чувствуется, что на кого-то он похож,— на кого,— не хочется ясно и отчетливо вспомнить.

— Не надо, не надо! — шепчет Ярнов и сейчас же начинает думать о том, что приезд Сони несет ему новые мучения и тоску.

«Уехать, уехать... Как приедет, так сейчас же куда-нибудь: в Вильну, в Саратов, к черту на рога,— думает он,— все равно...»

Было через окно видно, как в будке железнодорожного сторожа ужинали: ели из одной чашки деревянными ложками, поддерживая их у рта хлебом. Ужинали только двое: сам сторож, крутой мужик лет 47, и его жена, молодая бабенка, с высокой, ни разу, видимо, не кормившей грудью. Все, о чем нужно было поговорить, переговорено за день, и теперь, вечером, едят молча. Она насыщалась первая, клала ложку донцем вверх, задумывалась. Потом выходила на крыльцо, долго стояла, глядела на вечер и даль. Выходил следом за ней муж, упирался обеими руками в косяки дверей, и слышно было, как он говорил:

— Вот и почтовый скоро. Поедут рабы божьи.

Она отвечала ему, и в ответе этом было много женской мечты:

— Да, поедет народ.

— В Москву, за песнями,— после молчания добавлял сторож.

Ярнов, незамеченный, стоял против них в кустах и видел их лица, особенно ночными тенями освещенные, задумчивые.

Казалось, что в их душах живет тоска, которую человек никогда ни уяснить, ни понять не может, которая приходит к человеку и неизвестно откуда, и неизвестно зачем.

Полотно пересекало казенную дачу; в одном месте образовалось что-то вроде высохшей речки, и на самом дне ее лежали рельсы. На берегах нагорных, высоких росли густые кустарники, дикие розы и еще какие-то белые, остро пахнущие цветы.

Ярнов ложился в высокую зеленую траву, смотрел в небо, на Северный венец, и думал, что можно было бы притащить сюда губернатора, если бы у него не болело сердце и он сумел бы одолеть спуск от бассейна. Ему нравилось бывать у старика. Оттого, что к нему приезжала Соня, он делался хорошим и казался родным.

В десять часов, сотрясая гулкую землю, пролетал почтовый поезд, и можно было на секунду увидеть, как при слабом освещении возились в вагонах люди, только что выехавшие в путь: еще не устроились как следует на местах, еще не разместили в нужном порядке багажа. На повороте исчезал красный, немигающий глазок последнего вагона, и шум, в последний раз перед утром потревоживший птиц, постепенно пропадал вдали, у кладбища.

Належавшись на траве, Ярнов как-то раз шел по полотну домой. В душе жили нежные образы, разговаривали звезды, плыл по воздуху ангел и оберегал его от змея и василиска. Все это, как прозрачную воду из чаши, нужно было выплеснуть из души, лишь только почувствуется под ногой первый камень города,— и было жаль, и невольно делались медленными и ленивыми шаги. Вдруг Ярнов увидел, что торопливо и тревожно его обгоняет какая-то темная фигура. В ее движении, в манере держать голову и размахивать левой рукой было что-то давно знакомое,— и Ярнов окликнул:

— Свирин!

Человек сразу остановился. Ярнов подошел к нему, затянулся папироской и увидел, что это и вправду был Свирин.

— Откуда это вас бог несет? — спросил он.

В ответе Свирина прозвучало явное смущение.

— Да вот тут у знакомых был,— ответил он,— недалеко живут,— и, вероятно, выдумав, добавил: — На именинах был.

— Здесь? По полотну живут? — спрашивал Ярнов.

— Эге! — по-хохлацки выговорил Свирин.— По полотну. Вон там, где кирпичные заводы. Там немало люду обитает.

Свирин шел босиком, сапоги нес в руках, и только теперь Ярнов заметил это.

— А чего это вы разулись-то? — спросил он.

— Да в городе надоело обувшись ходить,— ответил Свирин,— а тут что же? Ночь тебе теплая, воздух ароматичный, песок: идти мягко, тепло, как по вате. Знаете, такая в аптеке продается! Гигроскопическая,— и Свирин по складам вымолвил заученное слово.

— Простудиться можно,— заметил Ярнов.

— Мы люди привычные! На дождю бывали по три дня, и то ничего. Бог миловал. А это — чепухенция.

Пошли вместе. Когда долезли по горе до бассейна, Свирин подошел ко льву, потянул на себя кольцо, набрал в кружку воды, напился и, вытирая усы, сказал Ярнову:

— И вам советую. Вода прямо целебная.

Севши на камень, он начал обуваться и приговаривать:

— Ну во-от. Теперь в град пришли. По камушкам запрыгаем. Пристукивать каблучками будем. То-то и оно!

А когда добрались до галантерейного магазина братьев Синявиных, Свирин неожиданно остановился и попросил Ярнова:

— Уж бывайте такими добренькими,— сказал он,— не говорите губернатору, что виделись со мной. Ушел-то я не спросясь,— узнает он, может шибко выругать. Шибко!

И Свирин сделал при свете фонаря умильное лицо.

XV

Архиепископ Герман все лето жил у себя на даче, которую звали «Монашеским лесом». Дом его на даче был деревянный, просторный, весь, как гнездо, окруженный зеленью. Перед домом была разбита большая широкая поляна с цветниками. В центральной клумбе был сделан вензель из двух переплетающихся цветочных букв: А и Г. За поляной сквозь ленту молодого леса блестел пруд, который на всю губернию славился карасями и лебедями. Дальше шли монастырские постройки; эти постройки были в городе известны под шутливым названием: бесплатное приложение

к творениям святых отцов. Рассказывали, что там нередко бывали женщины.

Герман давно уже собирался проведать губернатора, несколько раз справлялся у него по телефону о здоровье и, наконец, решил поехать. Подали карету; рядом с кучером сел келейник Леня, и поехали сначала в гору по лесу, потом мимо большого зимнего дома, в котором через окна были видны закутанные тюлем люстры, и выехали в город. Полицейский, дежуривший у ворот, вытянулся и отдал архиерею честь; богомольцы, пришедшие из деревень к мощам, поклонились ему вслед, бабы — чуть не до земли. Герману было приятно благословлять их через окно кареты и чувствовать себя владыкой и раздавателем даров духа святого.

Губернатор не любил этого маленького монаха, не любил его юрких, прыгающих, прищуренных глаз, его речей быстрых, шепотливых. Неприятно было в нем, в согнутом старичке,— честолюбие, жажда орденов, скупость. Чтобы получить Александра Невского, он недели за три до больших праздников писал в Петербург поздравительные письма синодским чиновникам, рассылал их в заказных пакетах и почтовые расписки хранил на всякий случай. Была у него страсть переставлять ударения в словах и говорить, что от этого речь делается звучнее и красивее.

— Русский язык плоховат,— говорил Герман по-славянски, на о́,— не так люди произносят слова. Надо говорить: фо́нтан, а не фонтан,— Те́геран, а не Тегеран. Оттого иностранцы не любят нашего языка. Оттого.

Герман долго расспрашивал про Наугейм, про заграничные порядки; рассказывал о том, как он служил в Китае в миссии, как приходилось работать над составлением китайского словаря, и, когда кончили чай, повел губернатора в кабинет и, сделав таинственный вид, осмотревшись по углам, не подслушивает ли кто, долго шепотом говорил ему на ухо:

— Молюсь, брат, за тебя. За великим выходом втайне тебя поминаю. Восемь лет вместе служим. Привык я к тебе. Люблю тебя. Хороший ты человек. Примерный. Только, брат, слухи про тебя скверные пошли. Дошли они и до меня, до моей лесной мерлюги. Жаловались мне на тебя. И скажу прямо, кто жаловался. Клейн приезжал ко мне карасей ловить, пил марсалу и жаловался. «Не пойму, говорит, что

с нашим губернатором сделалось. Какого-то, говорит, революционера известного на дом к себе принимает, разговоры с ним водит, по улицам разгуливает». Правда, а? — допытывался Герман и лез все ближе.— Если правда, то нехорошо, брат, очень нехорошо. Ска́ндал может выйти. Потом оно и Клейн. Ты хорошо знаешь Клейна? Проворный он! Он и донести может. Может! Бе́да выйдет. Ска́ндал.

Маленькие, сухие, очень беленькие ручки Германа тряслись, перебирая четки; острые глазки нащупывали каждый уголок кабинета и часто, с болезненным напряжением, мигали. Говорил он: бе́да, ска́ндал, чело́век.

Архиерей посидел часов до шести, поговорил еще о Клейне, пригласил губернатора к себе обедать и опять поехал в карете, с келейником Леней на козлах. Свирин провожал его и, вернувшись, ворчливо сказал:

— Старым нашатырем от него из зуб пахнет.

После визита Германа осталось какое-то скверное ощущение, и было оно в душе до тех пор, пока не получилась телеграмма от Сони. На ленточке, приклеенной к телеграфному бланку, без мягких знаков, с грамматическими ошибками было напечатано:

— Буду восемнадцатого. Час тридцать.

В подписи была ошибка. Вместо «Соня», было напечатано: «Сяня».

Губернатор, спрятав телеграмму в жилетный карман, прошелся по всем комнатам дома и несколько раз, улыбаясь, говорил сам себе:

— Сяня едет! Сяня!

Восемнадцатого числа он встал рано утром, отворил окна в сад, надел крахмальную, с очень тугими петельками, отложную рубашку, и когда Свирин подал ему сюртук с полосатыми погонами, отстранил его рукою и снова спросил свой заграничный костюм.

— Не чистил я вашего костюма сегодня,— буркнул Свирин,— думал, мундир наденете. Примундириться надо бы... Народ на вокзале будет. Сами знаете: служить — не кудрями трусить.

— Давай нечищеный, беда невелика,— говорил губернатор,— нам не жениться. Нас и в рогожке узнают.

Свирин становился строгим. В тоне его появилась опекунская внушительность: иногда он так настойчиво заставлял принимать какие-то зеленоватые порошки, что губер-

натор, долго сначала отказывавшийся, брал их и торопливо запивал, чтобы не горело во рту, подогретой минеральной водой. Все чаще и строже Свирин говорил, что каждому человеку нужно жить в семействе, что очень скверно, особенно в генеральских чинах, оставаться бесприютным байбаком. Он уже открыто презирал штатский костюм губернатора, и когда, по утрам, начинал чистить его, то нарочно тер щеткой так, чтобы поскорее испортить материю. Свирин был уверен, что, износивши этот костюм, губернатор уже не закажет себе нового, потому что хороший портной в городе Лазарь Азарх уехал к сыну в Филадельфию, а ехать из-за костюма в Москву нет, разумеется, смысла; придется тогда волей-неволей надеть мундир. Свирин старался прельстить губернатора красотой и блеском военного покроя. Он стал по-жениховски следить за своим собственным туалетом: нашивки у него всегда были белоснежны, пуговицы — новые, без желтых пятен, сапоги строго, до последней возможности натянуты, а брюки из царской диагонали украшены ярко-красным кантом. Иногда Свирин поглаживал себя ладонью по груди и говорил губернатору, думая вызвать в нем зависть и любопытство:

— Суконце-то, а?

Утро восемнадцатого числа было хорошее, свежее; изредка перед рассветом чуть заметно потягивало холодком, которого не знали летом. Чувствовались новые, бледные тона на небе, серьезнее стал, словно возмужал, ветерок, и на ночь уже нельзя было оставаться с открытыми окнами. На улице по обыкновению чинили телефонные провода, и рабочие в синих распоясанных рубахах, с железными серпами на ногах лазили по столбам. Солнце стояло направо, и во всю дорогу от домов ложилась, как коричневое покрывало, очень прохладная, успокаивающая тень.

На этот раз губернатору подали уже его собственных черных, подаренных ему князем Дадиани, лошадей. Кучер, круто намотавши на руки синие вожжи, еле сдерживал сильную, застоявшуюся пару. Ландо было широкое, просторное, с выгнутыми на конце рессорами. Быстрым, семенящим шажком, запахивая полы расходящейся черкески, бежал впереди губернатора дежурный казак и, став во фронт, отворил ему дверцу экипажа. Взявшись правой рукой за козлы, губернатор тяжело ступил на решетчатую подножку и сел в правый угол кузова. С пальто в руках,

легко, вспомнив старые времена, вскочил к кучеру Свирин.

— Тро-огай! — как будто вопросительно и в то же время лихо крикнул казак.

Мягко взяли лошади; Свирин как-то особенно, с шиком наклонился вперед от первого движения; сухо зашуршали подпрыгивающие колеса, пахнуло в лицо серым дымом; вытянулся на перекрестке постовой стражник, мелькнул в окне весь как повар белый лохматый парикмахер.

Улица была длинная; большие постройки центра заменялись к концу маленькими приземистыми домиками; на краю бульвара, лицом к площади, стояли остатки белой крепости с амбразурами, в которых теперь, вместо пушек, были фонари. Тут же около водопроводного крана, плескаясь, кружились бабы и мальчишки. Неподалеку, с огромными вывесками на столбах, был расположен склад земледельческих орудий, и американские плуги блестели поднятыми вверх металлическими остриями. В конце площади было Спасо-Преображенское кладбище. По середине длинной каменной ограды большим полукругом выделялись решетчатые железные ворота.

Свирин, почему-то смешной со своим выбритым, поседелым затылком, засмотрелся в ту сторону, где было кладбище.

«Тоже, должно быть, о смерти вспомнил»,— подумал губернатор.

Вдали вырисовывалось темно-красное здание вокзала с башнями на крыше, с круглым цветником перед подъездом, с высокой водокачкой, с белым, как из трубки попыхивающим, дымком над депо.

Перед входными дверьми кучер, отклоняясь назад, натянув вожжи, лихо осадил лошадей. Свирин, тоже стараясь быть лихим и молодцеватым, соскочил с козел, но пальто, которое он держал перекинутым через руку, неожиданно какою-то петлей зацепилось за козлы и не пустило его. Свирин покраснел, начал поправлять дело, а в это время к экипажу подскочил носильщик, румяный парень с солдатской серебряной серьгой в ухе, и отворил дверцу.

Губернатор вышел и слышал, как сзади него раздался раздраженный голос Свирина:

— А ты, болван, не в свое дело не суйся! Ты вот прямую свою обязанность — кладь господ пассажиров таскай, лучше будет!

Испуганно, тенорком ответил носильщик:

— Извините, дяденька!

— Дяденька,— бормотал, передразнивая, Свирин,— дяденька! Рязань несчастная! Огурцом телушку резали!

Вокзал был устроен так, что на платформу нужно было проходить через зал третьего класса. В зале лежал, толпился народ, около кассы стоял жандарм с завязанной щекой; в противоположные открытые окна тянуло сквозняком. Тут же на десятичных весах, передвигая гирьку, вешали багаж и через оцинкованный прилавок перебрасывали хрустящие корзины, перевязанные веревками, и угловатые сундуки.

Откуда-то вынырнул ротмистр Клейн в синем мундире, с эффектными вышитыми шнурами через плечо и, брякнув шпорами, наклонившись корпусом, доложил:

— Готов чай для вашего пр-ва! В зале первого класса.

И он указывал рукой на стеклянную дверь, сквозь которую были видны какие-то пальмы и поп в лиловой камилавке.

Губернатор подумал, посмотрел на Клейна, и в голове почему-то мелькнула мысль, что этот человек с густыми нависшими бровями может убить кого угодно, если это будет выгодно.

— Спасибо, ротмистр! — ответил он.— Чаю не хочется.

Вспомнились слова архиерея, который говорил, что Клейн даже на губернатора донести может, и показалось, что он не только может донести, но и уже донес: как-то особенно, избегая смотреть прямо, прыгали глаза Клейна. Хотелось спросить, донес ли, но не хватило духу.

Ротмистр, учтиво наклонясь, звеня шпорами, спрашивал о здоровье, и нужно было отвечать.

— У меня в Наугейме лечился дядюшка, барон Шауфус,— весело и развязно говорил Клейн.— И, представьте, так поправился, что в бытность свою в Италии хотел на Везувий пешком идти.

И ротмистр громко смеялся.

— Вашему дядюшке, барону Шауфусу, очень везло,— сухо ответил губернатор, теперь уже почему-то уверенный, что Клейн донес.

На платформе было немного народу: священник в короткой, немного обившейся внизу рясе; два пристава, готовые ринуться по первому знаку; какой-то старик в выпуклых синих очках; немцы-колонисты. Все это, видимо,

был народ, который уезжал с поездом № 18. Асфальт платформы был смешан с голышниками; солнце выделяло их на черном фоне, и они блестели, как лакированные. Между рельс стояли черные масляные лужицы; невдалеке тянулись низкие пакгаузы с меловыми надписями на дверях.

Начали понемногу съезжаться чиновники: управляющие палатами, ревизоры; все, видимо, смущались, что губернатор приехал на вокзал раньше их. Они думали, что он может сбросить с себя спячку, и тогда начнет кричать, топать ногами...

Губернатору было неприятно, что все эти чужие ему люди в форменных фуражках узнали о приезде Сони и теперь почли нужным ехать на вокзал и вмешаться в семейное дело человека, которого они только боятся. Он посматривал на них, ставших сзади него широким полукругом, и думал: кто из них писал анонимные письма? Чиновники чувствовали себя неловко под его тяжелым, пронизывающим взглядом, безмолвно решили, что он сердит на них за поздний, неприличный приезд, и, чтобы скрыть свое смущение говорили о предстоящих переменах в министерстве внутренних дел.

— Но кто же знал, что тебя принесет ни свет ни заря? — думал и злыми глазами смотрел в губернаторскую спину Ядзевич, начальник контрольной палаты; но лишь только замечал, что губернатор хочет повернуться, делал такое же угодливо-напряженное движение, как пристав. Ему нужна была протекция для сына. Как гиппопотам, с вечным зонтиком в лакированном чехле топтался на одном месте другой чиновник, в калошах, в пальто на генеральской подкладке,— старик, явно красивший себе усы,— и бесконечно повторял:

— Что вы хотите этим сказать? Спаржа, а потом брюква? Что вы хотите этим сказать? Перед сном нужно пить вермут с холодной водой...

Губернатор отошел от них и стал в стороне один. Скоро раздражение прошло, и опять зашевелились и сделались близкими думы о том, что теперь уже Соня близко; скоро он поможет выйти ей из вагона, увидит ее лицо, поцелует ей руку, поедет с нею в коляске, и она, порозовев от солнца, будет похожа на иностранную наследную принцессу, не знающую языка той страны, в которую приехала. Если б не

было этих головотяпов, думал губернатор о чиновниках,— можно было бы сказать ей: «Здравствуй, милая Сонюшка! Вот спасибо, что приехала к старику — скучному, больному. Ты не моя дочь, но ты милее мне и ближе, чем родная. У меня болит, сильно болит душа, Сонюша. Я измучился. Я убил ногою человека, Сонюша; он корчился на земле, как червяк. Теперь перед смертью я почуял правду жизни: вот она где-то близко от меня, но где она, что она,— своим стариковским, испорченным умом понять не могу. И живу, как птица, у которой выкололи глаза. Мы с тобою, когда ты отдохнешь от дороги, посидим в твоей комнате, подумаем о жизни. Ты — человек молодой, ум и сердце твои свежи, ты чуткая, ты женщина, и, может быть, что-нибудь я отыщу, что-нибудь пойму, чему-нибудь научусь. И умру, примиренный с жизнью и успокоенный. Мне бы не губернатором быть, а профессором, и жить бы летом, на каникулах, в какой-нибудь усадьбе с большим садом, рекою и готовить бы по утрам что-нибудь к печати».

Послышался звонок.

«Уже близко, здесь? — подумал губернатор и почувствовал, что у него закружилась голова.— Однако какой я слабый стал,— упрекнул он себя,— значит, дела плохие...»

— Звонки обозначают что? — сказал кто-то сзади, и губернатор не узнал голоса.— Звонки обозначают, что поезд вышел из Константиновки. Через двадцать три минуты он будет здесь. Пролет маленький. Ерундовый.

Казалось, что, если бы сейчас, внезапно, обернуться назад, топнуть ногой и крикнуть: «Вон отсюда! Кто вас просил?» — вся эта орда разбежалась бы, но потом, не преодолев любопытства, по-воровски подкралась бы все-таки и, затаив дыхание, стала бы высматривать из-за углов: что сделает губернатор при встрече с дочерью? Как он подойдет к ней? Что скажет? Чиновники знали, что между ним и женою все было уже давно покончено, знали, как и почему это случилось, но о том, что Соня — не его дочь, было известно только троим: ему, жене и Броцкому, да и Броцкий, если бы встретился с ней, не мог бы теперь ее узнать. Страшно было подумать: а вдруг хлынут слезы? Поднимался в душе протест: почему? откуда возьмутся они? Но какой-то ехидный, тоненький голосок не отставал: а вдруг? А вдруг ты, старый, бесстрашный генерал, заплачешь? Заплачешь вот при этой сволочи, которая сегодня же по клу-

бам, за карточными столами, у буфетных стоек будет чавкать, пережевывая ветчину, и рассказывать, как плакал губернатор. Вспомнилась фраза, где-то, когда-то им сказанная,— кому сказанная, при каких условиях, нельзя было представить себе. Кажется, было светло, стоял он в большой зале, чуть ли не клубной; кругом, кажется, танцевали, играла музыка, а он говорил о женских слезах и, может быть, говорил чужими, когда-нибудь слышанными или прочитанными словами:

— Слезы женские — это вода, в которую всыпали ложку соли, чайную, конечно.— И теперь вылезал ехидненький, тоненький голосок:

— А в твоих слезах соль тоже есть? И в каком количестве? Или сие тебе неведомо? Неведомо? Не хочешь ли узнать теперь, когда вот едет к тебе чужая девушка, которую ты, как деревце, хочешь прищепить к своей дикой душе? Но примется ли это деревце? Захочет ли оно воспользоваться твоими соками?

«Глупости! — думал губернатор.— Глупости!»

За станционными постройками был виден огромный кусок спускавшейся к земле синевы, пропадала куда-то под гору степь, сверху похожая, вероятно, на зеленое небо. Туда же, вдаль, уходили, словно поссорившись и расползаясь в разные стороны, две полосы дороги: одна направо — в Ивановский уезд, другая налево — в Крутицкий; Ивановский уезд славился своей воровитостью, Крутицкий — убийствами, и все больше на любовной почве; в этом уезде рос виноград. По этим дорогам приходилось в былые времена ездить на лошадях в колясках, по ревизии; тогда тянулась за ним большая и шумная свита; было весело; часто по вечерам останавливались в поле у самого села, разводили костры и жарили на вертеле баранину. Слышно было, как в селе лаяли собаки, девчата хором пели песни. А утром в селах выходили с хлебом-солью, и впереди всех стояли обыкновенно бледный земский начальник с эмалевым крестом на сюртуке и одетый в новую поддевку старшина.

Раздался свисток, взвившийся, как тонкая, легкая струя, очень высоко: казалось, верст на пять.

— Поезд уже на казенной даче,— опять сказал тот же голос. Скоро послышалось тяжелое, отрывистое, утомленное дыхание. С остервенением, как очень голодный зверь к мясу, вылетел из-за поворота паровоз, мелькнули цветные

вагоны, еще слитые в одну полосу; что-то зашипело, обдало всех белым теплым паром; перед глазами уже тихо проплывали, разделившись, синие, желтые и зеленые пятна... Чьи-то руки охватили вдруг шею губернатора, послышался запах неведомого нежного цветка, и над самым ухом мягкий голос повторял взволнованно одни и те же слова:

— Здравствуй, папочка! Здравствуй, милый папочка! И потом опять слышалось:

— Какой ты милый! Ты совсем не похож на губернатора! Я думала, что ты в орденах, в звездах, в красной ленте. А ты — просто доктор, наш один знакомый в Москве: Всеволод Васильевич.

Гудели голоса, сзади мелькали склоняющиеся лысые головы, звенел шпорами и говорил французские фразы Клейн. Опять шли через залу третьего класса; болевший зубами жандарм отдавал честь; с виноватым, сконфуженным видом стоял молодой носильщик; дверцы коляски отворял победоносный и счастливый Свирин. Все это, как отдельные, не имеющие меж собой связи пятна, мелькало в глазах и, казалось, сразу провалилось сквозь землю. Поехали в город. По бокам шоссе росли парами, как молодые жены и мужья, деревца; город со всеми своими садами, церквами и колокольнями был весь как на блюде. По прямой, наезженной дороге везли подводах на двадцати какую-то высокую кладь, затянутую парусиной. На парусине черной краской, неровно и неумело были нарисованы три печатные буквы А. Р. И. Чтобы объехать эти подводы, пришлось взять вправо от дороги и сделать крюк почти у кладбища. Когда поворачивали на другую сторону, Свирин наклонился к подводчикам и спросил:

— Что, ребята, везете?

Мужик, рыжий, степенный, в запыленной рубахе, ответил:

— Иконостасы, дяденька! На свечной завод!

Когда подъехали к белой узорчатой ограде, то над воротами, совсем близко, стала видна полукруглая яркая картина с трубящими ангелами и людьми в белых саванах, выходящими из могил. Под картиной была сделана надпись по-славянски, с титлами:

«Грядет час, в он же вси сущие в гробах восстанут и оживут».

Губернатор прочитал эти слова и повторил вслух два последние слова:

— Восстанут и оживут.

На душе потеплело, стало радостнее, более красивым показался город на горе. Захотелось быть ближе к богу, в которого верил в детстве; захотелось сделаться маленьким, ничтожным, отдаться, закрыв глаза, под какое-нибудь покровительство, сильное и большое,— и губернатор, неожиданно для самого себя, перекрестился на кладбищенскую церковь истовым, староверческим крестом.

Молодой, близкий и звонкий голос сказал:

— Да ты богомольный, папочка!

И тут только губернатор в первый раз увидел большие, только, кажется, на время оставившие свою грусть глаза, шляпу с пушистыми черными перьями, вуалетку, поднятую на лоб,— тут только он поверил, что приехала Соня,— такая именно Соня, какою он и представлял себе, в которую верил. И сказал:

— Это я за тебя перекрестился. Чтобы бог дал тебе здоровья и счастья за то, что ты поехала не в Германию, а ко мне, больному и старому. Да, да.

Глаза девушки как будто то уменьшались, то увеличивались. Подъезжали к какому-то мосту, и Свирин строго говорил кучеру:

— Лошадей сдерживай! Сдерживай лошадей, Рязань несчастная!

XVI

Вечерами, когда в губернаторском доме кончался чай, Свирин считал себя свободным и первым долгом, для здоровья, гулял по бульвару, выпивал в кофейной «Чикаго» бутылку Ессентуков № 20 и затем шел в трактир «Мадрид», к своему старинному другу Николаю Ивановичу.

Николай Иванович служил в «Мадриде» маркером. Лет ему было за 50; был он лыс, толст, страдал астмой, лечился от нее магнезией и белыми порошками по рецепту; славился в городе среди купечества тем, что до обмороков парился в бане; астма тогда у него разыгрывалась, и Николай Иванович не дышал, а свистел. Одевался Николай Иванович так, чтобы походить на доктора, ходил в очках, которые на-

зывал «панснэ» и любил рассказывать о своих былых победах над женским полом. Биллиардных комнат в «Мадриде» было две: одна большая, в которой стояло два новых, выписанных из Ростова-на-Дону, биллиарда; другая — маленькая, в которой стоял биллиард старенький, с деревянной декой, слабый; шары, например, падали в нем по борту; серьезные люди относились к нему с презрением, и любили его только лица, к игре совершенно неспособные, для которых игра — пустое занятие. В большой комнате, на ростовских биллиардах игра велась на время, а в маленькой — на партии; каждая партия стоила двугривенный, причем игрокам ставилось непременное условие: при окончании партии на пятерки не ловить.

У Николая Ивановича был в подручных мальчишка, год тому назад вывезенный одним бубличником из Калужской губернии Тарусского уезда. Мальчишка был белокурый, лохматый, с серыми, слегка раскосыми, смешливыми глазами. Его обязанности заключались в том, чтобы из буфета носить водку, закуску и пиво; когда игра шла на куши, вытаскивал из луз сделанные шары и записывал на доске кресты. Мальчишку звали Федькой, но Николай Иванович для преимущества, как говорил он, величал его Фрицем или Фридрихом. Когда Фриц бегал в лавку за табаком, то надевал феску и рассказывал, что в скором времени думает перейти в турки и жениться.

Николай Иванович только на старости лет сделался маркером. Прежде он служил в клубах, в хороших ресторанах, каждое лето выезжал на Кавказские минеральные воды и служил в Пятигорске, в цветнике под № 18. Самой большой гордостью своей жизни Николай Иванович считал встречу во Владикавказе великого князя Михаила Николаевича. Николай Иванович, по его рассказам, так украсил осетрину натюрель, что придворные лакеи, которые должны бы, кажется быть специалистами своего дела, руками развели, наперебой спрашивали секрет и записывали его в записные книжки. Великий же князь, увидев осетрину, расхохотался и подарил Николаю Ивановичу серебряные часы. Чтобы не испортить этих часов, Николай Иванович никогда не заводил их, и висели они у него в комнате, показывая двадцать минут четвертого, недалеко от образов, в том месте, где хранились в чинном порядке пасхальные писанки и просфоры с Афона.

Со Свириным у них была старинная дружба.

Сада в «Мадриде» не было, и потому летом он работал плохо, но когда начинались холодные зимние вечера, стояло в нем, а в особенности в биллиардных, большое веселье. Зажигались лампы-молнии, собирались игроки, начинались пирамидка и алагер. Игроки в «Мадриде» бывали замечательные,— как пустую шутку, например, клавшие шары от трех бортов. Игра велась небольшая,— уже крупными считались ставки на красную бумагу, но иногда и в этих случаях, когда дело бывало не в деньгах, а в репутации и самолюбии,— ломались тупыми концами киев человеческие хрупкие черепа и шарами пускали из носа юшку, так называли здесь кровь. Возгорались споры из-за неправильно положенного или «потушенного» туза, из-за лишнего, приписанного на доске креста,— споры о том, как нужно правильно выговаривать игорный термин: круазе́ или кра́узе; позорно для хорошего, благородного игрока ловить на пятерку или не позорно. Если споры принимали ожесточенный характер, если спорщики начинали делать нервные движения в сторону ближайшего шара или кия, в дело вмешивался Николай Иванович, выслушивал обе стороны и своим авторитетом, ссылаясь на печатные правила, решал вопрос, а если его не слушали, то Николай Иванович сразу, как спичка, вспыхивал, приходил в азарт, начинал убирать с биллиарда шары и посылать своих посетителей к чертовой матери. Одним из постоянных посетителей биллиардной был Стешка. Когда-то, во времена оны, он выдержал жестокий бой с поваром, грузином Васо, и Васо в ожесточении откусил ему кончик носа,— с тех пор Стешку звали курносым. Стешка считал это большим несчастьем для себя и говорил, что с откусанным носом его перестали пускать в приличные дома. Он долго жил в Баку, знал персидский язык, умел хорошо дразнить персов, занятно рассказывал восточную сказку про бамбукушку, т. е. про волшебного попугая, и любил разговаривать о тех временах, когда он был актером и певал в кафешантанах под аккомпанемент оркестра куплеты с иллюстрациями.

— Теперь носа нет,— печально говорил Стешка,— приходится вот игрою промышлять хлеб наш насущный.

Он ведал особенные приемы и секреты игры; люди, хорошо его знающие, с ним связываться боялись, и Стешке, чтобы прокормиться, приходилось подыскивать себе приез-

жих тавричан из уезда, мастеров с чугунолитейного завода — людей, которых он звал сазанами. Шулеровал Стешка и в карточной игре и под пьяную руку рассказывал о приемах игры на арапа, на турку, на скрытое в шапке зеркальце.

Свирину нравилась эта шумная жизнь, и он часто подолгу пивал у Николая Ивановича чай с кизиловым вареньем; в игру сам вмешивался редко, но деньги взаймы коекому, снисходя к слабости и не особенно рассчитывая на расплату, давал.

Как почетный гость и любитель, не находивший себе интересных соперников в дворянском собрании, захаживал сюда иногда доктор Пепенко, и тогда начиналась игра двое на двое, в четыре кия,— игра, в которой принимали участие: доктор, Стешка, ротмистр из полиции и Николай Иванович. Доктор в шутку называл Николая Ивановича так:

— Нагуляй Иванович.

Доктор, ротмистр и Николай Иванович — все трое были лысы, и зрители подшучивали:

— Это,— говорили,— к дождю.

Игра шла по пяти рублей, но так как дело здесь было не в деньгах, а в самолюбии и поддержании репутации, то партии тянулись часа по два; из игроков выходило потов по тридцати, делались осторожные отыгрыши, особые подвохи, старались «клеить» биток к борту. В биллиардную набивалась такая тьма народу, что лампы, чудо-молнии, начинали тухнуть от недостатка воздуха.

— Играю с молитвовкой! — говорил Николай Иванович, осторожно пуская шар так, чтобы не дать возможности ротмистру резать пятнадцатого в середину.

— Эх ты-ы! — презрительно говорил Стешка, любивший игру размашистую и шикарную.— Игрок жизни!

— Куда нам! — ехидно скромничал Николай Иванович.— Мы игроки ветхого завета. Старики!

— Чего ж бояться-то? — говорил Стешка, скрывая задор.— Чего не бил восьмерку? Ведь шар в лузу ноги свесил!

— Пой, ласточка, пой! — отвечал Николай Иванович, закуривая папиросу.

— Ласточка! — передразнивал Стешка и командовал: — Играю десятину от шара в правый угол! — и, нагнувшись, впивался глазом в сукно и намеченную линию, де-

лая кием скользящие по руке, прицеливающиеся движения.

Доктор Пепенко был известен под именем игрока с большим разговором, потому что во время игры он говорил не умолкая. Одиннадцатый шар звали барабанными палками, 15-го — папашей, 14-го — два семишника, 13-го — чертовой дюжиной: маленькие шары презирали, и когда клали тройку или четверку, то спрашивали:

— Разве это шар? Так, дуновение одно.

Часов в одиннадцать Фриц, свернувшись на диване калачиком, засыпал, и тогда Николай Иванович начинал ходить в буфете сам, и когда шумное время проходило, тогда он со Свириным садился в угол под икону и там вдвоем, наклонившись друг к другу, они разговаривали о каких-то своих делах. Разговоры эти были длинные, горячие; говорил преимущественно Свирин, а Николай Иванович, подставив ухо, слушал и кивал, в знак согласия, головой. Когда Свирин уходил домой, Николай Иванович, бросив биллиардную, выходил вместе с ним в прохладную вечернюю улицу, провожал его до угла.

— Значит, в воскресенье идем? — спрашивал, прощаясь, Свирин.

— Обязательно! — отвечал Николай Иванович.

— То-то обязательно! — строго говорил Свирин.— Часов в одиннадцать?

— Можно и в одиннадцать,— соглашался Николай Иванович.

В воскресенье Свирин приходил около одиннадцати и прямо спускался в нижний этаж «Мадрида», где была комната Николая Ивановича. Тот надевал крахмальную сорочку, новые штиблеты с широким рантом, пальто на блестящей подкладке, долго вытирал неразвернутым платком пенсне, вынимал из картонки котелок и брал с собой полушелковый, обвязанный ленточкой зонтик.

— Напрасно это, братец ты мой, всю супонь надеваешь,— говорил Свирин.

— Не беда,— отвечал Николай Иванович,— только и нашего. По городу пойдем — пыль в глаза пустим.

Они выходили вместе и шли вниз, по направлению к железнодорожному полотну,— шли мимо обывательских домиков, по теневой стороне улицы, мимо садов, свешивающихся через деревянные заборы деревьев, мимо открытых окон и низеньких, прорезанных в воротах калиток. При-

ходили к бассейну, пили из львиной пасти холодную воду, любовались казенной дачей, высоким нагорным местом, на котором был расположен монастырь, и длинной ползущей в гору серой дорогой. Садились на камнях развалившейся ограды, молчали, и только Свирин иногда говорил:

— Лес-то, а? Как волосы земли! Кудрявый. Прохладный.

Было пустынно, тихо; далеко, на горе, остался город. Долго сидели; потом Свирин начинал:

— Ну? Разуться надо, Николай Иванович.

— Идет! — говорил Николай Иванович, и оба они начинали снимать сапоги; и было на удивление приятно выставить на теплый воздух белые, с надувшимися жилами, с кривыми ногтями ноги.

— Идем? — спрашивал Свирин.

— А не больно будет? — говорил Николай Иванович.

Свирин укоризненно глядел на него, качал головой и делал выговор:

— Больно! Эх ты, сударь! А ты не думай о том, что больно, а иди и трудись. Потрудиться надо! Сам не маленький, знаешь. Она, земля-то, замучена! Грех бить ее, топтать. Пойми: грех!

— Ну ладно! — говорил Николай Иванович.

И спускались они по каменной, острой дорожке к полотну, и странно было смотреть на Николая Ивановича, который шел босиком, морщился, а на голове, подобно доктору, имел изящный, с небольшими полями котелок, подаренный ему, в знак памяти, нотариусом Цымлянским.

XVII

Куда-то отлетели все служебные заботы, как-то реже стал виден правитель канцелярии. Был куплен новый галстук, муаровый, темно-синий.

Соня вставала часов в девять. Губернатор сидел у себя в кабинете и, не шевелясь, настороживщись, ждал ее шагов. Она приходила к нему розовая, красивая и с немного заспанными глазами, крепко целовала его в лоб и спрашивала:

— Ну, как живем, папочка? Опять скверно спали?

Губернатор, правда, не спал и все время, до утра сидел

у окна и смотрел, как живет ночь, как рождаются и умирают светлые звезды. Странным и нелепым казалось ему, что прожил он много десятков лет и только вот теперь в первый раз, как следует, увидел ночь: огромную, темную, со своими маленькими и красивыми врагами — звездами. И только тогда ночь довольна, когда плывут по небу густые тучи и нет нигде ни одного светлого глаза. Тогда ночь налегает на землю и родит в людях кошмарные сны. Ночь — злая. Когда на небе звезды, тогда на земле нет ночи. Тогда — что-то другое, чему еще до сих пор не нашли люди имени. Это вот что: пришла из мира глубоко грешная, прекрасная женщина. Ее одели в черное платье и дали в одну руку желтую свечу, в другую — книгу, в которой написаны страстные мольбы о прощении. Она читает эти молитвы, в чудесных глазах зажигаются чистые, теплые слезы. Этому нет еще имени на земле.

Казалось губернатору, что день создан для людей, которые больше всего заботятся, как бы полней набить мясом свои животы. А время, когда ниже звезд плывет тьма, дано людям, которые угодны богу. Как чудо, он наблюдал сон бульвара, затихнувший город, которому вдруг сделались ненужными телефоны, телеграфы, трамваи. Удивительно смешным и глупым казался день, когда он уходит, и наступает тьма и покой. Сон — репетиция смерти. Неужели так много нужно суетиться и кричать за день, чтобы уснуть? Неужели всю жизнь нужно заботиться о какой-то чепухе, убивать людей, чтобы в два месяца сгнить в склепе Андреевского собора?

Прекрасен летней ночью провинциальный, заснувший город. Тепло, тихо. Изредка прощелкают по асфальту, внизу, четкие шаги. У полосатых будок осторожно разговаривают и курят караульные.

Утром приходит к нему в кабинет девушка; он смотрит на нее и думает: «Пришла дочь Броцкого. Та же мать, та же женщина родила и мою дочь. Это — прекрасная, чудесная. Из веков, может быть, Броцкий силой любви вызвал красоту этих глаз, волос, лба, губ, согрел их нежной и мягкой душой и создал эту девушку. А что создал я?» — И губернатор начинает расспрашивать о своей Кате:

— Расскажи мне про Катю, — просит он.

Соня удивляется, делает большие глаза и говорит:

— Вот ты какой чудак! Ну что я тебе расскажу?

— Скажи мне: красивая она?

— Красивая.

— Хорошая?

— Хорошая.

— Умная?

— Умная. Выходит замуж за товарища прокурора.

Губернатор робко спрашивает:

— А ты ее любишь?

Соня как-то мнется, не сразу у ней срываются слова.

— Люблю я ее,— говорит она и, видимо, думает, как бы помягче сложить следующую фразу,— люблю я ее,— повторяет она еще раз и опять ищет слова,— но как-то мало у нас общего. Ну как тебе сказать? Дружбы нет у нас,— вот такой, близкой. Ну как тебе сказать? И холодновата она... И жениха своего не особенно любит. Цветы от него берет, а в воду их не ставит и забывает в гостиной, и они, понимаешь, вянут... А замуж идет...

Губернатор опять смотрит на глаза, лоб, волосы, губы, чувствует мягкость ее души, которая ищет слов для оправдания нелюбимого, и думает о том, что жена его когда-то инстинктом почувствовала всю эту красоту в Броцком, и он, Броцкий, не обманул ее, и создал через нее, вызвал к жизни, как семя из земли, эту девушку.

«А я ревновал,— думает губернатор,— какой дурак! Что я мог дать и что он дал,— какое же сравнение! И как можно было ее винить?»

Строгой тенью проплывает образ женщины, похожей на французскую императрицу.

— Ты бледен, папа,— говорит Соня, и близко наклоняется к нему ее лицо,— тебе нехорошо?

— Пустяки,— отвечает губернатор,— это не болезнь. Я думаю о Кате. Я думаю о том, что вот у меня есть две дочери. И вот, видишь, нет у них дружбы. Ты сама так сказала. И так жаль!

— Я тебя обидела,— говорит Соня, и на лице ее появляются складки.

Губернатор видит это и спохватывается.

— Ах, что ты! — отвечает он и берет ее за руку.— Не то, не то я хочу сказать. Не то... я говорю,— вы разные...

— Да, это так,— соглашается Соня,— мы разные. Мне так кажется...— и Соня замолкает, не хочет говорить дальше.

Губернатор чувствует, что она сейчас должна сказать что-то очень значительное и важное, с волнением целует ей руку и просит ее:

— Ну, говори же, говори, что тебе кажется...

Соня опять ищет слова и скользит глазами по столу, по бумагам, по коням чернильницы, географической карте с ее розовыми пятнами.

— Видишь, мне кажется, что Катя очень похожа на маму...

— А мама что? — с оживлением спрашивает губернатор.

— Видишь, мама — женщина холодноватая... Очень уж она, как это сказать, спокойная, замкнувшаяся в себе... Вот видно, что в душе у нее что-то идет, что-то болит, а узнать никогда нельзя. Ты понимаешь, вот если бы у меня было горе, большое горе, такое горе, которое в себе носить нельзя, я бы не решилась сказать ей, маме. Не решилась.

— А она любит тебя? — с дрожью в голосе спрашивает губернатор, и только после молчания, после видимой борьбы с собой, слышит от девушки тихий ответ:

— Не разберешь...

На столе лежат деньги: новые, вчетверо перегнутые сторублевки.

— Это твои? — видимо желая переменить разговор, спрашивает Соня.

— Это послать надо в Германию,— отвечает губернатор.

— Добрый ты! — говорит Соня.

— Ты думаешь? — и губернатор смотрит на Соню долго и пристально. Она не понимает этого взгляда, но чувствует, что он особенный: и радость в нем большая, и печаль. Соня знала, что у него с матерью все кончено, и привыкла к этому, но почему произошел разрыв, было неизвестно и мучило. Момент, чтобы спросить, казался удобным, но было боязно: вдруг проснется старый, грозный губернатор, про которого она так много слышала,— проснется, будет кричать, топать ногами, выгонит, и придется жить в саду в беседке.

— Ты сердитый, но ты добрый. Это я знаю,— говорила Соня.

— Кто тебе об этом сказал? — спрашивал губернатор.

— Не скажу...— отвечает Соня.

И опять далеко, далеко, через стены дома, верст за пять виден проплывающий образ

— У ней волосы седые? — спрашивает губернатор.

— Это у кого, у мамы? — и Соня, видимо, отрывается от своих дум.

— Да, у мамы...

— Нет, не седые,— отвечает она,— седые волосы — серые. А мамины волосы — белые. Особенные... В особенности вот тут, около пробора,— и Соня показывает себе на голову,— целая нить. Знаешь, из такого светлого, старого серебра.

Губернатор задумался и повторил:

— Из светлого, старого серебра...

Губернатор часто думал о том, что есть у него в душе для этой девушки? Он убедился, что ей ничего неизвестно относительно ее рождения, ей неизвестно, что она — дочь помещика Броцкого. Если она проживет здесь до зимы, то местные патронессы вовлекут ее в организацию благотворительных вечеров: она, быть может, будет в киосках продавать цветы.

Поднималось в душе, как муть со дна, тяжелое, темное, старое чувство, но скоро опять уходило. Вспоминалось, что из глупого дня рождается уже то, чему нет имени на земле. Часов через одиннадцать будет видно живое, неслышно говорящее небо и спящая земля,— станет стыдно и больно.

— А жених Катин — красивый? — спрашивает, чтобы отогнать эти думы, губернатор.

— Красивый,— чуть слышно отвечает Соня и добавляет: — Ты любишь Катю? — И в голове ее слышатся ревнивые нотки.

Губернатор поднимается, обнимает ее за плечи и ведет в столовую. Дорогой говорит:

— Конечно, люблю. Обеих вас люблю. Обе вы — дочери мои. И, знаешь, будет у вас с Катей дружба. Вот поверь моему слову: пройдет время, Катя переменится. Станет мягкой и внимательной. И будет у вас дружба — большая, большая... Вот такая...

И губернатор показывает руками, будто шутит с ребенком; Соня конфузливо улыбается.

В столовой окна, выходящие на террасу, открыты. Терраса завита вьюнчиками,— цветами раннего прохладного утра. Станет горячим солнце, они свернутся, заснут, увянут. Из сада тянет свежестью и запахом деревьев. Старая, на могильного червя похожая память вспоминает, как в этой

столовой был когда-то сервирован чай. Стояла дорогая фарфоровая посуда, купленная в Венеции. Он пришел и сдернул скатерть. Все зазвенело и покатилось по полу: уцелело только одно блюдечко с голубоватым итальянским штемпелем на донышке. Прибежал Свирин и схватил себя за голову. Заглянула в дверь жена и улыбнулась. Он взял из шкафа какую-то книжку, пошел в кабинет, сел у окна и начал читать. Книжка была французская, напечатанная на глянцевитой бумаге, с иллюстрациями. Развернул он ее на первых страницах и до сих пор помнит, что читал описание того, как в редакции газеты «Vie francaise» сотрудники играли в бильбоке,— и не мог перевести слово «interstice». Тогда Соне было лет 5—6. Бегала по всем комнатам маленькая, голубоглазая девочка, из полотенца вертела куклу, чернилами рисовала ей глаза и лампадку называла «лампад Бозий». Нянька Васильевна была у ней старая и добрая: всегда носила в кармане ванильные бублики.

Губернатор вспоминает и видит, что Соня уже не пьет кофе, а положила на колени книгу, смотрит через окно в какую-то далекую сторону, и по выражению ее глаз можно заметить, что ничего не видит: плывут в ее голове думы, далекие и от этого города, и от этого дома, и от всей этой обстановки.

— Ты задумалась? — спрашивает он.

Соня вздрагивает, словно ее захватили на месте преступления.

— Я? — говорит она, смотрит на него большими глазами и будто не может вспомнить,— откуда это все? Эта комната, окна, старик в штатском платье?

— На лице у тебя грусть,— продолжает губернатор, рассматривая ее, и чувствует, что эта задумчивость — непростая.

— Что ты? — удивленно говорит она.— Какая грусть? Откуда ты взял? — Соня конфузится, краснеет, улыбается и смущенно проводит по щеке ладонью, словно старается прогнать следы...

— По Москве не скучаешь ли?

— По Москве? — спрашивает Соня, несколько секунд думает и потом решительно говорит: — Не скучаю! Ничего хорошего в Москве нет! Здесь лучше. Здесь такой большой дом, прекрасный сад. Здесь — лучше.

— Ну то-то же! — строго и наставительно говорит губер-

натор.— То-то же! В нашем царстве-государстве грусти нет. У нас все должны быть веселы и счастливы!

Губернатор шутит и смеется, а у Сони опять замелькало что-то в глазах, и она, стараясь, видимо, остаться спокойной, повторяет последние слова:

— Веселы и счастливы.

И они слышат, что в комнате смеется еще один человек. Оказывается,— Свирин. Его замечают, ему делается неловко, и, чтобы скрыть смущение, он спрашивает:

— Не прикажете ли мундир приготовить? Осмелюсь доложить, что погоны я переменил. Из Варшавы, с Маршалковской улицы выписал. Золото — блеск! Удивление! С Маршалковской улицы, от Шарля Рабиновича.

Свирин выговаривает: «От Шаря!»

Иногда, глядя на Соню, губернатор не мог верить, что это — человек, которого он когда-то хотел задушить. У ног его, ползая на коленях, плакала жена. Было острое, едкое смещение двух непреодолимых чувств. Было тогда изумительно ясно, что как только хрупнет меж пальцев белое горлышко Сони, так сейчас же он упадет перед женой, будет рыдать и стонать по-звериному, но что-то упрямое, хищное толкало его к колыбели, к спавшей девочке. Совсем близким тогда был позор, суд, Сибирь, темные тюрьмы. В его жизни поднялась тогда самая большая волна, поднялась яро и высоко... Даже и теперь, когда все это, такое далекое и пережитое, вспоминалось, сразу закипало ничем непобедимое, злобное чувство, и он тогда говорил Соне:

— Ты, Сонечка, поди к себе, и я позаймусь делами.

И торопливо, не боясь натрудить сердце, спускался в первый этаж и долго, по десятку раз, перечитывал одну и ту же строку, смотрел какое-нибудь сшитое из разных бумаг и донесений дело. Мелькали то черные, то фиолетовые заголовки, штемпеля, почтительные росчерки столоначальников и небрежные, с толстыми нажимами завитушки генералов. Чтобы с улицы нельзя было заглядывать, нижние стекла Свирин заклеил цветной прозрачной бумагой. Письменный стол стоял боком к зеленому окну, и поэтому бледноватые, как тени молодых листьев, пятна ложились на бумаги, на циферблат часов. Часы стояли под стеклянным колпаком; были они особенные: заводились раз в год, и основание их медленно вращалось.

Губернатор бросал дело, смотрел на длинную нить своей

жизни и удивлялся: почему нужно было душить Соню? Почему нужно было гнать жену и кричать на нее при Свирине и правителе? Почему нужно было разбивать сервиз, купленный в Венеции, на Муранских фабриках? И в других известных ему человеческих жизнях делалось не то, что нужно. Правителю, например, нужно было бы всю жизнь делать и продавать рыбные консервы, а он пишет бумаги земским начальникам и болеет душой. И только в дни, когда подряд бывает два праздника, надевает смазанные салом сапоги, широкополую шляпу, едет на лиман ловить сазанов, которых и жарит потом дня три каким-то особенным, очень секретным способом.

И когда наступал вечер, когда смешным становился день, когда липы, в конце лета рано, как дети, засыпающие, шептали во сне, когда из сада начинала дышать ночь, когда Соня бледнела, опять о чем-то далеком думала, и непонятные слезы навертывались на ее глазах, когда, как вздох, где-то звонил одинокий грустный колокол,— губернатор поднимался, опираясь на кресло, улыбался, разводил руками и говорил:

— А смерть близка. Близка смерть. Совсем близка.

Странно улыбаясь, он начинал искать почтовую бумагу и не находил. Все были официальные бланки, с жирными печатными заголовками, с тремя буквами, как с короной, вверху. Длинными канцелярскими ножницами он отрезал эти заголовки и начинал писать жене, Броцкому, Кате; но ничего не выходило, и все время создавались такие фразы, в которых совсем не нужно было ставить запятых,— только одни точки. Он удивлялся и начинал грамматически разбирать их,— и получалась такая конструкция: подлежащее, сказуемое, дополнение. Это рубило мысль, и самые затаенные, нежные думы и желания, которые, казалось, могли бы исправить всю прошлую жизнь,— эти думы, выраженные на бумаге, походили на несложные арифметические задачи. Губернатор долго ходил по кабинету и думал, что если он найдет для письма настоящие, нужные ему слова, то в душу его вольется, как вино, счастье. Если он умрет, то мертвое лицо его будет светло. Если к погребению успеет приехать жена, то ей станет жаль его, покойника в генеральском мундире, и простит она ему и Соню, и то, что тогда, при расставании, он даже не поехал на вокзал.

XVIII

Наступали первые сентябрьские дни. В городе и поле поднялись, было, ветры, закружилась серыми танцующими столбами пыль, но потом все стихло; улеглось; начались ясные, как лицо красивой, только что забеременевшей женщины, дни; грело неяркое солнце, желтели и падали листья, носилась в воздухе паутина. По вечерам было еще не холодно, но теплота стояла уже осенняя: хотелось в тепло, в уют, к зажженным свечам.

Днем очень часто Соня бродила по саду. Сад был большой, с узенькими, посыпанными желтым песком аллеями, тенистый. Росли в нем старые, не глядящие уже на землю липы, дубы, ясени, акации. На площадке перед домом, как мягкие, долго тканные ковры, пестрели цветами клумбы. Сад спускался вниз, и узенькая дорожка приходила к ключу, который изломившейся змейкой вытекал из земли и, пробегая потом по восьми поместьям, попадал на пивоваренные заводы.

Губернатор любил, спрятавшись за косяк окна, следить, как Соня, одинокая, тихо гуляет по аллеям; как серьезно и задумчиво ее лицо. Часто к ней подходит садовник, подает цветы, почти всегда астры. Она разговаривает с ним, вероятно, о цветах, потому что садовник в старой плюшевой шляпе с пригнутыми вниз полями жестикулирует, показывает на клумбы, показывает, как нужно сеять, подрезать кусты, посыпать их землей. Соня слушает старого чеха, кивает головой, а сама думает о своем, далеком. Их, этих дум, много, и, быстрые, они бегут неудержимо,— поверх этих домов, городов, гор, садов, улиц. Уходит на работу садовник,— Соня подходит к высокому забору, скрывающему ее от улицы, и, видимо, слушает шум, который идет снаружи, в городе. Губернатор берет бинокль и, приспособив его, украдкой наводит стекла на лицо Сони.

Глаза ее смотрят прямо и задумчиво. Нерадостны, грустны думы, бегущие в каштановой пышноволосой голове. На колени бессильно брошена одна рука, полная осенних цветов, другая — оперлась на спинку скамьи. Губернатор видел, что Соне говорить с ним не о чем, что слова и улыбку ей приходится вымучивать из себя, и глаза ее благодарят, когда по вечерам они сходятся в столовой, зажигают огонь, шумит самовар; она молча смотрит в потемневшие окна, а

он делает вид, что читает газету и совершенно забыл о ней. Тогда, через эти потемневшие окна, глаза ее смотрят далеко, через тысячи верст, и тогда, если бы посмотреть в них, можно было бы все прочитать и узнать.

«О чем грустит? — глядя украдкой в бинокль, думает губернатор.— О том, что приехала сюда, в скучный город, к больному старику? Жалеет о том, что была бы теперь после Берлина с матерью на курорте? Там играет теперь солнце: вместо этих грустных, вечно о чем-то думающих астр были бы в ее руках светлые, беспечальные розы».

Соню начинал беспокоить гипнотизирующий взгляд, она инстинктивно чувствовала его на себе и начинала беспокойно оглядываться. Губернатор прятал бинокль в стол, ходил по дому и думал, что хорошо и здесь, у него. Он отворял широкую стеклянную дверь балкона, смотрел на спокойное небо, на дряхлеющий бульвар, на улицу, бегущую вверх и вниз.

Всегда лазили по столблам и чинили проволоки рабочие: в городе была плохая телефонная сеть, и губернатор часто вспоминал, как однажды, вместо архиерея, его соединили с заводом Кнорре, и когда он спросил: «Это вы, ваше преосвященство?» — ему ответили с густым немецким акцентом:

— Нет, это мы, старший пивовар.

Хорошо было обедать с Сонюшкой: она садилась лицом к окну, и губернатор тогда подолгу рассматривал, какие у нее глаза, губы, волосы. И опять вспоминалось, как когда-то он хотел схватить ее, спящую в кроватке, и ударить о печь. Брызнул бы, вероятно, мозг, потекла бы по кафелю розовая, жиденькая, как разбавленное вино, кровь.

Приходил часто Ярнов; тогда поднимались разговоры о театре и литературе. Губернатор слушал их и молча курил. Ярнов говорил медленно, не глядя на Соню, и был похож на старинного семинариста. Губернатор смотрел на него и думал: куда девался веселый шаловливый гимназист, всегда улыбавшийся бойкими, плутоватыми глазами? Из гимназиста вышел белоподкладочник-студент, куривший необыкновенно длинные папиросы и носивший зимой великолепную серую николаевскую шинель. Потом все это куда-то провалилось, исчезло, пропал блеск в глазах, и теперь из Москвы о бывшем студенте Ярнове пишут и предлагают к исполнению секретные бумаги. И когда они — Соня и Ярнов — разговаривали, то разговор их был похож на мечты.

Сидят в высоких соломенных креслах, откинув головы глубоко назад, смотрят в сад, подолгу молчат,— тогда кажется, что в их душах идет тоскливая изнурительная работа. Губернатор иногда спрашивал:

— А Жук жив?

— Жив,— отвечал Ярнов.

— Надо будет его проведать,— говорил губернатор.

— Приходите,— отвечал Ярнов.— Лежит теперь он на солнце и греется. Скоро на кухню перейдет.

Губернатор закрывал глаза, вспоминал свою молодость и думал, что хотя она была и нелепая, и жестокая, но зато веселая: дрались с турками, переходили через Дунай, всем своим живым золотом блестевший под высоким солнцем, пели веселые песни, пили веселое вино...

А Ярнов сидел и, словно мечтая, не глядя на Соню, говорил:

— Горе человечества началось с того момента, когда какой-то безумец выдумал слово «бессмертие». Это слово, как яд, отравило род людской и течет в поколениях, как в реках. Человечество поверило в этот сон золотой,— и все на земле спуталось, заговорило на разных языках. Бессмертие — это Вавилонская башня, которую хотели выстроить до небес, но не могли.

Соня не слушала и видела, казалось, своими расширившимися глазами то, что делается далеко, на севере, за тысячи верст.

XIX

Часов в семь с половиной пошли в театр. Вечер был чудесный, наступивший после дня сразу, без сумерек: словно потушили большую лампу — и сделалось темно. Наскоро и неохотно зажглись осенние звезды, будто надели тусклый, будничный наряд. Уличные фонари еще не зажигались. Только в некоторых магазинах, уже закрытых, горели над кассами электрические рожки.

Соня, надевшая шляпу с фиалками, шла в середине, а губернатор и Ярнов по бокам. Театр был деревянный, летний, построенный в саду. Около входа дежурили околоточные в нитяных широких перчатках. У кассы изогнувшейся очередью стояла публика.

У губернатора была удобная, около самой сцены, ложа. Была и аванложа, сделанная в виде палатки. В аванложе стоял полированный покатый диван и стол, покрытый плюшевой скатертью. На столе, посредине, горела лампа с абажуром, похожим на тюльпан.

Шла старинная, с молодости любимая оперетка.

На площади города с трехэтажными домами, которые колыхались и не доставали до земли, собралась толпа народа: мужчины — в широких шляпах, женщины — в широких юбках и кокетливых фартуках. В центре стояли два певца: толстый, с подтеками у глаз, тенор и кокетливо потупившаяся женщина. Певец перебирал струны гитары и, сливая слова, делая порывистые шаги вперед, поворачиваясь в разные стороны, удваивая согласные буквы слов, пел:

— Ззаввоевватель ммолвил индианке: кррассавица моя! Ллюблю я очень ввас!..

Оркестр тихонько, в подражание гитаре, наигрывал аккомпанемент; у дирижера было серьезное, напряженное лицо. Сидел он на возвышении посередине оркестра и, закусив нижнюю губу, беспокойно смычком делал в такт жесты то в сторону тенора, то в сторону контрабаса, который однообразно и тоскливо гудел на двух чередующихся нотах. У контрабасиста на левой щеке был флюс, и черная повязка смешно оттопыривалась, как будто во рту был спрятан маленький мячик.

— Но ддобродетель ччту я вв инностранке!..— и певец на слоге «де» взял высокую, так мучительно доставшуюся ноту, что ему пришлось, чтобы выбросить ее из себя, слегка подпрыгнуть.

Губернатор взглянул на актера и увидел налившееся кровью лицо, вытянувшийся живот, закутанный турецким красным платком, сморщившееся в колене трико. Женщина, снизу от рампы освещенная, отчего выступили круги под глазами, кокетливо улыбалась, смотрела в темный зрительный зал и старалась, чтобы публика лучше рассмотрела ее тонкие красивые руки.

Когда кончили песню о завоевателе, на сцену вышел старик в черном бархатном камзоле и под мелодию оркестра начал, подпрыгивая то в правую, то в левую сторону, хриплым говорком читать куплеты о том, как хорошо пра-

вителю ходить в толпе инкогнито. Пропев куплеты, он сказал содержательницам кабачка:

— Милые сестрицы! Дайте мне маленькую чашку кофе и бо-оль-шую рюмку коньяку!

Слово «большую» он протянул тоненьким тенорком и долго смеялся. Народу в театре было мало: сидит публика в разных углах,— в темноте видны только блестящие глаза. Человек пять заняли наверху ложу, и все смотрят на сцену, как в одну точку.

Явился с длинной палкой индеец и полицмейстер с кулаком вместо кокарды. Начались комические выходки, на которые театр отвечал басовым, недружным смехом.

Губернатор вышел в аванложу и сел на диван. Звуки доходили сюда почти с одинаковой, как в театре, ясностью, только не так гудел контрабас.

Парусиновый верх палатки слегка колыхался от ветра, и дым папиросы тянуло в ложу. Неподалеку, по узенькой аллее ходили два человека, спорили, и спор их был слышен.

— Вы, конечно, можете что угодно писать,— возбужденно говорил какой-то баритон,— но сказать, что у меня нет школы, что я кривлю рот, что закрытый мибемоль у меня выходит придушенным,— это, батенька мой, выходит — взять на Глущенку.

— Но послушайте, Раевский,— пытался возражать ему другой голос.

— И слушать нечего! И слушать нечего! — горячился баритон.— Вы бы вот на дирижера обратили внимание... Да-с! Паршивый жид, который в музыке столько же понимает, как хорошо известное животное в банане...

— В апельсине...

— В банане-с! — подчеркнул баритон.— Я знаю, что говорю... Да-с! Потом написал, что Криклицкий — рубашечный любовник. Голуби вы мои сизокрылые! Пятьдесят губернских русских городов скажут вам, что Криклицкий — фрачный любовник. Пятьдесят городов! Вся Россия!

Голоса ушли дальше и стали неразборчивы.

В театре засмеялись. На сцене уже не пели, а громко, крикливо разговаривали фальшивыми, неестественными голосами; потом все стихло, и чистый женский альт грустно, тоскливо вступил:

— Друг милый,— пел он,— тебя до могилы буду любить всей душой...

И оркестр, умышленно опаздывая и потом догоняя мелодию, повторял песню. Губернатора потянула эта грусть, он тихонько приоткрыл дверь ложи, чтобы посмотреть на сцену, и увидел: Ярнов, сидевший рядом с Соней, взял ее левую руку, медленно поднял и долго целует. Соня, опершись на барьер, не спускала с певицы глаз, но, казалось, смотрела не на нее, а через нее, и поцелуя Ярнова не замечала, и Ярнов так же тихо, как поднял, опустил руку на прежнее место.

«Эге!» — подумал губернатор и улыбнулся.

На душе сразу, как солнце, засияла необъяснимая большая радость. Захотелось, как в детстве, прыгать, высоко подбрасывать мячик, запеть веселую, с длинными переливами песню.

Губернатор не выдержал, просунулся в ложу и, стараясь быть строгим, спросил:

— Ярнов! Ты что это делал сейчас? Ноги перебью!

Ярнов оглянулся и покраснел. Соня тоже оглянулась, и на лице ее было смущение.

— Соня! Ярнов-то, а? — спрашивал губернатор.— Ручки тебе целует, а? Потихоньку этак взял, приподнял. И — как с гуся вода. Хороши ребятки!

До того времени он, старый, грешный губернатор, чувствовал себя виноватым перед человеком с серыми задумчивыми глазами. Когда Ярнов, например, молчал,— в этом молчании чувствовалось какое-то суровое осуждение. Теперь же это ушло, стало легко и просторно.

По сцене ходил уже пьяный старик в бархатном камзоле и держал в руках бутылку.

— Хороши ребятки! — весело повторил губернатор.

Соня недоумевающе посмотрела на него, на Ярнова и, казалось, ничего не понимала. В глазах ее было такое выражение, будто она проснулась после глубокого, нерадостного сна.

— А ведь она, пожалуй, и в самом деле поцелуя не заметила,— подумал губернатор и, смяв папиросу, сейчас же закурил другую.

В антракте, когда все пришли в аванложу, он, стараясь скрыть свое смущение, гладил руками по плюшевой скатерти и спрашивал:

— А не выпить ли нам чайку, а?

И долго нажимал кнопку звонка.

Когда пришел почтительный, с белой салфеткой лакей, он сказал ему:

— Принеси нам, паренек, чаю три стакана и печенья.

Лакей почтительно выслушал и спросил:

— Печенья прикажете которого-с?

— А которое у вас есть? — шутливо говорил губернатор.

— Есть «Мария». Есть «Альберт».

— Пожалуйте «Альберта»...

Когда кончили чай, губернатор вошел в ложу; театр был освещен. На противоположной стороне сейчас же кто-то встал и, сняв шапку наотмашь, низко кланялся. Губернатор пригляделся и увидел, что это — управляющий акцизными сборами, штатский генерал Балабан. Про него говорили, что дед его был цыганом и сидел в тюрьме за кражу лошадей.

XX

В сентябре месяце, когда стояли золотые, безветренные дни, когда стаями ходили по небу еще белые жирные облака, в городе случилось два события: во-первых, был убит на дуэли полицмейстер, а во-вторых, на ярмарочной площади сгорела егоровская лесная биржа. Дуэль была ранним утром, на опушке архиерейского леса.

Свирин вошел в спальню губернатора по первому звонку. Только что начался восьмой час. День, как больной, медленно, неохотно раскрывал свои глаза. У Свирина было беспокойное лицо, глаза бегали. Держа полотенце на руках, в ожидании, пока губернатор натрет мылом руки, он долго стоял, переминался и, наконец, кашлянув, сказал:

— Не знаю, как доложить.

Так он обыкновенно начинал, когда случалось что-нибудь важное, необычное. Это знал губернатор и, не разжимая намыленных рук, выпрямился.

— Что случилось? Говори прямо,— тревожно сказал он и подозрительно взглянул Свирину в глаза,— с Соней?

Свирин затоптался на месте, заморгал глазами.

— Никак нет... несчастье...

— С кем? С Соней,— спрашиваю я тебя? — уже крикнул губернатор.

— Никак нет-с, ваше пр-во! — залепетал Свирин, вытягиваясь во фронт и глядя ему в глаза; в крике, который со странной, неожиданно родившейся гулкостью отдался у карнизов потолка, проснулся старый грозный губернатор.— Полицмейстер сильно ранен-с...

— Где? Кем?

— Так что дюэль была.

— Дуэль была? — изумленно повторил губернатор; в голове мелькнула мысль: уж не пьян ли, чего доброго, Свирин?

— Точно так! Дюэль! — рапортовал, словно обрадовавшись строгости, Свирин.

— Но с кем? Почему?

— Не могу знать! — отвечал Свирин.— Сказывают, с каким-то высоким человеком в котелке... Звания неизвестного. Убил полицмейстера и скрылся.

— Так, может, не дуэль, а прямо так убил да и скрылся?

— Никак нет! Дюэль. По правилу и формату. Ездили в лес, меряли шаги, потом раз, два, три — и бабац! С его благородием господин Клейн изволили ездить.

— А никто с докладом не приезжал?

— Никак нет, не приезжал. Суета-с! Помощник полицмейстера рассказывал по телефону и велел вам, как проснетесь, передать.

— Рана смертельная? — спросил губернатор, теперь торопясь окончить умывание.

— Дышит. На перевязке-с. Но труден-с,— говорил Свирин.

— Еще жив?

— Вероятно-с, жив. Сказали бы, ежели что.

— Дурак, что не разбудил...

— Не велено-с...

— Не велено-с! — передразнил губернатор, принимая из рук Свирина чистое, тонкое, с красными инициалами полотенце.

Что вошло в душу,— еще трудно было определить, но вошло что-то большое, шумное и тревожное. Жалости не было. «Все равно,— дело конченое»,— думал губернатор. Проснулось желание видеть этого человека, который когда-то,— это уже казалось очень далеким,— так спокойно выходил от него после приема и, застегивая перчатку, ждал,

пока подъедет сдержанным шагом пролетка, и потом, поехавши, щурил против солнца свои черные глаза. Ярко выявилось желание посмотреть на комнаты, в которых жили красивые молчаливые люди, на вещи, к которым прикасались их руки, на окна, в которые они смотрели. Тогда, казалось, когда он увидит все это, разгадается и будет ясным что-то большое...

Дом полицмейстера был недалеко,— нужно только подняться в гору и потом проехать по маленькой, засаженной молодыми ясенями улице. Вспомнилось почему-то, что в том доме, который был назначен для полицмейстера, когда-то, проездом на Кавказ, жил три дня Пушкин. Около подъезда беспорядочно толпились освещенные солнцем полицейские чиновники, ходил, выпятив грудь и держась пальцем за портупею, Крыжин — все это, когда губернатор подъехал, сразу сгрудилось, построилось по-военному, в шеренгу. Дом был низковатый, старинный; перед окнами, огороженные каменной, просвечивающей оградой, росли акации. Когда губернатор вошел в переднюю, его поразила какая-то настороженность в доме. Было тихо, как вечером в поле; но ясно, что здесь чего-то ждут,— все ждет: и вешалка с железными крючьями, и гардероб с круглыми из-под женских шляп картонками наверху, и зеркало, и стенная лампа с матовым абажуром. Все это, как живое, затаило дыхание и ждет.

«Смерть! — пронеслось в голове и показалось, что это слово — длинное, необычно длинное, верст в пять.— Смерть! Какая ж ты есть?» — мысленно ощущая жадность увидеть и познать ее, спрашивал губернатор тех мертвецов, каких он видел на своем веку. Было их много: отчетливо лежал в памяти, как на длинном столе, ряд лиц то спокойных, то искаженных, то закрытых ватою, то церковными воздухами, то перевязанных, как при зубной боли, платком; но все это не была она — смерть. Смерть была сейчас вот, в этом доме, в котором жил три дня Пушкин, была она здесь, здесь только можно было увидеть ее лицо,— то лицо, которое скоро войдет и к нему, в его губернаторский дом, которая, быть может, в длинном саване, со скрюченной косой в руках, носится за ним, как по осени паутина, невидимая, неоставляющая, которая, может быть, покончив здесь, должна полететь еще в другие дома, в другие города, в другие страны,— может быть, туда, где сейчас начинается весна и лазурью освещено вечереющее небо.

— Хочу видеть лицо твое! — как молитву, шептал слова губернатор.— Хочу видеть твое лицо!

Мысли необыкновенные, далекие от службы, от города, заструились в голове, как ручей на солнце. Голова слегка кружилась, и странно было, что пахнет чем-то удушливым, аптечным. Хлопнула дверь, на мгновение мелькнуло за ней большое окно, чьи-то спины,— и мимо губернатора через гостиную пробежал с тазиком в руках врач, черненький кучерявый еврейчик, который только что в феврале, после сретенья, приехал из ссылки, из Архангельской губернии. Доктор, боясь расплескать из таза красную жидкость, похожую на розовое вино, толкнул губернатора и даже не обернулся.

— Мошенник! — подумал губернатор и с сожалением улыбнулся: — Жизнь хочет спасти!

Раненый лежал в комнате направо: там слышался шум, сдержанные разговоры, туда же юркнул доктор с тазом. Там, должно быть, делали операцию, извлекали пулю.

Было часов около восьми. Утро все еще не наливалось полным светом; окна были охвачены тонким матовым потом еще не ушедшей с земли холодноватой, почти осенней ночи.

Губернатор сел в угол, в кожаное кресло.

— Эх, сюда бы да Максима Андреича! — подумал он, вспомнив врача, с которым был вместе на Дунае.— Тот не стал бы бегать с тазиками...— Сразу нарисовался в памяти человек, то и дело похлопывающий своим серебряным портсигаром, на крышке которого черной эмалью был нарисован московский кремль,— человек лысый, в белом кителе, застегнутом только на две нижних пуговицы. Любили его все за бодрость, за веселый нрав, за синий дымок, который он как-то особенно, прищурив глаз и поднимая голову, умел пускать изо рта; любили его за слова, хорошие, бодрые, слышные на весь лазарет:

— Вылечим! Чепуха!

В комнате направо становилось все шумнее, чаще где-то там, еще дальше, хлопали двери, бегали на цыпочках городовые, и ненужными почему-то казались в их коричневых руках нежные, завернутые в тонкую аптечную бумагу пакеты и пузырьки с приклеенными длинными, расширяющимися к концу рецептами. Высунулась из двери чья-то женская, в белой косынке, голова и громким шепотом спросила:

— Поехали?

Уходивший городовой обернулся, махнул рукой и досадливо ответил тоже шепотом:

— Поехали!

Этот шепот, косынка, розовые пакеты сделали то, что в душе ослабевало первоначальное торжественное волнение, и все мало-помалу становилось обыденным; кругом была обыденная обстановка гостиной: картины, затянутые от мух кисеей; маленькая трехрожковая люстра — тоже в кисее; в углу — темная бронзовая фигура сидящего Мефистофеля; на столе — альбом с большим золоченым якорем на крышке. Все это говорило и возвращало к жизни, которую устраивали весело и спокойно, без дум о смерти какие-то люди. И особенно не уходила мысль, что и картина, и кисея, и люстра, и фигура принадлежали полицмейстеру.

Губернатор взял альбом, развернул его... В рамку первой страницы был вложен портрет полицмейстера: он еще юнкер,— залихватский, красивый мальчуган, шапку с плоским верхом лихо надвинул набекрень, руку важно и властно положил на тесак; на правое плечо небрежно накинута серая шинель с буквами на погонах. В глазах — гордость, радость, молодость.

— Штык-юнкер! — невольно улыбаясь, прошептал губернатор.

Рядом с ним, на другой стороне, был портрет девушки в институтской пелерине, с гладко зачесанными волосами. Глаза у нее особенные, что-то обещающие. Совсем, кроме глаз, не похожа на ту прекрасную грустную женщину, которую все зовут цыганкой Азой. Голос у нее бархатный. Глаза ласкают того, на кого смотрят. Говорят, что она — добра и душу имеет милую. Губернатор вспомнил, как зимой, на благотворительном концерте, она читала какое-то стихотворение. Он не запомнил его, но ясно представлял себе глубоко затосковавшее лицо; от сердца поднявшиеся к глазам крупинки слез, тихо, под спущенный модератор, играющий рояль и слова — не то печальные, не то радостные:

— Сны мимолетные, сны беззаботные,— говорила она немного нараспев,— снятся лишь раз...

Тогда ему, сидевшему в первом ряду, мучительно захотелось, чтобы она повторила эти слова еще раз, и стыдно

было крикнуть об этом желании. Но оно, это желание, перебросилось к ней тайно, от души к душе,— и она взглянула на него. Проиграл рояль, Аза сделала шаг вперед, как-то особенно хрупнули сцепившиеся пальцами руки, слезинки, как живые, потекли по щеке, и совсем тихо, тоскуя о минувших снах, она, забыв о всех людях, собравшихся в зале, только, почудилось, сказала ему одному, незнакомому:

— Снятся лишь раз...

И об этой минуте он никому не рассказал бы...

Губернатор подошел к окну, протер носовым платком стекло и стал смотреть в сад. Сад был еще свеж, но по маленьким аллеям уже лежали мертвые, прожившие свою трехмесячную жизнь листья; на круглых клумбах росли астры. Неподалеку, в соборе, раздался удар колокола,— не большого, а среднего, в который звонят по будничным дням; спустя некоторое время ударили еще раз, потом еще,— зазвонили. Зазвонили к обедне и, как бы отвечая звону, шумно и торопливо в дальних комнатах пробили часы восемь раз. Еще на войне Свирин рассказывал, что звон нужно различать: первый удар — молиться за умерших, второй — за самоубийц, третий — за всех православных христиан. Тогда Свирин был молодой, и дразнили его тушканчиком. Кто-то тронул губернатора за руку. Обернулся,— сзади стоит доктор в белом халате, мнет полотенце и говорит:

— Кончается. Уже батюшка пришел. Сейчас молитвы будут читать.

Губернатор посмотрел на него насмешливо.

— Не спасли, значит? — спросил он.

Доктор с недоумением пожал плечами; лицо у него осунулось, будто он не спал четыре ночи.

Губернатор пошел в ту комнату, где лежал умирающий. Священник, неизвестно когда появившийся в доме, стоял в короткой, сильно распустившейся рясе, в старой, потертой епитрахили с выпуклым распятием на кресте и торопливо читал по рассыпавшемуся из переплета требнику прекрасную и нежную молитву, в которой говорилось, что умирающий до самой смерти славил святую троицу, в единице почитаемую.

На широкой кровати с полукруглыми спинками, до живота прикрытый одеялом, в одной рубашке лежал полицмейстер и, не моргая, глазами потускневшими, покрыв-

шимися матовым, как на черном винограде, налетом, смотрел на требник. Одна пуговица рубашки была не застегнута, край ее немного поднялся, сквозь отверстие виднелась большая желтоватая грудь.

— Ноги уже — как лед,— шепнул кто-то сзади.

Смерть шла от ног и медленно вползала в тело, вытесняя жизнь. Полицмейстер уже бредил, говорил о какой-то бумаге, называл две тысячи первый номер и отрывисто, несколько раз произнес слово «demi-sec». Руки еще двигались, но было видно, что смерть, как плотный воздух, как туман, насыщает их: все медленней и медленней шевелятся пальцы, ногти теряют блеск и покрываются налетом.

На коленях перед ним стояла его жена и, крепко прижавшись, точно желая согреть, обнимала его левую, свесившуюся руку. Была она в каком-то наскоро наброшенном капоте и, разбуженная, не успела причесать волос, и они теперь, черные, густые, щедро рассыпающиеся, мешали ей, закрывали ее и напоминали тициановскую Марию Магдалину.

Священник читал быстро, протяжно задерживал голос только на концах фраз, слюнил палец, когда нужно было перевернуть страницу с желтым, от частого прикосновения вдавленным углом.

Полицмейстер закрывал уже глаза. Слева от него было открытое окно: утренний свет, как нежной тканью, мягко лег ему на лицо, выровнял морщины, выделил над глазами выпуклости лба,— и перед этим светом, перед огнем свечи, перед словами прощающей все молитвы было жалко, что красивый полицмейстер, произносящий теперь слово «sec», этими же устами когда-то велел расстрелять перед кондитерской Люрс взволновавшийся народ.

Губернатор вспомнил, что и он в Далеком убил Волчка,— и было это так нелепо, не нужно, что к горлу подступил смех, и нельзя было от него удержаться. Когда раздался фыркнувший, как в школе, смех, священник перестал читать, задержал пальцем то место, где остановился, посмотрел сверх очков, но, увидев, что смеется губернатор, пугливо вобрал голову в плечи, поправил около шеи епитрахиль, ближе к глазам поднес требник и начал, ударяя только на слог «го», бесконечно повторять сливавшиеся и от этого странно звучащие два слова:

— Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй...

Губернатор, не дождавшись конца, опять вышел в гостиную. Посредине комнаты, прислушиваясь к тому, что делается за дверью, стоял с маленькой кожаной сумочкой на поясе разносчик телеграмм.

— Ты чего? — несколько удивленный, спросил губернатор.

— Депеша-с,— ответил почтальон и, узнав губернатора, сейчас же вытянул руки по швам, выпрямился и стал походить на солдата.

— Кому?

— Господину полицмейстеру.

— Давай сюда. Карандаш есть?

— Точно так-с,— и почтальон сунул ему в руку маленькую, чуть с конца обструганную, полинявшую палочку.

Губернатор, наклонясь над столом, расписался на листке, и, делая росчерк, немного порвал бумагу. Большим пальцем разорвал затем печать, склеивавшую депешу, и прочитал напечатанные на ленточке слова:

«Куропатки высланы, полтора пуда. Меду куплю Нежине. Буду ноябре. Михаил».

Телеграмма была из Минска. Рядом с именем этого города стояло много каких-то цифр.

Губернатор несколько раз перечитал депешу и как-то машинально уже не мог забыть фразы:

«Куропатки высланы, полтора пуда...»

В это время в комнате кто-то зарыдал. Минуту спустя вышел священник, завертывая изнанкой епитрахили бархатное, с железными углами евангелие и дребезжащий крест. Увидя губернатора, он виновато и низко, так что упали наперед волосы, поклонился и сказал:

— Отошел-с...

— Умер? — переспросил губернатор.

— Так точно, ваше пр-во! Скончался! — ответил священник и затем, приложив палец к губам, рассуждая с самим собой, добавил: — Теперь нужно пойти в собор, собрать иереев и справить первую панихиду.— И, согнувшись, боясь оступиться на темном пороге, близорукий, он торопливо вышел в переднюю.

XXI

Откуда-то, из глубины дома, двое городовых прокатили через гостиную, как продолговатое колесо, деревянную ванну, в которой моют белье. Вместе с ванной мгновенно появились какие-то две старушки, маленькие, суетливые, в черных платочках. Старушки прошлись по комнатам, огляделись, скоро узнали, где и в каком шкафу лежат полотенца, лохматые простыни, мочалки и сразу кругом закипела новая жизнь. Как-то особенно они подоткнули за пояс свои старушечьи юбки, засучили рукава и, маленькие, согнувшиеся, с острыми глазками, бесшумно в торопливых хлопотах забегали по дому с таким видом, будто здесь они жили лет сто.

— Самовар надо поставить, теплой воды нагреть,— говорила одна из них городовому,— а если, батюшка, в доме два самовара есть, то и два поставь. Похлопочи, батюшка, во спасение души.

Городовой стоял перед нею испуганно, как перед начальством, навытяжку.

— Самовари? — спрашивал он.— Самовари?

— Самовар, батюшка, самовар,— вразумительно толковала ему старуха,— поскорее. Тело нужно обмыть, пока не закоченело. А то ежели закоченеет,— одежи не наденешь. Как камень, покойник сделается.

Городовой ушел, и опять в доме началась суетня, пока не принесли из каких-то задних комнат самовар, который булькал, словно упрямился.

Губернатор видел, как с мертвого полицмейстера снимали старушки белье, как почему-то радостно улыбались их лица, как перешептывались они между собой, как старались не смотреть на место в груди, которое теперь было запечатано пластырем, как желтое, опустившееся тело перенесли в серую, обитую обручами ванну, которая стояла на полу, посередине комнаты. Красными дрожащими руками поддерживал за спину полицмейстера, чтобы придать ему сидячее положение, какой-то лысый, с багровым от напряжения лицом городовой. Голова полицмейстера, красивая, с растрепавшимися черными волосами, со спокойно закрытыми, слегка выпуклыми глазами свесилась на левое плечо. Старушонка разыскала какую-то чашку без ручки, вроде полоскательницы, развела в ней холодную и горячую

дымившуюся воду, покрестила ее тремя сложенными пальцами, пошептала над ней молитву и начала поливать ее полицмейстеру на голову: волосы его сейчас же сделались блестящими и слиплись. Потом, ставши на колена, обняв тело сзади рукой, старуха бережно поднесла к лицу его воду в ладони, умыла его несколько раз и шепотом, захлебываясь и спеша, приговаривала, как нянька:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй ны! Господи Иисусе Христе, сыне божий...

Лицо старухи было довольное и веселое, вероятно, оттого, что все идет как следует, что она теперь — главное лицо в доме: и городовой боялся ее больше, чем губернатора, и заискивающе посматривал ей в глаза.

— Теперь его, батюшку, вытрем, — одобрительно говорила старуха, — полотенчико мякенькое, хорошее... вот та-ак...

Старуха развернула широкое лохматое полотенце с разноцветными полосами вдоль и вытирала полицмейстера, по-прежнему приговаривая за каждым новым движением:

— Господи, сыне божий... Господи, сыне божий...

Положили полицмейстера на кровать, причем предварительно перебили подушку и разгладили простыню.

— Теперь мы его, батюшку, причешем, а ты, голубь, за одежей беги, — командовала, обращаясь к городовому, старушка, — скажи, что сапогов не нужно... Не нужно сапогов. Пусть пошлют в лавку Папаянца за туфлями. Есть такие туфельки, черненькие, мяконькие, за рубль за тридцать. Для усопших такая особенная есть.

Городовой скользнул в дверь, а старушка села около полицмейстера на кровать, приподняла его за голову и большим белым гребнем, каким во время облачения перед обедней причесывался архиерей Герман, сначала собрала ему волосы, еще мокрые, на лоб, потом провела ряд на ухом и сразу завернула их в левую сторону; получилась прическа, которой никогда не было у полицмейстера, но от которой он стал выглядеть моложе и еще красивей, чем при жизни. Принесли одежду. Начали надевать на него крахмальную сорочку, и так как было неудобно, то мяли хорошо и аккуратно заглаженные вдоль груди складки. Долго застегивали на запонку воротник, долго просовывали в шуршащий рукав, крахмальный на конце, руку. Надели на него

мундир с круглыми эполетами и, как-то изнутри подсунув пальцы, застегнули пуговицы. Делали все это неловко и торопливо, тело раскачивалось, и казалось, полицмейстер капризничает и не хочет одеваться. Старуха пощупала большим пальцем глаза его: хорошо ли закрыты? Было, должно быть, хорошо, потому что старуха успокоилась. В гостиной между тем составили перед иконой рядом два стола, покрыли их простыней и положили в головах две подушки: одну — большую, с кружевными вставками по бокам, вниз, другую, поменьше — наверх. Когда все это было окончено, позвали околоточного Герца, чтобы помог, и втроем перенесли на простыне полицмейстера в гостиную и положили его на столы. Окончательно сложили ему руки, вложили в них крест, слепленный из старых, обожженных восковых свечей, какие были отысканы старухами в кухне, и послали в городской сад в оранжереи за цветами.

Когда губернатор вышел из дому, его, вытянувшись и сделав непроницаемое, строгое лицо, ожидал у крыльца Крыжин. Вытянулись и все чины, бывшие с ним.

Было тепло; расцвело, словно после болезни, солнце: от деревьев на стену дома, по окнам легли серые тени, и в соборе опять в тот же средний колокол звонили ровными ударами; и чувствовалось, как этот звон идет с высоты вниз и плывет в город, в долины, в поля, в степь.

— Что это все звонят? — спросил, стоя на пороге, губернатор.

Крыжин, не отнимая руки от козырька, мягко наклонился и ответил:

— Литургия идет, ваше пр-во! Поют в церкви «Достойно и праведно есть поклонятися отцу и сыну и святому духу». Поэтому и звон. Чтобы всякий слышавший, в доме ли, в поле ли, положил на себя крестное знамение, потому что достойно есть.

— Так,— задумчиво сказал губернатор,— достойно есть...

Вероятно, оттого, что в доме лежал убитый полицмейстер, Крыжин настроился на религиозный лад и, все так же наклонившись, мягко говорил:

— И показывает еще сей звон, что приближается момент, когда на престол божий сойдет благодать духа святого, и вино превратится в кровь человеческую, а хлеб — в тело...

Губернатор посмотрел на него. В глазах Крыжина была

теплота, мягкость; смотрели они необычайно; нельзя было предположить, что его интересуют церковные вопросы.

Вдруг губернатор спросил:

— А кто убил полицмейстера?

— Нездешний человек,— ответил Крыжин, снова превращаясь в службиста,— приезжий... Личность еще не выяснена...

— Он скрылся?

Лицо Крыжина сначала выразило душевную обиду, а потом — радостное сияние.

— Никак нет, ваше пр-во,— гордо ответил он,— как можно — «скрылся». Разве может такой человек от нас скрыться? Как же! Никто не скрылся. И сидит человек тот, арестованный, у нас в полиции. Пойду вот сейчас, опрос сниму...

— В полиции? — изумился губернатор.— Там? — и показал пальцем.

— Точно так! Там,— радостно подтвердил Крыжин и, не отнимая руку от козырька, изящно поклонился и шаркнул левою ногой...

Губернатор немного подумал и потом сказал:

— Я хочу его видеть...

Не отнимая руки от козырька, Крыжин опять изящно и покорно поклонился. Пошли через ворота в полицию.

В передней сидел Пыпов, мрачный, толстый. Увидя губернатора, вытянулся...

— Привести его туда! — сказал ему Крыжин и указал глазами наверх.

Пыпов протяжно крякнул,— очевидно понял, кого нужно привести.

Пошли по лестнице. Крыжин шел сзади губернатора и боялся, как бы в кабинете не оказалось чего-нибудь лишнего: папиросы, рассыпанного табаку на бумагах, ненужных книг, пыли. Визит губернатора был неожиданным, и Крыжин ругал себя, что накликал его сам.

«Найдет что-нибудь и разнесет»,— беспокойно вертелось в голове.

Вошли в кабинет.

Сейчас же по канцелярии и в сыскном отделении разнеслась весть, что пришел губернатор. Задвигали стульями, забегали по лестнице, быстрыми голосами заговорили. Губернатор стал у окна и смотрел на двор. Было видно, как

из полицмейстерского дома, с заднего хода, выкатили ванну — ту самую, в которой обмывали покойника, и заперли ее в сарай,— заперли и подергали замок: держит ли. И показалась странною такая заботливость.

— Скоро ли? — спросил губернатор.

Крыжин бросился к двери и крикнул:

— Поди скажи, чтобы скорей!

— Чего скорее? — спросил невидимый бас.

Крыжин в досаде вылетел в коридор, и слышно было, как сам побежал по лестнице вниз. Скоро он вернулся, смущенный чем-то, видимо, подавленный, и пробормотал, не глядя губернатору в глаза, стараясь быть небрежным:

— Сейчас приведут. Умыться ему дают.

— Умыться? — удивленно спросил губернатор.— Почему — умыться? Разве он спал?

Крыжин, сразу как-то осунувшийся, побледневший, медленно ответил:

— Кровь у него на лице. Сам ли он, или Пыпов... Городовой у нас есть такой... Зверем иногда бывает.

Губернатор подошел к столу, чтобы поближе разглядеть Крыжина.

— Его били? — после паузы спросил он.

— Не могу знать, ваше пр-во,— смущенно глядя в пол, отвечал Крыжин,— но кажется...

Крыжин был взволнован: у него подергивался левый глаз, и пальцы рук дрожали...

В комнате были серые, выбитые полы, виднелись в дереве сучья, и краска сохранилась только под шкафами. Шкафы были дешевенькие, заваленные бумагами, крестнакрест перевязанными в кипы, и шел от них запах особенный, канцелярский. Почему-то почувствовалось, что в летние дни здесь должно быть особенно знойно и жарко, и тогда Крыжин сидит, расстегнув, вероятно, мундир.

— Это вы приказали бить? — тихо спросил губернатор, поворачиваясь к Крыжину.

Тот словно ожидал этого вопроса: задрожал весь, побледнел и, видимо, еле удержался на ногах. Можно было из его бормотанья разобрать только несколько слов.

— Нет. Никак нет. Только отдал приказание арестовать. А Пыпов говорит, что за начальство должен постоять. Оправдать душу, перед богом невинную, загубленную.

На лестнице послышались тяжелые шаги,— будто шло

человек восемь. Отворилась дверь, и в комнату вошел высокий неизвестный человек. Голова его вся была обвязана нечистым, где-то, видимо, наскоро взятым полотенцем,— оставался не закрытым только левый глаз, смотревший через синюю вздувшуюся опухоль, как через щелку. Человек был одет в длинный модный пиджак со складками назади,— теперь рукав, оторванный вверху у плеча, показывал рубашку, в боку был вырван кусок сукна и висел шершавой изнанкой наружу.

Некоторое время друг друга молча рассматривали.

— Вас избили здесь? — спросил губернатор.

— Здесь,— ответил человек.

Вырвалась казенная фраза:

— Виновные понесут наказание,— сказал губернатор и сконфузился, поводил пальцем по пыльному переплету какой-то лежавшей на столе книги и добавил: — Прежде всего вот помощник полицмейстера выйдет в отставку и будет предан суду. И так далее. Крыжин! Уйдите из комнаты.

Крыжин, как лунатик, протянул руки вперед, медленно пошел из комнаты и не затворил за собой двери. И только минуты две спустя кто-то притворил их.

— Меня избил городовой,— глухо говорил человек,— я ничего с ним поделать не мог. И когда он уходил, то сказал, что теперь у меня отбито все внутри и жить мне осталось всего шесть месяцев.

— Шесть месяцев,— машинально повторил губернатор.

Он чувствовал, что что-то нужно делать: не то закричать каким-нибудь длинным, протяжным голосом, не то топать ногами, не то опрокинуть шкаф с бумагами... Что-то широкое и большое поднималось внутри, и не было ему выхода.

— Я не знаю, что делать,— тихо сказал он, опускаясь на стул,— не знаю. Не могу дать себе отчета.

— А я,— сказал высокий человек,— знаю, что это правда. Я это чувствую.

— Что это? — спросил губернатор, поднимая голову.

— А вот то, что мне конец через шесть месяцев. Это чувствуется вот здесь, везде,— и он провел по груди ладонью и продолжал: — Я прошу вас об одном. Отпустите меня. Даю вам честное слово, что я не убегу от суда. Останусь здесь. А теперь отпустите.

— Вы будете отпущены,— сказал губернатор, долго ду-

мал и, наконец, нерешительно спросил: — Только скажите, пожалуйста, за что вы убили полицмейстера?

Высокий человек вздернул плечами.

— Странный вопрос,— сказал он, и запухшая щелка глаза немного блеснула и расширилась,— я не убивал никого. Я не разбойник. Я дрался на дуэли. Он сам вызвал меня и мог меня убить так же, как я — его. Неужели вы таких простых вещей не понимаете? — раздраженно спросил он.

Губернатор чувствовал себя смятым, разбитым, знал, что сейчас скажет ненужную вещь, и все-таки сказал:

— А почему у вас дуэль была?

Высокий человек сначала, видимо, хотел сказать все сразу, но потом остановился, в голове у него протекли быстрые думы, и он вымолвил:

— Очень просто. Я люблю его жену, и она любит меня. А его не любила. Совершился поединок, божий суд, если хотите. И бог решил: пусть она принадлежит тому, кого любит. Если хотите.

— Откуда вы? — с напряжением спрашивал губернатор.

— Мне кажется, это неважно! — ответил высокий человек.

— Я вас не знаю,— говорил губернатор.

— И я вас не знаю,— послышался глухой ответ,— я знаю, что от меня отняли мир, мою любовь,— по какому праву? Кто посмел?

Опять долго молчали, стоя друг перед другом.

— Вы убили его. Теперь убили вас. А она? — словно сам с собою говорил губернатор.— Когда он умирал, она целовала ему руку.

— Ложь! — тихо сказал высокий человек.

Губернатор внимательно посмотрел на него и добавил:

— Право, я не лгу. Целовала.

Высокий человек отвернулся в сторону и ответил, видимо, своим мыслям:

— Все равно,— и вдруг добавил: — Простите, мне трудно стоять на ногах.— Пошел к печке и сел там на стул с плетеным кружком. Губернатор по-прежнему остался у стола.

— Вы вот что,— сказал наконец он,— около крыльца стоит мой извозчик,— садитесь и поезжайте.

Высокий человек поднялся и спросил:

— А меня пропустят здесь? — и показал рукой на дверь.

— Не беспокойтесь,— ответил губернатор, сам проводил его до лестницы, нагнулся в пролет и крикнул:

— Не задерживать!

Скоро в комнату явились Крыжин и Пыпов. У Пыпова губернатор спросил:

— Правда, ты его убил?

— Правда,— ответил Пыпов.

— Отбил внутренности?

— Отбил.

— Кто ж тебе позволил?

— Сам себе позволил. Без всяких позволениев. Ссылайте в Сибирь, вот и все! — тупо отвечал Пыпов.

А когда он, грузный и широкий, ушел, Крыжин вдруг стал на колени, протянул к губернатору, как к богу, руки и просил:

— Ради творца всевышняго... Ради святой его крови... Умоляю вас ангелами небесными... Крест поцелую! Присягу похоронную приму! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

И когда губернатор, не ответив ему, пошел по лестнице, Крыжин полз за ним на коленях и кричал вниз:

— Ваше превосходительство!

Кудрявый старенький Шульман и лысый, странно, глубоко моргающий ротмистр вышли в коридор и смотрели на него.

XXII

Хоронили полицмейстера в ясный день. Была прозрачна и спокойна даль с отчетливыми очертаниями вокзала, маневрирующих поездов, спускающегося к земле неба.

Губернатор вспоминал лицо полицмейстера, и все время ему казалось, что у покойника нет глаз, вспоминал и не мог представить себе голоса, каким говорил он.

Листья деревьев, пожелтевшие, внутрь завернувшиеся, тихо и покорно падали. Отпевали полицмейстера в соборе: много кадили, и было видно, как в солнечном луче переливаются, купаясь, волны душистого дыма. Служили медленно, ходили в черных ризах важно, дьякона говорили басами и концы прошений печально затягивали вверх. На последнюю великую панихиду, после обедни, обещал при-

ехать архиерей Герман, но с самого утра заболел лихорадкой, которую захватил еще в Китае.

— Да и это бы ничего,— говорил он губернатору по телефону,— но вот беда. От лихорадки я спасаюсь чем? Пью водку с лимонным соком. Кружится голова: станешь на кафедру, еще бухнешься.

Службу по этой причине правил соборный протоиерей,— красивый, лысый старик, в полинявшей, с серыми пятнами камилавке. По обе стороны его, вдоль гроба, стояли со свечами священники, и черные ризы их говорили о великом посте, о ранней весне, когда на реках начинает трещать лед и прилетают скворцы.

Губернатору не нравилось пение, хотя было видно, что хор, а в особенности первые басы старались. Когда пели «Надгробное рыдание», то на слоге «да» получалось удивительно красивое и звучное сочетание голосов, и совершенно неожиданно, из далекого детства, когда учили играть на рояле, губернатору вспомнился музыкальный термин:

— Доминант септ аккорд.

Это слово развернуло в памяти уголок, старый, забытый. Он закрыл глаза,— исчезло его губернаторство, исчезло возвышение, на котором стоял он, церковь, протопоп, умерший полицмейстер: явилась комната с синими стенами, с левой стороны освещенная деревенским утренним, особенным солнцем. Явилось ощущение только что пережитых, волнующих, как холодная вода, снов. Вспомнились блестящие, разрисованные черными квадратами полы гостиной; голос отца в кабинете, староста Егор; какие-то мужики, становившиеся на колени перед крыльцом. Нежная, прекрасная женщина сидит у рояля и, держа на левом колене маленького мальчишку в бархатных штанах, учит его, как называются клавиши: белые и черные. А у мальчишки мелькают в голове думы о том, что не мешало бы гривенник, подаренный ему сегодня отцом, завернуть в платок, потому что время летнее и денежку с зазубренными краями могут покусать мухи; что орел, кажется, напился пьяным, а индюк собирается на село ко всенощной пойти...

Эта женщина — мать.

Теперь над ней — большой, черного мрамора крест, и на пьедестале золотыми буквами на славянском языке написаны евангельские слова.

Губернатору почему-то делается стыдно от этих воспоми-

наний, он краснеет, открывает глаза и смотрит на гроб, стоявший посередине церкви. С возвышения, которое в кафедральных соборах устраивается специально для губернаторов, ему виден полицмейстер, лежащий с бумажным венчиком на лбу. На венчике, как медальоны, нарисованы иконки. Под шеей у полицмейстера — вата. Глаза запали, как будто кто вдавил их большим пальцем. Нос сделался тонким и острым. Руки пожелтели, видны кости, расходящиеся, как веер. Лицо полицмейстера было таково, будто он за эти два дня и две ночи много кое о чем подумал и теперь окончательно убедился, что 18 марта и в самом деле не нужно бы стрелять в толпу. Даже мороз по коже пробегал, когда губернатору на ум пришла мысль, что, вероятно, только в гробу человек понимает все, всю жизнь, огромную и сложную, и видны тогда ему все пути ее, правые и неправые, и не кажутся они ему спутанными, а ясными и простыми, и понятно, как нужно было бы ходить по ним.

После ектении послышалось вдруг осторожное задавание тона, и хор необычно тихо и стройно запел:

— ...Житейское море, воздвигаемое зря, напастей бурею.

К тихому пристанищу твоему притек, вопию ти...

Душа очищалась, будто с нее, как с зерна, снимали шелуху. Выступали на глазах слезы, хотелось уйти от этой толпы в тихие далекие улицы. Необыкновенно прекрасною и чистой, как святая на иконе, представилась Соня. Она не пошла в церковь: боится панихиды.

Прочитали громкую и торжественную молитву об отпущении полицмейстеру всех грехов, вольных и невольных, и в знак прощения вложили ему в правую руку свернутое трубкой рукописание, которое он должен показать, когда в сороковой день предстанет перед богом. Понесли гроб к выходу. Наклонились у дверей хоругви. Ударил на колокольне грустный перезвон. Зарыдала вся черная и стройная, с невидимым лицом, цыганка Аза. Когда спускались по широким, залитым асфальтом порожкам, то голова покойника, казалось, приподнялась. А сзади печально, как склеп, закрылись золотые двери алтаря, и незаметно прошуршала за ними шелковая завеса.

На дворе солнце сверкнуло в серебряном кресте; как любопытные, расселись на первом этаже колокольни дикие голуби. Ударил большой колокол, они испугались и, звонко шлепая крыльями, полетели куда-то через парк.

На кладбище губернатор не пошел; поцеловал покойника в щеку,— была она холодная и твердая,— и поехал домой. Дома вышел на балкон и начал смотреть на ясный день. Закутавшись в старый оренбургский платок, скоро вышла к нему Соня. Лицо ее выглядело нездоровым, было оно какое-то утомленное, под глазами обозначились синие, словно наведенные карандашом, глубокие круги. Глаза беспокойно блестели.

— Ты, Сонюшка, нездорова! — сказал губернатор.

— Лихорадит что-то,— ответила Соня.

Захотелось приголубить девушку, захотелось сказать ей такое, отчего бы прошла болезнь, сделались спокойными и ясными ее глаза.

— Ну вот,— пошутил губернатор,— в городе есть два больных лихорадкой: архиерей и губернаторская дочка.

Соня не улыбнулась и скоро ушла назад, в комнаты.

В три часа Свирин накрывал уже стол для обеда и говорил, что сегодня на жаркое подадут куропаток с красной капустой. В это время зазвонил телефон. Губернатор взял трубку и спросил, откуда говорят.

— С кладбища, ваше пр-во! — услышал он шипящий голос.

— Что вам?

— Все исполнено, ваше пр-во! Я говорю, ваше пр-во! Крыжин.

Сразу сделалось неприятно, будто по спине поползла мокрица. С тех пор как Крыжин стоял на коленях, губернатор не принимал его.

— Что такое? Что исполнено?

— Обряд совершен в окончательной форме,— шипел телефон,— тело в могиле. Вся она, то есть могила, утопает в живых и искусственных цветах, ваше пр-во! Сказали речи: правитель канцелярии, старший советник губернского правления и зубной врач Антипов. Собирался говорить еще какой-то юноша из красных, но ему мною было строго воспрещено, так как он собирался, по всем видимостям, говорить обидное для покойника.

— Почему же это так было заметно? — спросил губернатор.

— А уж это так было видно,— шипел телефон,— на замечании человек. Я приказал отправить его в участок и выяснить личность. Кажется, из сидевших.

Перед вечером губернатор вышел пройтись по бульвару. С востока тянуло сыростью; пришлось надеть пальто и перчатки. Перчатки были новые, еще неразмявшиеся. Сзади губернатора шел Свирин.

В зимнем клубе сквозь запотевшие окна были тускло видны огни.

— На днях клуб уже переезжает сюда на зиму,— сказал Свирин,— поправляют монтеры лампочки. А еще несчастие случилось. Перевозили биллиарды, одну аспидную доску разбили. Послали телеграмму в Ростов-на-Дону.

На углу, около клуба, стоял Крыжин. Губернатор вспомнил доклад по телефону и заторопился, чтобы пройти мимо, но когда оглянулся, то увидел его рядом со Свириным.

Видимо, осмелившись, Крыжин сделал большой шаг, пошел вровень с губернатором и доложил:

— Выяснили. Задержанный — слесаря одного, Ивана Панкратова, сын. Из подозрительных. Глаз у него обожгли пулей 18 марта. Теперь на один только смотрит.

Темнело. На бульваре было пусто. В лимонадной будке зажгли рожок: ярко осветились какие-то вазы с виноградом, бутылки, столики, и еще больше покрылись темнотой окрестные деревья и аллеи.

— Ваше пр-во! — обратился к губернатору Крыжин, и в голосе его послышалась слащавая мольба.— Заставьте вечно бога молить...

И Крыжин снова бухнул на колени, хотел, видимо, схватить губернатора за пальто, но тот уклонился в сторону и молча пошел дальше.

Время от времени Свирин оглядывался и говорил:

— Скажи на милость! Все еще стоит! Вот оказия!

XXIII

Через полчаса, когда губернатор вернулся домой, Крыжин сообщил ему по телефону, что с каланчи дежурный Мартынов заметил огонь на ярмарочной площади. Оказалось, что загорелась лесная биржа купца Егорова. Недалеко от нее стоят нефтяные баки, которым угрожает большая опасность. Подозревается поджог. По улицам, гремя и звеня, с факелами впереди летела уже пожарная команда. Маленькие зеленые бочки на низких дрогах подпрыгивали. Так и

казалось, что сейчас вот они разлетятся, опрокинутся и разобьются. Гегеновская паровая мельница начала давать тревожные свистки; на тротуаре послышался топот бегущих, быстро меж собой переговаривающихся людей; город наполнился тревожным, заразительным шумом. Этот шум вызвал в памяти образ только что погребенного полицмейстера, и губернатор сказал Соне:

— Сколько бы ему было теперь хлопот! Надо бы скакать на пожар, суетиться, кричать! А то лежит теперь в земле, головой к западу,— и никаких волнений, дум, тревог...

— И хорошо...— мечтательно ответила Соня: — Посыплет скоро снег, будет кругом чисто, бело...

В голосе ее послышались те ноты, которые говорят о жажде отдыха, покоя, созерцания.

Губернатора поразила эта усталость, утомленное лицо; он хотел было поговорить с Соней, испытать: не скучно ли ей у него жить, не хочется ли в Москву, где теперь только что начинается сезон, съезжается народ, императорские театры уже дают представления, но в это время опять зазвонил телефон, и уже не Крыжин, а чей-то другой голос сообщил, что огонь перебросился в нефтяные баки, и баки горят теперь тихо, как лампады: опасности никакой, но и тушить нет возможности. Случился, между прочим, анекдот. Один из усердных чиновников телефонной станции бросился спасать телефонный аппарат, висевший в конторе Егорова и, пока отрывал его от стены, спалил свою длинную бороду и стал похож на бритого. Мальчишки его начали дразнить: «У какого цирюльника брился, дяденька? Не у Еремея ли Артемьевича?» Телефонист сначала смеялся, а потом рассердился и спасенным аппаратом хватил одного малого так, что у того из головы кровь брызнула и аппарат сломался. Телефониста отправили в участок.

С балкона была видна часть пожара. Стояло огромное облако освещенного снизу дыма, в котором, казалось, рвались и боролись между собой какие-то озверелые, то и дело менявшие свои очертания, огненные богатыри. В бинокль можно было различить постройки, время от времени озарявшиеся случайным напором огня.

Поблизости чернел какой-то длинный и узкий сад.

Соня сказалась больной, заперлась в своей комнате и сидела там так, как она любила сидеть,— зябко закутавшись

в пуховый платок. Губернатор подошел к ее двери, постучал и сказал:

— Соня! Пойдем на гору. Пожар смотреть.

Ответа долго не было, а когда послышался голос, то звучал он сухо и неприветливо. Губернатор чувствовал, что такой тон приобретается в определенные мгновения жизни, но какие,— уяснить не мог.

— Я не пойду, папочка,— сказала через дверь Соня,— не люблю пожаров.

Губернатор пошел один; Свирин куда-то запропастился. Вся дворня вылезла на крышу дома, вероятно, и он был там.

Подниматься на гору было трудно. На соборной лестнице, широкой, большой, похожей на одесскую лестницу к морю, он останавливался и делал передышку. Лестница была высока и темна. По обе ее стороны рос густой сад. Идти вверх, к собору, было страшно, и губернатор часто оглядывался назад, на встревоженный пожаром город. Вверху, в соборе, горел какой-то огонек.

На средней площадке губернатор задержался особенно долго.

Вспомнилась опять Соня.

В последнее время, когда он начинал думать о ней, то обыкновенно в душе рождалась тревога. Откуда и почему она приходила, губернатор не мог объяснить, огорчался и думал, что похож на слепого. Он чувствовал ее душу, какое-то скрытое беспокойство, которое она боялась показать, которое было непонятно. Ему и раньше казалось, что приезд Сони — не то радость, не то печаль, и нельзя было разобрать, где правда.

Огонек вверху оказался лампадкой, знакомой, неугасимой лампадой торгового дома братьев Пестрядиных. В 1879 году старик Пестрядин, умирая, завещал пять тысяч, чтобы в соборе, перед чудотворцем, всегда горел огонь; и на лампаде, большой, выпуклой, с изображением ангелов, была выбита надпись: «От торгового дома Пестрядина сыновей. Господу помолимся».

Когда губернатор подходил к месту у креста, послышались голоса, смех. Очевидно, собралась молодежь смотреть пожар. Молодые голоса трудно различить: все они похожи друг на друга.

Губернатор, не доходя до них, остановился. Пожар был виден весь. В бинокль, в морское стекло, стали заметны

копошившиеся люди, то пропадавшие в темноте, то сразу и ярко, будто кто-то шалил, освещавшиеся огнем. Стояла в стороне, блестя касками, пожарная команда. Очевидно, решили: пусть горит до конца, все равно с нефтью ничего не поделаешь.

Губернатора заметили.

Какая-то темная фигура в плаще подошла к нему, посмотрела и торопливо вернулась назад. Было слышно, как кто-то удивленно спросил:

— Губер-натор?

И сейчас же поднялся с земли человек, в котором было что-то знакомое, и направился прямо к нему; оказалось — Ярнов.

— И вы пришли сюда? — спросил он.

— Пришел,— ответил губернатор,— а что-то тебя давненько не видать. Наведался бы. Ездил, что ли, куда?

— Никуда не ездил, некогда,— тихо и смущенно сказал Ярнов и вдруг перешел на беззаботный веселый тон: — А мы вот завтра провожаем студентов, ну вот и собрались здесь. Пили вино и все такое. Когда-то еще увидимся.

В темноте можно было различить и женские шляпки.

— И барышни едут? — спросил губернатор.

— А как же? — ответил Ярнов.— И барышни на север держат путь. Весело теперь ехать! Едут студенты, до самого Воронежа едят арбузы и смеются.

От пожара, от зарева доходил сюда странноватый отблеск.

Ярнов стоял к огню левой стороной, был освещен тускло и совсем не походил на того Ярнова, которого знал губернатор. Глаза его, серые, казались черными, борода — удлиненною, ассирийскою. Казалось, что к городу, прыгая, вплотную подошел огромный огненный зверь, собирается ринуться на дома, на колокольни, на сады и пожрать это все.

— Вы, может быть, присели бы к нам? — спросил Ярнов.

— Да, я устал,— ответил губернатор.

— Господа! — обратился Ярнов к компании.— Вот губернатор хочет посидеть с нами и просит дать ему местечко. А? Барышни! Подвиньтесь-ка! Ваше пр-во! А ну пожалуйте! Вот сюда, в дамское общество. Это вот у нас — Марья Антоновна и Анна Андреевна из «Ревизора». Господа! Я знаю, что мало кто из нас любит губернатора. Но, господа,

сей день, его же сотвори господь... Будем просто людьми. Вот губернатор сел и хочет выпить белого вина. Вытрите стакан и налейте нашего мозельвейну. Не беспокойтесь, ваше пр-во! Шесть гривен бутылка.

Ярнов старался быть веселым и развязным; но это как-то не шло к зареву, к черному густому дыму, который, как туча, шел на город и, казалось, готов был пролиться черным дождем.

— В Грузии есть обычай,— говорил, не переставая суетиться, Ярнов,— на пиру выбирать распорядителя. И зовут его — тамада. Подчиняться ему нужно, как царю. Конечно, во время пожара не нужно бы устраивать пира, но ведь горит что? Нефть? Горит, значит, карман купца Егорова? А купец Егоров кто?

— Буржуй! — деланным писклявым голосом вставил кто-то из лежавших. На земле, на разостланной бурке, лежали темными силуэтами люди. Там же было и вино, и стаканы.

— Правильно, буржуй,— согласился Ярнов: — Завтра ему нальют в эти баки новой нефти, и беду его Митькой звали. Итак, выпьемо!

— Выпьемо! — ответили с травы.

Послышалось осторожное чоканье бокалов. Ярнов всунул губернатору в руки слегка мокрый, скользкий стакан. Вино было кисловатое и не холодное, но показалось приятным.

— У нас здесь был спор,— сказал Ярнов, обращаясь к губернатору...

— У Казбека с Шат-горою был великий спор! — с преувеличенным шутливым пафосом продекламировал какой-то невидный бас.

— Я вот говорю,— продолжал Ярнов,— что, по-моему, огромное единственное несчастие человечества началось с того момента, как какой-то безумец в исступлении, вероятно, в тиши ночи родил в своем горячем, сумасшедшем мозгу слово «бессмертие». Это слово, как искра, зажгло мозг человечества: вспыхнуло яркое пламя безумной надежды и горит, горит оно теперь и сжигает, коверкает жизнь, сжигает счастье людей. Оно обманывает, оно навевает сон золотой, но все-таки, господа, за этот сон не честь безумцу, а укор! Все религии построили свое учение на этом сне золотом; только буддизм сумел откреститься от него, да и то с грехом пополам! Сколько человеческих жизней — миллионы! —

взошли на Голгофу из-за него! Сколько человеческих жизней,— самых, может быть, прекрасных, самых ярких, способных на подвиг,— замуровали себя в скиты, в монастыри, в пещеры, в леса! Сколько здоровой, творческой энергии, годной на создание счастья столетий, ушло с дороги жизни на какую-то окольную тропу, которая сбрасывала своих путников только в черную бездонную пропасть! И все почему? Потому что, как в свет солнца, как в теплоту солнца, поверили в слово! Вы только представьте себе: этого понятия нет на земле. Совсем бы иная жизнь была! Иная! А то — бессмертие! Французская булка стоит пятак, а бессмертие — три копейки. Ходи в субботу в баню, потом к всенощной, на четвертой неделе получи прощение грехов, а перед смертью помажь себя елеем,— и пожалуйте в горные селения! Облекайся в белые, как снег, ризы и венчайся короной бессмертия! Что же это такое, милостивые государи? Это бессмертие купцов Егоровых. А с другой стороны, за это же бессмертие люди — и какие люди! — шли на арену римских цирков,— люди с этакой силой, с этаким умением верить, сумевшие бы мир семь раз перевернуть! Шли, как перепела, на байку! А?

И вопрос Ярнова, казалось, врезался в воздух.

С земли послышался ответ:

— Видишь, Ярнов,— сказал чей-то глуховатый тенорок,— завернул бы и я тебе на это словцо, но, ей-богу,— вы простите, ваше пр-во, вы — наш гость, и я не должен был бы этого говорить,— но этого слова я не могу сказать не потому, что боюсь вас или стесняюсь, но когда я вижу ваш силуэт, ваше присутствие, оно не выходит из горла. Ну, как бы это сказать? Ну,— как вот о мокрую стенку нельзя зажечь спички.

— Я, господа, нечаянно попал к вам,— начал губернатор,— и, разумеется, сейчас уйду, не буду мешать вам. Я сам понимаю,— бормотал он,— понимаю...

— Спеть бы! — предложил с земли бас.

— Оно, конешно, самое лучшее,— подражая франтоватым парням, подтвердил кто-то с другой стороны.

— Фа-ля-до-о,— задал тон чей-то тенорок, и сейчас же кто-то из барышень сказал:

— Высоко, маэстро.

— Можно и пониже! — согласился дирижер, опять промурлыкал: — Фа-ля-до-о! — и спросил: — Так ничего?

Кто-то, не выговаривая слов, попробовал так же и ответил:

— Так сойдет...

— А я бы, господа,— вмешался в разговор человек, до сих пор молчавший,— предложил не петь. Во-первых, пожар все-таки. Во-вторых — собор. Придут сторожа, поднимется Ключарь, он вот тут поблизости живет, и пойдет канитель.

— А за нас его пр-во вступится! — ироническим тоном сказал студент, первый предложивший петь.

Студенты сразу примолкли; кто-то демонстративно, очень протяжно кашлянул, кто-то, тоже демонстративно, начал тянуть вино, чмокать и за каждым глотком говорить:

— Шашлычку бы!

Вдруг какая-то фигура быстро поднялась на локте, заблестели в темноте желтые задорные глаза, послышался голос, в котором звучал затаенный смех:

— А вы это, господа, знаете? Сотворил бог Адама. Адам, конечно, был грузин. Ара, батона. Вот ходит по раю Адам грустный...

— Оставь, Смавский,— сказал кто-то...

Создалось неловкое молчание, чувствовалось, что не за что ухватиться, не о чем говорить.

И снова заговорил Ярнов, обращаясь к губернатору:

— Видите, ваше пр-во,— сказал он, видимо охмелевший, и это «превосходительство» было почему-то особенно неприятно губернатору,— эта публика — все студенты. Эти вот барышни — курсовицы...

— Нельзя ли, Ярнов, без острословия? — кокетливо сказал из темноты женский голос.

— Курсовицы! — стоял на своем Ярнов.— Завтра все они и оне купят по зеленому билету за девять целковых и — тук-тук! поедут туда! — Ярнов махнул рукою налево.— Поедут на север дикий, туда, где теперь жизнь поставили на огонь, и начинает она закипать, закипать... И аромат от нее идет вкусный-превкусный... Где теперь... Ах! — И Ярнов запел вдруг напряженным вымученным баритоном, ударяя на о: «Когда б я знал!! Напрасно жизнь и силу» — и потом вспомнил: — Да, да,— петь строжайше запрещено. Храм божий!.. Дому твоему подобает святыня... Да, да. А мы с вами, ваше пр-во, останемся здесь... Ну вот и решили посидеть вместе, благо теплый вечер... Купили у Попан-

допуло мозельвейну и приехали сюда на своих на двоих. А тут, как на грех, пожар запыхал...

Губернатору очень хотелось бы сказать что-нибудь теплое и ласковое, хорошее. Он знал, что есть много слов, которые могли бы разбить это напряженное неприятное молчание и вывели бы из затруднения Ярнова. Казалось, он раскаивается, что пригласил его посидеть, чувствует себя неловко перед компанией и эту неловкость хочет загладить неудающейся развязностью, пением романса, балагурством. Нужно было как можно скорее кончить все это, и губернатор сказал:

— Ну вот. Не желаю прерывать вашего веселья, господа... счастливой вам дороги, а я поплетусь восвояси.

Ярнов схватил его за руку.

— Нет, нет, ваше пр-во! — упрямо заговорил он, и опять это «пр-во» неприятно отозвалось в душе губернатора.— Нет, подождите. Когда еще студентам придется сидеть со своим начальством? Господа! Вы напрасно губернатора стесняетесь. Он не тот, каким вы его себе представляете. Он любит молодежь. У него есть прелестная дочь Соня, подруга моего детства. Да. Ведь я, господа, старик по сравнению с вами. Вы что? Молокососы! Нашему богу — бя! А, кстати, почему Соня не пришла?

И в этом вопросе, предложенном небрежно, но на который, казалось, Ярнов долго не мог решиться, дрогнула только для одного губернатора заметная нота страдания, не выдержавшего, заглушавшегося, видно, громкой речью о бессмертии, вином, думами о далеком севере.

— Нездоровится ей что-то,— ответил губернатор.

Пролетело мгновение какого-то странного, напряженного молчания и показалось, будто все затаили дух в ожидании, как к этому отнесется Ярнов.

«Может быть, известно всем? — пронеслась в голове губернатора мысль.— Ведь у молодости все наперечет!»

— Хм! Нездоровится! — глухо, с тайной будто враждебностью повторил Ярнов.

Прошло еще минут пять. Сказали несколько фраз о пожаре, который, видимо, уже всем надоел, посмотрели в губернаторский бинокль, похвалили его переворачивающиеся стекла, выпили еще вина.

Губернатор попрощался общим поклоном и пошел к собору. Идти было неудобно: попадались какие-то ямки,

камни, цеплялись и царапали руку кусты засохшего репейника, приходилось спотыкаться.

Было тихо, и опять о чем-то говорил неугасимый свет. Голоса остались сзади, замолкли, и уже казалось, что никто, ничей взгляд не жжет спины. Ему стало до боли стыдно, когда он вспомнил, как представлял себя профессором, как могли явиться думы о себе как о руководителе молодости, о возможности сказать и сделать что-либо значительное и важное. Стало ясным, что все эти его порывы — только трусость перед смертью; что если бы не трусость, то давно ушел бы он от своего губернаторства, от сторублевок, ушел бы в лес, питался бы брусникой и думал о смерти.

«Но нужно же кормить тех, уехавших? — мелькали образы женщин.— Нужна квартира на Никитской, три комнаты, и чтобы был у них уют. Нужно, нужно,— твердил он в такт твердых, шуршащих шагов,— ведь ничего нет, нечем жить, если не будет жалованья».

— Ну и черт с ними! — вдруг громко сказал он: — Пусть презирают, пусть чуждаются. Они правы. И черт с ними! Каким был, таким и подохну. И жаль, что тогда, как старый дурак, расчувствовался перед Ярновым. Да и зачем они мне? Аплодисментов захотелось, старый пес? Поломаться над смертью захотелось? Эх ты-ы!

И захотелось самого себя бить по щекам и приговаривать, как в детстве приговаривали, когда били кота:

— Знай, знай, знай!

Опять лезли мысли:

— И пусть, и пусть. Как был зверюгой, так и подохну. Пусть писцы на могиле пьют водку. Пусть только бог видит.

Вспомнил, что бога нет.

— Кто же увидит душу? Кому покажу душу? — думал он.— Соня? Соня не поймет, ей не до меня.

И опять из собора смотрит неугасимый свет, в 1879 году зажженный страстной, четверговой свечкой, рукой самого, теперь уже умершего, купца.

Остановился он перед собором. Было темно, чуть блестели за решетками окна. И пришла мысль: а вдруг сейчас в этой темноте идет служба богу? Встали из своих склепов епископы Феофилакт, Евгений, Владимир, погребенные под алтарем, надели кованые облачения, митры и, может быть, поют богу на языке, какого не знает земля. Стоят на гу-

бернаторском возвышении умершие в этом городе губернаторы — Плещицкий, Очаков. Горят черные огни свеч, гремит невидимый хор, совершается евхаристия, причащаются крови господней и его тела. Стоят в народе убитые 18 марта; сегодня пришел к ним полицмейстер, и ходят они с протянутыми руками, и истина в их речах, потому что за гробом нет уже лжи.

А кругом на земле копошатся ничтожества, едут какие-то люди на север, и сам он, скоро узнающий правду, чего-то боится, чего-то трусит, в чем-то упрекает себя.

Огонек, зажженный рукой благочестивого купца, горел и казалось, думал думу.

Сзади раздались чьи-то спешные, видимо, догоняющие шаги, и скоро кто-то крепко взял губернатора за руку и дыхнул ему в лицо винным запахом. Это был Ярнов.

— Я провожу вас,— сказал он,— хочу проводить вас. Хочу вам сказать, отец мой, слово. Вот сами говорите вы, что дожили до седых волос и стоите сейчас перед смертью. Вам бы, отец мой, все теперь понимать, все, так сказать, проницать, а вы ничего не знаете, ничего не понимаете.

Никогда раньше он не звал его отцом. Это и нравилось и не нравилось. Странно было, что от него пахло вином, что он немного пошатывался, странною выходила у него разговорчивость, оживленность.

— Вот вы сами признавались мне,— говорит Ярнов,— что вам хочется написать несколько хороших, нежных писем, и вы не можете. Нет слов на вашем языке. Таких вот простых, ясненьких слов. Слепы вы. Ничего не видите. Ослепла душа ваша. А она у вас — хорошая, ясная. А ослепла. Как вот слепнут от слез глаза. Вы близкого не видите. Вы не видите, как Свирин любит вас. Вы не видите, как полна страданием Соня, дочь ваша. А страдание ее — так ясно и так огромно: оно — в глазах, в движениях, в голосе... А вы ничего не видите и ничего не чувствуете. Не хотел вам говорить о Соне, но не вытерпела душа. День сегодня такой. Говорю: день, его же сотвори господь... Чудесная фраза!

Губернатор меж тем высвободил руку и остановился. Остановился и Ярнов. Были они в ожидающих, точно собирались бороться, позах. В темноте от креста стали слышаться охмелевшие крики. Вокруг было пустынно и тихо.

— Нет, ты постой, — сказал губернатор, — повтори-ка, что ты сказал о Соне?

— Что сказал о Соне? — переспросил Ярнов. — Сказал, что Соня страдает, а вы слепы и ничего не видите. Соня. Дочь ваша.

— Соня? Страдает?

Губернатор спрашивал и в то же время чувствовал, будто в мозгу подбирается что-то ясное, ослепительно светлое, будто уходит какая-то темь, неразгаданность, все делается понятным и простым.

— Ну да, страдает, — ответил Ярнов. — Чего она приехала к вам? — спрашивал он, возбужденный и дрожащий. — От страдания своего. Несчастная она. Ах, как она несчастна!

И Ярнов закрыл лицо руками...

— Соня? Несчастна? — все более и более приближая свое лицо к лицу Ярнова, спрашивал губернатор.

— Ну да, несчастна. Тысячу раз сказал уже!

Долго молчали, и можно было ожидать, что вдруг, внезапно прорвется это молчание и схватятся они, два человека, как враги, в нелепой, но неизбежной борьбе.

И вдруг все напряжение прошло, ослабло, и Ярнов сказал тихо:

— Любит она. Любит глубоко. Понимаете ли вы, старик, отец: глубо-ко...

В голове Ярнова что-то задрожало, зазвенело...

— Ну и что же? — горячим шепотом спрашивал губернатор.

— Ну... а ее... не любят, — отвечал Ярнов.

— Кто же он-то?

Ярнов усмехнулся и спросил:

— Кто он? Тот, кого она любит. Ясно, кажется.

Долго еще стояли.

— Ярнов! — кто-то басом кричал от креста: — Рыжий, красный — человек опа-асны-ый...

Тихо пошли по широким ступенькам вниз, в город. Из сада, с обеих сторон, тянуло влажным холодом. Срывался время от времени ветер, будил деревья.

Сердце стучало неровно: то слабо, то сильно, но стыдно было сказать Ярнову, что идти больно, и он остановил его движением руки.

Задыхаясь и быстро переговариваясь меж собой, пробе-

жали мимо них четыре человека: очевидно, бежали пожар смотреть.

Ярнов начал раскуривать папиросу. Когда спичка вспыхнула, осветилось странными, изменчивыми пятнами его худое изможденное лицо, длинный нос.

— Он там, в Москве? — спросил губернатор.

— Кажется, — ответил Ярнов.

В городе было давно уже темно. Погасли в магазинах огни. Далеко слышался гром колес: очевидно, пожарные набирали в бассейнах воду. На бульваре кто-то шел и пел, то и дело сбиваясь:

— Город Никола-аев, французский завод...

Губернатор пришел домой поздно. Отворил ему дверь Свирин, хмурый, сердитый, делающий вид, будто ему очень хочется спать, и не дают, приходится вот сидеть в приемной, ждать, подогревать на спиртовке для лекарства минеральную воду...

— А вас здесь ждут, — сказал он. — По важному делу...

— Кто ждет? В этот час? — оживленно спросил губернатор.

— Клейн, ротмистр, — доложил Свирин.

Губернатор почему-то подумал, что его ждет Соня. Было досадно, что теперь, когда в душу вошли новые тревоги, новые волнения, в дом, поздно вечером, — значит, по какому-либо очень хлопотливому делу, — врывается неприятный человек, сидит, ждет.

— Где он? — спросил губернатор.

— В гостиной сидят, книжку рассматривают. Вина им белого дал.

Клейн поднялся навстречу, бледный, взъерошенный, в каком-то необычайном, помятом мундире с перегнувшимися эполетами. Золотое пенсне его куда-то исчезло, глаза близоруко щурились, и, чтобы рассмотреть предмет, ему нужно было вытягивать вперед лицо. Весь он был тревожный, беспокойный, выбитый из колеи.

Как-то сами собой пришли на ум слова Германа о том, что Клейну нужно делать карьеру, что Клейн донесет, Клейн может донести, — и была в этом правда: тот Клейн, вылощенный, сытый, наглый, мог донести и, наверное, донес. Сделалось смешно.

— Вы чего? — спросил на ходу губернатор.

— К вам, ваше пр-во! — сказал Клейн, приподнимаясь,

торопливо идя ему навстречу,— и губернатор не узнал его голоса. Можно было подумать, что Клейн простудился, много вчера выпил, теперь хрипит и кашляет: — Пришел ночевать к вам, ваше пр-во.

— Ночевать? — изумился губернатор.— Это же по какому поводу?

— Ночевать. Как хотите. Только не гоните. Беду могу сделать.— И вдруг со слезами на широко раскрывшихся глазах ротмистр зашептал: — Понимаете? Сил нету, сил нету ждать.

— Чего ждать? Кого? Говорите яснее,— уже сердился губернатор.

— Его, полицмейстера. Сегодня, чувствую, должен явиться. Сегодня зарыли.

Клейн близко подошел к губернатору и — словно передал ему великую тайну:

— Сегодня он все там узнает, там,— и Клейн указывал рукою на землю.

— Что узнает? — удивленный, спрашивал губернатор, и его голос, звучно отдавшийся под карнизами, странно смешивался с испуганным шепотом ротмистра; его спокойное, внимательное, слегка насмешливое лицо смотрело на испуганного, исказившегося Клейна.

— Виноват я,— бормотал Клейн: — Покаюсь вам, как на духу. Любил Азу... А она... презирала меня, как дрянь, как ничтожество. И целый месяц приклеивал себе бороду, надевал штатскую одежду и выследил... Закипело сердце... Ну, и писал полицмейстеру письма...

— Анонимные? — спросил губернатор.

Клейн утвердительно кивнул головой и, словно куда-то торопясь, тяжело проглатывая слюну, говорил:

— Анонимные, да... Ну, и навел его на след... И пришел он, весь бледный, дрожащий — и увидел. И потом я же его секундантом... Я, я, я...— и Клейн почему-то опустился на колени.

Губернатор засмеялся.

— А мне вы никаких писем не писали? — спросил он, не глядя на Клейна.

Глаза Клейна, поднятые вверх, смотрели, чего-то ожидая, ничего не собираясь скрыть. Он опять закивал головою и заговорил:

— Писал, писал... И вам писал. Многим писал. Многим.

В комнату вошел Свирин и, увидя Клейна на коленях, остановился и не знал, что ему делать: войти ли ему или скрыться? Губернатор заметил его и махнул рукою, чтобы тот ушел; но Клейн опять схватился за руку и зашептал:

— Ничего, ничего... Пусть видит... Пусть... Это хорошо, хорошо...

— Да встаньте же, ротмистр... смешно! — с укоризной сказал губернатор.

Клейн встал, в смущении отряхнул колени.

Губернатор не знал, что делать. Было два выхода: прогнать ротмистра или оставить его в доме. Если прогонять, то ничего не выйдет: он опять будет становиться на колени, вынет револьвер... Было какое-то острое, брезгливое чувство, будто по всему полу ползали голодные, отощавшие лягушки.

— Есть хотите? — спросил губернатор.

— Хочу,— ответил Клейн.

Накрыли ему поужинать. Губернатор смотрел, как он ест дрожащими руками, как у него стучит о зубы стакан с вином. Казалось, что Клейн сейчас может бесконечно есть и не заметить,— сыт он или не сыт.

В спальне Клейн попросил не тушить огня.

— Беда мне с вами! — ворчал губернатор.— Вот, не туши огня... А я при огне спать не могу.

— Потерпите, ваше пр-во! — взмолился Клейн.— Одну-то ночь как-нибудь... Сделайте доброе дело...

Губернатор повернулся к стене. Дом затих.

Никак нельзя было забыть того, что в комнате лежит человек, ожидающий мертвеца, который теперь уже все узнал и удивился тому, что делается на земле. Войдет белый, в саване, с протянутыми руками, с крестом из восковых свечей и потрогает Клейна. Губернатор улыбнулся, приподнялся и посмотрел: Клейн лежал на тахте ничком, с головой укрылся одеялом и походил на длинный мешок с картофелем.

Облокотившись, губернатор смотрел на него долго, пока не подавил в себе приступы смеха, и потом позвал:

— Клейн!

Мешок вздрогнул и повел, прислушиваясь, головою.

— Клейн! — погромче сказал губернатор.

— А? — глухо послышалось из-под одеяла.

— Да вы повернитесь. Ведь это не мертвец, а я.

Клейн высунулся, приподнял голову; была она у него странная: волосы сбились на лоб, смешно торчали.

Он ждал вопроса. Губернатор с легкой улыбкой, снова испытывая, долго смотрел на его лицо, глаза, волосы и вдруг тихо спросил:

— А на меня вы донесли?

Клейн не ответил, а медленно, словно сразу ослепнув, повел головою, по-прежнему спрятал ее в подушку и опять стал походить на мешок.

Губернатор, не изменив позы, все смотрел на него, и этот взгляд, казалось, жег спину Клейна, и он то и дело поеживался, будто ему было очень холодно.

Губернатор усмехнулся и повернулся к стене. Пружины кровати слабо заскрипели.

Утром, часов в пять, губернатор проснулся и увидел, что Клейна уже нет. Вероятно, с рассветом он встал, оделся и ушел; не спал, должно быть, всю ночь.

Губернатор погасил электричество, и окна стали нежно-синими.

XXIV

Наступала осень медленно, спокойно, как царица, восстанавливающая себя на прародительском престоле. Мертвые листья, словно опять желая вернуться на свои старые места, на деревья, кружились по воздуху, встревоженные, похожие на слепых голубей. С востока, с Каспийского моря, тянуло холодом. В газетах, в телеграфном отделе печатали, что в Казанской губернии уже высыпал снег глубиной с пол-аршина.

Но, царица стареющая, осень иногда милостиво улыбалась: к покрову, например, выпали чудеснейшие дни со светлым, теплым солнцем, с ясными, спокойными далями, с синим небом, с паутиной, в золотых лучах переливающейся радужными, живыми, как ртуть, красками.

Губернатор плохо спал по ночам. Болезнь давала чувствовать себя особенно остро: плохо действовала и вечно назойливо ныла левая рука. Целыми ночами он просиживал у окна. В два часа погасали фонари, и тогда тьме не было запрета, и она, как ростовщик, захватывала и плотно налагала свою руку на все: на поля, на улицы, на переулки, на сады, на дома.

По ночам, когда сразу, по мановению электрической станции, погасали матовые шары, приходили мысли о том, что вот шестьдесят лет тому назад явился он в этот мир, под солнце, под небо, под месяц, к земле, к деревьям. Прекрасный, синий, волнистый Дунай окрасил он чудеснейшей человеческой кровью. Убил человека, приблизившего в упор к нему свое опухшее, дрожащее лицо, обжигавшего его огнем жестоких, огненных глаз. Бог послал наказание: ослепил его душу.

Солнце, бульвар, месяц, сразу не показывающий лица своего, быстрые тучи — это гроб, в котором лежит он. Он ходит, говорит, смеется над Клейном, принимает ванны, в которые насыпают, по приказанию врача, ржавых гвоздей, а на самом деле он слеп, мертв. Он забыл все хорошие человеческие слова. Есть удивительные слова, милые, нежные, как старая любовная музыка.

Около него — прекрасная девушка. Он, слепой, чувствует ее теплоту, но не видит ее света. Ярнов видит. Теперь, когда сказали, понятно все: и стремление к одиночеству, и этот часто поворачивающийся направо ключ в ее комнате.

По-прежнему в свой великолепный бинокль с тремя поворачивающимися стеклами он следит за ней, когда она, одинокая, как-то сжавшаяся, с понуренной, густоволосой головой гуляет по саду. Пожелтевшие мертвые листья, как пепел жизни, сыплются на нее, когда она, покинутая, садится на скамью. Девушка прекрасна. Глаза ее ясны, и неизвестно: она ли смотрит на небо, или небо смотрит на нее? Руки ее беспомощно, как ненужные, вцепились одна в другую.

Прекрасная нелюбимая девушка сидит в умирающем саду. Подходит старый садовник все с теми же немыми, обреченными астрами. Подает их. Она берет. Что-то говорит садовник; но разве она понимает речи старика? Разве они, речи, нужны ей? Старик видит это и умолкает.

Уже внесены растения в оранжерею. Уже они — в тюрьме. Уже обнажены и поцарапаны клумбы. Убитая первыми неожиданными морозами, уже повяла и умерла трава.

Тянутся дни, ненужные, жестокие: пятнадцатые, шестнадцатые, семнадцатые числа. На дворе дождь; гуляет по дому прекрасная нелюбимая девушка.

Большой двухсветный зал отражает в углах ее легкие, нечеткие шаги. Часто останавливается она перед старым

зеркалом, на котором нацарапаны три слова: «Я люблю тебя».

Кто-то начертил их бриллиантом, матовыми линиями. Кто-то, любивший, стоял на том месте, где теперь стоит она, закутавшая свои плечи теплым оренбургским платком.

— Соня! — говорил он ей тогда.— Поедем в Ниццу! Перед смертью кутнуть хочется. Там теперь весело. Там — весна. Право, а? Поедем? Или в Альбано. Два часа от Рима, мимо Аппиевой дороги. Там есть два прекрасных озера. Понимаешь, похожи на два не долитые до краев бокала с голубым вином. И зовут эти озера так: Альбано и Нэми. Поедем, деточка, а? Бросим эту осень.

— Не хочется, папочка! Будем здесь! — говорила она и крепко целовала его.

За этими словами наступали такие мгновения, в которые нужно было обнять эту прекрасную девушку, крепко в ответ поцеловать ее,— и губернатор уверенно и нежно шепчет перед темными окнами те слова, которые нужно было бы сказать Соне:

— Милая, милая дочь моя, Сонюшка! Ты любишь. Ты, нелюбимая, страдаешь. Оставь, деточка. Забудь. Я знаю, это трудно, но забудь, прошу тебя. Ты молода, ты прекрасна, как звезда земная, утренняя. Ты еще впереди полюбишь, и тебя полюбят, тебе ответят горячо, щедро... Милая, милая дочь моя, Сонюшка! Любовь — как буря на море. Пройдет.

Нужно сказать такие простые, несложные слова.

В тишине слышно, как в ночную пору в дальних комнатах ходит человек: еще не спит Соня и утром завтра придет в столовую бледная, усталая. Она ничего не ест и только с трудом выпивает чашку остывшего чая. Он видит это, молчит и начинает читать в газете статью о том, что все зло России — в широкой черте оседлости.

Только Свирин доволен, чему-то улыбается. Когда губернатор бросает на пол газету, он поднимает ее и рассказывает:

— А вчера на углу была драка. Парикмахер подрался с персидско-подданным.

Рассказывает долго, подробно, смеется весело, слово «подрался» в дальнейшем заменяет выражением: «встряхнул ему курпей», а слово «пьяный» выговаривает без мягкого знака «пяный».

Два человека — старик в штатском платье и девушка —

смотрят через огромные окна на серое небо, которое что-то говорит в шорохе мелкого, то и дело относимого ветром дождя.

Служба угнетала губернатора, и губернией, в сущности, правил вице-губернатор, сделавшийся необыкновенно важным. Когда приходили по делам, губернатор отсылал всех в губернское правление, на Алексеевскую площадь.

Что нужно делать, что предпринять,— было неизвестно; было очень хорошо, что Клейн донес. Все устроится само собой.

— А там песня не длинная! — думал губернатор.

XXV

Темным вечером шла по Кроновой улице Аза. Вся она была закутана в черное: не разглядеть лица. Ехать ей не хотелось, а дорога показалась необычайно длинной. Пришлось идти мимо типографии, мимо окон нотариуса, мимо фруктовой лавки,— лежали горками яблоки, в мешках каштаны.

Потом началась улица, вся, как бульвар, усаженная тополями. Была ярко освещена телефонная станция.

Целыми днями Аза ждала, не спала ночей, чтобы поскорей встретить утро, в которое, быть может, она услышит знакомые шаги. Попробовала она писать, но не было сил послать письмо. После похорон прошло уже больше двух недель... Она доставала ученический атлас с городами, подчеркнутыми карандашом, и следила за линией железной дороги до Минска; эта линия походила на букву С. Являлось желание ехать по железной дороге, ехать долго, дней семь, ехать по полю, не останавливаясь на станциях, чтобы не было людей, не было разговоров,— надоевших человеческих разговоров, газет, видов, рек.

В большой комнате первое, что бросалось в глаза, это спущенные соломенные шторы на окнах. На обеих шторах были нарисованы синие мельницы. На столе горела лампа с железным продолговатым абажуром. На широкой тахте, лицом к стене, лежал длинный человек.

— Это кто вошел? Это вы, Анна Сергеевна? — спросил он, не поворачиваясь, когда услышал шаги.

— Нет, это — я,— ответила женщина, не решаясь переступить через порог.

Высокий человек быстро привстал и, освещенный лампой, упершись рукой в край дивана, вглядывался в темноту и бормотал:

— Что-то не пойму... Это ты, Аза?

— Я,— ответила она.

— Чего ж ты стоишь на пороге?

— Я иду,— сказала она,— здравствуй!

— Здравствуй! — ответил он, протянул ей руку и снова повалился на диван.

Аза, не раздеваясь и только подняв вуаль, села у окна. Не было в душе острых движений, странным казалось, что вот лежит он, любимый, близкий, мелькавший в памяти среди похоронного пения, тихой процессии, печальных молитв.

— Странная встреча,— сказала она после долгого молчания. В квартире была тишина, и, казалось, слышно было, как горит керосин.— Что с тобой?

— Чаю без ложечки напился,— ответил высокий человек,— так говорят в народе. Чаю, говорят, без ложечки напился. Вот и я. Чаю напился.

Высокий человек лежал, смотрел в потолок, думал, улыбался. А она тихо сказала:

— Болен, а молчишь.

— Схоронили? — спросил он.

— Схоронили,— тихо ответила Аза.

Он повернулся, внимательно пригляделся к ней и сказал:

— Ты о любви пришла говорить?

Он смотрел на нее, ждал ответа. Что-то, как тени, прыгало у него в уголках глаз,— казалось, что там бегут быстрые, веселые думы, от которых он сейчас засмеется высоким, детским, захлебывающимся смехом.

— Была прекрасная женщина,— сказал он,— я ей не говорил, но всегда, когда оставался один, когда ехал по железной дороге, когда шел в толпе в большом городе, я сравнивал ее со звездою. Я — человек не талантливый и взял старинное сравнение. И выбрал для нее звезду,— ты думала бы — какую? В Большой Медведице. Угадай,— какую? Их там семь. Выбрал из трех первых. Среднюю. Когда я бывал далеко от этой женщины, я ждал вечера и вечером смотрел на эту звезду, как гимназист, и звал ее Азой. Этого не знала даже ты. А когда бывал туман или по небу

неслись тучи, я нервничал, сердился, готов был бить всех людей. Это было бездарно, но это было так, и я молчал об этом, молчал все шесть лет. Вспомни: я шесть лет люблю тебя. Теперь вот говорю. Выходи темными вечерами и смотри на среднюю звезду. И знай, что шесть лет имя ей было: Аза. Правда, странные вещи я говорю? Правда, не такою ты представляла себе первую встречу?

В лице женщины было выражение ребенка, когда он начинает понимать сказку. Вопрос заставил ее прийти в себя, увидеть повернувшееся к ней ждущее лицо,— и она ответила:

— Правда.

Человек улыбнулся, словно польщенный.

— Ты не обижайся,— снова сказал он,— что я говорю такие вещи, что я не обнимаю тебя и не целую. В обеих жизнях, в твоей и моей, случились странные вещи. Вот много дней я лежу на этом диване и, понимаешь, голова моя представляется мне небом, огромным, широким. Странно, что на этом небе — черное солнце. Кругом него ползают тучи, тучи, тучи, без конца. Это мои мысли. Понимаешь, мысли? Медленные такие и насмешливые. Лежу и гляжу вот в эти окна. Вижу: светит белое солнце. Случится дождь. Потом опять светло. Едут люди. Улыбаются. По дороге водят арестантов: то из тюрьмы в суд, то из суда в тюрьму. Но ведь это — неинтересно?

— Неинтересно! — равнодушно ответила Аза.

— И правда, пожалуй, неинтересно,— сказал человек.— Помолчим.

— Помолчим.

— Странная встреча.

Он опять внимательно посмотрел на нее, опять улыбнулся и сказал:

— Ты похудела, но стала еще прекраснее. Ты проживешь на земле еще лет сорок, и, по крайней мере, вот теперь лет десять будут любить тебя разные люди. Из-за тебя застрелится какой-нибудь молоденький студент. Знаешь,— такие, с усиками, в белых кителях. Я не знаю, с чем сравнить твои глаза? Я бездарен. Сравнивать их со звездами нельзя. По-моему, твои глаза — два бога, пришедшие на землю. Вот, понимаешь, нужно обогреть, приласкать землю. И они пришли. Соскучились там, на небе, и пришли.

— Я не слушаю тебя,— сказала Аза.

— Ты не слушаешь...

— Я думаю...

— О чем ты думаешь?

— О том, что с тобой? Отчего ты такой?

— Какой?

— Ты — странный. Ты не тот.

Человек недовольно поморщился и замахал руками.

— Постой, постой,— сказал он,— эти слова после.

Он привстал, посмотрел ей в лицо и, словно желая, чтобы она хорошо поняла, еще раз сказал:

— После. После. Теперь вот что. Есть сказка. В сказке есть красавица. Так вот как описана эта красота. Если она выйдет в поле и взглянет направо, то делается так светло, что видны все деревья той стороны. Если она взглянет налево, то женщины и девушки той стороны встают, берутся за работу и говорят: «Встало солнце». Это — ты, Аза. Пойми же, как будут любить тебя люди!

Она вслушалась и сказала:

— Странно было, когда ты не шел ко мне. Теперь ты говоришь странные речи. Я не знаю, как вести себя. Ты не был таким.

— Правда,— ответил человек,— я никогда не был таким. Теперь — я таков. Видишь, я не вскочил, когда ты вошла. Видишь, ты сидишь, а я лежу. И нет как будто радости во мне. А радость есть. Радость большая в том, что ты пришла. Слушай. У меня есть деньги. Шестьдесят тысяч. Их уже перевели из Минска сюда. Вот в конверте лежит перевод. Завтра ты пойдешь и получишь их. Десять тысяч ты внесешь следователю; нужен залог: возьми меня на поруки. А потом мы поедем с тобой в Венецию. Будем жить там долго. Месяца два. Потом поедем в Вену и сходим в Пратер. Хочется мне покататься на этой огромной круглой карусели. А потом я умру.

— Ты?

— Ну да. В этом же все и дело. Понимаешь, я так убивал твоего мужа. Стоял он, необыкновенно красивый и гордый. Понимаешь, как будто дух святой был на нем. А я хотел обязательно убить его. И нацелился, и выстрелил. Он немножко постоял на левой ноге и упал головою в дикую розу. Кустарнички были около. А потом и меня убили. Как — не скажу. Приходил сюда вот мой убийца, сидел на том же стуле, на котором сидишь и ты, и говорил: «Господу на страш-

ном судище за тебя отвечать не буду. Так и знай. Полгода жить тебе, червивой собаке! Убил ты — убили тебя». Звал я его к себе сам. Сидел он грузный, желтый на лицо, с голубыми глазами. Приходили доктора: посылают на юг. Но, понимаешь, смерть чувствуется. Вот она: в костях, в руке...

Человек показал руку.

— Теперь покой,— говорил он, словно мечтая.— Как странно складывается жизнь. Хочется, чтобы ты была около меня. И я ждал: придет — скажу. Поедем с ней. В Венеции я бывал, но в церковь Maria della Salute не заходил. Все как-то мимо... А церковь эта строилась тридцать один год. Теперь схожу. Правда, мысли у меня странные, перебрасывающиеся. Совсем я не такой, какой был, правда?

И он снова привстал и жадно ждал ответа.

— Ничего не понимаю... но у меня заболела душа,— сказала Аза.

Он протянул к ней руки, ожидая. Она подошла, стала на колени и положила голову щекой ему на грудь.

Он сказал:

— Нет, так не надо. Я хочу, чтобы ты смотрела на меня.

Она смотрела на него, из глаз у нее катились слезы.

— Слезы? — спросил он.— Разве боги, пришедшие на землю, плачут?

И целовал слезы, и говорил:

— Соленые человеческие слезы. Соленые. Я не хочу их. Ну, слышишь? Не хочу...

И в голосе зазвенели капризные ноты.

Она покорно, по-детски вытирала слезы.

— Милая! — сказал он, улыбаясь.— Я хочу, чтобы ты взглянула направо.

Аза наклонила голову.

В голосе его звучала мольба:

— Ну, взгляни,— повторил он.— Прошу тебя!

Повернувшись, смущенно, сквозь слезы улыбаясь, она взглянула.

— Ну вот, хорошо! — сказал он.— Взглянула. И стали видны все деревья той стороны. Теперь взгляни налево... Не хочешь? Жаль. Тогда бы там, на юге, встали бы девушки, принялись за пряжу и сказали: «Встало солнце».

В передней зашуршали туфлями, послышался тихий раз-

говор, приотворилась дверь, и старушечий голос сказал:

— Телеграмма, барин.

Аза пошла, расписалась.

— Из Минска,— сказала она.

Высокий человек поморщился.

— От матери... Знаю. Каждый день шлет телеграммы...

— А что она? Нездорова?

— Нет, прочти.

Аза разорвала телеграмму, развернула ее и медленно прочла:

«Умоляю тебя. Прогони ее. Верь, что только несчастье принесет она тебе. Милый, родной! Послушайся хоть раз в жизни свою мать, прогони ее. Сердце мое болит. Приезжай сюда. Приехала из-за границы Катя, шлет тебе поклон. Скоро она именинница».

Высокий человек улыбался.

— Видишь? — сказал он.— Надо тебя прогнать.

— Прогони! — тихо ответила Аза.

Дрогнули ее губы.

— Мы потеряли тон,— сказал высокий человек,— ты чувствуешь, мы вот тут сидим и никак не можем наладить прошлого.

— Ты не любишь меня, вот и все.

— Куда бы делась моя любовь? Ну, скажи...

Опять зашуршали туфли в сенях.

— Барин! Вам еще телеграмма! Другой разносчик принес.

Опять Аза пошла расписываться.

— Откуда? — жадно, с любопытством спрашивал высокий человек.

Аза глухо ответила:

— Из Минска.

XXVI

Губерния была богатая, богомольная, черноземная, в урожайные годы — щедрая и веселая. К покрову все дороги, все шляхи были запружены народом; на лошадях, волах, верблюдах все тянулось в город, который, как крепость, сияя белыми домами и колокольнями, густыми садами, стоял на горе. Ползли скрипучие возы, полные молодого, свежего, только что собранного хлеба, овса, ячменя и всего

того, чем была богата и что производила губерния. На покров в городе начиналась осенняя, трехнедельная, самая большая в году ярмарка. В губернии было несколько уездов, и каждый в отдельности славился: один — воровитостью, другой — драчливостью, третий — любовными похождениями и снохачами,— это тот, где рос виноград.

Ехало крестьянство отдохнуть после хлопотливого лета: выпить у Ивана Васильевича, лысого черта, молодого кизлярского вина; купить у армян бабам и невестам красных товаров; послушать кобзарей, притащившихся из Полтавщины; покачаться на каруселях, сходить в комедию, потолкаться меж народа, послушать стариков, которые расхваливали свои времена:

— Бывалыча-то,— хвастались они, сидя за длинными, пропитанными вином столами Ивана Васильевича,— прежде-то! Рыбу-то! С Черноморья-то! Возами перли! Как теперь, скажем, пшеницу в город. Севрюга-то! Самая лучшая, царская — три копейки тебе за фунт! Икру лосью бочками важивали! Рабочим на степь посылали полудневать. Меды какие были! А птица? Перепела, куропатки,— возы трещат! Помнишь, Жарик?

Иван Василич, сорок лет поивший народ кизлярским и прасковейским вином, грустил при воспоминаниях о былом, к теперешним временам относился пренебрежительно, сплевывал через зубы и отвечал:

— Еще бы не помнить! Прошла лавочка! Прошла дурничка! А теперь-то тарани мужик не видит...

— Жили-то, а? — хвастались старики.— Попы-то какие были? Как, бывалоча-то, с Михаилом Тверским по губернии-то с молебнами хаживали! А? Песни-то какие пели? Девки-то какие росли? И куды же все это, парень, скажи на милость, девалось?

— А вина какие были? — вдруг, загораясь, вспоминал Иван Васильевич.— Ты думаешь, мне не стыдно поить вас вот этим фуксином? Ведь это-то,— и Иван Васильевич презрительно показывал в глубь палатки, на бочки,— ведь это купорос!

— Были и вина, да-а! — вздыхали старики.— А теперь что? Винополия одна!

К разгару ярмарки съезжались помещики, сильные, мордастые люди: купить лошадей, сразиться в банк, поднять «нерв», приударить за арфянками, кутнуть у Башмакова,

где в течение всех трех недель, день и ночь, гремел знаменитый ярмарочный оркестр Юзика. Юзик сочинял вальсы — удивительные, нежные. Наступает шесть часов вечера, успокаивается людской гомон, темнеет; в степи у цыган зажигаются костры, на ярмарочных палатках — тусклые огоньки маленьких жестяных ламп, а у Башмакова, выспавшийся после пьяного, угарного обеда Юзик заиграет свой вальс, и еще больше притихнет ярмарка, и, насторожившись, слушают люди...

Располагалась ярмарка за городом, недалеко от вокзала. Составлялась она правильно, рядами: те, кто из Ельца привез кружева, из Ярославля — полотно, из Саратова — сарпинку, становились в своих наскоро, доска на доску, сколоченных балаганчиках по одной линии. Яблоки антоновские, виноград астраханский, груши из Темир-Хан-Шуры шли по порядку в другую линию,— здесь точно обрызгали духами; стоял необыкновенный, чисто осенний аромат. Грибы черниговские и калужские, огурцы нежинские продавались в палатках, похожих на военные лагери. Дальше от вокзала, к кузницам, была пирамидами навалена светло-зеленая, хрустящая и упругая капуста. Здесь же горами были навалены арбузы, дыни, тыквы, бураки, ожерельями висел лук. В глубине ярмарки располагался конский ряд, приманка помещиков, цыган и попов; табунами ходили кони на всякую цену: и кабардинские скакуны, и битюги из Воронежской губернии, и калмыцкие стервятники, пригнанные из астраханских степей. Серебряными возами стояла рыба: красная — с Черноморья, вобла — с Волги, через Царицын.

В самом начале ярмарки, от бульвара, располагалась «комедия» — балаган, весь облепленный вывесками, на которых нарисованы изрыгающие огонь черти, шпагоглотатели, силачи с огромными мускулами, слоны, страусы, крокодилы, высунувшиеся передними лапами на берег. Здесь же, под пронзительные марши отсыревшего оркестриона, вертелись в противоположных друг другу направлениях две круглые, обвешанные плющом и стеклярусом карусели: с люльками и лодками — для скромного женского пола, и с волками, выгнувшими передние ноги,— для кавалеров. Поодаль, образуя дорогу, как монастырь со своим уставом, располагалось царство угрюмого Ивана Васильевича, ярмарочного Бахуса, крепкого, круглобородого мужика, отличного спорщика со староверами, которого одинаково хорошо

знали и деды, и внуки губернии. Когда-то, в 1871 году, осенью, на ярмарке же, Иван Васильевич из ревности зарезал бритвой жену и был оправдан,— это придавало ему еще большую славу. Стройным рядом стояли латаные буро-серые палатки его, с длинными, некрашеными, непокрытыми столами внутри. Здесь, распивочно и навынос, почти всегда на медные деньги, шла продажа сладкого, хмельного, яркого, как женская кровь, розового кизлярского вина. Считалось большим шиком выпить у Ивана Васильевича рубля на полтора и сыпануть ему в шапку эти деньги тяжелой и грязной медью: пятаками и трехкопеечниками.

Еще любила губерния колокола,— и колокольный ряд, наезжавший из далекой северной России, был всегда особенный, привилегированный. На широких перекладинах висели, подобранные в аккорд, наборы колоколов. Ценители, знатоки звона, выписывали в складчину для состязания знаменитых звонарей. Из Киева, от отца Ионы, приезжал слепец Димитрий. С юга, из какого-то закавказского, за Тифлисом, монастыря приезжал послушник Ираклий. Подвизался и местный артист Никифоров, у которого, по каким-то необъяснимым причинам, пропадал весь талант и рождалось яркое бешенство, как только он слышал слово «Сорокоумов». Подвизался на православных колоколах, как страстный любитель, городской шарманщик, итальянец, верный католик, которого звали так: «Сыграй на копейку». На пасху, в самое хлебное время, «Сыграй на копейку» забрасывал свою шарманку, забирался на троицкую колокольню и трезвонил от обедни до вечерни.

Собирались эти артисты к оловянишниковскому товару: слепец — большой, добродушный, вечно улыбающийся в землю; грузин — стройный, чернобровый, в длинном, узком подряснике; встрепанный, не совсем еще опохмелившийся Сорокоумов; шарманщик — хмурый, сердитый, в широкополой шляпе. Начиналось состязание в особо назначенные дни, часов с четырех.

Церквей в губернии строили много, и покупатели колоколов собирались к этому времени на ярмарку. Народ, как пчелы, облеплял прилегающие к звонницам места. В лавках, под навесами, собиралась и заседала на стойках и раздвижных стульях почетная публика: купцы, помещики, ктиторы, духовенство и длинноносый — царь и бог ярмарки — пристав Николай Алексеевич. Всходил к колоколам

слепец,— и все на площади смолкало, затаивало дух. Как медные перепела, еще не привыкшие к жизни, начинали щелкать маленькие дискантовые, наивные колокола; задорно, показывая, что он ничуть не хуже их, присоединялся альт. Это — голосистые ребята лет двенадцати. Им весело, они — еще дураки, пляшут, прыгают,— и вдруг не выдерживает, присоединяется к ним и берет свою терцию тенор, и кажется, что это — уже паренек с надвое расчесанными белокурыми, вьющимися на концах волосами: жених на которого искоса, краснея и прячась друг за дружку, заглядываются по праздникам стыдливые девки. Заговорили вчетвером, понесли, вероятно, вздор: делать нечего, надо к веселой компании праставать и басу,— и выступает он сначала неохотно, не в такт, ведет свою линию,— особенную, умную, слегка насмешливую,— потом мало-помалу увлекается и не отстает от веселых, звонких, во всю ивановскую расходившихся ребят. Закроет любитель глаза и тонким, насторожившимся ухом слышит: вот они, звонят уставным, старинным, киевским звоном православные колокола, звонят громко, настойчиво, капризно. Близкие, земные, через минуту они, как стая внезапно испуганных птиц, взвились, будто их вихрь снес, вспорхнули и скрылись из глаз под самое небо, к облаку; они нежны, ласковы, щебечут, как только что прилетевшие по весне ласточки. Они знают два чувства: радость, звонкую радость воскресения, благовещения, радость синего неба, белоснежных, мраморных весенних облаков. Знают они и печаль: придет минута — и заплачут эти колокола.

Молча, с бледным лицом, после успехов слепца, выходил на состязание Сорокоумов, брал, наматывая на руку, тонкие, мягкие веревки, закрывал глаза и точно ждал откуда-то из себя, изнутри сигнала,— бледнел еще больше и вдруг разрывал воздух аккордом смерти, погребения... И чувствовалось, что не хватает торжественного, печального хора, развевающихся хоругвей, толпы с непокрытыми головами. Было ясно: кончилась жизнь, и последний привет ей несут колокола. Побеждал обыкновенно слепец. Его вели к Ивану Васильевичу, напаивали хорошим вином, расспрашивали о Киеве, о прозорливости отца Ионы, дарили деньги и часы с толстыми крышками; в конце концов слепец начинал петь: «Во саду ли, в огороде», подплясывал, вытянув вверх руки, и кричал:

— Ай да мы! Вот как у нас, по-запорожски!

Грузин и Сорокоумов, которые понимали, что в данном случае дело не в искусстве, а в слепоте, были равнодушны к его лаврам. Итальянец же быстро напивался, ругал русское вино, бил себя в грудь, жаловался на судьбу и читал какие-то непонятные стихи.

Губерния балует, лелеет этих артистов и щедро их награждает.

XXVII

Погода расцвела, глянуло солнце, посинело небо. В воскресенье ярмарка развернулась. Площадь, по обе стороны загороженная лавками, была полна народа, крика и шума. Деревенские девки, распустив из-за пояса кофточки, водили хороводы и высокими, однотонными голосами кричали песни, в которых нельзя было разобрать ни одного слова. На балконе балагана клоун и человек в трико давали пробное, заманивающее публику представление, и толпа, сгрудившаяся перед входом, время от времени ревела, как один человек, хохотала, когда комедианты дрались звонкими пощечинами и клоун кричал, щурясь от боли:

— Рази мыслимо в морду плевать?

У самого входа стоял хозяин балагана, бесконечно звонил и, перекрикивая звон, тянул с немецким акцентом:

— Представление начинается! Американское представление! Первое место — абаз, второе — два пятака, стоять — один пятак.

После обеда показывалась из города вереница экипажей: начиналось традиционное ярмарочное катанье. Ехали купцы Теряевы, Алексеевы, Картузины, армянские богачи Канаджиевы, Папаянцы, управляющий мельницами Петри. На богачей смотрели с любопытством, знали их в губернии хорошо. Иван Васильевич снисходительно давал пояснения:

— Алексеевы-то? Знаем мы, с чего богатеть пошли эти Алексеевы! Казначейство-то Трынкевич ограбил в 68 году? Ну? А дед-то их, Алексеевых, в те годы извозчиком был? Ну? Кто увозил-то Трынкевича с деньгами? Ну? Вот то-то и оно! И смекай. С того самого и пошло оно, это самое богатство. А теперь — ишь, развалились-то — внуки! В цирцирлиндер! Что твой паша!

Публика вытягивала шеи и рассматривала Алексеевых.

— А Теряевы? — говорил Иван Васильевич, приставляя руку к глазам.— Вели торговлю в степях, с калмычьем. Калмык-то и по сю пору дурак, а в те времена — и подавно. Байным, байна,— черт его поймет. Бельмес бельмесом! Цены денег не знал и не понимал. Даст в лавке четвертной билет, а сдачу с трешницы получит. Заартачился калмык,— в шею из лавки, по мордасам! Такие ребята нарочито для этакого дела и держались. Пошел калмык к начальству — там свой народ, одна чашка-ложка. Еще добавят... И носи, калмычина, на здоровье!

— А вон старичок энтот, в шляпе который,— кто, значит, будет?

— Где?

— Вон с барышней... Два кучера на передке сидят...

— Два кучера! Орясина! Два кучера! Да ведь это, братцы, губернатор, губернии начальник...

Иван Васильевич вскакивает на лавочку, вытягивает шею и всматривается:

— Губернатор! Он самый! Как простой человек, в шляпе.

— Шляпа шнапс натраус! — иронически говорит чей-то охрипший, цивилизованный тенор. Публика оживляется, лезет на скамьи, столы, старается разглядеть, как едет губернатор.

— Зверюга! — роняет кто-то угрюмым басом.

— А ты заткни хлебало-то!

— Чего заткни?

— А того, заткни, говорю. Брюха не распоясывай. А то, не ровен час, покормишь на горбачевской даче клопов...

— Кака така дача?

— Есть такая, для вашего персонала.

Оживление растет: смотрят на губернатора, держатся друг другу за плечи.

— Старый черт уже... Кистеневку всю перепорол. Из двора в двор.

— Мало вас, дураков! Я бы на месте губернатора правило такое положил: каждогодно из кистеневского мужика по весне пыль вытряхивать. Снохачи, оглоеды!

— А это — дочка?

— Дочка. Должно, дочка...

— Краси-ивая. Перо-то на шляпе как играет!

— Чего ж ей? Пищи не хватает?

— Дурбалай! Тебя хоть, как борова, арбузными шкурками откармливай: как был мурлом, так мурло и в сыру землю пойдешь...

Медленно движется губернаторская коляска. Узнали, что губернатор на ярмарке,— сейчас же, как из земли вырос, верхом на лошади Николай Алексеевич. Пошла суматоха. Ехавшие впереди дали дорогу, и губернаторская коляска, среди почтительных купеческих поклонов, скоро выбралась за ярмарку, на простор и зашуршала по остаткам травы. Обогнули конский ряд, проехали мимо недавнего пожара, остановились на минуту, посмотрели обгоревшие по краям баки и выехали в степь, огромную, золотистую. С озер, затянутых камышом, пахнуло свежестью, прохладою, легким, еле ощутимым ветром. Около кургана, похожего на огромную круглую шапку, расположился табор: запестрели остроконечные, латаные палатки, с поднятыми оглоблями стояли телеги, чернели, как оспины, следы горевших костров.

Кувыркаясь, бежали за коляской цыганята, протягивая загорелые, с ямочками на локтях руки, просили звонкими гортанными голосами:

— Дяденька! Брось три копеечки! Пожалуйста, дяденька! Христа ради, дяденька!

— Ах ты, Кырылло! — передразнивал их Свирин, стараясь подражать гортанному произношению, и замахивался на них кнутом.

Бросили денег, на которые они, как рой, накинулись. Поехали, отдыхая, шагом. От ближней палатки отделилась и торопливо, наперерез лошадям, шла старая цыганка и делала рукой останавливающий жест. На ее загорелой, костлявой шее висели украшения: большие старинные рубли со стершимися портретами, кораллы, монисто. Она подошла к коляске, и стали видны ее умные, глубоко запавшие, наблюдательные глаза, коричневое, морщинистое лицо, пыльные, седоватые волосы, много кормившие, высохшие груди под толстой рубашкой, вырез около шеи, короткая юбка и пальцы рук, унизанные неуклюжими серебряными перстнями.

— Погадаю, графинюшка? — вопросительно обратилась она к Соне таким же гортанным, как и у мальчишек, голосом.— О счастье тебе, милая, скажу. О счастье...

У Сони блеснули глаза.

— О счастье? — спросила она.

— О счастье, милая...

Все улыбались: и губернатор, и обернувшийся Савин, кучер. Цыганята, как мухи, облепили с обеих сторон коляску и следили за каждым движением старухи. Цыганка посмотрела Соне в глаза, долго задержалась на них наблюдательным, острым взглядом, медленно оглядела всю ее фигуру и спросила:

— Супруга барина будешь?

Все засмеялись.

— Нет! — ответила Соня.

— Ну! Сразу в калошу села! — возликовал на козлах Свирин, гордившийся тем, что в колдунов, как истинный солдат, не верил.

Цыганка не смутилась, не обратила внимания на смех и еще пристальнее оглядела Соню и потом, словно сравнивая, посмотрела на губернатора.

— Сестра будешь?

Опять все засмеялись.

— Ах ты, крыса американская! Ах ты, ведьма киевская! Кырылло! — злорадствовал Свирин.

— Замолчи! — сказал ему губернатор.— Погоди!

— Нет, и не сестра! — ответила Соня.

— Дочка, значит, будешь... Так...

— Не жена, не сестра, остается одно: дочка! — подал реплику Свирин, уже враждебно смотревший на цыганку.

— Вся, значит, в мать пошла,— говорила та, опять взглядывая на губернатора,— вся в мать. Ну, ладонь давай...

Загорелой, с блестящими ногтями рукой цыганка взяла Сонину руку, долго смотрела в белую, углубленную, маленькую ладонь, поворачивала ее в разные стороны, изучала линии и потом, сообразив, заговорила, словно решая задачу:

— Ты счастливая. По самое небо счастливая. Жизнь твоя хорошая. В светлом доме живешь ты. Муж твой любит тебя. Ждет тебя. Он у тебя ласковый и красивый. Глаза его — звезды небесные. Речи его — мед сладкий. Когда он говорит, то не человек говорит: птица райская поет. Он любит тебя. Дети твои генералами будут. Князьями.

— Он любит меня? — спросила, вспыхнув, Соня, и нельзя было разобрать, шутит она или говорит серьезно.

— Ты — звезда ему. Ты — око ему. Ты — алмаз ему.

Соня засмеялась.

— У меня нет мужа, — смущенно сказала она, — ты ерунду несешь, цыганка.

Старуха замолчала и изумленно, словно что-то разгадывая, посмотрела ей в глаза, потом медленно и задумчиво перевела свой взгляд на губернатора.

— Ты девушка? У тебя нет мужа? — медленно, с недоверчивыми интонациями спрашивала она и, стараясь скрыть это, опять быстро скользнула глазами по Соне и чуть, одним углом губ, словно сконфузившись, улыбнулась: — Ты девушка? — Цыганка подумала и еще раз улыбнулась: — Ну, прости меня. Значит, набрехала старая ведьма. Правда твоя, господин кучер. Ошиблась. Не разобрала руки твоей. Слепа стала. Седьмой десяток идет. Но все равно. Значит, жених у тебя будет ласковый и красивый. Глаза его будут — звезды небесные. Речи его...

— Пошла! Поехала! — с досадой перебил ее Свирин и сделал такое движение, которым хотел показать, что пора ехать дальше: нечего пустяками заниматься.

— А ты, леший, крутило, сиди и молчи! — огрызнулась цыганка и попросила посеребрить ладонь. Губернатор дал ей новенький, как зеркальце блеснувший, рубль; она, обрадованная, поклонилась низко, в пояс.

— Кнутом бы тебя посеребрить, чертовку! — сказал ей вслед Свирин.

Посмотрели на часы — было уже больше пяти. Соня сидела как-то сразу опустившаяся, словно придавленная думой: глаза ее смотрели вдаль, и были они равнодушные, ничего не ждущие...

Покатили в степь. Как блюдо, лежала она кругом, истомившаяся за лето, словно женщина после ласк, ждала она покоя, нежаркого света, хотела уснуть, отдохнуть, увидеть сны. Вдали на горизонте виднелось село. Свирин показывал на него крутом и что-то говорил кучеру. Далеко от дороги, направо, были большие яры, полные по весне лазоревых цветов, а еще дальше — озера: теперь от них тянуло холодком и сыростью. За озерами тоненькой полоской виднелись горы, и чувствовался там, за ними, благодатный край с короткими зимами, с теплым морем, с крупными звездами, с хитрыми сказками, с заунывными песнями, со стыдливыми девушками.

— Ветерок... С озер. А то и с самого моря,— сказал Свирин, выставляя руку,— к дождю.

Обратно ехали опять через ярмарку. Остановились около конского ряда. Тысячи лошадей сгрудились за одной перегородкой. Блестели на солнце тысячи то пугливых, то гордых глаз. Не смолкало ржанье, как огонек, вспыхивающее то в одном конце, то в другом. Один конь стоял, положив голову на спину другому, и словно о чем-то думал, ничего, казалось, не видел, и только изредка, настораживаясь, поводил вокруг себя глазами.

Вне загородки и местами за ней, кишели цыгане, коновалы, какие-то люди, прищурившиеся, брезгливо кругом посматривающие: знатоки, которых на мякине не проведешь. Они особенно, умеючи, легко раскрывали, как футляр, лошадиные пасти, щелкали ногтем по зубам, били по хребту ладонями, и под этими ударами, как пробегающая зыбь, сморщиваясь, вздрагивали молодые, упругие, лоснящиеся спины. Около самой загородки, окруженный народом, в центре стоял высокий, уже начинающий седеть человек в широкополой, гусарского покроя фуражке и в темно-синей, кокетливо в поясе перехваченной поддевке. Перед ним за узду держали коня, которого он, видимо, покупал. Лошадь, умная, молодая, стояла, чутко подняв уши, что-то подозревая, пугливо и искоса поводя выпуклыми, светло-карими глазами.

Губернатор внимательно и тревожно пригляделся к покупателю и сказал Соне:

— Посмотри вон на того человека...

Он видел, как Соня лениво и неохотно, словно не желая огорчить отказом, исполнила его просьбу, и с тревогой, с внезапно загоревшимся волнением следил за движениями ее глаз и лица.

— Правда, красивый старик? — чуть слышно, робко спросил губернатор.

— Красивый,— не противореча, сказала Соня.

— А в молодости он был еще лучше...— тихо добавил губернатор.

Поехали. Обгоняли, делая полукруги, подводы с пьяными мужиками, визгливыми бабами. Объехали вокруг железнодорожной водокачки, чтобы попасть на хорошую дорогу. В депо, как в кузнице, стучали по железу молотками, должно быть, чинили паровоз.

В степи, как далекие жертвенники, загорелись чумацкие костры; на небе намечались робкие, матовые точки звезд, еще не налившихся серебром. Где-то уныло, быстро перебирая лады, играли на сопилке. В городе, на горе, вспыхивали дорожки фонарей.

Лошади шли тихо; все молчали. Свирин снял фуражку и наслаждался теплым, почти летним вечером.

— А знаешь, как фамилия этого человека? — опять тихо спросил губернатор, когда уже въехали в город, и копыта лошадей застучали о камни мостовой.

Он, видимо, ждал вопроса и не сводил глаз с Сони... Соня не ответила: она думала о далеком... Губернатор не повторил больше своих слов.

Приехали домой поздно. Соня сейчас же заперлась в своей комнате и к ужину не вышла.

XXVIII

Эта ночь показалась губернатору длинною, будто в ней было часов пятьдесят. Неимоверно долго шли промежутки между получасами, и казалось порой, что маятник живет своей жизнью, нарочно задерживая время и оставляя стекла окон черными и непроницаемыми.

В душе у него воскресли те переживания, которые мучили его во время измены жены. Подозрения родились и относительно Сони... Губернатору казалось, что если Соню и Броцкого свести ближе, кровь скажет им, кто они. И тогда у Сони сорвется настоящий поцелуй дочери, кровь поцелует родную кровь; тогда он, губернатор, сделается для нее чужим человеком; она, быть может, ни одного часа не останется в этом доме: соберет свои вещи и переедет к Броцкому в гостиницу. Гнев закипал, когда губернатор представлял себе, как Соня уходит с Броцким. Гнев этот особенно разрастался, когда он представлял себе ее, как она спускается, придерживая платье, по лестнице. Тогда сжималась рука так, как будто в ней была ручка револьвера, — и в темноту вырвалась ненависть к человеку, который живет сейчас в этом доме, через три комнаты.

Было ясно, что стоит Броцкому сказать три слова: «Ты — моя дочь», и Соня уйдет к нему, как когда-то, в ответ на другие три слова, ушла к нему ее мать. Лезли

мысли о том, что необходима правда, необходима искренность,— нужно выяснить сразу, кто отец: он или Броцкий, и нужно сделать это без всякой натяжки и слов. Пусть Соня разберется сама, без подсказов.

— Ты родил ее,— обращался он к кому-то в темноте,— но дочь она моя, милый мой... Да, моя.

Подушка быстро нагревалась, и губернатор то и дело переворачивал ее на другую, холодную сторону, и тогда как будто становилось возможным заснуть, но углубление от головы снова и скоро делалось противно-теплым, и опять шли усталые думы, раздражение и ревность. Являлось желание пойти сейчас же к Соне, рассказать ей все, заплакать, и пусть тогда она судила бы, как хотела сама. И, приподнимаясь, одной ногой становился он на ковер и шептал: «Пойду», но что-то удерживало его, и снова накрывался он одеялом... Было слышно, как на бульваре кто-то орал пьяным голосом:

— Весь Туркестан я обошел, лучше тебя я не нашел...

Губернатор отворачивал выключатель, и вспыхивал свет под шелковым, сборчатым абажуром, и опять исчезал он в тьму, когда переворачивался винт.

Утром он встал поздно, было уже без четверти девять, и обрадовался: не нужно было ждать, можно все устроить так, как решил. Ему мучительно не хотелось встречаться с Соней, и он торопливо, прячась, сошел вниз в кабинет, сейчас же позвонил по телефону в полицию и велел дежурному чиновнику узнать, где, в какой гостинице остановился помещик Броцкий. Пока узнавали, он, чтобы сократить время, принял калюстинского исправника, приехавшего с докладом.

Исправник вошел по особому уездному церемониалу: сделав от двери два шага, он по-военному шаркнул ногами, начал извиняться и потом говорить. Крахмальный воротник неравномерно, больше около затылка высунувшийся, колючим краем до красноты врезался ему в шею и образовал на ней потную, жирную складку. Вероятно, накануне исправник ходил в баню: жиденькие волосы его были чисты и сухи и хорошо прилегали друг к другу. Говорил исправник быстро, задыхаясь, боясь задержать: сыпались слова о каком-то начальнике почтовой конторы, об аптекаре, о заграничных изданиях на папиросной бумаге. То и дело в его

речи попадались такие выражения: документально, следствие, посему, положительность подписи...

Когда зазвонил телефон, губернатор перебил его и сказал:

— Идите. После.

Исправник снова начал кланяться и задом пятился к двери.

Из полиции сообщили, что Броцкий живет в гостинице «Франция», в № 8. Губернатор отыскал почтовую, сделанную под полотно, бумагу, из маленькой цветной коробочки достал новое перо с выпуклыми цифрами на спинке, аккуратно, ровно наполовину обмакнул его в чернила и осторожно, боясь капнуть, наклонился над бумагой.

— Дрожит рука! — сам себе сказал он и улыбнулся.

С такими же приемами и волнением он когда-то собирался писать первое письмо мисс Генриэт и так волновался, что написал слово «снег» с ошибкой: снегъ. Писал губернатор аккуратно, без нажима, налаживая каждую строку так, чтобы она выходила ровной, и при переносах ставил две черточки. В конце, не дописав фамилию, сделал круглый росчерк. Так же аккуратно, то мелким, то крупным, смотря по важности, почерком подписал адрес и позвал Свирина.

Пока пришел Свирин он ходил по кабинету и, точно замыслив верное, хитрое дело, улыбался, предчувствуя хороший, интересный конец. Солнце на дворе посветлело, и цветные полосы от окна сделались более яркими.

Пришел Свирин с засученными рукавами, оторванный, видимо, от какой-то работы.

— Вот что, — сказал губернатор, — сам, понимаешь? сам! — отнеси это письмо в гостиницу «Франция» и спроси там номер восьмой. Понимаешь? Восьмой.

Свирин, отворачивая рукава, утвердительно кивнул головой.

— И отдашь его в собственные руки Александру Алексеевичу Броцкому. Понимаешь?

Свирина немного передернуло, по лицу пробежала какая-то тень, глаза холодно и враждебно сузились. Губернатор заметил это и подумал:

«Знает...»

Суховатым тоном Свирин ответил:

— Понимаю-с. А если их не окажется дома?

— Подожди.

Свирин медленно, разглядывая конверт, вышел. Губернатор запер дверь на ключ и опять ходил по комнате, улыбающийся. Настроение создалось такое — немного волнующее: совсем как тогда в корпусе, давно, сорок лет назад.

XXIX

К шести часам вечера хлопотливо и долго накрывали в столовой чай. Губернатор суетился так, как суетился, убирая перед приездом Сонину комнату: расставлял по столу печенье, поправлял кружки лимона и говорил, что вишневое варенье засахарилось. Свирин, весь день почему-то сердитый, раздраженно заметил ему, что засахариться оно ни в коем случае не могло, так как сварено всего только два месяца тому назад, причем розовой травки не жалели. Губернатор ходил в Сонину комнату и шутливо просил ее приодеться получше, так как к чаю приедет дорогой гость.

— Сват приедет, Сонюшка! — возбужденно говорил он, потирая руки и смеясь преувеличенно громко.— За принца просватаем тебя, красавицу. На свадьбе погуляем, русского спляшем, водочки попьем — недаром нос вот третий день чешется. Да-а... Право, Сонюшка, а? Надень то платье, с синими полосками, мое любимое. А? Наденешь?

Соня обещала, и губернатор ушел от нее довольный. При свете отлетели ночные сомнения, и было ясно, что отец Сони — он, губернатор, что никогда она не променяет его ни на каких Броцких; ничего не может ни дать, ни сказать ей тот человек в синей поддевке; и когда на ярмарке он показал его, то у Сони, кроме досадливой гримаски, ничего не выразилось на лице: очень нужны ей эти старые провинциальные красавцы! У губернатора рождался какой-то задор, и он решил, что непременно даст понять Броцкому, что Соня по крови — его дочь, но что она и не знает его, и не хочет знать, и всю свою нежную любовь она отдала ему, губернатору, и дни его поэтому полны радости и тепла, и наполняют они ему всю жизнь, и много света от нее в этом большом доме, и к нему идут ее тревоги и девические предчувствия.

— А вы, господин Броцкий,— хвастливо обращался губернатор в ту сторону, где была гостиница «Франция»,— один, как пень в поле, сидите на своем хуторе. Как старый пес в конуре. А как она могла бы скрасить вам жизнь!

И было чувство победы, радости, отмщения; и он думал, не нужно ли еще чего купить к чаю: нужно встретить Броцкого как можно приветливей, радостней, показать ему, что измена не оставила в памяти никаких следов, что все поросло быльем, что он всем доволен и счастлив. Губернатор смотрел на себя в зеркало, поправлял свой новый галстук и решил, что он выглядит молодцом и проживет лет, вероятно, еще двести. И было бы смешно, если бы он, например, умер раньше Свирина, и тому пришлось бы идти за его гробом. На душе стало хорошо, весело, захотелось шутить; он позвал Свирина и крикнул ему:

— Свирин! А ведь Кондратий Иванович раньше тебя заберет, чем меня...

Свирин сказал, поднимая брови:

— Нечего говорить зря. Вы века моего не заживете, я — вашего. Все возможно. Только рано умирать не хотелось бы. Хочется походить еще по земле. Постранствовать.

— Странствовать? — с удивлением спросил губернатор.

— Обязательно,— таинственно ответил Свирин,— пойду. Обязательно.

— А варенье засахарилось,— опять поддразнил его губернатор: было в этом что-то мальчишеское, задорное...

— На эту тему вы, может быть, больше меня понимаете,— с преувеличенным спокойствием сказал Свирин,— может быть, и засахарилось. И очень даже просто: ягода в нынешнем году была кисловатая. И нельзя было ей быть иначе: лето было жаркое. Вы по Наугеймам разъезжали, а мы тут бездождие терпели. Да-с!

Было удивительно приятно ходить по высокому залу. Навощенный пол блестел, освещенный семью окнами. Отраженные в нем вещи и мебель змеились своими очертаниями, как в пруду, вода которого слегка колышется под ветром. Все время на уме вертелся какой-то старинный, на высоких нотах мотив, губернатор ясно знал, что опереточный, но из какой оперетки, не мог вспомнить. В назначенное время, около семи часов, когда уже стемнело и зажгли электричество, доложили о Броцком.

Броцкий был взволнован и машинально то застегивал, то расстегивал нижнюю пуговицу сюртука. Волосы у него, особенно на висках, уже густо поседели, лицо загорело, но глаза, как и встарь, были прекрасными, волнующими и походили на круглые, одухотворенные сапфиры. Щеки были

только что, очевидно, выбриты, и впереди немного отяжелевшего и свисающего подбородка оставлен маленький поседевший клинушек волос.

Между ним и губернатором никогда не происходило никаких сцен: когда измена жены обнаружилась, Броцкий без всяких объяснений перестал бывать у них в доме,— тем дело и кончилось.

— Я рад вас видеть,— сказал губернатор,— так рад, что мне хотелось бы вас поцеловать, но боюсь показаться смешным. Тысячу лет мы не видались с вами...

— Да, давно...— глухо ответил Броцкий, то расстегивая, то застегивая сюртук.

— Шляпу вы вот сюда! — говорил губернатор, услуживая Броцкому, и в прежнем беспечном тоне, который показывал, что ничего никогда не случилось, продолжал: — А я совершенно забыл вас. Вы совсем не показываетесь в городе, не поете... Исчезли с горизонта. А на днях я катался с дочкой по ярмарке и увидел вас около конского ряда. Вы покупали лошадь...

— Это было вчера,— сказал Броцкий.

— Да, да, кажется, вчера,— беспечным тоном ответил губернатор,— ну да, вчера.

Огромная радость и удовлетворение пришли потому, что ни одним движением или дыханием он не выдавал себя; Броцкий же, видимо, сильно волновался, но этого нельзя было замечать, и губернатор по-прежнему радушно и беспечно говорил:

— И захотелось с вами увидеться, во что бы то ни стало. Если бы вы не приехали ко мне, я бы завтра сам явился к вам, чтобы возобновить знакомство.

— Вы так добры! — бормотал, изысканно кланяясь, Броцкий.

Губернатор махнул рукой, словно отбрасывая назад те вежливые слова, которые только что произнес Броцкий.

— Я не добр, Александр Алексеевич,— ответил он,— далеко не добр. Скажу по совести: просто скоро смерть. Похоже, батюшка, на то, что в жизни все идешь в гору. И вы вот — поседели тоже. И на вершине, вместо счастья, видишь смерть. А когда с вершины посмотришь вниз, то дома кажутся папиросными коробками, моря — лужами, люди — комариками. И все события жизни нашей — так, ерундою, пустячком. Сколько лет вы не были в этом доме?

— Семнадцать,— сразу, не думая, тихо ответил Броцкий.

— Семнадцать! — повторил губернатор,— а что изменилось в нем? Почти ничего.

Он дружелюбно взял Броцкого под руку и повел его к зеркалу, как бы показывая, что ничего не случилось. Идти вдруг почему-то сделалось трудно, как по намокшей глине. Голова слегка закружилась, мысль заработала несвязно, а говорить хотелось много, не умолкая: очень хотелось сказать о жене, как о его любовнице; хотелось еще раз сказать, что Броцкий — не прежний красавец, что и он слинял, что нет уже прежнего баритона, которым он так красиво когда-то исполнял глинкинские романсы. Нет прежних вечеров; не стоит уже в городе так много войска; умерли князья Касаткины, Енгалычевы, Перцовы; закрылись клубы, в которых когда-то проигрывали по 180 тысяч за ночь. Губернатор говорил не умолкая, а сам осторожно прислушивался к каждому стуку в дальних комнатах: вот-вот раздадутся шаги, и в залу, как весна, войдет Соня; но шаги раздавались только свиринские, и это радовало.

— Вот зеркало,— говорил губернатор, проводя рукой по стеклу,— оно вам знакомо. Вот здесь в углу есть надпись.

И губернатор украдкой, испытующие взглянул на Броцкого и подумал:

— Писал не он...

Долго, сознавая, что это не особенно нужно, говорил он о смерти, о боге, о том, как его волнует это зеркало, видевшее и, быть может, запомнившее всю жизнь бывших здесь людей, ослепшее и вечно зрячее, говорил о полицмейстере, о Наугейме, о ночах, в которых не приходит сон.

В столовой их встретила Соня, поднялась — красивая, нарядившаяся, как невеста. Губернатор почувствовал, что на его лице заиграла жалкая, выдавленная улыбка, что губы дрожат и не могут выговорить обычных, стертых слов, и, с огромным напряжением сделав поочередно указывающие жесты то в сторону Сони, то в сторону Броцкого, сказал:

— Моя дочь. А это, Соня, сват; приехал сватать тебя за далекого, прекрасного принца.

Броцкий неуклюже и неловко поклонился, взволнованный, тяжело дышащий. Губернатор, как старый насторожившийся зверь, следил за каждым его движением, но узнать не мог, догадывается ли Броцкий, кто — Соня.

Соня улыбалась, говорила любезные слова, наливала чай и, красиво изогнув руку, ожидала, когда из самовара нальется в стакан вода. Губернатор, побледневший, растерявшийся, смотрел то на нее, то на Броцкого; взгляд его заплывал голубоватым туманом, временами он видел только четыре одинаковых глаза, и тогда не мог разобрать, кто на него смотрит,— Соня или Броцкий. Глаза у них были одинаковые: прекрасные, темно-синие, как сапфиры. Губернатор слышал, как Соня спрашивала Броцкого, с чем он пьет чай,— с лимоном или с вареньем, и Броцкий глухим голосом ответил, что ему все равно.

— Варенье засахарилось,— машинально сказал губернатор и добавил, обращаясь к Соне: — А у принца того есть дворец,— чудесный мраморный дворец в Венеции, на Большом канале, и когда светит луна, то он большим темным пятном уходит вниз, в воду. Есть у принца дворец? Правда ведь? — спрашивал он у Броцкого.

Тот неловко кашлянул, покраснел и сказал, стараясь шутить:

— Да, да, есть. В Венеции, на Святом канале.

— На Большом,— поправил губернатор.

— Виноват, на Большом, у моста Риальто.

Выпили по стакану. Поддерживался какой-то незначительный разговор. Губернатор жадно всматривался в Броцкого, хотел навсегда запомнить его внешность, лицо, выражение глаз; но странно было: остались в памяти только его часы, спрятанные в верхнем кармане, и тоненькая, продернутая сквозь верхнюю петлю жилета, из золотой проволоки вывязанная цепочка. Соня озабоченно, по-хозяйски вытерла посуду, налила еще чаю, сказала, что ей нездоровится, извинилась и ушла. Пришла радость, великая, примиряющая со всем, радость, наполнившая душу внутренними слезами и любовью к Соне, любовью за то, что она не узнала Броцкого, что ее не потянуло к нему, что он, губернатор, по-прежнему остался ее отцом.

Проснулась даже жалость к Броцкому, и казалось, что его, голодного, холодного, выбросили из теплого дома на стужу, в ночь, на мороз.

— Вы так вдвоем и живете? — спрашивал Броцкий, и в этом вопросе почувствовалась зависть к уюту, домовитости, девичьей, дочерней ласке.

— Так вот и живем,— ответил губернатор, откидываясь

на спинку стула,— вдвоем. А ведь, правда, хороша Соня? — и он искоса, лукаво взглянул на Броцкого.

Тот был, видимо, неспокоен и, не поднимая глаз, нервно вертел какой-то стакан.

— Она прелестна,— тихо ответил он, и губы его дрожали, глаза не смели подняться, пальцы быстро бегали по граненым ребрам стакана.

— О, она прелестна! — с восторгом подхватил губернатор его слова.— Она прелестна! Если бы вы знали, какая у нее роскошная душа! Как она сумела приголубить мою старость! Какие она знает слова! Какая у ней чудесная рука, когда она гладит вот по этим седым волосам. Как она умеет успокаиваться, как хорошо гулять с нею, когда во дворе теплый, темный вечер... Знаете,— и губернатор ближе и доверчивее придвинулся к Броцкому,— вечерами мы втроем — я, Соня и Свирин ходим на соборную гору. Весь город внизу в огнях. Часов в одиннадцать идет поезд. А на весну мы поедем в Альбано, это недалеко, два часа по Аппиевой дороге от Рима. Там чудесные голубые озера. У ней в Москве есть жених...

— Жених? Уже? — почему-то тревожно спросил Броцкий.

— Да-а, жених,— с гордостью ответил губернатор.— Чудеснейший малый. Талантливый, с кудрявыми волосами. Мне о нем писали, что речи его — мед сладкий. Что глаза его — звезды небесные. Понимаете? Звезды! Так и Соня описывает его. А как она любит его! Только одному мне она доверяет свои тайны. Только я один,— повышенным голосом говорил губернатор,— знаю, как она любит его, как она ждет его, какие письма пишет ему, и ответы его читает только мне. Знаете? Странная вещь! Матери она не любит, уехала от нее, а вот привязалась ко мне, к старику. Когда я болен, она ночей не спит. Докторов зовет. А как она играет мне на рояле!

В эту минуту губернатор верил тому, что говорил, и эта ложь была нужна: она успокаивала и вселяла в душу какое-то торжество. Броцкий слушал, а потом тоскливо говорил о своем одиночестве, о том, что в усадьбе становится жить все тяжелее и тяжелее, что дом у него — тоже большой и гулкий, в зале окна на три стороны; кругом поля, далекие, бесконечные, спускающиеся под гору. Когда ходишь по комнатам, то шаги, как удары деревянного колокола, разда-

ются во всех углах. Когда зимой топятся печи, дрова жутко трещат. Сны ему мерещатся нелепые: то какое-то путешествие по Китаю, то покойники, то ладан, облаками выходящий из печи, то овраги, наполненные человеческими костями и бутылками из-под нарзана.

Потом старики замолчали, и только часы, заделанные в верхней части толстого дубового футляра, постукивали медленно раскачивающимся маятником. Губернатору казалось, что Броцкий видел себя в Соне, как в волшебном зеркале,— видел свою молодость, свои лучистые глаза, свое свежее лицо, и теперь то и дело поглядывает на дверь, ждет, не войдет ли она, чтобы еще раз посмотреть на нее, и, может быть, втайне, по-стариковски, боясь насмешек, молит бога об этом. Когда же стало несомненно, что она больше не выйдет, нижняя губа его начала подергиваться уже както странно, вперед. Губернатору было ясно, что Броцкий понял все и мучится, было ясно, что у него теперь нет ни любви, ни уюта, что одинока его старая душа и жизнь. Ласково, как человека заболевшего, проводил его до подъезда губернатор; хотелось только, чтобы он поскорее ушел, хотелось скорее остаться одному, потушить все огни, походить в темных комнатах, обнять свою радость и свое счастье.

Броцкий долго застегивался, долго надевал перчатки, поправлял шляпу, и казалось, что он хочет сказать что-то важное и не решается.

«А вдруг он заявит свои права на Соню, напишет ей или скажет, что она — его дочь?» — пронеслось в голове губернатора и, хотя сейчас же стало понятно, что это — дико, невозможно, неумно, все же захотелось, чтобы Броцкий, такой красивый, в широкополой шляпе похожий на старого художника, поскорее ушел, и губы, как барабанную дробь, выбивали два слова: «Скорее, скорее...»

В разных углах, по-военному, во фронт, стояли дежурные казаки. Броцкий, не протягивая руки, попрощался еще раз, пошел к двери, у порога как-то странно замедлил шаги, словно собираясь оглянуться, потом сразу сгорбился и торопливо выскочил на тротуар.

Двери были двойные: изнутри — стеклянные, снаружи — дубовые, цельные. Защелкнулись замки; губернатор не уходил, а ожидал, пока управится казак. Затем вынул рубль, дал ему и сказал:

— Это тебе за гостя. Гость забыл дать на чай.

Казак стоял и низко кланялся.

Радостный, помолодевший, как будто увидевший, наконец, то, о чем только мечтал, губернатор пошел наверх, к Сониной комнате, постучал к ней в дверь и спросил:

— Спишь?

— Сплю,— послышался ответ.

— Понравился тебе Броцкий?

Соня, видимо, подумала и не сразу ответила:

— Ничего себе, приятный старик. Похожий на старого гусара.

— Верно, на гусара.

Пошел губернатор в темные комнаты. Было досадно, что в спальне ожидает его теперь Свирин. Дал он ему какой-то красноватый порошок и велел запить теплой горькой водой.

— Варенье-то хорошее! — сказал губернатор.— Я пошутил тогда.

Свирин был сердит, ничего не ответил и, погасив свет, ушел.

Губернатору показалось, что Свирин сердится за приглашение Броцкого.

— Эх ты, дурак! — мысленно сказал ему он.— Если бы ты знал...

Он натянул на себя одеяло и долго, до рассвета, думал о том, что каким бы огромным, никогда не испытанным счастьем было то, если бы Соня и в самом деле говорила с ним о своей любви, о своем горе, о своих думах.

Рассвет с каждым днем начинался все позже и позже; окна синели вяло, неохотно и долго спустя после того, как в столовой часы уже били шесть раз.

XXX

В женском монастыре, в шести верстах от города, поднимали на главную колокольню новый колокол,— большой, весом в 513 пудов, отлитый в память избавления от холеры.

Приезжала сама игуменья, мать Архелая, и приглашала губернатора на торжество. Лицо игуменьи было белое, крупитчатое, и морщинки — какие-то особенные, аккуратные, словно наведенные тушью. Мягкий клобук полузакрывал ее лоб, так что волос не было видно; одевалась она во все

широкое и черное, и как-то особенно были видны ее щурящиеся, бледно-голубые глаза и маленькие, пухлые ручки с утолщениями суставного ревматизма.

Ко дню поднятия в монастырь наехало множество всякого народа: монахов, купчих, богомолок, странников. В губернии не было ни мощей, ни чудотворных икон, и потому монастырь, единственный, знаменитый прорицательницей, матерью Домной, пользовался уважением и известностью. Домна однажды предсказала вице-губернатору Рокке, что он скоро умрет, и, действительно, Рокке, купаясь в ерогипском пруду, утонул от судороги ноги.

Монастырский храм, большой, трехпрестольный, не вместил всех приехавших: те, кто не попал к обедне, разместились по кельям, гостиницам или просто на дворе. То и дело слышались словесные схватки:

— Ты по какому, Ирод, праву благословляешь народ?

— А ты, милый, из какой такой губернии происходишь, что я тебе должен отчет давать? Какое, скажи, будь ласков, право особливое нужно иметь, чтобы взять вот и перекрестить дитя? Ну?

— Поговори! Скажу вот протопопу — он живым манером тебя в узилище приправит.

— Не токмо-чи к протопопу, а к самой протопопихе валяй! А я вот возьму и еще благословлю. Девочка! Подь сюда. Наклони голову. Во имя отца и сына и святого духа... Ну — вот и иди себе с богом. А ты ступай, протопопу своему ударь языком пониже спины.

Обедню служил Герман: необычайный, весь золотой, благословлял народ дикириями и трикириями, которые справа и слева подносили ему мальчики в зеленых стихирях. Дьякона служили ему, как царю, а хор, приехавший из города, пел ему на древнегреческом языке хвалебные песни и многолетия. Протодиакон, большой человек с вьющимися до самых плеч волосами, в стихаре, оттопыривающемся спереди, угнувшись подбородком в шею, по которой вверх и вниз ходил крупный костлявый кадык, басил перед Германом:

— Тако да просветится свет твой пред человеки, и да видят добрыя дела твои...

Было смешно, что такие красивые и торжественные слова относятся к архиерею Герману, про скупость, льстивость и угодливость которого знала вся губерния.

Прекрасно пел хор херувимскую песнь. Под сводами храма перемешивались голоса и детские, и возмужалые, переливались из одного медленного аккорда в другой и тянули звуки: и, е, у,— получалось что-то неразборчивое, но необыкновенно красивое. Протодиакон важно ходил по амвону и, громко встряхивая кадилом, как-то особенно при поворотах перебрасывая его через плечо, кланяясь и, видимо, любуясь своей важностью, кадил иконам и народу. Потом начался великий выход: поминали, держа в руках сосуды, царствующий дом, а когда кончили и повернулись к царским вратам, их встретил Герман и принял из рук протодиакона дискос, покрытый вышитым воздухом. Передавая дискос, протодиакон медленно опустился на одно колено, наклонил голову и сдержанно, но разборчиво пробасил:

— Архиепископство твое да помянет господь бог во царствии своем всегда, ныне и присно, и во веки веков...

Герман, словно обрадовавшись, высоким, переливчатым тенором, не договаривая слов, зачитал торопливо молитвы, и, не дождавшись, пока он кончит, хор оглушительно, победно запел: «Яко да царя».

Губернатор и Соня стояли в правом приделе у самого окна. Был виден багряный сад, неохотно бросающий жидкие, вялые тени. Было жарковато; до конца обедни оставалось еще много, и они вышли из церкви.

Два пристава, смешно отставив локти, очищали им дорогу сквозь толпу: идти было легко и приятно. Колокол они уже видели: стоял он, похожий на огромный колпак, на деревянном, из свежих, неструганых брусьев сделанном помосте перед колокольней. Были на нем какие-то выпуклые надписи, рисунки, цифры. Рабочие внизу и на колокольне, на первом этаже, приспосабливали цепь, по которой собирались тянуть колокол. Кругом огромными, закрученными клубками лежали канаты.

Пошли гулять по узким аллеям, извивающимся вокруг келий. Кругом суетились монашенки; ставили самовары, резали закуски, вынимали банки с вареньем. Зелень осыпалась, и были видны решетчатые остовы летних беседок. Безжизненные стояли, наклонив голову, георгины. Чем дальше, тем меньше встречалось людей. Прошли мимо старого, почерневшего кладбища, спустились к пруду. Через пруд были положены две параллельные, прогнувшиеся посредине дос-

ки; по ним, навстречу друг другу, бегали ребята в новых рубахах, сшитых из каленого ситца и похожих на крахмальные. Пришли в лес. Лес был прозрачный, остались от летней роскоши только черные покривившиеся ветви, и это делало его похожим на мертвеца, которого не засыпали. Набрели на мельницу — старую, с камышовой крышей и позеленевшим колесом.

— Из «Русалки»,— сказал губернатор,— из последнего действия.

Соня улыбнулась — прекрасная, побледневшая, в новой широкой шляпе. Вышли на опушку, сели на срубленное дерево, похожее на толстую убитую змею. Никого кругом не было. Прямо был виден монастырь, налево чернел лес, направо тянулось поле, не то засеянное, не то взрытое только для посева. Виднелись стоги, постепенно уменьшающиеся вдали.

— Ты, Сонюшка, грустная,— сказал губернатор.

Он давно уже собирался заговорить с ней о том, что знает ее тайну и ее печаль. После встречи с Броцким, когда отношения его и Сони окончательно определились, нужно было сделать так, чтобы она забыла прошлое, махнула бы на него рукой; но чтобы сказать это, передать всю тревогу своей души, требовались какие-то особые сочетания слов — мягких, грустных, теплых, которых он не знал, которых не мог вызвать в уме. Поэтому, целый день думая о них, он, наконец, решался иногда заговаривать, но сразу не обдуманное забывал, конфузился и замолкал.

Соня взглянула на него; дрогнуло сердце, казалось, что наступил момент, и она сейчас скажет все, выльет перед ним свою душу; он станет ей близким, совсем близким, приласкает ее, утешит, и она поймет его, и мягко, не говоря слов, посмотрит на него; он поймет этот взгляд, и тогда спадут с их душ завесы, будут они читать друг в друге думы, чувства, желания, мечты,— и начнется удивительнейшая жизнь. Но прошло несколько мгновений, и глаза ее сразу, как будто намеренно, погасили свои огни, сделались усталыми, невнимательными, словно перед ними проходила не эта жизнь с монастырем, с длинным и широким полем, а другая — далекая, нездешняя, неизвестная.

— Ты, Сонюшка, грустная,— робко повторил губернатор,— ты бы сказала мне. Я уже стар, видел жизнь. Я бы дал тебе совет. Право. Видишь, я говорю не то, что

нужно. Совет — это не то. Но ты ведь чуткая, умная. Ты поймешь.

Соня ответила не сразу; она думала, видимо, о словах губернатора, и эти думы, как картины, проходили в ее глазах: были они — как дым...

— Мне нечего тебе говорить,— сказала она,— ты не обижайся. Право, нечего. Я счастлива, всем довольна.

Она взглянула на него темно-сапфировым взором, и сразу стало ясно, что ничего она не скажет и ни о чем не попросит.

«Ну и не надо. Живи, как хочешь,— подумал губернатор,— я не потревожу тебя. Перестрадай одна»,— и поцеловал ее руку.

Вдалеке показались два пристава. Скоро они подошли и сказали:

— Литургия окончилась. Сейчас будет благодарственный господу богу молебен, а затем — торжество.

Губернатор посмотрел на Соню; та молча покачала головой.

— Мы не пойдем,— ответил он приставам,— вы идите, смотрите, мы одни тут посидим.

Пристава ушли.

Скоро послышалось пение: очевидно, молебен служили на воздухе.

— ...Сла-ава отцу...— долетел высокий, прерывающийся от ветра голос.

— ...Присно, веков, минь...— отвечал хор.

Смолкло и пение. Как пчелы в улье, зашумел народ. Что-то трещало, звенела цепь, стучали тяжелые молотки. Минут десять слышались отрывистые, гудящие голоса.

— Ну! Ну-у! Н-у-у!

Потом все смолкло. Опять, видимо, начали служить, и хор, среди гулких возгласов, грянул торжественно:

— Тебе бога хвалим!

Переплелись меж собой дисканты и тенора.

— Тебе привечного отца!..— словно извилистую линию чертили в воздухе дисканты.

— Ты — Царю славы, Христе! — отвечали тенора, и, казалось, шел между ними спор: чья хвала скорее долетит до синих огромных небес.

И вдруг, заглушая земной человеческий шум, ударил колокол — четкий, красивый. Ясно стало, что это ударил но-

вый колокол, благословенный. После большой, совершенно тихой паузы последовал еще удар, еще, и, казалось, началась новая проповедь.

Было особенное и хорошее в том, что звонил новый колокол. Это миром входило в душу, успокаивало жизнь, делало грустными и добрыми воспоминания о Броцком, о жене, о болезни, о близкой могиле. Кругом — светлая, милостивая осень, далекие стоги, главы церквей, багрянец, вода чуть поблескивающего меж деревьев пруда, сероватое небо, неохотно плывут с востока облака; сидят на поваленном дереве тоскующие, с побитыми душами люди, близкие и в то же время совершенно неведомые друг другу, а новые звуки идут:

— Бо-ом-бом! Бо-ом-бом!

— Что же это такое? — думал губернатор.— Что это значит? Почему неспокойна душа? Почему трепещет? Почему?

Время шло. Нужно было идти в монастырь. Их уже искали, бегали монашенки; пришлось идти завтракать к игуменье Архелае, в покои. Там, на заглавном месте, сидел уже Герман в бархатной лиловой рясе, такой же белый, как игуменья, с четками, лысый, с узенькими хитрыми глазками, которым он старался придать благодушный вид. Зашел разговор о колоколе, которому теперь, на новом месте, придется висеть, быть может, лет триста. Хвалили его и фабрику, на которой он был отлит. Сидели кругом попы, дьяконы, монахи и чинно говорили, всякий раз степенно и солидно откашливались.

Хорошенькие молодые монашенки, похожие на переодетых танцовщиц из малороссийских трупп, угощали гостей и наливали в широкие бокалы мадеру. Гости в один голос хвалили икру и ели ее с зеленым, мелко порубленным луком.

Герман рассказал о своем катаре, все молчали и сочувствующе слушали. Сказал о добродетелях и доблести покойного полицмейстера, все встали и громоносно, басами спели вечную память. Когда сели, Герман сказал еще о том, что вот идет зима, бедному люду придется лихо. Архиепископ делал странные ударения на словах, говорил: и́кра, зи́ма, на́род.

Протодиакону, теперь потерявшему важность и напыщенность, хотелось икры, но стояла она далеко. Он глядел на нее, мысленно ел, и от разыгравшегося аппетита сжимал

челюсти так, что двигались скулы. Попросить же, чтобы ее передали, он боялся, потому что тогда нужно было бы сказать по-архиерейски: «Дайте мне и́кры», а этого он трусил: как бы не засмеялись.

Часа в три попрощались и поехали домой. Нужно было спускаться с горы и сдерживать лошадей. Снизу из лощинки подувало холодом. Свирин поднял воротник, посматривал на небо, которое делалось темно-синим, и говорил:

— Ох, быть снегу! Быть! Тучи-то, тучи. Снегоносье! Как индюки, взъерошились. Чистые, прости господи, индюки!

Потом подумал-подумал и, отвечая собственным мыслям, примирительно добавил:

— Да что ж? Уж и пора честь знать, утирать бороду! Вот уж батюшка октябрь кончается. У нас-то еще теплынь, благодать, а в России мужики-то, небось, уже по паре валенок сносили.

Шел товарный поезд. Шлагбаум был закрыт. Пришлось остановиться. Лошади беспокойно шевелили ушами, били копытами и косили глаза в ту сторону, с которой был слышен все более и более приближавшийся шум.

Подъехала архиерейская карета и несколько за нею извозчиков. Герман опустил стекло у дверцы, смотрел на поезд, тянувшийся по насыпи, и говорил:

— Ва́гонов-то, ва́гонов! Штук тридцать будет!

Свирин ответил ему:

— Товарец везут в город, ваше высокопреосвященство!

А губернатор сидел и все думал об одном: «Почему же?..»

Закрывал глаза и так морщился, как будто вот сейчас придет ответ и больно ударит по голове.

XXXI

В городе объясняли: зима вышла позднею потому, что весна была ранняя; первый основательный снег выпал в день архангела Михаила, восьмого ноября, шел всю ночь, а с утра уже ездили на санях. Десятого и одиннадцатого ударили легонькие, дружные морозцы; замерзли на окраинах пруды; гимназистки надели шапочки и ходили румяные. Создалась зима тихая, ровная, без оттепелей. Свирин уже

собирался на зайцев и по утрам заводил на эту тему осторожные разговоры.

Недели за две до снега в доме затворили и заклеили вторые, внутренние рамы, отчего подоконники сделались узкими. Чтобы не было в окнах сырости, Соня наливала в высокие, узкие бокалы какую-то шипящую кислоту, устанавливала их между стеклами.

Появилась в доме портниха, высокая, сухая женщина с множеством колец на длинных, узловатых, быстро бегающих пальцах. В кольцах была вставлена темная бирюза, отчего они казались тяжелыми и неудобными. Казалось, что эта женщина никогда не любила, никогда ни о чем не думала, не смеялась, не горевала, не молилась и всю жизнь только перебирала своими быстрыми, длинными пальцами. Когда губернатор вручил ей деньги — несколько длинных, желтоватых бумажек с длинными полями,— то бумажки эти как-то особенно в ее пальцах зашелестели.

Соня улыбалась и говорила, что она не думала, что здесь, в этом городе, все так дорого стоит. У губернатора, когда она говорила это, поднималась в душе радость — большая, захватывающая дух. Хотелось долго целовать эти милые, наконец засмеявшиеся глаза, хотелось вскочить на горячего коня и, чтобы продлить радость, мчаться куда-нибудь в степь, против ветра и снега, хотелось быть молодым, отчаянным и, как встарь, уметь звонко, по всякой пустой причине смеяться.

Приходили на имя Сони письма с иностранными марками. Когда марки были немецкие, то губернатор знал, что это от матери, из Германии. Приходили еще письма со швейцарскими марками; они были всегда в голубоватых конвертах, с мужским почерком на адресе. Губернатор всматривался в этот почерк; буквы «а» и «о» были всегда тщательно закруглены сверху, что по графологии означало скрытный характер.

Губернатор не любил тех дней, когда приходили письма: тогда в дом врывалось что-то чужое, постороннее и, казалось, мешало ему жить. Письма из Швейцарии были, вероятно, от того, кого Соня любила.

Мучительно хотелось посмотреть хотя бы на портрет этого человека. Хотелось узнать его адрес и написать ему несколько больших горячих писем, написать о том, что нельзя не любить прекрасной девушки Сони, что большой

грех — мучить ее и доставлять ей страдание. И губернатор неоднократно принимался писать на почтовой, с прозрачными линиями бумаге:

— Я не знаю вас,— начинал он,— но вы должны быть чудесным человеком, если вас полюбила моя дочь, прекрасная девушка Соня. Я, старый и жестокий человек, потерявший свою душу, пишу вам. Сердце мое застыло в житейской сутолоке. Нет слез у меня. Бог лишил меня их, и в этом — моя самая большая и горькая кара. Я чувствую, что пишу нескладно, но я прошу вас: пощадите прекрасную, чистую девушку. Мы приедем в Швейцарию и будем жить втроем. Я забуду свое губернаторство, забуду свою тяжелую жизнь; мы с Соней вздохнем и будем любить вас. Есть ангелы на небесах, и бог — их царь. Эта фраза, я знаю, не нужна здесь, и вам не понятна, но зачеркивать ее не нужно. Мне так хочется говорить о боге, об ангелах, о будущем суде, о справедливости, которая покарает меня. Тут нет раскаяния, тут другое,— большое, тоскливое и жуткое, для человека невыносимое. И не об этом, я знаю, мне надо писать вам. Мне надо писать вам о Соне, о прекрасной Соне.

Губернатор писал, переписывал по нескольку раз свои письма, потом рвал их и бросал в корзину. Ему казалось, что если бы он сумел передать и переложить на бумагу все свои думы и чувства, то Соня не горевала бы: приехал бы к ней ее любимый, и началось бы счастье.

По утрам, часов в двенадцать, когда он принимал чиновников, Соне подавали низенькие сани. Она выходила — милая, бледная, всунув руки в меховую муфту. Свирин без шапки, в одном сюртуке, запахивал, когда она садилась, полсть; рысак в голубой вязаной попоне красиво, презирая сани, нагибал голову, делал упругое движение вперед и потом легко, играя, брал вверх по улице. Кучер, показывая коню свою власть, гордо и прямо натягивал синие вожжи; Соня слегка пригибалась от первых взлетов снега, и тогда чудилось, что она — далекая, неизвестная принцесса. Каталась она долго, часа два, и когда возвращалась домой, то была вся розовая и сияющая. И снова Свирин без фуражки, в одном сюртуке, встречал ее, был горд и счастлив, когда она подавала ему руку, чтобы выйти из саней. Губернатор смотрел на нее украдкой, сквозь цветную бумагу, в нацарапанный уголок, и тоже, как Свирин, был почему-то горд и счастлив.

Когда комната была озарена только большим прыгающим светом камина, когда за окнами зимний день переходил сначала в голубой, а потом в сгущающийся синий вечер, Соня сказала губернатору, отрываясь от книги:

— Знаешь, когда вот приходит такой вечер, когда горит огонь, душа рождает много слов — нежных, как поцелуи. И сказать я их могу только тебе. Я от тебя никуда не пойду. Ты меня не прогонишь?

— Прогоню, — отвечал губернатор, — прогоню. Обязательно прогоню. Еще бы не прогнать. На мороз, в одной рубашке.

Соня подходила близко и, закрывая свое лицо, почти шептала:

— И скоро я тебе скажу вещь — большую, важную.

— Говори теперь.

— Теперь не могу, — шептала Соня, — погоди, не могу. А скажи вперед: сердиться не будешь?

— Буду, — повторял губернатор, — буду. На мороз прогоню. В одной рубашке.

— На мороз гони, только не сердись... — говорила Соня.

Долго молчали. Губернатор думал: признаться ему в том, что он все знает, что ему все рассказал Ярнов, или не надо?

Соня задумчиво смотрела на огонь, который словно желая поскорее оторваться от дерева, тянулся вверх золотыми прядями.

— А, кстати, где Ярнов? — спрашивала она.

— В Вильну, кажется, уехал, — отвечал губернатор.

Приходил Свирин, становился около двери, думал. Потом исподволь, осторожно заводил речь на такую тему: начались морозы, тяжело теперь бедным людям. Слыхать, в кругленьком лесу появился заяц в необычайном количестве. Заяц — зверь вкусный, и есть его со сметаной — блаженство рая. Губернатор слушал его, пока не надоело, и говорил:

— Слушай, Свирин. Если тебе, шуту старому, на зайцев поехать хочется, так ты планов не разводи, а говори прямо.

Свирин после этого разговора каждый день вставал чуть свет, зажигал огонь и начинал чистить ружье. А когда уезжал на охоту, то с ним были еще какие-то неизвестные мужики в овчинных тулупах, все с ружьями и собаками. Сам Свирин имел важный, особенный вид и покрикивал на них:

— Рязань несчастная! В трех березах заблудились!

Потом, когда сел в сани и со всех сторон подоткнул под себя полушубок, вдруг заулыбался и сказал, что, кроме зайцев, привезет еще волка и сделает из него себе глубокие калоши.

XXXII

В середине филипповского поста к Соне приезжали дамы, жены местных крупных чиновников, и приглашали принять участие по организации рождественских балов в пользу бедных. Соня отказывалась, но так как дамы просили с улыбками, умильным прищуриванием глаз, то было ясно, что все равно они не отстанут, и пришлось согласиться. О найме помещения нужно было писать прошение в клуб, в совет старшин, разговаривать с городским садовником о цветах, ехать к купчихе Рындовой и просить ее устроить на балу киоск с продажей шампанского. Так научили городские дамы, и Соня на больших листах писала прошения, разговаривала с садовником и ездила на Крыловскую улицу к купчихе.

Купчиха была молодая, с матово-румяными щеками, хотела, чтобы о ней говорили как о даме образованной и понимающей, и на устройство киоска, польщенная приездом губернаторской дочери, сразу согласилась и заявила:

— За шампанское бывайте спокойны. Купим Генриха Редерера по пяти с полтиной.

В самый разгар переговоров в гостиную вошел ее муж, купец лет 35. Он много и беспричинно смеялся, тер ладонями колени и часто повторял одну и ту же фразу:

— Ошибаться может даже крокодил.

На прощание вручил Соне в пользу недостаточных учениц сотенный билет и сказал:

— Катериночка,— от меня и от супруги.

— А Генрих Редерер — не в счет,— успокаивающим тоном сказала купчиха, провожая Соню,— это само собой.

С Соней все время делалось что-то неладное: за обедом она иногда сразу переставала есть, бледнела и, казалось, к чему-то прислушивалась: можно было подумать, что у ней внезапно наступила головная боль и она ждет, когда утихнет приступ. Тогда губернатор тоже переставал есть и спра-

шивал, не позвонить ли в телефон доктору. Соня улыбалась, видимо, насильно, проводила рукой по лбу, слегка влажному, и отрицательно качала головой.

От Ярнова из Вильны пришло письмо. На листке с синими линейками, вырванном из ученической тетради, он писал, что на днях сделал громаднейшую глупость, и только теперь вышел из-под опеки.

Губернатор написал ему длинный ответ о том, какая стоит зима, сколько зайцев привез Свирин с охоты, как Соня выезжает кататься, какая у ней новая прекрасная шуба.

Рождество наступило быстро. На первый день утром, часов в одиннадцать, приходили соборные священники, надевали, крестя разрез для шеи, епитрахили и нескладными басами пели праздничные тропари. После обеда купцы катались мимо губернаторского дома и старались обгонять друг друга. Это было воспрещено постановлением, и полиция к вечеру составила за быструю езду одиннадцать протоколов.

Бал был назначен на двадцать седьмое декабря. Часов с трех дня начали привозить в клуб киоски в виде швейцарских домиков, ледяных пещер, треугольных будочек. В швейцарском домике предназначалась продажа цветов, в ледяном — продажа шампанского, в треугольной будочке — почта и телеграф. Лакеи, засучив рукава и держа во рту гвозди, прибивали по стенам зала маленькие скрещенные флаги и гирлянды из ели и березы. С утра до самых сумерек дама, выбранная казначеем вечера, сидела у Сони, по два раза считала вырученные за билеты деньги и раскладывала их по разрядам. Вид у нее был хлопотливый, и обедала она, имея на лице озабоченно-деловое выражение.

— За цветы выручим рублей триста,— говорила она,— за шампанское — не менее пятисот. Муж поддержит жену и выпьет рублей на полтораста. Потом у нее вздыхатель есть,— выпьет тоже рублей на полтораста. Ну, мелкота останется еще,— и дама, вдруг сокрушенно вздохнув, добавила: — Вот если бы залучить на вечер Броцкого.

— А разве он в городе? — как-то сразу встрепенувшись, спросил губернатор. Опять ревнивое чувство подошло к душе, и мучительно не захотелось, чтобы Броцкий был на вечере.

— В городе,— ответила дама,— кутит. Давно уже так он не кутил. За последнее время приутих мальчик. А то раз-

вернулся — прямо беда. Во «Франции» специально для него цыганский хор из Москвы выписали. Один проезд восемьсот рублей стал. По второму классу цыгане ехали.

Деловое выражение пропало с лица дамы, зажглись в ее глазах особенные огоньки — мягкие, мечтательные, и сразу она этим стала противна губернатору. До самого вечера не проходило это раздражение: бродил он по залу, пока не стало темнеть, и все время дама представлялась ему противной и скользкой, как лягушка.

В шесть часов приехала портниха и на весь дом зашуршала шелком. В кухню был отдан приказ — разводить утюг, а через час Соня уже поехала: в 8 с половиной начиналось концертное отделение.

К праздникам губернатор сшил себе черный штатский сюртук с атласными отворотами и теперь надел его в первый раз. Свирин подавал ему этот сюртук удивительно небрежно, отвернувшись в сторону.

Губернатор пошел в клуб пешком. Еще от магазина Яблоновича было видно, как к подъезду подкатывали сани, и из них, осторожно ступая по подчищенному снегу, выходили дамы в ротондах и капорах. На подъезде стоял пристав третьей части; он то отдавал подъезжавшим честь, то помогал дамам всходить по скользким ступеням и со столичным шиком кричал извозчикам:

— Нечего ворон ловить!

Концертное отделение было недлинное. Пел письмоводитель из мужской гимназии: «Ты одна, голубка Лада...» Читал мелодекламацию помощник присяжного поверенного: смотрел он куда-то далеко, говорил о розах, которые были хороши и свежи, о больном одиноком старике, о двух красавицах-девушках, о линнеровском вальсе.

В гостиной, около зала, накрывали чайный стол и, чтобы не мешать концерту, спустили плюшевые темно-малиновые гардины; но свободная, незакрытая полоса все-таки оставалась, и был виден самовар, длинная скатерть и высокий бокал с хризантемами.

Около Сони вертелись франтоватые студенты, девушки в серых форменных платьях, женщины, похожие на классных наставниц. Когда до губернатора, сидевшего в первом ряду, долетал ее голос, живой и радостный, то концертное отделение казалось ему прекрасным, он находил, что такого выразительного и умного аккомпаниатора ему никогда еще не

приходилось слышать, и первый, по окончании каждого номера, начинал аплодировать.

В зале сидело много офицеров и барышень. Позади стульев поместились гурьбой гимназисты и с нетерпением ожидали, когда окончится концерт и начнутся танцы.

Все, что в городе знало друг друга насквозь, все, что десятки раз крупно переругалось меж собой из-за неправильно пойденного валета,— все теперь чинно стояло, рассматривало наряды, прицeняя их, потихоньку и завистливо злословило и вежливо, с приятной улыбкой набок, кланялось.

В начале второго отделения приехал Броцкий. Грузно ступая, на цыпочках, в сюртуке, застегнутом на одну нижнюю пуговицу, он прошел в первый ряд и согнал со своего места какого-то маленького гимназиста. Его кресло было у окна, и так как в щели, вероятно, дуло, то Броцкий закрыл ухо и щеку ладонью. Заметно было, что лицо у него как-то припухло и что он как будто не выспался.

Концерт закончился любительским хором, которым управлял толстый, лысый человек. На первом плане, на краю эстрады, стояли барышни то с застенчиво улыбающимися, то с гордыми лицами и держали в руках нотные листки. Пели немного и визгливо. По окончании, стараясь быть резвушками, они бежали в гостиную и на аплодисменты кланялись, смеясь и прячась друг за друга. Когда концерт окончился, губернатору не хотелось вставать с глубокого бархатного кресла, не хотелось оглядываться назад, в сверкающую провинциальную пустоту.

Лакеи в неуклюжих, коротких фраках шумно выносили из залы стулья, нанизанные рядами на одну палку. Выносить их было неудобно: то и дело приходилось цепляться за зеркала и киоски.

В биллиардной играли в пирамиду калмыцкий князь, приехавший из Астрахани, и правитель канцелярии. Когда вошел губернатор, правитель покраснел до самой лысины и перестал делать самые верные шары. В буфете у стойки толпой стоял народ, и скоро в биллиардную вошел маленький, весь как-то и на голове и на лице облезший чиновник. Он прожевывал бутерброд, прищелкивал пальцами и видимо, на какой-то мотив, вертевшийся у него в памяти, напевал с татарским акцентом:

– Танцова́ит и пляса́ит, танцова́ит и пляса́ит...

Увидя губернатора, поперхнулся, спрятал бутерброд за спину и начал низко кланяться.

В зале, на хорах, военный оркестр заиграл медленный вальс. Вальс, заглушенный рядом комнат, был грустный и далекий. Защемило сердце, и до слез становилось жаль, что нет уже жизни, нет молодости, нет счастья, женской любви, что скоро придется умирать и ложиться далеко в глубину земли. Потянуло в залу.

Нежно обнявшись, кружились в танце люди, все были томными и красивыми, и казалось, что музыка — кровь танца. Танцевало много пар, но тех, кто любит друг друга, сразу можно было узнать: особенно это было ясно в офицере и барышне в сером платье, которая прильнула к его груди. Оба они молчали, смотрели друг на друга, забыли, видимо, и зал, и свет: была для них только одна музыка, которая заменяла им все слова. К звукам музыки присоединялось легкое шарканье ног, крики дирижера, который стоял посередине зала, под люстрой и, прикладывая ко рту руки трубой, с преувеличенным акцентом и небрежностью выкрикивал французские фразы.

Губернатор был очень рад, что чиновники,— все эти правители, ревизоры и советники,— оставляют его в покое, не окружают, как прежде, кольцом и не лезут с умными, благонадежными разговорами. Теперь стоял он один в самом темном углу залы, под большим фикусом.

Броцкий стоял тоже один, неподалеку от почтового киоска. Он не сводил глаз с Сони, был неспокоен, нервничал и, видимо, о чем-то тревожно думал. Губернатору сделалось весело от того, что Броцкий неспокоен. У какой-то барышни он купил телеграфный бланк, написал на нем фамилию Броцкого и четко вывел карандашом слова:

— У вас прелестная дочь.

Бросил сложенный несколько раз пакетик в зеленый почтовый ящик и ожидал, когда его вынут оттуда. Телеграмма была доставлена Броцкому барышней, одетой амуром. Броцкий заплатил ей за доставку; барышня, чувствуя себя хорошенькой, требовала еще. Броцкий дал ей еще что-то, барышня сделала довольную мину, церемонно раскланялась и убежала. Тогда он разорвал телеграмму, прочитал и боялся, видимо, поднять голову, чтобы не встретиться с торжествующим взглядом.

Губернатор, заложив руки в карманы и покачиваясь в такт вальса, напевал:

— А она любит не тебя... Не тебя... Не тебя... Ты — чужой... Ты — чужой...

Он чувствовал, что это — ребячество, но было хорошо на душе, ощущался какой-то простор, возможность быть сильным, сделать что-то большое, красивое и яркое, крупной чертой отметить себя и свое имя на земле. И вдруг опять тревога. Пропало все: и вальс, и свет, и люди.

Он вдруг увидел, как, застегивая на ходу сюртук, подошел Броцкий к Соне.

— Я покупаю все цветы ваши,— сказал он, вынул много смятых денег, передал их ей и добавил: — Здесь две тысячи. И дарю вам все эти цветы,— повернулся и ушел.

Подошел к киоску губернатор. Соня рассказала ему о Броцком. Он улыбнулся и спросил:

— Значит, цветы твои?

— Мои,— ответила Соня.

— Ты их увезешь к себе?

— Нет, буду опять продавать...

— Тогда я их покупаю...

Вынул деньги и подал Соне.

— Вот здесь семьсот рублей,— сказал он,— остальные я заплачу тебе завтра. Поверишь?

— Поверю,— ответила Соня.

— Ну вот,— добавил губернатор,— и цветы эти я дарю тебе.

У Сони сразу образовалась большая груда денег. Чтобы не рассыпались, пришлось накрыть их подносом. Скоро по залу распространился слух, что губернаторская дочка торговала цветами на десять тысяч. Дело было неслыханное: все подходили и смотрели.

К концу вечера непроданными остались три розы. Опять подошел Броцкий, опять тяжело дышал, смотрел на Соню, заплатил за каждую розу по триста рублей и сказал:

— Я дарю вам их, эти розы. Но с условием, что вы никому больше не продадите их. Никому. А поставите их у себя в комнате, на столе. Согласны?

— Согласна,— ответила, улыбаясь, Соня.

Броцкий помялся на одном месте, густо покраснел и добавил хриплым голосом:

— И еще я хочу сказать вам два слова. Разрешите?

— Пожалуйста! — ответила Соня.

Броцкий еще больше заволновался, вытер платком лоб, сунул руку за борт, словно отыскивая что-то в боковом кармане, и вдруг смущенной скороговоркой сказал, заранее, видимо, приготовленную фразу:

— Я старик, я скоро умру,— вы поэтому можете мне поверить: вы — прекрасны. Я говорю правду. Вы — прекрасны.

Броцкий взглянул на нее своими слегка припухшими, но все же лучистыми и, казалось, слегка сверкнувшими глазами и добавил тихо:

— И желаю вам в жизни счастья! Большого счастья!

Сказал, быстро ушел и больше на вечере не показывался.

XXXIII

Было уже четыре часа утра, когда губернатор ожидал Соню внизу, в подъезде. Она оставила шубу в дамской раздевальной и теперь замешкалась. В передней было и навешано шуб, и навалено на барьер, и казалось, что в этом ворохе одежд никакой человеческий ум не сумеет разобраться.

Около клуба извозчики развели костер. Утро зимнее, тусклое было еще далеко; вокруг огня снег подтаял до черного пятна земли; по лицам людей скользили странные и яркие пятна; около бульвара пофыркивали и стучали копытами озябшие, заиндевевшие кони. Снег сильно подмерз, полозья прорезывали его жестко и круто, он хрустел, и это было похоже на ворчанье потревоженного старика. Захотелось прокатиться.

— Холодизм отчаянный! — сказал Свирин, темный, большой, невидимый из-за огромного волчьего воротника.

Лошади взяли сильно, дружно: хотелось скорее согреться... Мелькали заснувшие дома, гостиницы с одиноким огоньком в подъездах, запертые магазины; фонари давали несливавшиеся друг с другом пятна света, освещая местами вывески и блестя острыми точками в окнах. Около женской гимназии завернули направо и по длинной, широкой улице быстро поехали к лесу. Кругом было пусто, темно и мертво. Только в окнах военного госпиталя матовыми четырехуголь-

никами виднелся свет. Ехать против ветра было неприятно, и скоро повернули назад.

В доме сразу охватило теплом. У казаков, дежуривших в передней, был мятый, сонный вид, под глазами резко выделялись полукруглые, глубокие полосы.

Губернатор прозяб и, прежде чем лечь, долго стоял, прислонившись к печке. Было уютно, тихо; горела одна лампочка под красным абажуром, и вся комната имела такой вид, будто прячется от света. Согревшись, было хорошо лежать на спине, перебирать в уме впечатления бала и чувствовать одно только желание: увидеть во сне корпус, Садовую улицу, молодость, зарю жизни. Вдруг в дверь стукнули. Губернатор вздрогнул и быстро перебрал в уме, кто бы это мог быть.

— Это я,— послышался голос Сони.

— Ты? — почти вскрикнул губернатор.— Что ты? — Ему почему-то показалось, что это опять Клейн.— Сейчас оденусь,— говорил он,— погоди минутку.

— Не надо одеваться,— сказала Соня.— Лежи под одеялом.

Вошла в пеньюаре, бледная, прекрасная, с распущенными волосами. Села к нему на постель, погладила ласково по волосам. Потом, словно не выдержав огромного, долгие дни таившегося напряжения, припала щекой к его лицу и зарыдала громко, неудержимо.

Губернатор знал, что это плачет ее любовь, разбуженная вальсом, ярким светом и оживлением бала,— любовь, сделавшаяся мучительной от одиночества и долгих, ни с кем не поделенных дум. Он осторожно привлек ее к себе, молча гладил ее волосы, ощущая теплоту молодых, обильных, накопившихся слез. Он ничего не спрашивал, ничего не говорил и только ждал, когда их станет меньше. Слезинки, теплые, быстрые, падали ему на лицо, текли по его щекам, и казалось, что это плачет он сам. Прошло некоторое время. Рыдания стали понемногу затихать и, наконец, совсем стихли. Соня поднялась, отвернулась от губернатора, по-детски, рукавом вытерла слезы и с особенным, враждебным выражением, словно ожидая угроз, сухо сказала:

— Я беременна.

Губернатор сначала ничего не понял и только почувствовал, что сейчас за этим странным словом должен последовать взрыв громкого, веселого смеха, и ждал его несколь-

ко секунд. Потом как-то вдруг все пропало, куда-то исчезло, и из всех человеческих слов в мозгу осталось только одно неуклюжее, с буквами б-р-м... Соня сидела, согнувшись, спиной к нему, упорно глядя в неясно освещенную комнату. Губернатор, упираясь рукой в подушку, медленно привстал. Глаза его, широко раскрытые, изумленные, остановились. Не моргая смотрел он на Соню. Выражение лица у нее было холодное, враждебное. Она, казалось, чутко, как загнанный в угол зверь, ждет последнего нападения и собрала все силы, чтобы защищаться.

— Ты шутишь, Соня? — спросил губернатор.

— Не шучу, — тем же холодным, сухим тоном ответила она.

Оказалось, что дальше уже скрывать нельзя: сегодня, перед балом, она надевала новый корсет, и это было мучительно.

— Уедем отсюда! — как девочка, как малый ребенок, прильнув к нему, просила она; в ее голосе слышались и мольба, и надежда, и страх. — Я не хочу, чтобы знала мама. Уедем куда-нибудь...

— Куда ехать? Зачем ехать? — недоумевающе спрашивал губернатор.

— Все равно, куда хочешь... В Ярославль поедем, в Варшаву... Только не здесь, только не здесь.

Губернатор почувствовал, что дрогнуло все его существо, что глубоко, внутри, родились и, как благословение души, поднимались к глазам слезы. Он ближе привлек к себе Соню и, как нежную сказку, зашептал ей на ухо:

— Полюбила, полюбила — вся, всем существом, всей душою... Славная моя, Сонюшка!

— Ты не осуди, папа, не осуди, — тоже шепотом, вся как-то сжавшись, словно успокоясь от огромного испуга, просила Соня. — Я знаю, что приехала к тебе, доставляю тебе много хлопот. Но ведь ты же — отец... Я не люблю маму: она сухая, холодная... А я нет. Я люблю сказки, я люблю песни... Я думала, от кого же это у меня? От кого? Не от мамы, нет... Значит, от тебя, от отца... И я ехала к тебе, ехала с надеждой, с верой... Я верила тебе, верила... Ты не осудишь?

Губернатор глотал неудержимо подступившие, проснувшиеся слезы и ничего не мог ответить, а Соня все настойчивее и тревожнее спрашивала:

— Не осудишь? Не осудишь? — и пыталась заглянуть ему в глаза...

— За что же осуждать? — глухо, наконец, спросил губернатор. — За что? За то, что полюбила?

И снова, как давно накопленные, хлынули у ней слезы.

— Как я любила! Как я любила! — повторяла она, задыхаясь и вздрагивая, закрывая глаза по-детски, нижней частью ладони. — Как я любила!

А он гладил ее руку и тихо говорил:

— Ну будет! Ну будет, деточка, ну будет!

И только тогда, когда окна бледно и тонко окрасились мутно-голубоватым светом, Соня ушла к себе, — ушла успокоенная, оправданная, утешенная.

Утром пришел Свирин дать умыванье. Потом нужно было еще принять ванну, в которую доктора приказывали набрасывать много ржавых гвоздей. Все это губернатор делал машинально, думая только о словах, которые глубоко залегли в самую дорогую часть души.

— Я люблю сказки, я люблю песни...

Радость непонятная, неизвестно где и как родившаяся, наполнила жизнь молодостью, сделала ее легкой и значительной: словно ушла чудом болезнь и вместе с нею — все тяжелое и злое прошлое. Все думы были только о том, что у Сони будет ребенок, — новая жизнь, идущая в мир, — и ему, старику, ему одному доверена тайна.

— Одному! — иногда, сам себе, говорил он и ощущал горделивое чувство...

Каждый день, как только наступали сумерки, они сходились вместе — губернатор и Соня — и говорили. Шептали они, обнявшись, думы о ребенке, о том, что ничего не должна знать мама, что это только ему доверена великая тайна. Было, между прочим, с общего согласия решено: если родится мальчик, то нужно будет приложить все усилия, чтобы из него вышел профессор.

— Он будет, понимаешь ли ты, выходить на кафедру, — рассказывал, весь внутренно загораясь и разводя руками, губернатор, — и вот, сначала серьезный такой, ученый, умный, известный, обведет глазами аудиторию, попросит закрыть вентилятор и начнет: «Прошлый раз, милостивые государи, мы остановились...» А студенты сидят и карандашами чик-чик по тетрадям...

Соня тихонько смеялась, сидя на низеньком табурете и

не спуская с губернатора больших восхищенных глаз, и он, когда видел эти милые потемневшие сапфиры, замолкал, забывал, о чем говорить, и снова внутренно шептал одну и ту же фразу:

— Я люблю сказки, я люблю песни...

И приходила тогда грусть: на земле есть сказки, на земле есть песни... И были они известны человеку, у которого теперь слегка припухло лицо.

XXXIV

Как только из министерства пришла телеграмма, так сейчас же начались сборы в дорогу.

По сообщениям газет, всюду в России, а особенно на севере, стояли холода, и губернатору нужно было сшить шубу... Свирин, похудевший, побледневший, грустный,— его не брали с собой,— достал из каких-то кладовых старую серую шинель и предложил снять с нее мех, чтобы не покупать нового.

— Мех отличный! — говорил он, глядя на губернатора ясными, печальными глазами и выворачивал шубу наизнанку.— Мех пушистый. На Дунай когда-то его возили. Такая шубенция выйдет, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Табак мерами сыпал, чтобы проклятый моль не поел.

Приходил портной, одетый необыкновенно франтовато, с далеко высовывающимися из рукавов манжетами, с тусклым камнем в галстуке. Снимал он мерку почтительно, жеманно отставляя мизинец, а когда становился на колени, то от его намасленной головы, с полосками от гребешка, пахло хинной помадой. Шубу нужно было сшить скоро, и портной говорил, что этим удивить их ателье нельзя: заказы экстра исполняются в 24 часа. Вообще, портной любил такие слова, как ателье, экстра, фасон,— и это смешило губернатора.

Соня теперь стала совсем другою. Закинув руки за голову, подолгу сидела она у огня, спокойная, улыбающаяся, мечтающая. Лицо ее сделалось ясным, доверчивым, счастливым. Сначала она конфузилась, и когда губернатор входил в комнату, то щеки ее заливались алой, густой краской.

— Теперь любви уже нет...— мечтательно и облегченно говорила она.— Есть только страх какой-то... Большой та-

кой страх, колючий. Как будто у меня завязаны глаза. А нужно, понимаешь, идти по полю, и где-то недалеко, по дороге, есть огромный овраг...

Когда речь заходила о матери, Соня пугалась:

— Маме ничего не пиши,— просила она,— мама ничего не должна знать. Понимаешь? Перед мамой я виновата. Мама часто плакала по ночам, уговаривала меня не любить этого человека.

— Кто же он? Соня, Сонюшка! — спрашивал иногда губернатор.

Соня торопливо и испуганно зажимала ему рот.

— О нем никогда, понимаешь, что такое никогда? — говорила она.— Никогда, ни одного слова. Он умер. Кончено. А маме напишем, что ты заболел и мы поехали лечиться. Так ведь?

Губернатор молча кивал головой, полный непонятных предчувствий и радости,— радости, как медленный дым, поднимающийся из неизвестных, только теперь открывших ся уголков души. В комнате становилось темно: она делалась уютнее, меньше, загадочнее. Соня, прижимаясь близко к старику, говорила:

— А ты помнишь цыганку? Тогда на ярмарке? Догада лась она. Узнала все сразу, как только посмотрела. Опыт ная она, мудрая...

Соня замолкала и вдруг тревожно спрашивала:

— А ты на меня не сердишься? Я доставляю тебе много забот...

— Будет, Сонюшка, оставь! — успокаивал он ее...

— А как быть с ним? — после долгого молчания спрашивала она, вдруг вся выпрямляясь, и рождался тогда в ней материнский испуг, и напрягал все ее существо.

— Все устроится,— говорил губернатор,— все устроится. Ты ни о чем не думай. Дай мне эту радость... Я все устрою... Да, Сонюшка? Так? По рукам?

Соня закрывала глаза и долго, неудержимо, тихонько смеялась.

Ночи шли долгие, и жизнь шла, как листы книги: одна страница белая, другая — черная. Бульвар был сплошь белый и, глядя на него, казалось, что вдоль улицы на черных неровных колоннах насыпан длинный, чудом державшийся сугроб снега. Из дома исчез прежний порядок. Везде стояли лакированные желтые коробки, раскрытые че-

моданы. Что-то тесно укладывали, спешили, смеялись.

Был вечер. Губернатор потихоньку,— чтобы, сохрани бог, никто не услышал,— говорил Соне:

— Ты — мать! Пойми, ты — мать. Как смешно! Ты — мать.

Соня о чем-то долго думала, вглядываясь в него, сказала:

— А знаешь? В тебе есть что-то ласковое и милое...— И опять долго думала, будто не решаясь сказать, и наконец добавила: — И знаешь что?

Соня таинственно поглядела кругом, словно желая узнать, не подслушивает ли кто, и тихо, на ушко сказала:

— И поэтому я тебе готова сказать все, чего не скажу никому. Ну, спрашивай меня. О чем угодно спрашивай! Ты как-то хотел узнать, кто он? Да?

Губернатор отрицательно покачал головой:

— Я ничего не хочу знать! — ответил он.— Я знаю, что ты — мать. Я счастлив. Это счастье дала мне ты, и я за него благодарю. Вот и все.

Соня сразу насупилась, как обиженный ребенок, отвернулась и, наморщив брови, глядела в окно. За окном падал снег ровно и торопливо. Было видно, как он ложился на подоконник и походил на аккуратно развернутый и приглаженный, все более и более вырастающий кусок ваты.

— Ты чего? — встревожился губернатор.

— Ничего! — сердито и капризно ответила Соня.

Это было в ней отцовское, помещичье,— и губернатор усмехнулся.

— Но ведь ты же сама просила, чтобы никогда...— начал он; но Соня сердито топнула ногой и перебила его:

— Никогда! Просила! — гневно передразнила она и вдруг опять по-прежнему сделалась ласковой, милой и потянулась к нему.— Ты не чуткий! — упрекнула она и медленно, тихонько заговорила: — Ты не понимаешь, что мне иногда хочется же вспомнить, сказать вслух, какая тогда была весна, какое синее было небо, как потеплела вода в реке, как зацвели деревья... Мне хочется говорить, что у него были большие грустные глаза, как теплые звезды. У него были длинные гибкие пальцы, и все, к чему прикасался он, делалось изящным. Его стихи были звучны и запоминались. И когда он их читал, то казалось, что на старинной рояли играют чудесную вещь.

Соня мечтала: глаза ее потемнели, щеки зарумянились.

Она говорила о своей любви, о прошлом, говорила долго; старик сидел, слушал, молча гладил ее волосы. Шли часы, приходила ночь. Она устала, прислонилась, молчаливая, к его коленям. И в городе, и в доме было тихо. Среди больших, неосвещенных комнат они сидели только двое: Свирин спал где-то там, далеко, внизу.

— Спать хочешь? — спрашивал губернатор, гладя ее волосы.

— Хочу.

— Ну, иди.

— Иду. Прощай!

— Прощай!

Она поднялась, сонно пошатываясь, пошла к двери. Взявшись за ручку, остановилась, прогнала усталость, улыбнулась чему-то, провела ладонью по волосам, которые выбились из-под гладкой прически.

— Папа! — позвала она.

— Что?

Соня замялась. Не глядя, закрыв глаза, подала ему руку. Помедлила: как будто стыдно было сказать.

— Только теперь...— знаешь что?

Опять пауза, опять томление сна, лени, полной удовлетворенности и покоя.

— Теперь я совсем не люблю его! — словно проснувшись от грез, твердо выговорила она и взглянула на губернатора,— совсем... А прежде любила. Любила. Цыганка правду сказала. Глаза его — звезды небесные. Речи — мед сладкий. Смешная цыганка,— и Соня радостно засмеялась.

Какой-то другой человек,— не та Соня, которую знал губернатор, стояла теперь перед ним... Казалось, что на нее, вот сейчас смотрят неизвестно откуда появившиеся миллионы глаз, и радостью, и восторгом горят они. И от того тепла и счастья, которое сейчас исходит от нее, пропадет зима и явится весна, уйдет ночь и придет день, и глянет солнце, и покроются поля травами и цветами, зажужжат на приволье пчелы, и зелеными очами глянет в небо лес, и зашумит старую песню, и расскажет сказки птицам...

— Как сейчас вижу ее: ожерелье из монист, красная юбка,— говорила она.— Ребятишки. Сердитый Свирин. А у меня на душе большая, тоскливая болезнь: что-то будет? Что будет впереди? Закрою вот так глаза и вижу: ползет на меня слепое чудовище, жизнь с протянутыми лапами. Вот

задушит она меня, хрупнут кости, умру. Такая тоска... И хочется упасть на землю, на старую траву, и кричать, кричать... А теперь,— Соня сразу смолкла, улыбнулась и посмотрела на губернатора,— а теперь так хорошо, тепло, ясно... Теперь я совсем не люблю его...

— Ну, и слава богу! — говорил губернатор, целуя ее усталую, уже плохо владеющую собой руку.

— Да, слава богу,— опять твердо сказала она.— Теперь я люблю только тебя одного.

Соня замолчала, опустила голову. И было губернатору ясно, как будто открылись его глаза, и видит он ее душу, что прежняя любовь живет в ней, и никогда не уходила от нее, и не уйдет. Она стояла и забыла про все, и то торжеством блеснут ее глаза, когда она побеждает, то погашает туман лучи глаз, и опускается на грудь голова и, как у больной, падают бессильные руки, в голосе рождаются прерывающиеся ноты...

Стоит перед ней губернатор — темный, в штатском костюме, не видно лица его, и Соня не вспомнит его; она подняла голову, коротко и горько усмехнулась, укоризна была в ее мягком, тихом голосе:

— Глаза твои — звезды небесные. Речи твои — мед сладкий...

И опять, не вспомнив о губернаторе, тихонько усмехнулась, пошла к себе, и не заметны были ее медленные шаги.

XXXV

Сон не шел. Казалось, что в комнате душно: было трудно дышать. Губернатор отвернул лампочку под матерчатым абажуром. Все, исчезавшее в темноте, снова воскресло в мягких ночных очертаниях. Кругом было тихо, только полегоньку, суетливо тикали лежавшие на столе карманные часы. В зале пробило один раз: половина четвертого. Кружилась голова, во рту было горько и сухо. Губернатор закурил, оделся, достал теплую шинель и пошел в сад. Проходя ощупью по темным комнатам, он вспомнил, что его могут принять за привидение и усмехнулся. Чтобы отворить дверь, нужно было долго искать ключ, который вешали в углу, в неприметном для чужого человека месте. Темноватым, расплывшимся пятном был виден в окно двор.

Губернатор переживал странное, тревожное ощущение.

Для него было несомненно, что когда-то, давно, вот так же ощупью, с протянутыми в темноте руками, он шел по длинной, узкой, спускающейся вниз пещере. Нужно было что-то найти в ее глубине, достать,— и это было заманчиво и опасно. Темно, но света зажечь нельзя, потому что на черной, липкой земле, как канаты, жирными, чуть шевелящимися клубками, перевившись меж собой, лежат змеи и острыми, холодными глазками следят за тем, кто нарушает их сон и покой. Губернатор вздрогнул и зябко повел плечами.

Ключ висел на гвоздике около вешалки. Губернатор осторожно отворил дверь и вышел. Двор был начисто подметен, дорожки посыпаны песком. Покой, огромный покой чувствовался и на небе, и на земле. Светили звезды, в эту морозную, холодную ночь красивые, как весенние цветы. Люди спят в своих логовищах: кто посмотрит на них? На дворе смутно были видны очертания построек: сараев, конюшен, соседних домов. У кучера в комнате горела лампада. Проржала сквозь сон лошадь, вероятно Ахиллес.

Было хорошо в эту ясную, ночную, тихую пору скользить по хрустящему, словно от боли, снегу. Калитка в сад была заперта; не хотелось вынимать из теплого кармана руку, чтобы отворить ее. В саду, на клумбах, где летом росли цветы, теперь, как курганы, лежали сугробы снега, и весь сад почему-то напоминал собою кладбище, на котором спят мудрые, загадочные покойники. Деревья, как фантастические памятники, стояли прямыми, четкими рядами по направлению летних правильных аллей.

Вдруг послышались торопливые, тревожные шаги. Кто-то еще шел в сад, темный, большой, похожий на медведя.

Губернатор вгляделся и узнал Свирина.

— Кто это тут ходил? — вызывающе, враждебно еще издали спросил Свирин. Губернатор усмехнулся: Свирин, очевидно, решил, что залезли воры.

— Кто это? — совсем уже близко подступая, спрашивал он.

— Я,— ответил губернатор.

— Вы-ы? — изумленно протянул Свирин.— Зачем вы здесь?

— Заболела голова, вот и вышел пройтись...

Свирин подошел к нему — заспанный, потревоженный в неурочный час. Шубу второпях он надел прямо на белье и теперь то и дело запахивался.

— Ночь-то какая! — сказал губернатор.— Ясная, тихая...

— Ночь хорошая! — подтвердил Свирин.— Волки теперь из лесов выходят... Идут гуськом, вынюхивают... Мороз!

Долго стояли молча. И вдруг в тишине, где-то далеко, ударил колокол. Показалось, что в морозном, звучном воздухе кто-то тронул струну, мягкую и нежную. На большую боль и обиду кто-то пожаловался небу, звездам, замерзшей под снегом земле. Казалось, чья-то нежная душа просила солнечного света, тепла, лазоревых цветов, радостных песен о любви.

— Это где? — прислушавшись, спросил губернатор.

— В монастыре,— не сразу ответил Свирин,— больше неоткуда. Оттуда. По морозу-то как по воде, далеко идет. К заутрене. Зашевелились теперь монашки. Молодым-то спится, сны мирские лезут... А старухи кряхтят, согнулись, как старые ведьмы...

— Это, верно, новый колокол звонит, что осенью повесили,— вспомнил губернатор.

— Может, и новый,— неохотно согласился Свирин и после молчания добавил: — Кимвал бряцающий.

Прошло несколько минут. Ровно и далеко звонил новый колокол...

— Красиво, брат! — восхищенно сказал губернатор.— Этакой-то ночью, в этакой тишине... Как льется звук! Город спит, и кажется, что его караулит ангел.

— Не признаю ничего! — хмуро, низким басом сказал Свирин.

— Чего не признаешь? — спросил губернатор.

— А вот этого. Колоколов и прочее. Кимвалы бряцающие. Разве богу колокола нужны? Богу нужно поклоняться в духе и истине. Богу нужен дух сокрушен, сердце сокрушенно. Нужно, чтобы от тоски по боге человека к земле гнуло. Земля-то стонет. Земля-то вот черная, а разве она должна быть черною? Земля — светлая. От крови она черна. Кровью человеческой пропиталась. А кровь-то голосом к богу кричит и заглушает все молитвы людские. Нужно умилостивить землю. Целовать ее. Ходить по ней осторожненько, любовно, тогда простит, тогда посветлеет. Тогда будут слышны молитвы. Тогда бог полюбит людей.

Губернатор, полжизни проживший рядом со Свириным, удивлялся, откуда у него эти речи? Был веселый, здоровый мужик, который когда-то переплывал Дунай, который те-

перь смотрит за домом, рассказывает о драке парикмахера с персидско-подданным. Теперь же, в шубе, стоит иной человек, угрюмо слушает далекий колокольный звон, подолгу молчит и говорит, что богу нужен дух сокрушен и сердце сокрушенно.

— Много есть уже людей, знающих это,— говорил Свирин,— много! И вот, как покончим заботы земные, пойдем по ней, по матушке, необутыми ногами пойдем по дорогам, по полям, по опушкам лесным... Босичком пойдем, чтобы не бить ее, матушку-страдалицу. Умолим ее, упросим ее. Говорят, она, земля, неразумна. Дураки это говорят. Брось ты в нее семя розы, и она поймет, что розовые соки нужны, и даст благоухание свое, и атласную одежду, и цветы, как девичьи щеки... Вот она, земля-то! Пойдем по ней, пойдем... Много уже народу уверовало в это... Пойдут!

— Где же он, народ-то этот? — спросил губернатор.

— Где? — иронически спросил Свирин; поднимался в нем, видимо, самолюбивый задор.— Там вон,— и Свирин махнул рукою,— по железной дороге пойти, за кирпичными заводами. Человек тридцать есть... По-ойдут! Пойдут! Дай время.

Свирин взглянул на губернатора, и глаза его в зимней темноте осветились ясностью и лучистостью. Губернатор не знал, что сказать. Всматривался он в Свирина, как в нового, совершенно ему неизвестного человека, а Свирин стоял — большой, в тяжелой, длинной шубе,— под ноги ему, видимо, поддувало: он переминался и поеживался. Губернатору казалось, что начинает он видеть жизнь яснее и зорче, и страшно было, что вот он сделает неверный, ложный шаг, и отвергнет она опять от него лицо свое.

Звон лился все слышнее и слышнее, как будто монастырь стал ближе. На небе, на востоке, начали проступать еле намечающиеся, тревожные пятна рассвета. Скоро заблаговестили к заутрене и в городских церквах; звуки смешались и, казалось, рады были друг другу. Небо светило огнями, уже ослабевающими. Хлопнула на дворе какая-то дверь. Свирин посмотрел в ту сторону и тем же, не переменившимся, суровым тоном сказал:

— Ефрем встал. Всегда в четыре встает. И зимой, и летом. Постоянный человек.

Медленно пошли они в дом.

XXXVI

Выехали в ясный морозный день. Приехали до отхода поезда минут за двадцать; сидели в зале первого класса, у стола, на котором стояли искусственные пальмы. Тут же в мельхиоровом ведре стояла бутылка шампанского с золотым горлышком, с бандеролями, наклеенными крест-накрест.

Губернатор приказал откупорить вино. Должно быть, на станции его спрашивали мало, так как буфетчик вдруг покраснел, засуетился, долго выбирал салфетку и извинялся, что нет миндалю.

— Без миндалю обойдемся,— сказал губернатор.

Губернатор был в новом пальто, в черной шляпе и походил на помещика. Вино оказалось тепловатым, плохо закипало и только в бокалах, от дна к поверхности, заструилось белыми прыгающими искрами. Так как отъезд был неожиданный, то на вокзал явился только правитель канцелярии. Говорить не хотелось,— хотелось скорее идти к Соне, которой Свирин помогал устроиться в купе. Ударил колокол. Из двери показался начальник станции в форме и, подойдя к губернаторскому столу, сделал под козырек и сказал:

— Пора ехать, ваше пр-во!

Поднялись, пошли... Самым занятным было то, что из всех присутствующих никто не догадывался о правде. Знали ее только два человека. Хотелось почему-то подольше постоять на платформе, похрустеть снегом, поскользить резиновой подошвой по слегка намерзающему асфальту. В окно синего длинного вагона смотрела Соня. Лицо ее было необычайно, словно в нем прибавились новые черты: оно стало слегка суровым, будто на нем никогда не появлялась улыбка. После третьего сигнала поехали. В вагон вместе с губернатором вошел и Свирин: он провожал их до узловой станции, где была пересадка. Правитель махал фуражкой,— далеко была видна его лысая голова.

Вагоны двинулись необыкновенно мягко: было такое ощущение, будто бы поплыла земля. Когда усилился ход, внизу стало что-то мягко, как через плотную резину, постукивать. Пронеслись белые крыши маленьких пригородных домов, какие-то белые полянки, вывеска чугунолитейного завода на двух высоких столбах. Кладбище было прекрасно:

оно лежало на горе, и казалось, что кресты выросли на снегу, как знаки отошедших жизней.

В купе, облокотившись на стол, сидела Соня.

— Устроилась? — спросил губернатор.

— Устроилась,— ответила она.

Вагон был почти пуст: ехал только какой-то неизвестный архимандрит с дорожной сумочкой через плечо да кавказский князь, куривший длинную трубку.

— За счастьем? — спросил, улыбнувшись, губернатор.

— За счастьем,— не сразу отозвалась Соня.

Было радостно, что это понятно только им одним.

— Дал бы бог! — сказал губернатор.

— Дал бы! — повторила Соня.

Приходил ехавший в другом вагоне Свирин, просил, чтобы и его взяли с собою, и говорил, что он никому не помешает, будет очень полезен, и проезд берет на свой счет. Пошли гуськом кондуктора, и контролер, близоруко прищурив глаза, рассматривал картонные билетики и передавал их оберу для прощелкивания.

До узловой станции было 138 верст; приехали туда ночью. Ждать поезда нужно было пятьдесят минут. Пошли в зал — огромный, двухэтажный, очень светлый, с большими, под потолком, белыми электрическими фонарями. Сели в углу, около фотографической витрины. Пили чай, ели жаркое, которое подавали на слегка облезлых металлических тарелках. Захотелось выпить коньяку, крепкого, очищенного, из бутылки с пятью звездочками. Хотелось жить так, как живет выпущенный на каникулы юнкер. Хотелось побродить по вокзалу, между столиками, и губернатор, оставив Соню со Свириным, пошел, засунув руки в карманы. Что-то бодрое, радостное, неуяснимое поднималось в нем. Проходя мимо парикмахерской, он зашел и постригся. Простыня, которою его, как салфеткой, завесили, была, кажется, не из безукоризненных, и это было почему-то безразлично, и говорило о том, что он — молод, здоров, ничего не боится, никакая болезнь не прилипнет к нему, и было странно: зачем в его чемодан Свирин наложил каких-то пузырьков и длинных ржавых гвоздей?

С левой стороны горел газовый рожок с разбитым на боку колпачком, стояли никелированные инструменты, в зеркало была видна перспектива комнаты: широкая дверь, умывальник, вешалка с пальто. Сам парикмахер был удиви-

тельно похож на одного актера, который в прошлом сезоне играл салонных фатов. На простыню падали седоватые пряди, и губернатор взял одну из них: волосы были мягкие, как у мальчика лет девяти. Щелкали ножницы; парикмахер боролся, видимо, со сном, неестественно расширял глаза, оттопыривал нижнюю губу, когда приходилось стричь трудное место. Губернатор дал ему за труды рубль; он пришел в необыкновенное оживление и, видимо, жалел, что для такого неожиданно щедрого клиента не согнал с себя сна и не приложил к делу всего своего усердия.

Было приятно сознавать, что вот он бродит по вокзалу, заглядывает в третий класс, читает на стене объявление о Гаграх, видит напечатанное на плакате море, фасады длинных гостиниц, а Соня ждет его: он дорог ей и нужен,— а Броцкий сидит где-нибудь пьяный и слушает цыган, но песни не веселят его: зря прошла жизнь! Чтобы подольше насладиться этим сознанием, он внимательно через решетку рассматривал, как носильщики, передвигая на рычаге гирьку, перевешивают багаж.

Подошел Свирин.

— Поезд подан,— сказал он,— на первом пути. До отхода восемнадцать минут.

— Отлично! — похвалил губернатор.

Свирин помолчал, посмотрел на конторщика, который писал бланки, и опять начал просить, чтобы его взяли с собой. Губернатор отрицательно покачал головой и пошел.

— Я на свой счет поеду! — крикнул ему вслед Свирин.

Губернатор остановился и сказал:

— Не глупи! Не маленький!

Свирин съежился и покорно пошел. Соня сидела одна, утомленная, сонная.

— Вот почти шестьдесят лет живу на свете,— сказал губернатор,— а сегодня первый раз в жизни стригся в три часа ночи. Новости? А?

В зале было много новых, с южными поездами приехавших лиц: стучали, спешили, кричали на лакеев, а какой-то дьякон с церковнославянским акцентом говорил, что отбивные котлеты сделаны из прошлогоднего мяса. Вышли на платформу, прошли к своему поезду, осмотрели места.

Утро должно было наступить не скоро: часа через три с половиной. Где-то далеко ударило два звонка.

— Ну, поехали, значит,— сказал губернатор,— прощай,

Свирин! Оставайся с богом! За домом смотри хорошенько! За Сонюшкиной комнатой. Ну, ну! Не ерунди, Свирин! А еще солдат! А еще Дунай переходил!

— Дунай, Дунай переходил! — сквозь слезы проговорил Свирин.

Поехали. Было занято два купе рядом. Было удивительно хорошо самому раздеться и лечь на холодную, постепенно согревающуюся простыню.

Потушили в коридоре огни. Как-то само собой, незаметно закрылись глаза, представился опять Свирин и соборная гора, пронесся на каких-то странных крыльях зеленый, очень густой сад, смеялась какая-то незнакомая гимназистка. А когда открылись глаза, то окно было светлое: пришел рассвет. Часа через два, когда совсем уже ясно были видны снежные, безостановочно бегущие назад поля, постучала в дверь Соня. На большой станции принесли в купе кофе. Сливки на редкость были желтые и густые: таких не доставал даже Свирин.

XXXVII

Приехали в старинный город. Остановились в гостинице, в обед каждый день ели флотский борщ. Мебель в номерах стояла старая, в ящиках комода не было ни одного ключа; из окон виднелась длинная вывеска с выпуклыми буквами. Целый день вдвоем искали по городу квартиру,— небольшую: комнаты в четыре,— и нашли ее как раз на самом обрыве, с которого была видна широкая замерзшая река, а за ней — село с каменной помещичьей церковью посредине. Нужно было обставить квартиру: ходили по магазинам, покупали мебель.

— Вот бы когда нужен Свирин! — говаривал губернатор.

— Что? Уже надоело? — спрашивала Соня.

Домик был отдельный, с деревянными воротами. На воротах висел жестяной, сделанный черной краской, номер — 110.

Как за границей, так и здесь, радовало одно обстоятельство: совершенно не было знакомых лиц. Кланялись губернатору только те лавочники, у которых он покупал мебель и табак.

Наняли прислугу: горничную Феню, молоденькую девуш-

ку с говорком на «о». Кухни не заводили, обеды брали из офицерского клуба; приносил их постоянно один и тот же официант, называвший кушанья по-иностранному: консоме, салат «буланже», котлеты «демутон».

Комната Сони, как и дома, выходила в сад, который здесь спускался по оврагу. Комната губернатора была окнами на реку, и всегда, между двенадцатью и часом, в нее смотрело солнце. Губернатор часто думал, что замерзшая река похожа на длинный гроб с прозрачной крышкой.

Наезжал к ним доктор, полагавший, что Соня — жена губернатора. Так и решили говорить всем: Соня — его жена. Решили: пусть посмеиваются и говорят, что дед замуж внучку взял. Доктор приказывал много гулять, и гуляли. Ходили по незнакомому, старинному городу. В нем было много церквей, построенных еще до Иоанна Грозного. Подолгу рассматривали старинную живопись; была она с виду неуклюжая, но милая: у всех святых были огромные, теплые, грустные глаза. По субботам, когда на колокольнях начинали в пять часов звонить, они ходили ко всенощной и слушали певчих,— особенно губернатору нравился канон. Он покупал много свечей, всегда рубля на два, поэтому свечной староста питал к нему большое уважение: здоровался за руку и приглашал становиться за ящик. Чтобы избежать толпы и давки, они пользовались этим приглашением, и там, за ящиком, губернатор походил на старинного купца.

В царский день, когда в главном соборе с позолоченными главами служил архиерей, губернатор пошел туда: его потянуло посмотреть местное начальство. Архиерей был такой же, как Герман: старый, важный, медленный в движениях. Когда запели «Приидите поклонимся...» и его повели в алтарь поклониться богу, стало ясно, что литургия написана большим поэтом. В середине службы пришел местный губернатор, человек еще не старый и, видимо, умный: около него не суетились, не шныряли городовые, у приставов не было испуганных лиц. Губернатор был одет в придворный мундир и сиял золотом.

Дома целый день топили печи, потому что Соню теперь часто знобило; приезжал доктор и говорил, что это — пустяки, обычное явление.

— До весны,— ободрял он,— до весны потерпите. Весною все кончится.

— Когда вскроется река? — спрашивал губернатор.

— Эге! Когда вскроется река,— отвечал доктор.

Удивительно красиво внизу, на реке, день переходил в густые синие сумерки: этот момент очень любил губернатор.

Выписали из Петербурга и Москвы газет и радовались, когда приходил почтальон. Ходили в городской театр. Чтобы не возиться с платьями, брали литерную ложу с занавесками. Соня обыкновенно садилась в глубине ее.

Труппа в театре была небольшая, человек 27; скоро узнали всех актеров, так что не нужно было смотреть в афишку. Один актер, Петин-Орловский, игравший благородных отцов, был очень хорош. Любовник очень смешил: он носил какие-то удивительные галстуки в виде бабочки, в сильных местах выходил из себя, тогда вместо «только» говорил «тольки».

В антракте губернатор уходил наверх, в буфет, курить. Как-то он забыл спички в шубе и попросил закурить у старичка, который стоял с ним рядом. Заговорили о пьесе, о Петине-Орловском, на прощанье раскланялись. Повстречались и в следующий раз, а дня через три старичок неожиданно явился к губернатору на дом и предложил купить билеты на благотворительный вечер. В это время пили чай, пригласили и его. Фамилия старичка была — Яньшев. Яньшев в первый же вечер рассказал, что он много лет был старшим нотариусом, недавно овдовел и теперь один, как перст. За чаем он много говорил о городе, о старообрядцах, которых живет в нем очень много, о купце Егорыкине, о том, что у них, на главной улице, есть смешная вывеска: «Оптик вдовы Хмыриной».

— Захаживайте! — сказал ему на прощанье губернатор.

На третий день губернатор пошел на вечер,— все было так же, как дома: такие же тенора-любители, такие же киоски и розовое шампанское. С Яньшевым они выпили по бокалу, познакомились с продавщицей и заплатили по шести рублей.

XXXVIII

Медленно протекали зимние дни.

По обрыву был рассажен бульвар, и это напоминало дом, Свирина, прежнюю обстановку. Тропинка на бульваре была

протоптана узенькая, и, чтобы дать пройти встречному, приходилось залезать в сугроб.

Жизнь казалась удивительною.

Губернатор прислушивался, как хрустит снег, смотрел, как за рекой курятся дымы изб. Больше всего он любил небо, когда оно, как часть одежды божией, высыпало звездами. Было поразительно, что он до сих пор не замечал этого. Почему только перед смертью он взглянул туда? Почему только перед смертью он прислушался, как хрустит снег? Куда, на что ушла вся жизнь? Вспоминалась бесконечная вереница людей, которые пронеслись перед ним за долгие годы. Все это было далеко и не нужно. Нужным казалось одно: дожить до весны и посмотреть, как вскроется река; как затрещит лед, и вода, затомившаяся в гробу с прозрачной крышкой, оживет, начнет впитывать в себя тепло лучей, и это будет казаться весенним, земным крещением солнца.

По мере того как приближалось время родов, все больше росла уверенность, что жить придется еще много. Нужно выходить ребенка, нужно дождаться его улыбки, его первых слов — это давало силы и ослабляло болезнь. Соня и ее ребенок казались ему тем чудом, которое даст воскресение и жизнь. И когда он верил в это чудо, тогда трудным становилось дышать: он уходил в свою комнату, запирался и, глядя на реку, тихонько плакал. Всегда он просыпался часа в четыре и слушал, как за рекой звонили к утрене. Казалось ему, что он понимал эти звучные, длинные речи, — как будто открылся новый слух. Тогда становилось понятным, как нужно человеку жить от 30 до 40 лет, там — до 45 и дальше. Вспоминались в это время рассказы Свирина о земле и казались такими же далекими, как сказки. Он чувствовал, как в ночной тишине, в этом домике, стоящем на обрыве, зреет, подобно зерну, новая жизнь. И было смешно, что Соня когда-то могла думать, что жизнь — слепое чудовище с протянутыми лапами. Хотелось ночью пробраться к ней и так, чтобы она не слышала, тихонько поцеловать ее в лоб.

Соня изменилась. Лицо ее носило следы усталости, на лбу появились коричневые налеты, потускнела красота.

Губернатор видел это и говорил:

— Всегда бывает так. Женщина в это время некрасива, но, родивши, расцветает с силой удивительной.

Прежде Соня мало, только по вечерам, говорила о ребенке; теперь же, когда привыкла, перестала молчать и рас-

сказывала о приготовлениях, о шитье, о покупках. Свет лампы, прикрытой абажуром, сглаживал недостатки лица, и она, всю силу любви и страдания перенесшая в материнство, была обвеяна обаянием новым. И когда Соня говорила о ребенке, губернатору казалось, что перед ним раскрывается боговдохновенная книга.

В газетах он читал, что в его губернии творилось неладное: какой-то городской пристав обвиняется в разбое,— и было странно, что это его мало занимает. Губернатор вспоминал этого пристава: была у него красивая черная борода и на руках много колец с зелеными камнями.

Приходил Янышев: садились играть в шахматы; долго и тепло тянулся тогда вечер.

— Я этот дом хорошо знаю! — говорил Янышев.— В нем квартировал податной инспектор Рошко. Вид отсюда весной отличный: лед пойдет, пароходы побегут, рамы выставлять нужно будет. С горы все видно.

И опять было ясно, что самое серьезное после Сони,— это пароходы и река.

Вероятно, таким же оно представлялось и Янышеву, но он скрывает свои мысли и молчит.

— А потом все исчезнет. Все утихнет. Умрем мы, старики! — и Янышев добавлял: — Я написал на листе бумаги все дни недели и бросил на него горошинку. Вышел — вторник. Значит, умру во вторник. Нарисовал циферблат часов и тоже бросил горошинку. Вышла цифра четыре. Не знаю только: утра или вечера. И теперь в четыре утра просыпаюсь в страхе: жив ли? И до рассвета уж не сплю. Прямо беда,— нет сна! Слушаю, как звонят за рекой. Звон слушаю.

— Звон? — спросил губернатор.

— Ну да, звон,— ответил Янышев,— как за рекой звонят к заутрене.

Губернатор ничего не сказал ему, только улыбнулся; с этого вечера он почувствовал к старику большую симпатию и думал, как бы переманить его к себе на юг.

Однажды снег шел очень долго, подряд дней шесть. Навалило кругом сугробы до самых окон. Губернатор поехал на базар, купил там две лопаты. Лопаты были широкие, чистые, легкие. После обеда он принялся за работу, откидывать снег; это было удивительно легко и приятно, но забилось сердце, пришлось перестать. Когда за лопату взялся рабочий, губернатор стоял и завидовал.

— Не под силу? — спросила Соня.

— Не под силу! — ответил он.

— Какая я стала страшная! — говорила Соня, подходя к зеркалу.

— Все беременные женщины дурнеют,— повторял губернатор и улыбался.

Иногда губернатор говорил:

— Странно изменилась моя жизнь. То был губернатором, а то вот покупаю лопаты.

Случился с ним раз припадок; приезжал доктор. Было очень трудно; казалось, что вот-вот сейчас порвется внутри какая-то ленточка и тогда придет смерть. Соня долго и мучительно плакала, как-то странно сжималось ее лицо, напоминала она собой другую, очень знакомую женщину, но какую,— трудно было вспомнить. Когда ему стало лучше, то уже другими слезами блеснули ее глаза, она прижалась к нему и сказала:

— Как я боялась за тебя! Как я любила тебя!

Приходила акушерка — старая седая еврейка. У нее был мягкий, певучий голос, большие грустные глаза. Она сказала Соне:

— Ну-с, милая бариня! Скоро ми вас на золотое кресло посадим.

«Милая бариня»,— это было смешно, и губернатор дня три называл ее так.

— А что мы с ребенком делать будем? — опять, все чаще и чаще, спрашивала Соня, и в глазах ее загорался, как пожар, испуг.

— Все устроится! — говорил губернатор.— Что бог ни делает, все — к лучшему.

Губернатору очень хотелось, чтобы ребенок был похож не на Соню, а на отца: тогда будет видно, кого Соня любила.

XXXIX

Пришла весна; посинела река. Потом, словно по ней ударили большой тяжелой ногой, начала она трескаться и вздыматься кверху. Опять откуда-то, словно приманутые потеплевшим солнцем, появились белые нарядные облака и поплыли, нежась в воздухе.

Однажды в доме началась суетня. Появились сразу док-

тор и старая еврейка. Не было чего-то, не хватало, и еврейка бегала, выпятив живот, и сердито говорила:

— Ну, дом! Ну, порядки!

Раза два она торопливо куда-то ездила, привозила покупки. Доктор сидел в гостиной и читал какую-то измятую газету. Из ресторана принесли ему обед, и он брезгливо ел его, а когда пил водку, то долго, на свет, вытирал рюмку. Приходила к нему с запиской женщина и на дворе ждала ответа. Доктор, не развязывая салфетки, приоткрыл дверь и так же, как с акушеркой, сердито разговаривал:

— Ну, и мало ли что просят! — говорил он: — Ну, и не могу же я разорваться на сорок четыре части! Ну, и пусть себе поедут к Жарковичу. Все равно же он баклуши бьет.

У губернатора на сердце лежала большая забота: пришло время, и вот вскрывается река, и рожает Соня, и было в этом что-то общее и знаменательное. И, стоя у окна, он шептал:

— Отстрадай, милая! Отстрадай, отстрадай!..

Был у него в это время странный обман слуха: казалось ему, что все время звонят, — звонят радостно и призывно, как в первый светлый день.

Начались стоны, ужасные, звериные. Не было сил оставаться в комнатах. Губернатор вышел на улицу, дошел до трамвая, поехал и, когда кончилась станция, вышел около какого-то неизвестного монастыря. Пошел вдоль его высокой, старинной стены. Земля была мягкая, отпечатывала следы. Навстречу попался монах, уже старый, с седою головою. Губернатор невольно остановился, потому что глаза у монаха были насмешливые и, казалось, видели далеко. Остановился и монах. Долго стояли они и, испытывая, смотрели друг на друга.

— Чем же ты, почтенный, встревожен так? — насмешливо и ласково, и мягко спросил монах, и глаза его прищурились.

— Не хочу сказать тебе этого! — ответил губернатор.

— Не хочешь? — спросил монах, и глаза его еще больше прищурились, как будто смотрели они на яркий свет.

— Скоро вечер, — вместо ответа сказал губернатор.

— Скоро вечер, — повторил монах, — правда твоя.

Монах долго думал, странно шевелились его брови, и сказал он:

— А похож ты на купца, который только что сию мину-

ту узнал, что он разорился. И из богатства впадает в бедность. Только это пустяки.

Губернатор молчал.

— Это пустяки,— говорил монах, вдруг положил ему руку на плечо и сказал: — гавали́м гавали́м ге́ле гавали́м...

— Что это значит? — спросил губернатор.

Монах ответил:

— Это по-еврейски. По-древнееврейски.

И звериные, стоявшие в ушах крики, и кондуктор трамвая, и далекие, чуть прищуренные глаза, и еврейские слова,— все это было в каком-то тумане, сизом и густом. Потом все прошло; наступил вечер, покрытый святым небом. Трамваи высекали из проволоки острые цветные искры. Губурнатор шел по какому-то узенькому, выбитому тротуарчику и потихоньку сам себе говорил:

— Отстрадай в последний раз. И дана тебе будет радость — великая, нездешняя. Отстрадай!

Прохожие слышали человека, разговаривающего с самим собою, видели, что этот человек не пьян, и удивлялись. Проходил он мимо здания, окна которого были освещены. Наверху, у балкона, сходилось много проволок; губернатор вспомнил, что это телеграф, и обрадовался: нужно было зайти и телеграфировать Свирину.

Лампа на столе стояла справа, и поэтому, когда губернатор писал, то тень от пера падала так, что заслоняла буквы, и строчки выходили не по пунктиру, а по середине, между пунктиром. Он написал Свирину, что скоро с Соней приедут домой, чтобы все было приготовлено, чтобы вытерли от пыли Сонины книги.

И опять пошел по темным низеньким улицам и долго стоял около какой-то чайной, помещавшейся в подвале, откуда доносилось задумчивое пение: «Подруги милые». Когда почувствовалась усталость, зашел он в какой-то ресторан и спросил себе рыбной солянки, которую подавал ему официант в белой рубахе и со штопором на поясе. Опять вышел на улицу. Вечер переходил в весеннюю ночь. Оттуда, где была река, подувало короткими налетами холодка.

Пришел на бульвар. От лестницы, зигзагами спускающейся к пристаням, был виден его дом. В крайнем окне была почему-то не притворена одна ставня. Окно освещалось изнутри светом, прикрытым абажуром. Поэтому верхние

стекла были темны, нижние — ярки и четко выделяли переплеты рамы.

— Что происходит там? — промелькнула мысль, и не было ответа.

В том месте тела, где жила болезнь, особенно начинало щемить, и так, что приходилось просовывать руку за пазуху и холодной ладонью прикасаться к левой части груди. Холодок шел через кости, через тело и давал успокоение. Было слышно, как неровно, скачками бьется сердце, словно испуганное. Губернатор долго смотрел на небо. Никого кругом не было. Сами собой родились медленные, задумчивые слова.

— Если бы там был ты! Я старый, больной упал бы перед тобой! Я бы ел эту мерзлую землю и просил бы тебя! Ты знал бы, о чем я просил тебя! Ты без слов это знал бы! И неужели же ты ударил бы тогда меня ногой своей? Где ты? Где лицо твое, скажи? Куда упасть мне? Зачем ты, если ты существуешь, отвратил лицо свое от меня? Зачем ты лишил меня духа святого своего?

И, словно в ответ, что-то острое, похожее на железные щипцы, схватило сердце губернатора. Захватило от боли дух, остановились глаза, вырос страх. Пока не было еще поздно, он упал на колени и, одной рукой схватившись за грудь, другой, делая какие-то останавливающие звуки, прохрипел:

— Этого не надо! Потерпи, подожди!

И наклонил голову, словно ожидал ответа.

Длинной серебряной дугой прокатилась по небу упавшая звезда. Светлое окно в доме погасло. Кто-то там взял лампу и быстро понес ее в глубину комнат.

Отошла понемногу боль. Поднялся губернатор, прислонился к какому-то столбу, вытер пот с лица. Прошла мимо молодая компания. Можно было расслышать слова:

— Такую лодку я вам за двадцать семь рублей доставлю! С письменным ручательством. Ей-богу! Убей меня цыган трубкой, а цыганка молотком.

Утихли шаги, смолкли голоса. И опять нельзя было сдержать слова:

— Она будет прекрасна,— говорил губернатор,— груди нальются молоком, глаза — материнской лаской. День и ночь она будет думать о ребенке, о новом рабе твоем. Разве тебе не угодна будет ее мольба о нем?.. Она все забудет. Она

будет свята, как мать твоя. Тридцать три года была же мать у тебя! Любил же ты ее? Ведь любил? Разве теперь ты забыл ее волосы? Разве теперь ты не слышишь шелеста ее одежд? Ты же был человеком, так взгляни же сюда, яви себя...

За рекой ударили в колокол. Губернатор пошел к дому. Шуба у него расстегнулась, часы выпали и болтались на цепочке. Прежде чем позвонить, он прислушался. Все было тихо. Дом походил на прочие дома. Нельзя было подумать, что в нем в болезни и скорби рождается человек. Оглянулся губернатор на реку,— там, как черная, одинокая утка, осторожно плыл маленький контрольный пароход. Губернатор позвонил, но никто не шел открыть ему двери.

— Ночь,— подумал он.

Пришлось, спустя долгое время, позвонить еще раз.

XL

Потом началась новая, необыкновенная жизнь.

В гробовой лавке на Еропкинской улице были гробы то очень дешевые, то очень дорогие. Дешевые не подходили: они были неструганые, колючие. Дорогие были нелепые: обиты золотом, осыпающейся мишурой, и руке было неприятно скользить по ней. Губернатор, покупая гроб, пробовал его рукой. В углу стоял большой дубовый гроб с выпуклыми боками, тяжелый и важный. Гробовщик сказал:

— Для генерала товар-с.

Не было прекрасного гроба, достойного Сони, и хотелось плакать от этого. Если заказать,— все равно не поймут и не сделают.

— Не поймете и не сделаете,— говорил губернатор.

Гробовщик был в недоумении.

— Позвольте-с,— возражал он, разводя руками,— Вы сперва сказать извольте-с, в чем дело. А там мы, может быть, и поймем-с. И сделаем-с все, как следует быть-с.

— Нет, нет,— говорил губернатор и отмахивался от него рукою.

Был один гроб, голубоватый. Его купил губернатор и велел отвезти на квартиру. Сам он бывал дома мало: все ходил по улицам, светлым, просыхающим. Не хотелось смотреть на женщину, которая лежала под образами, у которой

было черное лицо и огромный, вздувшийся живот. На квартире распоряжался Янышев; он оказался старичком очень дельным и хлопотливым. Он знал, в котором часу нужно служить панихиду, откуда достать для кадила углей, как зовут батюшку. Янышев ездил на кладбище, которое было где-то внизу, нанимал каменщиков делать склеп, и говорил, что каменщики попались замечательные, и что камень они поставят замечательный.

— Что же делать? — говорил Янышев.— Ничего поделать нельзя,— и добавил задумчиво: — в субботу скончалась, а?

Панихиды служили долго. Особенно хороши были панихиды вечерние, которые обыкновенно назначались в шесть часов, но начинались несколько позже, когда уже темнело. Приходил батюшка, уже не такой ясный, как днем, седой, с большими выцветшими бровями, и говорил губернатору:

— Не скорбите, господин.

Губернатор удивлялся.

— Я не скорблю,— отвечал он.

У Сони по-новому закрылся рот: плотно, властно.

После вечерней панихиды священники шли в столовую, долго пили чай, и Янышев разговаривал с ними о городских делах. В столовой было светло, звенела чайная посуда; в ту комнату, где лежала Соня, были прикрыты все двери. Там горела только одна свеча на маленьком потускневшем ставнике, который принесли из церкви.

Хоронили Соню в понедельник. Сначала понесли ее в церковь, к обедне. Янышев нанял хор; пение вышло торжественное, и казалось, что какого-то человека венчают на царство. До кладбища пришлось идти долго. На солнце блестела спина священника, одетого в золотую полосатую парчу. День был весенний, тихий, прозрачный. Соню несли на руках, на полотенцах. Рядом с губернатором шел Янышев. Пришли к могиле. Тут стояли каменщики в серых рубахах и фартуках. Каменщики были те самые, про которых Янышев говорил, что они — замечательные. Посмотрел губернатор на Соню в последний раз и поцеловал ее крепко, зажмуривши глаза. Ему показалось, что кто-то крикнул тоненьким голосом. Он вздрогнул, мелькнула мысль: «А что, если жив неродившийся ребенок?»

И губернатор покосился на вздувшийся живот.

Закрыли Соню крышкой. Осторожно и точно прибили ее

маленькими, блестящими гвоздиками и, скользя по черной, взрытой земле, опустили гроб в широко раскрытую яму. Священники первые бросили на Соню землю.

Поехали домой. Там принесли телеграмму от Свирина:

— Все исполнено. Ярнова привезли в тюрьму.

В соседней комнате Янышев вел расчет с рабочими.

XLI

Домой губернатор поехал во вторник на страстной неделе. Ехал он один, в маленьком купе; на каждой станции покупал газеты, но оставлял их неразвернутыми или читал только вверху, об условиях подписки. Неслись навстречу, как и прежде, поля, и он подолгу смотрел то на них, то на маленький, с лестницей внизу столик, то на зеркало, вставленное в двери.

Иногда начинало болеть левое плечо: он выходил в коридорчик и через широкое, толстое стекло, заделанное внизу тремя ярко вычищенными медными прутьями, смотрел по другую сторону поезда. Где-то вблизи слышалась мерная, басистая речь:

— Когда я вояжировал по загранице, со мной случился конфликт...

И опять он уходил в свое купе, садился посередине дивана, нагибался, складывал меж колен руки и думал... Думал он о городе, в который скоро, через полутора суток, приедет; думал об улице, идущей вверх, о бульваре, о большом доме с четырьмя гипсовыми женщинами, поддерживающими балкон. Мысленно бродил он по этому городу, останавливался перед знакомыми домами, входил в них, в их гостиные, убранные с аляповатой провинциальной роскошью, садился в кресла и смотрел на хозяев, радостных и заранее учитывающих то обстоятельство, что к ним пришел губернатор. Потом мысль его перебрасывалась к угрюмому, тоскливому, длинному дому, который стоял на краю города, на площади, за губернским акцизным управлением. Дом был двухэтажный, но казался почему-то маленьким, приплюснутым к земле, и никогда нельзя было подумать, что в нем под красной, почти плоской крышей, за маленькими решетчатыми окнами живут люди. И опять приходила странная мысль, что за этими решетками сосредоточилось все зло, которое он

сделал. Мысль эта теперь была еще выпуклее и ярче, потому что теперь в этом доме, рядом с людьми, одетыми во все серое, сидит Ярнов.

— Ярнов — плохой человек: его надо в тюрьму,— думал губернатор,— а я — хороший.

Он тихонько смеялся, когда вспоминал, что вот пройдет еще ночь, и Свирин будет держать на руках полотенце во время умывания, снова будет давать ему зеленые порошки и насыпать в ванну длинные ржавые гвозди. Нельзя было представить себе, как вернется он в свой дом. Теперь ему казалось, что в нем холодно, как в леднике.

Когда свечерело и на станциях уже горели огни, тогда неожиданно пришли думы — радостные, как мечты. Думы эти были о том, что хорошо бы совершить какое-нибудь преступление, за которое жандармы, щелкающие на платформе шпорами, вдруг обозлились бы, схватили его, вытащили из купе и отправили бы в тюрьму; там он упросил бы, чтобы его посадили с Ярновым, дали бы ему вместо пиджака толстую старую куртку, кормили бы щами из прокисшей капусты, и никто не заикался бы о зеленоватых порошках. И потом по всем камерам и коридорам пронеслась бы весть, что вот и губернатора посадили в тюрьму.

Мысль о физическом страдании, которое даст новую жизнь, которое будет молитвой, дума о плохой комнате с асфальтовым сырым полом, о соломе вместо кровати, о черством хлебе не уходила от губернатора и была радостной; а когда он осматривался в своем маленьком бархатном купе, то оно казалось ему нудной, зудящей грязью, которую, как можно скорее, надо отмыть от своего тела. И еще тогда казалось, что поезд идет необыкновенно медленно, как на волах, и дороге — конца не будет.

Он рисовал себе картины, как придут его арестовывать: придет, вероятно, Клейн и не посмеет взглянуть в глаза; придет, может быть, прокурор,— заберут его, и полетят телеграммы в министерство, в газеты; вечером заговорят о нем в Москве, в Петербурге, а там расползется весть по России, дойдет до царя,— и все будут говорить о нем, о губернаторе, как о плохом человеке; потом будут его судить, сошлют в Сибирь, и там, где-нибудь по дороге, от какого-нибудь толчка придет смерть. Эти думы давали острую до слез радость,— и губернатор опять выходил в коридор.

Была уже ночь, но басистый человек все говорил; от ти-

шины голос его казался похожим почему-то на штопор, который все время куда-то вворачивают.

— Ехал я по Австрии,— рассказывал он,— в троицын день. И, понимаете, у каждого начальника станции, как у нашего статского генерала по ведомству императрицы Марии, замшевые штаны, т. е. не замшевые, а белые, похожие на замшу. А около самой Вены встречаю человека. Сидит, понимаете, этот человек в вагоне, смотрит, как истукан, в одну точку и вдруг говорит этак, вздохнув: «О, господи боже мой!» Так по-русски и говорит. Вижу — соотечественник. Разговорились — эмигрант. И хочется, видимо, душу ему отвести, и побаивается он меня, и твердит только одно: «Ох, трудно быть русским,— говорит,— человеком. Трудно. Очень,— говорит,— трудно и мучительно!» Вот ты и поди... Приезжаю в Вену, а в Вене, понимаете, фонарные столбы перевиты цветами, и фонтан такой, что версты, кажется, на полторы вверх, понимаете, чешет.

«Что же сделать? — под монотонный голос рассказчика думал, стоя у окна, губернатор.— Что же сделать?» — И вдруг, когда подъезжали к маленькому подслеповатому полустанку, понял, понял — и так громко засмеялся, что голос в соседнем купе замолк, и какой-то человек, в дорожной ермолке, вылез оттуда и посмотрел сначала на губернатора, а потом в окно: что, мол, там на полустанке такого смешного? Ничего не разобрал, удивился и снова повел рассказ, немного потише обыкновенного.

Губернатор снова слушал и думал о том, что и этот человек, рассказывающий об Австрии, будет, может быть, слушать о нем, и осуждать, и удивляться... Целую ночь, до утра, не мог уснуть губернатор и видел, как синело окно, чувствовал, как в купе, к свету, стало холоднее. Когда приехали на узловую станцию, он опять пошел на вокзал и побродил между столиками, посмотрел карточки в фотографической витрине, объявление о Гаграх; заглянул в парикмахерскую: знакомый парикмахер сидел у окна и озабоченно правил на ремне бритву. Так как был день, двенадцать с половиной часов, то все казалось иным, чем тогда.

Губернатор ходил и рассматривал людей, которым предстоит скоро удивиться. Купец давил в чаю лимон; буфетчик расставлял в шкафу папиросы; гимназист ел рыбу; какой-то человек в валенках спал, положив голову на чемодан. Губернатор посмотрел на валенки и вспомнил, что теперь уже

весна: железнодорожные служащие ходили по платформе без пальто. Прошло несколько минут,— купец выпил чай, гимназист съел рыбу, буфетчик покончил с папиросами, человек в валенках спросонку потер себе нос. И было странно думать: скоро они удивятся.

— Удивятся! — сам себе сказал вслух губернатор.

Поезда для пересадки пришлось ждать часа два. И опять было маленькое купе, зеркало, вделанное в дверь, и лесенка под столом, и опять он сидел посередине дивана и радостно думал о близости города, о встрече со Свириным.

— А что скажет Свирин? — вспомнилось вдруг.

Народу в поезде почти не было, кондуктора не суетились, и когда губернатор долго не мог найти билетов, терпеливо ждали. Когда в прозрачном вечернем воздухе показались огни города, то так забилось сердце, что не хватило сил подняться к окну. Казалось, что над городом в разных направлениях повесили несколько рядов бус, и по тому, как четко и ясно определялись они, было ясно, что там весна, тепло, земля мягка, ей надоел снег. Остановился поезд, вбежал носильщик забирать вещи и сказал:

— Восемьдесят третий.

И когда вслед за ним губернатор вышел на платформу и торопливо, нагнувши голову, чтобы не узнали, прошел на другую сторону вокзала, то услышал, что в городе, в церквах, звонили. Было темно и, только привыкнув, можно было разобрать, где стоят извозчики. Пофыркивали лошади.

— Чего это звонят? — спросил губернатор.— Уже ведь поздно, часов семь...

— Сегодня страсти, барин. Читают страсти,— ответил носильщик.

Он разместил в фаэтоне багаж, какую-то корзину долго прилаживал у ног извозчика, о чем-то разговаривал с ним, поднимая голову. Лошади тронули осторожно, боясь наткнуться в темноте, обогнули круглый цветник, выехали на шоссе, и сейчас увереннее застучали о камень копыта, поехали к городу, в котором печально звонили.

И опять чувствовалось тепло, мягкая, начинающая согреваться земля; было уютно, тихо, и огни на горе казались живыми. Было радостно сознание, что теперь в церквах читают и слушают писание о том, как прославился Сын человеческий. Губернатор думал, что он сейчас сделает,— и слышал, как бьется его сердце. Удары его были неровны, напо-

минали они плохой маятник: в одну сторону качнется больше, в другую — меньше. Хотелось куда-то спешить, и оттого казалось, что лошади идут тихо.

— У тебя лошади-то подкованы? — спросил губернатор.

— А как же? — ответил извозчик.— Разве на неподкованных далеко уедешь? А ехать куда прикажете? — спросил он.

— Вверх! — сказал губернатор.

Проехали площадь, и опять потянулась знакомая улица с бульваром, магазинами, фонарями. Фонари эти, смотря по расстоянию, бросали от пролетки то черные, то жидкие, то длинные, то короткие тени. И опять приехал он в свой дом, и опять в приемную прибежал радостный Свирин и удивился, что губернатор не пошел наверх, в приготовленные и натопленные комнаты, а шепотом, не глядя ему в глаза, говорил, торопясь и дрожащими пальцами перебирая пуговицы пальто:

— Ну, здравствуй, здравствуй: одевайся да скорее поедем...

— Куда поедем-то? — спрашивал Свирин и вглядывался губернатору в лицо, которое показалось ему необычайным, как-то странно, суховато заострившимся и беспокойным.

— В тюрьму поедем,— отвечал губернатор, и словно боялся, что Свирин откажется и не поедет в тюрьму.

— Зачем в тюрьму-то?

— Дело есть, не разговаривай. Не разговаривай! А раз говорю: в тюрьму,— нечего зря слов терять. Бери шапку, да и дело с концом... А то извозчик-то стоит, ждет.

— Да вы бы наверх зашли... Переоделись бы...— говорил Свирин.

— Оставь, не глупи,— шепотом, недовольно сморщившись, отвечал губернатор,— бери шапку, да и дело с концом.

— А барышня где же?

— Барышня? Барышня в Германию к матери уехала.

— В Германию?

— В Германию.

Свирин побежал одеваться. Губернатор остался в приемной один; хотелось ему покурить, но не было папирос. Не было и чиновника, у которого можно бы попросить. И опять вспомнилось, что завтра — великая пятница: будет воспоминание о том, как умер Христос и сказал в последний раз «Или, Или, лима савахвани».

Пришел Свирин; вышли на улицу, сели рядом в фаэтон и опять поехали вверх. Губернатор оглянулся на свой дом; был он темный, большой; блестели от фонарей зеркальные окна: вот зал, вот кабинет, вот балкон, вот Сонина комната.

На улицах уже затихало движение; небо местами было освещено, и яркие огни горели только в типографии. Когда выехали из центра, стало еще темней, и как будто посвежел ветер. Направо, далеко за городом, поднимался полумесяц,— и опять, как ковры, бежали за фаэтоном тени то сбоку, то под ногами у лошадей. По улицам тянулись уже маленькие, приземистые домики, горели керосиновые, широкие вверху фонари. А когда губернатор оглядывался назад, то видел, что над городом висит какое-то матовое пятно, похожее на фосфорическое.

— Чего же в тюрьму-то? — спрашивал Свирин, поворачиваясь к губернатору. Он видел, что губернатор — светел и радостен, и сам заражался этим чувством. И хотелось скорее узнать, что случилось, и была даже досада на губернатора за молчание.

— Чего в тюрьму? — переспросил губернатор.— Чего в тюрьму? А вот догадайся-ка...— губернатор, улыбаясь, помолчал и потом сказал: — Арестантов, брат, освобождать едем.

— Как освобождать? — изумился Свирин, и глаза его расширились.

— Очень просто,— ответил губернатор,— вот приедем и выпустим.

— Всех?

— Всех.

— И тех, кто на казнь?

— И тех, кто на казнь.

— Да что же это такое? — недоумевал Свирин, и какие-то особенные ноты зазвучали в его голосе.— Указ, что ли, к пасхе вышел?

— Указ, конечно,— ответил губернатор,— вышел указ, чтобы к пасхе, к воскресению Христову, к весне всех простить, всех до единого человека. По всей России.

Свирин долго думал, смотрел на губернатора и потом, странно покачиваясь от толчков экипажа, сказал:

— Правды много в этом. И что я вам на это скажу: самые лютые разбойники заплачут, потом увидят — правда.

Подъехали к тюрьме, к воротам, около которых стояли

полосатые будки и ходили два солдата с ружьями. Ворота были, как в старинных монастырях, коротким, сводчатым коридором. Первым вылез из фаэтона Свирин и обежал сзади него, чтобы помочь губернатору. Губернатор вышел, стал на землю и почувствовал, как она мягка и покорна. После долгой дороги ему хотелось расправить заплывшие кости так, чтобы они хрустнули. Почувствовалась усталость; он закрыл глаза, и как-то сразу представился весь путь: станция, поля, рельсы, сторожевые будки, на которые он смотрел по ночам, когда не было сна, и голова горела, как в огне. Было кругом тихо и темно; чувствовалась в этой темноте широкая и пустынная площадь, а вдали, над городом, маячила по-прежнему фосфорическая полоса.

— В тюрьму теперь нельзи! — сухо и недружелюбно сказал солдат, подходя, и стало видно его круглое, белеющее лицо. — Нельзи теперь, — повторил он.

— Нельзи? — задорно, с тайными, торжествующими нотами в голосе передразнил его Свирин. — Рязань несчастная!

За воротами послышался шорох, звон ключей, щелканье замка; отворилась маленькая калитка, вырезанная в середине, высунулся какой-то человек и тоже враждебно спросил, поднимая фонарь:

— Что за люди? Ково вам надо?

Фонарь поворачивался в его руках, скользили по земле широкие четырехугольные пятна, падая на какой-то палисадник, на колеса фаэтона, на ноги лошадей.

— Начальника нам надо! — гордо и повелительно сказал Свирин: — Поди доложь, что, мол, его превосходительство господин начальник губернии пожаловал и разговор с ним иметь желает.

— Начальник губернии? — переспросил сторож, и в голосе его скользнуло сначала недоверие, а потом и опасение: а может, и в самом деле...

— Ну да, сто раз тебе повторять, что ли? — торжественно ответил Свирин.

Он уже чувствовал, какая суматоха пойдет через час, как заскрипят ворота, как удивятся солдаты, какие разговоры пойдут в этой тишине, как оживится далекий город, как по его улицам пойдут новые люди, как их будут сначала бояться, а потом поймут...

Сторож запахнул шубу, заторопился.

— Пойду, скажу... В церкви небось... Страсти идут..

Ушел и фонаря с собой не взял. Свечка в фонаре была маленькая, затекшая, и огонек ее, словно привязанный, болтался на закоптевшей нитке и, казалось, хотел прыгнуть вверх...

Губернатор, как будто впервые, видел и этот фонарь, каждое стекло которого было заделано крест-накрест проволокой, и ворота, тяжелые, с толстыми перекладинами, и засовы, огромные, железные,— и какие-то радостные предчувствия все больше и больше входили ему в душу. Он верил, что Соня не умерла, что она теперь незримо следит за ним и видит его любовь к ней. Было ясно, что когда через эти ворота приведут его самого в тюрьму, тогда начнется в его жизни самое удивительное время. Становилось немного жаль Свирина: пойдет он по земле, по лугам, по лесам — замучается.

«А может, не бросит меня»,— подумал губернатор, и очень хотел спросить Свирина: «Бросишь ли ты меня?» И когда вглядывался в сухую солдатскую фигуру, не умеющую стоять спокойно, то тихонько шептал самому себе:

— Не бросит...— И хотелось обнять его и поцеловать.

Торопливо из темноты явился вместе со сторожем взволнованный начальник и, освещаемый сбоку высоко поднятым фонарем, сделав под козырек, держа локоть на уровне плеча, говорил:

— Честь имею, ваше пр-во!

От освещения правая сторона его лица была светлая, а левая — темная, и едва виднелся глаз и кончик уса. По каменной настилке пошли по двору. Было видно, как освещался вверху купол тюремной церкви. Пришли во второй этаж, в контору. От конторы длинный коридор, какие бывают в больших учебных заведениях, вел к церкви. Через все стеклянные двери виднелся сплошной туман и расплывающиеся в нем пятна свечей. Слышно было пение. Большой мужской хор с преобладающими басами истово и медленно выводил:

— Слава страстям твоим, господи! — И бесконечными переливами повторял еще раз: — Го-о-о-осподи! — и было ясно, что басы не поспевают за тенорами.

Начальник торопливо, поглядывая под абажур, звеня стеклом, зажигал лампу; руки его тряслись, и спички почему-то то и дело гасли. Когда огонь разгорелся, стал

виден на стене портрет государя, два конторских каких-то, около задней стены ящика, перевязанные веревкой. Губернатор сел за стол. Глаза у него блестели: он избегал смотреть на начальника, который стоял перед ним, держа руки по швам.

Губернатор хотел заговорить, не давало покоя сердце, билось оно как-то странно: казалось, что кто-то снаружи стучит по груди маленьким молоточком, вроде тех, какие бывают у докторов. Было еще ощущение, будто идет сейчас экзамен, и начальник — экзаменатор. Свирин стоял в углу, смотрел куда-то вдаль, на окно, и, видимо, затаил дыхание.

Наконец губернатор хотел начать; но в церкви опять запели «Слава...», и он подождал, пока все стихнет. Все время вертелась еще мысль: а вдруг начальник не послушается?

— Вот что,— вдруг сказал он и не узнал своего голоса, был он какой-то звонкий, переламывающийся.— Вот что. Вышел приказ: немедленно в эту ночь освободить всех узников... Выпустить на волю всю тюрьму.

Начальник глубоко и смешно моргнул.

— Понимаете? — повторил губернатор.— Всю тюрьму... сегодня... Подите и объявите сейчас, что все — свободны. Понимаете?

Начальник опять моргнул и залепетал:

— Служба идет, ваше пр-во... страсти...

— Прервите службу...

— Как же так, ваше пр-во,— лепетал начальник,— такая неожиданность...

— Ну, это не наше с вами дело рассуждать о неожиданности,— сухо прервал его губернатор,— как так, почему не этак? Нам приказывают, и мы не рассуждаем.

— Ваше пр-во! — долго подумав, опять залепетал начальник.— У меня жена, дети... Ваше пр-во...

— Ну что ж, что у вас жена, дети? — приподнял голос губернатор.— Кто вас назначал? Я? И приказывает вам кто теперь? Я? Так чем же вы рискуете?

— Письменный приказ надо, ваше пр-во...

— Ах, так вы мне не верите? Завтра вам будет прислан письменный приказ.

— Надо сейчас, ваше пр-во...— пролепетал начальник, и как будто чего-то недоговорил.

— Что? — крикнул губернатор, ударил рукой по столу и почувствовал, что в грудь ударили уже не молоточком, а

чем-то тяжелым и острым. Сразу во рту появилось ощущение какой-то горечи, которую нельзя выплюнуть и нужно глотать. От этого кружилась голова и в висках стучало... Как-то криво, одним боком, он приподнялся, и странным, огромным криком вылетели слова:

— Мне, губернатору, нет уже веры? Моего слова мало? Я тебе должен давать отчет? Я? Губернатор?

И вдруг не хватило сил стоять, какие-то зеленые круги завертелись, как колеса, перед глазами; опять как-то криво, одним боком, губернатор опустился на стул и сжимал зубы, чтобы не крикнуть от боли.

— Давай бумагу,— тихо сказал он,— напишу приказ...

Начальник бросился куда-то в сторону и скоро заговорил над самым ухом:

— Вот бумага.

— Перо давай!

— Вот перо...

И скоро опять осторожно послышался его робкий голос:

— В чернила нужно перо обмакнуть, ваше пр-во... Так не пишет...

Что-то шуршало под локтем, пальцы сжимали какую-то скользкую палочку,— круги вертелись теперь в другую сторону, примешивался стыд, что он не видит бумаги и не может написать несколько простых слов.

— Выпейте воды, успокойтесь,— говорил Свирин. И нельзя было разобрать, с какой стороны он стоит.— Черт бы вас взял совсем!.. Губернатору такие слова говорить, а?

И кто-то лепетал над самым ухом о прощении, но губернатор стучал ногами по полу и глухо говорил:

— Не-ет, не-ет! — и чувствовал, что буква «т» выговаривается с трудом, и нужно как-то особенно, с каким-то усилием прижимать язык к нёбу.

Вода проливалась и текла за воротник, чувствовался острый, живой холодок, пробирающийся все дальше и дальше по телу. Было щекотно и приятно... Откуда-то послышался голос Ярнова,— нельзя было разобрать, что он говорил, но, конечно, спрашивал о Соне: о чем же он еще может спрашивать? И губернатор, опять ощущая, как трудно оторвать язык от нёба, когда подходит буква «т», говорил и чувствовал, что получается неразборчиво:

— Она в Альбано... поехала в Альбано... к матери... я

дам тебе адрес... это два часа от Рима... по Аппиевой дороге...

Ноги сами собой стучали по полу; был какой-то странный озноб, похожий на лихорадку; слышалось пение, в котором басы не могли поспеть за тенорами; и вдруг стало ясно, что кто-то, выждав момент, как бритвой скользнул у него внутри по какой-то ленточке,— и на всю контору, на весь коридор крикнул он от ужасной боли, и глаза его, широко раскрывшиеся и ужаснувшиеся, остановились на круглом язычке лампы. И сейчас же боль от пореза пропала: загорелось перед глазами широкое, идущее вверх, синее пламя, похожее на неопалимую купину. Он ясно представлял себе, что опускается куда-то вниз, как будто на пол, тянет за собой какие-то бумаги, кто-то подходит к нему и быстро ощупывает в том месте, где у него пришит боковой карман,— и делается смешно: уж не хотят ли его обокрасть?

Открылись глаза, и тогда только он понял, что перед ним — огромный зеленый луг, и стоит на нем много людей, которые все кланяются в ту сторону, где расположена станция Кривая. Потом пришла Соня, в круглой соломенной шляпе с фиалками, в белом платье,— и все эти люди перестали кланяться и начали слушать старого профессора, который взобрался на высокую, окованную железными обручами бочку. Профессор звонким голосом что-то говорил. Было ясно, что Свирин, тоже стоящий в толпе, не верит его словам. Потом солнце начало мигать, как плохое электричество, потом совсем погасло, стало темно, и послышалось какое-то пение.

XLII

После панихид чиновники очень долго не расходились из губернаторского дома: все они потихоньку, на цыпочках подходили к покойнику, с любопытством, с боязнью рассматривали его лицо и говорили друг другу:

— Вечером он иной, чем днем.

Было странно смотреть на человека, про которого рассказывали, что перед смертью он сошел с ума. Лежал он, как лежат вообще все, под образами, и у каждого, кто смотрел на него, являлась мысль: где же, в чем отразилось сумасшествие? И все взглядывали на лоб. Там, за костяной

крышкой, выпуклой над глазами, что-то случилось: являлось острое желание постучать по ней пальцем.

Управляющий Балабан, у которого вторую неделю болели зубы, волновался больше всех и, держась рукою за щеку, говорил:

— Ну, скажи ж ты на милость! А?

Губернатор лежал, одетый в генеральский мундир, на котором было два ряда золотых пуговиц, и имел строгий вид По бокам гроба, на бархатных подушках, обшитых витым шнуром, лежали ордена: эмалевые крестики, широкие в концах, с мечами, орлами, бриллиантами, и звезды, перевитые разноцветными лентами.

И только ночью, часов около трех, когда замолкал со своими псалмами лысый, тонкоголосый монах, присланный с архиерейского подворья,— только тогда, откуда-то из глубины дома, показывался осторожно, как вор, Свирин. Убедившись, что в зале никого нет, он тихонько подходил к гробу. Сначала он осматривал, нет ли какого беспорядка,— и то поправлял губернатору волосы, как-то странно после смерти сразу отросшие, то сдувал с мундира какую-то пыль, отворачивал к ногам парчу. Потом близко наклонялся к его лицу, гладил рукою по щеке, ложился головой к нему на грудь, словно прислушиваясь, что там делается, потом шептал ему на ухо:

— Дорогой ты мой, дорогой! Родной ты мой, родной! А как мы с тобой Дунай-то переходили, а? Дунай-то... А?

В последнюю ночь перед похоронами, когда он шептал эти слова, вдруг что-то случилось. Свирин вздрогнул и, выпрямившись, прислушался. Потом сразу все понял,— улыбаясь, подошел к окну и начал отворять его. Была уже весна: рама набухла, прилипла к косяку, и нужно было усилие, чтобы оттолкнуть ее. Ровно, далеко звонил одинокий, ранний колокол.

— Слышишь? — выждав в молчании минуты две, громким, торжественным шепотом спрашивал Свирин.— Слышишь?

И особая теплота, и счастье рождались в нем оттого, что он называл покойника на ты.

Службы на страстной неделе и так длинные, акафист страстям, например, пришлось читать, стоя все время на коленях, а тут еще нужно было до первого дня похоронить губернатора. Герман выбивался из сил и пил верное

средство против утомления: боржом с сантуринским вином. Перед отпеванием он получил от одного синодского столоначальника телеграмму о том, что к пасхе его пожаловали орденом Александра Невского. Так как губернатор был мертв, то выходило, что теперь самую высшую награду в губернии имеет архиепископ. Это несколько подняло дух Германа, и он, выбрав время между заупокойными ирмосами, стал у изголовья гроба и, держа в руках жезл, сказал поучение на слова апостола Павла, выбранные из послания: «Ходите достойно звания вашего...» И в голосе архиепископа, когда он взглядывал на покойника, прорывались иногда укоризненные нотки.

Ванькина молитва

Рассказ

I

Ванька, мужчина восьми лет, уже минут десять как проснулся. В былые времена, так недели три тому назад, он сейчас бы соскочил с широкой материнской кровати, проскочил одной ногой на крыльцо, умылся, натянул бы штанишки и в мгновение ока очутился бы за воротами, где в это время уже начиналась обычная жизнь пригородья: проходило стадо, запоздавшее благодаря вечному пьянству пастуха Сиволдая, малого без одного уха и без царя в голове, как отзывались о нем его доверители; бабка Кириллиха уже второй раз ругалась со своей невесткой из-за невымытых сковородок или по поводу другого, подобного же случая; показывался, отправляясь на нищенство в город, бывший звонарь кафедрального собора, Никифор, лохматый, похожий на домового старик. Борода у него была длинная и всклокоченная, и ребят пугали, говоря, что в ней водятся мыши.

Мальчишки, которых в пригороде было так же много, как мух в летний день, приступали к исполнению своих обязанностей. Они, в почтительном расстоянии от Никифора, становились в ряд, прикладывали трубой руки ко рту и орали что есть мочи:

— Сороко-умов! Сороко-умов!

Никифор, которому, по каким-то таинственным причинам, эта фамилия была ножом в сердце, шел вперед, откинув свою суму на плечо, и терпел, долго терпел, но так как, по законам природы, всякому терпению, даже ожесточенному, положен предел,— то старый звонарь вдруг срывался с места, схватывал комок земли, камень или что первое попадется в руки,— и летел как оглашенный за ребятами. А те рассыпались как горох.

— Ах вы подлецы, прохвосты, погибели на вас, окаян-

ных, нету-ти!..— кричал Никифор, разыскивая ребят.— Я вам покажу Сорокоумова! Не вам, чертям, так отцу вашему, матери! Стекла в домах повышибу! Эй, кто там? Слы-ышишь? Скажите вашим выродкам, чтоб не сметь мне этого слышать! Слышите, анафемы? Не сметь мне этого слышать!

Обыкновенно все жители пригородья расходились уже по делам: бабье — на базар, мужики — на огороды; оставались одни ребята да старуха Кириллиха, но та сама была глухая, да и к тому же всегда занималась своим собственным делом: ругалась с беременной невесткой. И стоял Сорокоумов один на дороге, никем не услышанный, с каким-нибудь опасным орудием метания в руке, ожесточенный, озлобленный, с пьяными, воспаленными глазами, и ждал, не покажется ли откуда-нибудь, из-за забора или из-за дерева, какая-нибудь сорвиголова. Но головы были осторожны, и только разве откуда-нибудь, откуда звонарь меньше всего ожидает врага, вдруг потянется тоненький, ехидный голосок:

— Сороко-умов!

Сорокоумов опять срывался с места и летал по улице, как раненый лев. Он начинал ругаться, обещал сказать об этом полицмейстеру, что так дальше жить нельзя, потом решал, что говорить об этом полицмейстеру мало, да он, немец, и не поймет,— а нужно будет самому поймать какого-нибудь негодяя и повесить его на первой осине или умолить бога, чтобы это проклятое предместье с его оглоедами огородниками провалилось к чертовой матери... Но потом ему начинало казаться, что и этого мало, когда давным-давно нужно бы провалиться в тартарары и самому городу, в котором нет ни одного порядочного подбора колоколов — и такие звонари, как он, Никифор, должны оставаться не у дел. Ребята давно, уже два раза, выкупались и уже обсудили половину плана, как сделать набег на тутовник; Кириллиха уже напилась чаю и ругает невестку, что вода в самоваре была недокипяченая и что, вследствие этого, у ней теперь живот будет два дня болеть,— а Сорокоумов все стоит и клянет свою судьбу, плачет горючими слезами, дает торжественные клятвы бросить проклятую отраву, как он именует водку, говорит, что ему нужно только приодеться и поехать в Москву, где все колокола с серебром,— и тогда ему, Никифору Тимофеевичу, цены нет. Наконец, он медленно поднимается по пыльной заезженной дороге в гору, на которой стоит город, и видно, как его согнутая, оборванная

фигура с мешком назади тянется к вокзалу и как он кланяется прохожим, протягивая руку.

Сорокоумов — это великолепный пример, что в предместье жилось весело. Кроме того, умный человек всегда, только была бы охота, находил себе там массу других, не менее великолепных удовольствий. Например, бывалые люди, вроде Афоньки Головастика, уверяли, что стоит подняться на гору в город, и самые обыкновенные яблоки, которые здесь можно видеть за любым забором и которые, так сказать, сами просятся в руки,— в городе стоят десять копеек за фунт, и едят их там, поэтому только такие господа, которые для простого смертного, все равно что солнце для букашки. А в предместье будь только предприимчив, не выбирай заборов с гвоздями, которые вредны для штанов, знай, где живет хозяин, у которого ружье не заряжено горохом или просом,— и карманы будут трещать от добра, за которое в городе нужно платить гривенник. И если бы у человечества не было таких мест в теле, которые для проса или гороха, выпаленного из ружья, все равно что масло для каши,— на свете жилось бы еще легче, ибо даже недосягаемые сады грузина Кикнадзе сделались бы доступными царю природы.

II

Сегодня Ванька лежал в постели, один в хате, так как мать его еще в три часа утра ушла в город торговать зеленью и молоком,— и обсуждал все то, что ему до сих пор пришлось пережить и что предстоит в будущем. Вышла такая оказия: оказалось, что ему, Ваньке, нужно зарабатывать деньги и, что еще страннее,— что он может зарабатывать их, те самые медные, круглые пятаки и трехкопеечники, которые мать всегда приносила с базара и считала своими мозолистыми, заскорузлыми пальцами, причем, рассматривая иную монету на свет, говорила, неодобрительно качая головой:

— Ишь ты! Всучили! Совсем стертая!

Он, Ванька, может зарабатывать их, и не только может, но выходит такая оказия, что и должен, ибо всякий порядочный единственный сын, раз он уже вырос, должен кормить свою старуху мать, которой пришла пора бросить жи-

тейские дела и заняться спасением души. Это, конечно, такое положение, против которого Ванька особых возражений не имеет, но все-таки он был очень удивлен, когда в прошлую середу, лишь только он сел есть постный борщ, мать ему сказала об этом и добавила, что уже хлопочет об определении его на службу в трактир «Город Кострома», где служил его, Ванькин, покойный отец.

Ванька, откинув ногой ситцевое, из разноцветных лоскутков одеяло, лежит на постели, смотрит в потолок, закинув руки за спинку кровати, и соображает, много ли ему нужно денег для поддержания жизни своей и материной. «Старуха,— думает он о последней,— съест немного, потому что корова — своя, молоко, следовательно, свое и этот расход из головы вон; но все-таки, как ни крутись, копеек на двадцать в месяц сожрет. Сам на пятиалтынный слопаешь»,— думает Ванька, морща лоб.

— А мне еще новые штаны надо всякий год! — вслух решает он и поворачивается к окну, подпирая рукой задумавшуюся голову.— А где их возьмешь?

Потом Ванька вспоминает, что штаны можно устроить из оставшейся после отца хурды-мурды, и вопрос принимает грозные размеры, если подумать, что каждый человек, зарабатывающий деньги, должен носить сапоги. Дальше — больше, и оказалось, что на свете есть такая масса всяких непредвиденных расходов, каких и на бумагу не запишешь. Например, такие пустяки, как стричься и бриться.

— Все деньги надо! — решает Ванька со вздохом, пожимая плечами.— А откуда их, чертей, добудешь?

Его отец был пьяница и служил в «Городе Костроме» номерным, и когда его жалели, что он умер от водки, то говорили:

— Золотой был человек!

И Ванька помнит, как этот золотой человек, с колючим небритым подбородком, с какими-то странными осовелыми глазами, брал его, еще совсем маленького мальчишку, под мышки, высоко, до самого потолка поднимал и говорил:

— Эх, ты мой наследник!

Или, научив Ваньку пойти к матери с папиросой в зубах, говорил, закатываясь мелким смехом, когда та начинала ругаться:

— Это не Ванька, а мешок с мармеладом!

А когда Ванька садился к нему верхом на колени и ехал, как казак за Дунай, то отец рассказывал ему:

— Вырастешь — грамоте тебя выучу! В школу тебя отдам! Нотам тебя выучу! Бас у тебя будет! И поступим, братец ты мой, вместе с тобою в архиерейский хор. У меня, брат, замечательнейший тенор! Зам-мечательнейший! Сам архиерей хвалит, когда пою... Вон в том соборе пою,— видишь, на горе высокая колокольня стоит? Там пою... Только хозяин, сволочь,— не каждый праздник пускает... А церковь там, брат, аграмадная!

И отец делал страшное лицо.

— Аграмадная! И иконы там... Бриллиантовейшие! Архиерей послушает и скажет: «А кто это такой поет?» Ему ответят: «А это, ваше преосвященство, Корольковы, отец и сын». «Вот голоса! — скажет архиерей.— Дать им десятку на водку!» А регент скажет: «У них, ваше преосвященство, и дед, и прадед голосистые были. Бывало, деда на конюшню ведут драть, а дед как запоет песню,— барин нюнить начнет да и скажет: «Бросьте его, подлеца, пусть поет!»

Отец рассказывал хорошо и занятно, век бы слушал, ехать было так удобно, но приходила мать, сердитая, ворчливая, вырывала у него Ваньку и говорила:

— Налопался, азиатец проклятый? Все спустил, чтобы тебе к вечеру издохнуть!

И презрительно добавляла:

— Тенор!

Ваньке было всегда жаль отца, который, покачиваясь, начинал шарить у себя в карманах и ничего не находил, потом откуда-то, из-за подкладки, вынимал что-то круглое, неровными шагами подступал к матери, совал ей что-то в руку и с усмешкой говорил:

— На тебе! Не сердись! Купи себе лихорадку! Под-дависъ! Б-баба!

Потом, в самую осень, когда по реке пошел лед, умер отец. Этот человек, который пел тенором в архиерейской церкви, лежал на столе, покрытый золотым одеялом, и лицо его было повязано платком, будто у него болели зубы. По Ванькиным справкам оказалось, что это было сделано для того, чтобы рот не расходился. Потом отца положили в красивый ящик, который очень приятно было трогать рукой и из которого могла бы выйти великолепная голубиная будка,— и зарыли в землю.

Теперь Ванька понимает, что сделали с отцом. А тогда он был дурак, ничего не знал, ел крыжовник и спрашивал, зачем спрятали хорошего тенора в яму. При воспоминании об этом глаза Ваньки, повернутые к окну, медленно наполняются крупными, теплыми слезами, ему до боли становится жаль того небритого, колючего человека, который величал его мешком с мармеладом,— и он шепчет:

— Эх, дурак ты, что умер. Дурак! Вместе бы пели! Водку бы я не пил, все деньги отдавал бы тебе: черт с тобой, пропивал бы и мои!..

После отца начались скучные дни. Мать плакала, никого родных не было, и один Ванька утешал ее и говорил, что папа вылезет из ямы, когда належится,— надоест! А так как отец из ямы не вылезал, а денег не было, то матери пришлось каждый день ходить в город и продавать там молоко и зеленый лук. А в прошлую середу она пришла и, когда сели за постный борщ, сказала:

— Ну, Ванюшка, нашла тебе место... Вот сошью тебе рубашки и отведу.

— Какое место? — спросил Ванька.

— А в трактире, где отец твой служил. У Панфил Иваныча. Будешь вилки чистить, за бубликами для гостей бегать. Два рубля в месяц!

— Это туда? в город? — спросил Ванька, кивнув в том направлении головой.

— Туда, деточка, туда...

Ванька опять принялся за борщ и стал что-то внимательно обдумывать:

— Ты вот что,— сказал он наконец, облизывая ложку,— ты сходи в ту церкву, где архиерей служит, и спроси, не нужно ли вам, мол, баса. Есть, мол, бас. Отец его пел у вас тенором, но умер. А бас, скажи, хоро-оший! Все деды его пели хорошо!

III

Ванька полежал еще немного, потянулся, согнал с себя лень и босыми ногами, ощущая на горячих подошвах холодок пола, вышел на крыльцо.

Было раннее, прохладное утро. Вдали, на горе, сияя на солнце крестами колоколен и белыми домами, стоял город.

Там жили люди, которые имеют возможность платить по гривеннику за фунт яблок. Там будет жить и он, Ванька. Но, конечно, уж он не будет тратить гривенников на пустяки. Он купит что-нибудь хорошее, полезное, например лошадь. Будет ездить на ней в поле, до Надеждинской церкви, и на свежем воздухе — петь.

— Под-дай, господи!..— пробасил Ванька, как дьячок в церкви, чтоб прочистить голос, и затем, управляя обеими руками, спел еще сербское:

— Теб-бе, господи!

Спел так, как учил его отец.

На пение прибежал верный Ванькин пес, который носил странное имя: Кисель. Это был здоровый дворняга, лохматый, с обвислой шерстью и с хвостом всегда в репьях. По мнению своего хозяина, Кисель был самый умный пес во всей улице. Он был стар и никогда не лаял без дела. Все соседские собаки приходили к нему учиться, как нужно жить на белом свете. И покойник отец неоднократно говаривал, что если бы Киселя послать в Москву на выставку, то ему за ум дали бы медаль и Кисель был бы похож на старосту.

Ванька сел на порог, Кисель, по своему обыкновению, сейчас же уселся около него, глядя ему прямо в глаза и распустив хвост метлой. Хозяин почесал у него за ушами и повел такую речь:

— Ну, Кисель, сегодня я, брат, тово... Вон, поверни морду... Видишь? Уйду... Вон туда... В город... Уйду... Прощай, брат.

Ванька погладил его по голове, а Кисель, в благодарность за ласку, вытянул морду и лизнул Ваньку по носу. Тот утерся рукавом и продолжал:

— Ты тут без меня не дури! Знай, что я — человек строгий и шуток не люблю. Если мать скажет что, выдеру, брат, тебя как сидорову козу. То-то... Собак маленьких не обижай зря. Тебе-то старому хрену, и самому это знать нужно.

Кисель изловчился и цапнул зубами муху, которая уселась у него на носу и за которой он давно уже следил глазами.

Яиц в сарае — боже тебя упаси! Я знаю, ты повадился за последнее время к курам лазить. Смо-отри! — И Ванька пригрозил Киселю пальцем.— Бо-оже тебя упаси! Ну,

в воскресенье слопай пару, черт с тобой, а больше ни-ни! Не выводи меня из терпения.

Кисель сделал невинные глаза и, словно не ему говорят, поставил хвост трубой.

— Будешь вести себя хорошо,— продолжал Ванька,— будку тебе с замочком устрою, с окошечком. Будешь себе на старости лет сидеть, на двор поглядывать,— как там дождик идет. Другие собаки в голоде да в холоде, а ты у меня как паша. Да-а!

Потом Ванька вспомнил вдруг про себя, что ему придется бросить все: и дом, и мать, и Киселя, и Сорокоумова,— и ему стало грустно.

— Приходи, брат, меня проведывать! — меланхолически сказал он, обняв Киселя за шею и прислонившись к нему головой.— Почаще приходи... Я тебя сахаром покормлю. В чужие, брат, люди иду... Может, меня бить будут... Придешь, поговорим,— все свой человек. На душе и полегчает. Вам, собакам, добро: денег зарабатывать не надо, а нам надо. Вам хорошо. Стрельнут тебя по боку камнем,— у тебя как с гуся вода. А меня ударь — шишка в три аршина вырастет.

Долго разговаривал он с Киселем, потом встал и начал умываться, сам поливая себе на руку. И пыль, на которую падала вода, сейчас же покрывалась коричневыми пятнами. Было еще рано, и тень от предметов падала черная и густая. Но день обещал быть жарким, и в городе, вероятно, будет пыль. С крыльца было видно, как внизу, на огородах, сверкали на солнце пруды и колосился камыш.

Ванька, в ожидании матери, походил по двору, посмотрел, не вывели ли индюшки индюшат, попробовал за стропило крышу сарая и спустился в погреб. Погреб был вырыт в земле, и в нем всегда было холодно. Там пахло солеными огурцами, укропом и еще чем-то, дававшим, в общей сложности, приятный запах. На полочках, у стены, стояли кувшины с молоком, приготовленные к завтрашнему базару. В другое время Ванька не выдержал бы и серьезно ознакомился бы со всеми вкусными вещами, но теперь, вспомнив, что все это — деньги, которые нужно зарабатывать, повернулся от искушения, глубоко вздохнул и полез вон из погреба. У выхода, заглядывая вниз, стоял Кисель и махал хвостом.

IV

Пришла с базара мать, и Ванька начал ставить самовар. Было часов восемь: солнце уже вышло за чаплыгинский дом. Ванька наставил на самовар трубу и следил, как дым, иногда смешиваясь с огнем, валил в печку, и ему казалось, что так должны дышать черти в аду.

С матерью его делалось что-то странное. Высокая и бледная, с преждевременными морщинами на лице, теперь она казалась еще серьезнее, чем обыкновенно, и губы ее как-то странно подергивались... Став на колена перед сундуком, она щелкнула замком, издавшим музыкальные звуки, подняла крышку, оклеенную изнутри картинками из модных журналов, и начала доставать оттуда Ванькино добро.

— Вот, Ванюша, это твои рубашечки...— говорила она.— Береги: надевай по праздникам. Вот — поясок. Делать заставлять что будут, надевай фартучек. Береги.

Ванька терпеть не мог подобных наставлений. Такие слова, по его глубочайшему убеждению, можно было говорить только девчонкам. Он вообще презирал женский пол и отлично знал, что и сегодня, например, при расставании, мать не удержится от нежных сцен, и это заранее щемило его душу. «Эх, если бы отец был жив,— думал он,— тот только и сказал бы: «Ну, Ванька, молодцом будь!..» А это... лучше бы в трактире два раза взбутетенили!» — И он подкладывал в самовар угли.

— Хозяина, Ванюша, слушайся; почитай,— говорила мать,— буфетчика, Исай Исаича. Они люди хорошие и... добра тебе желают... Услуживай им. Будь ласковым. Ласковая телка двух маток сосет.

Наговорившись вдосталь, она постлала на стол чистую скатерть, вынула половинку давно хранившегося лимона, и они, вдвоем в последний раз, сели пить чай. Ванька на прощанье позволил себе огромную роскошь, именно: пил чай внакладку. С наслаждением, зажмурив глаза, он тянул с блюдечка сладкую жидкость и, забыв о трактире, думал, что если бы бог привел ему сделаться царем, то он целый день пил бы чай внакладку, причем клал бы в стакан не один кусок сахара, а пять. Целый день он ел бы мороженое, и непременно костяной ложечкой, которую так удобно переворачивать во рту и облизывать со всех сторон. Сам бы он ел сливочное, а подданных кормил бы шоколадным. Другу

своему, Гараське, положил бы жалованья сто миллионов в месяц, и ежедневно купался бы с ним в речке, в золотой купальне, и непременно с яичным мылом. Матери своей сделал бы дом в три комнаты, с большой печкой, чтобы греть кости, и велел бы кормить ее манной кашей, так как у нее на старости лет все зубы выпали бы и ей нечем было бы жевать другую пищу, например морковь. Составил бы себе хор, исключительно из басов, такой хор, что всем архиереям оставалось бы только одно: умереть от зависти. Регента выписал бы такого высокого, что, когда он замахает руками, видела бы вся церковь и удивлялась, как у человека могут быть такие длинные руки.

— Слушай, мамка,— обратился он к матери,— скажи, пожалуйста,— что, есть такие люди на свете, чтоб руки сто верст были?

Мать засмеялась, и на глазах у нее, совершенно не к месту показались плохо скрываемые слезинки.

— Нету, милый Ванюшка, таких нету.

— Отчего же нету? — удивился Ванька и добавил с очень серьезным лицом:— Это вещь хорошая.

Ванька опять размечтался и, забыв про свою солидность, начал болтать под столом ногами. Щеки у него зарумянились, и плохо причесанные, только два раза стриженные от роду вихры на голове имели крайне легкомысленный вид. Он сопел, тянул с блюдечка, причмокивал, улыбался своим мыслям и не замечал, что мать, глядя на него, все качает головой, глаза ее все чего-то краснеют и чай, видимо, не идет ей в глотку.

Сквозь отворенное окно было видно, какая тишь и прохлада стояла на дворе. Деревья, недавно омытые дождем, сияли точно отлакированной зеленью своих листьев, а яблони имели такой вид, будто их окутали простынями. Во всем пространстве не раздавалось ни звука. Сорокоумов ушел в город; Кириллиха, вероятно, пила чай, и рот, следовательно, у ней был занят; ребята плескались или в прудах, или на реке. И ясно послышалось, как сверху вниз, из города понеслись удары соборного колокола, то очень слышные, то относимые ветерком в сторону, тянувшиеся в пригородье, как длинные, волнистые веревки.

— Раз, два, три...— начал считать Ванька, прислушиваясь, и насчитал девять ударов.

— Девять часов,— сказал он.

И сейчас же, но уже другим колоколом, в соборе зазвонили к обедне.

— Ну, Ванюшка, заблаговестили...— сказала мать, поднимаясь из-за стола.— Давай с тобой помолимся богу, зажжем лампадочку... и в путь... Миленький, дорогой сыночек мой! — вдруг почему-то прошептала она и мимоходом поцеловала его в легкомысленные вихры. Необычайно долго возилась она в сенях с лампадкой, наливая ее маслом, слышались оттуда какие-то подозрительные, словно всхлипывающие звуки, и когда она внесла в комнату уже налитую и зажженную лампадку, Ванька видел, как у нее дрожали руки и как она чуть не пролила масло на вязаную скатерть...

— Ну, иди, Ванюшка, помолимся...— странным голосом говорила мать, когда он допил чай.— Вот, становись рядом со мной на коленочки и гляди на боженьку. Вот так!

Ванька стал рядом с матерью на колени и начал глядеть на бога. Бог висел в углу, борода у него была длинная и седая, кругом его головы сиял круг, а по бокам были сделаны золотые, дрожащие розы. И чистым невинным огоньком горела перед ним зеленая лампадка и отчего-то казалась Ваньке похожей на маленькую девочку с длинными курчавыми волосами.

Ванька, бережно прикладывая сложенные пальцы ко лбу, груди и плечам, начал кланяться седому богу, сознавая всю важность своих действий, и бог, казалось, сделался еще серьезнее, собираясь слушать Ванькину молитву. Ваньке нравилась такая торжественная обрядность, так как она лишний раз подтверждала, что он большой, взрослый и скоро может сделаться солдатом.

— Ну, говори,— прерывистым всхлипывающим голосом продолжала мать, и глаза ее покраснели еще больше,— говори: господи! Батюшка! Царь небесный! Николай-угодник! Пощади меня, сиротинку маленького...

— Господи! Николай-угодник! Пощади меня, сиротинку маленького...— скороговоркой повторил Ванька, следя, как по половице ползла большая зеленая муха, которая может жужжать на весь дом, если поймать ее за крыло. Хотя, именуя себя маленьким, он не был согласен с этим, но спорить и прекословить в данную минуту не хотел.

— Я иду в жизнь трудную...— неразборчиво говорила

мать, и так как слезы застилали ей глаза, то она, вероятно, не видела бога.

— В жизнь трудную...— уныло повторил Ванька, посмотрев, не разошлись ли у него пальцы.

— Пошли мне ангела своего хранителя. Защити меня от злого человека, беды и всякой напасти.

Мать раскраснелась, с ней делалось что-то неладное: губы ее по-прежнему подергивались, слова все более и более делались неразборчивыми, и становилось опасным, разберет ли бог. И Ванька поэтому старался поправить дело и повторял яснее:

— От злого человека, беды всякой напасти...

Вдруг мать припала головой к полу и, захватив ее обеими руками, залилась слезами, и Ванька мог разобрать только такие слова:

— Спаси его! Сохрани! От беды, лютой жизни!

Мать говорила совсем невнятно, слезы лились у нее ручьем, и Ванька решил сам передать ее слова богу. Подняв свои серые спокойные глаза на образ, он сказал, указывая пальцем на мать, приникшую к земле:

— Она просит, чтобы ты спас меня! От беды, от лютой жизни! — передавал он по порядку ее рыдающую речь.— От злого человека. Ангела послал бы ко мне... Моего ангела Иваном зовут...— уж сам от себя пояснил он.

А мать продолжала стучать головой по полу и уже говорила другие речи:

— Бедность одолела! бедность, бедность, бедность! — И, прижав к себе Ваньку, рыдала: — Не отдала бы я тебя, касатика, в жизнь трудную, жизнь грубую! В школу бы ты у меня бегал. Если бы... жив был папка... Наш папочка... миленький...

Ванька, к стыду своему, почувствовал, как что-то теплое течет из его глаз и падает на материну грудь. Вытерев кулаком щеки, он поднял на мать глаза, тоже полные слез, и сказал:

— Если бы, да кабы, да во рту росли грибы! Если бы жив был папка, то мы с ним в хоре пели бы! Так пели бы, что только держись. Архиерей по сту рублей давал бы нам. Но я сам бы себе ничего-о не брал...— И Ванька сделал большие, круглые глаза.— А все папке бы отдавал: пусть бы пил водку! Бог с ним.

Через полчаса оба они, и мать, и Ванька, поднимались по пыльной дороге в город; мать несла его одеяло и подушку, а Ванька, обутый в новые сапоги с выпущенными ушками, имел в руках узелок с рубахами и полотенцами.

Мать всё всхлипывала, вытирала слезы, и Ваньке стало жаль ее. Когда они совсем вышли на гору и стала видна нижняя часть города с железной дорогой, маслобойными заводами и могилой купца Гривова,— Ванька остановился, лукаво поглядел на мать и с улыбкой спросил:

— А хочешь, я тебе сербское «Тебе господи» спою?

Мать тоже остановилась, и глаза ее, лучистые от слез, улыбнулись.

— Ну, спой,— сказала она.

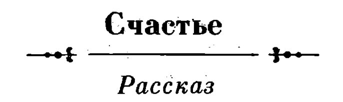
Ванька, передав ей узел с рубашками, оправился, кашлянул и, разведя руками, как регент, медленно, торжественно пропел:

— Тебе-е, го-осподи!

И потом долго прислушивался, как звучит его бас...

Вдалеке, из города, показался Сорокоумов. Он уже шел домой обедать. С вокзала отходил поезд, и белый густой дым его, расстилавшийся на фоне неба, походил на облака.

Счастье



Рассказ

I

Мужской портной Герасим Егорович Синицын, поджав ноги по-турецки, сидел у себя в мастерской на верстаке, у открытого в сад окна, и пришивал к студенческой диагоналевой тужурке пуговицы с накладными орлами. Даже у больших мастеров, которые шьют на генералов и губернаторов, пришиванье пуговиц считается последней и самой незамысловатой операцией в работе,— поэтому вполне естественно, что единственный подмастерье Синицына, Павел Петухин, сидевший тут же, на верстаке и ставивший латки на малиновый подрясник отца Ефрема, отлично понимал, что хозяин не хочет доверить ему даже пуговиц,— понимал и серьезно оскорблялся. Он наперед знал, что собственноручное пришивание пуговиц даст Герасиму Егоровичу несомненное право поговорить о былых временах, когда на земле не портные были, а пять с плюсом; теперь же пошли забастовки, права, давшие слишком много воли всякому хламу и которые в конце концов все погубят. Такое пренебрежение со стороны хозяина тем более было обидно для Петухина, что оба они, и хозяин, и Петухин, были ровесниками, вместе росли, вместе учились ремеслу, вместе их били,— а теперь вышло вон что: Синицын — хозяин, имеет свою мастерскую, а Петухин — работник, служит у него, должен подчиняться ему; хочет тот — держит его, не хочет — выгонит в двадцать четыре часа,— и ничего с ним не поделаешь и никому не пожалуешься.

Рядом с мастерской, небольшой низенькой комнаткой, которую почти всю занимали верстак и половина русской печки,— находилось хозяйское святое святых, убранное, как у всех домовитых портных, и мягкой мебелью в чехлах, и граммофоном, и портретом иерусалимского патриарха, исполненным в четыре краски. Полы в тех комнатах были

всегда чисто вымыты, устланы белыми летними дорожками с красной каймой,— и входить туда таким личностям, как, например, Петухин, безусловно воспрещалось. И были они своим уютом так противоположны неуклюжей мастерской, что когда, например, Герасим Егорович уставал от работы, то начинал смотреть на дверь, ведущую в те комнаты, и тогда было ясно, что мысли его, которым он улыбался, приветливо щурился, витали около мягкой мебели, портрета и граммофона...

На дворе стояла весна, и Герасим Егорович часто говорил, что в природе начинается антимония, то есть оживление. Из всех времен года он больше любил зиму по той причине, что зимой человек одевается тепло, что зимняя одежда дороже летней и шьется она из прочной материи, которой легко придавать изящную форму.

Окно мастерской выходило в сад, а в саду земля была рыхлая, черная, будто облитая и пропитанная хорошими чернилами. Деревья еще не кончили покрываться листьями, хотя на сирени уже показались завязи будущих цветов. Над садом очень высоко, соперничая синевой с зеленью только что распустившейся, радостной листвы, растянулось небо, а над тем местом, где стоит село Богородицкое, маленькими стайками собрались белые, словно только что родившиеся облачка и, казалось, размышляли: идти ли им на середину свода или, оставшись на старом месте, над селом Богородицким, выкинуть какую-нибудь веселую, занятную штуку.

Герасим Егорович отложил тужурку в сторону, потянулся и искоса посмотрел на Петухина, который по-прежнему чинил подрясник и сверхъестественно сопел. Петухин по наружности был удивительным человеком: трудно было, например, определить, сколько ему лет,— глаза у него были совсем детские, мальчишеские, зато лоб — сморщенный, с резко обозначившимися морщинами. Голос был молодой, задорный, песни пел Петухин всегда высоким тенором, а меж тем в углах губ сидело что-то уже старое, видевшее в жизни невеселые, горькие виды. И сам по себе человек он был неопределенный: то целый день в праздник перепелов на байку ловит или с ребятами змей двухлистовой запускает,— то пьет горькую, ночует в участке и говорит, что жизнь ему осточертела.

В то время как у Герасима Егоровича вся жизнь и весь

труд реализовались в три выигрышные второго займа билета, у Петухина только и было что красненький сундучок, наполненный, наряду со всяким носильным хламом, еще таким добром, какое не у всякого портного сыщешь: первыми призами за успешные бега в мешках, которые устраивались в городском саду на народных гуляньях. У Петухина не было соперников в этой области искусства: он всегда приходил к призовому столбу первым и называл себя за свой талант придворным артистом шаха персидского. Призы же благоговейно складывал в красненький сундучок, ни за что, даже в самые сильные запои, не расставался с ними и говорил, что перед смертью, отдаст такой приказ: положить все это добро в гроб, под подушку. И говорил еще, что призами, а в особенности — будильником, исполнявшим две музыкальные пьесы, он похвалится на том свете перед грешниками.

II

В этом году, однако, Герасим Егорович не чувствовал обычного неудовольствия на то, что кончилась зима, что человечество скоро потеряет солидный вид, осанку, спрячет в сундуки хорошие меховые пальто, облечется в соломенные шляпы, желтые скороходы, в чесучовые, мешками сидящие пиджаки. Сердце у него билось по-иному, по-незнакомому, — словно на плечах не сидело сорока восьми лет и ему было приятно следить, как оно замрет и создаст ощущение сладкой томной тоски, грусти и еще чего-то очень хорошего.

В городе редкими ударами колокола звонили к службе; звон, точно не выспавшийся, тянулся длинной, ленивой лентой и — хотя был великий пост, шестая неделя, — наводил на веселые, счастливые мысли. Герасим Егорович, высунувшись в окно и незаметно для себя любуясь садом, небом и белыми облачками, думал о Петухине, о его призах, о себе, о том, как он хорошо сделал, перебравшись из городского пекла сюда, в эту благодать, которая скоро сплошь зацветет и будет похожа на невесту. Обо всем этом Герасим Егорович думал и в то же время замирал от радостного сознания, что такими мыслями, как декорациями, он хочет заслонить свою самую главную, самую заветную думу, которой он только тогда позволял копошиться в голове, когда

хотел побаловать себя, устроить себе яркий, торжественный праздник.

Посреди большой площади, окруженная густым садом и белым забором, стоит церковь Варвары Великомученицы. Там, в этой церкви, батюшки в черных, закапанных воском ризах читают заунывные молитвы о грехах, говеет народ деловито, серьезно, в будничной одежде,— и на своем любимом месте, у плащаницы, стоит Таня.

Герасим Егорович не может сдержать счастливой, расплывающейся улыбки, высовывается из окна дальше, тянет к себе, словно для поцелуя, влажноватую, гибкую ветку сирени и, опасаясь, как бы не услышал Петухин, чуть-чуть шевелит губами, прислушиваясь к музыке своих, произносимых по складам слов:

— Стоит Таня... Та-ня... Та-ню-ся...

...Герасим Егорович не любит вспоминать тех двух годов, которые он ухаживал за нею.... Это время было жестокое, наполненное непрерывной пыткой. За эти два года он постарел больше, чем за всю предыдущую жизнь, щеки сделались отвислыми, глаза впали... Как-то так случилось, что о его любви узнал весь город: сначала мальчишки, потом бабы, потом и заказчики. Сам прокурор даже, примеряя както жилетку пике, спросил смеясь:

— А зазнобушка как живет-может, а?

И когда Герасим Егорович сконфузился, покраснел и от волнения уронил мелок,— снисходительно добавил:

— Ну, что же? Хоть ты, братец, несколько и тово, попортился, так сказать... В землю уже, так сказать, выражаясь по-юридически, шагаешь... Ну, а все-таки тово... Держи, выражаясь по-военному, знамя высоко... Женщина — это крепость, которую нужно брать иногда долгой молитвой и постом... Да... Так сказать, нужно воспрянуть убо...

И прокурор, смеясь полным эластичным животом, еще что-то поговорил о всяком дыхании.

За эти два года Герасим Егорович чуть не возненавидел людей. Мальчишки танцевали, показывали носы, становились на головы, когда он проходил по улице, и орали ему вслед:

— У, старый! За Танькой стреляешь?

Взрослые считали необходимым встречать его какими-то особыми, слишком понятными взглядами, усмешечками, ясно, в общем, говорившими, что тебе, мол, Герасим Егоро-

вич, бог больше нужен, чем жена, и в глаза, будто в шутку и будто это очень приятно, называли его малоподержанным китайцем.

Парни с той улицы, на которой жила Таня и куда он ходил с гостинцами каждый праздник, собирались вытопить ему баню, то есть прибить, или, будто невзначай, сообщали, что вчера, весь вечер, Таня сидела с Гаврюшкой, красивым курчавым парнем, или разговаривала с ним через забор,— и тогда Герасим Егорович плакал, рыдал, зарывшись в подушку, и молился богу, чтобы Таня его полюбила, хоть капельку, хоть чуть-чуть, чтобы хоть немного возвратилась к нему молодость, свежесть, которая ушла на чьи-то бесконечные сюртуки, жакеты и воплотилась в три шуршащие бумаги второго займа. Тогда он ненавидел эти бумаги, ненавидел остро, до желания порвать и выбросить за окно... Он вынимал их, раскладывал перед собой, стучал кулаками и говорил:

— Проклятые! Проклятые!

Но печник, отец Тани, видел эти бумаги, щупал их руками,— и свадьба была сыграна.

Свадьбу и потом жизнь, начавшуюся после нее,— это любил вспоминать Герасим Егорович...

Во время венчания пело полхора архиерейского, пели все сплошь нотное; была электрической ниткой зажжена люстра, и под ноги молодым постлали персидский ковер... Потом ехали к кухмистеру в карете, музыка играла туш, все гости желали счастья и из высоких бокалов пили донское игристое. Тут же стоял важный официант во фраке и белой перчатке и каждому поздравлявшему говорил:

— Аншантэ!

И все говорили, что свадьба вышла как у генерала Пшенович. Была только одна неожиданность: великолепный официант украл целый чайник колотого сахару. Эту неприятную историю обличил Петухин, напился с горя пьяным и приставал ко всем со следующими словами:

— Ах, черт бы его понюхал! Сахар попер! А? Придворный артист шаха персидского, да он всякого полицмейстера на свежую воду выведет! Вся-якого! Обязательно!

После свадьбы ездили в Москву, жили там четыре дня, лазали на Ивана Великого и подолгу сидели в пассажах. Вернулись домой, наняли квартиру подальше от центра,— и началась жизнь...

III

...Герасим Егорович с досадой отгоняет от себя воспоминания о тех сплетнях, которые тогда с такой обязательностью доносились до него: будто Таня плачет от его ухаживаний, будто отец бил ее и заставлял выходить за портного... Ему страшно проверить эти нелепости, и с болью в сердце, боясь, как бы его тревоги не подтвердились, он начинает разговор с Петухиным на ту тему, что вот, мол, Таня такая молоденькая, такая хорошенькая, вышла за него замуж, не глядя, что ему минуло уже сорок восемь и что вот уже третий год он за работой надевает на нос неуклюжие очки с увеличительными стеклами.

— А все почему? — говорил Герасим Егорович.— Капитал! Есть в кармане цвет,— все есть! А не будь цвета — пошла бы она за меня? Черта лысого! И разве она меня любит? Я разве нужен ей? Держи карман шире! Денежки мои нужны! И больше никаких... Да-а...

И он украдкой, искоса, взглядывает на Петухина, ожидая, что тот сейчас усмехнется на эти дурацкие слова, подернет носом и будет доказывать, какую ерунду прет хозяин: прошли, мол, те времена, когда отцы заставляли девок выходить замуж за нелюбимых... Как это, в самом деле, можно выйти за деньги? И поп в церкви спрашивает, по согласию ли идешь,— и все. Да и какая нужда была Тане выходить за деньги? Что она, так избалована, что ей нужны шелки, наряды, сак-пальто? Ничего этого ей не нужно,— не нужны, значит, и деньги. Значит, если не любовь,— никто и не говорит, что любовь,— а так, что-то похожее на любовь, у нее есть к нему, несомненно есть. И разговоры о Гаврюшке — только болтовня, тары-бары, сухие амбары. Вот какого ответа ожидал Герасим Егорович от Петухина, но тот ничего не говорит, чинит подрясник, будто не слышит, сопит,— и Герасим Егорович тревожится, уж не согласен ли Петухин с его словами,— желает во что бы то ни стало добиться определенного ответа и начинает подзадоривать того:

— Вот, недалеко ходить, тебя взять... Кой шут за тебя пойдет? Потому что ты есть на белом свете? Перво-наперво — поклонник Бахуса. И имения у тебя — блоха на аркане. Манишка да записная книжка.

Петухину больно от этих слов,— он переворачивает рабо-

ту на другую сторону, начинает усиленно ее разглаживать и говорит:

— Оно конешно... Денежки е, все е... Что говорить! Сила великая! С денежками и в царство небесное попасть легче, не токмо иное что... Дай попу три сотни,— он тебе и панихиды, и молебны, и сорокоусты,— все на благо души твоей петь будет...

Ну уж, а если к богу с деньгами подойти легче,— о девке что и говорить... Чихнуть да вытереться!

Петухин насквозь видит своего хозяина, и потому еще нарочно, словно придумывая какую-то комбинацию для подрясника отца Ефрема, высоко поднимает брови, продолжительно вздыхает и говорит:

— А меня, брат Егорович Герасим, девки, скажу я тебе откровенно, и так любили... Бесплатно... Сам мои капиталы знаешь... А было у меня их,— ой, ой... Три короба грехов всегда попу носил. Бывало, отец Василий слушает, слушает, да аж сплюнет! «Ну, скажет, да и грешник ты, раб божий! Ну, скажет, да и сукин же ты сын, прохвост!» По целым ночам, бывало, все с девками в роще сидел... Особливо по весне, в мае месяце... Трава высокая да пахучая,— тут тебе и соловьи поют, и воздух — по копейке штука, и всякое удовольствие... Да-а...

— Ночь сидишь, а наутро в мастерской дремлешь,— говорит Герасим Егорович, страдая от зависти,— в шею-то тебя и гонят...

Петухин щелкает языком и соглашается:

— Что в шею гнали, это верно... Это так... Гнали... Зато жизнь знал... Не так, как иные... Сидит, сидит, геморрой наживает — и только сладости у него... А жизнь вкусная,— ох вкусная, если кусать ее умеючи!

На несколько минут создается молчание и слышно, как шуршат нитки, продеваемые сквозь материю.

— За что ж это девки-то тебя так уж сильно любили? — спрашивает Герасим Егорович.— Как собаки — палку, так и девки тебя, видно, любили!

— А шут их знает, за что любили! — игнорируя раздраженный тон хозяина, равнодушно отвечает Петухин.— Буду я еще у них спрашивать, за что любили! Так, попросту, любили, да и разговор весь! Любили дарма, без всяких капиталов. Пряников принесешь — вот и угощение все! За что любили! Про любовь умел с ними разговаривать, песни

петь, обнимал горячо... Обнять и то, брат, нужно умеючи... Очень умеючи! Баба любит, чтоб ее умеючи обнять... Да-а... всякого цветка значение знаю и рассказать могу...

Опять — молчание...

— А как же это так обнимать нужно, по-особенному? — не сразу, как будто небрежно, спрашивает Герасим Егорович.

Петухин угадывает заднюю мысль хозяина, и на лице его появляется хитрая, чуть заметная улыбка...

— Как рассказать тебе? — невинно говорит, наконец, он.— Это трудно рассказать... Трудно...

Петухин поднимает на хозяина глаза и уже совсем не хочет сдерживать улыбки.

— Давай три целкаша, расскажу! Всю науку тебе открою... А это тебе, брат, нужно... Ну-ужно...

— Ступай к лешему! — краснеет тот и отворачивается.— Шут гороховый! У меня жена законная, и мне нечего конфуз на себя наводить, по рощам там шляться, по ночам... Как босая команда...

Петухин делает невинные глаза.

— Чего ты серчаешь? — говорит он, стараясь быть удивленным.— Сам спрашивал! А что у тебя жена, правда жена. Зачем тебе по рощам шляться! Жена, богом венчанная, законнейшая... Ни на кого глянуть без твоего позволения не может. Хоть и не обнимай,— она все обязана делать по твоему приказанию,— потому жена. В церкви венчана и в книгу записана. Печатью к тебе припечатана!

Герасим Егорович чувствует насмешливый тон Петухина, и в душе у него закипает раздражение: так бы стиснул, так бы и раздавил, как гадюку, этого человека, и по голове каблуком повертел бы! И Герасим Егорович решает: как только пройдет пост, горячее время,— сейчас же вон этого хама. Пусть-ка отправится с богом да похлебает серых щей... А то, ишь, философию разводит!

«Видывали мы таких орлов!» — думает Герасим Егорович и стискивает зубы так, что видно, как двигаются скулы...

IV

Церковь Варвары Великомученицы была, как кольцом, охвачена высокой каменной оградой, за которой шумел гус-

той, старый сад, почти лесок, ревниво показывавший из-за своих вершин только крест колокольни. Про эту ограду ходил слух, будто в ней еще турками было зарыто сто тысяч заколдованных червонцев, и бывает, что по темным вечерам, когда на небе нет звезд, над тем местом, где лежат червонцы, горит синим огнем свеча. Герасим Егорович всегда, особенно вечером, проходя мимо этой ограды, чувствовал волнение, тем более что за ней два года назад разбойники убили сторожа, прорезали в церкви окно и украли из алтаря сосуды.

Теперь в этой церкви, затерянная среди густой, грешной, кающейся толпы, стоит и молится Таня.

Герасим Егорович не выдержал и решил зайти туда хоть на минутку, посмотреть на нее хоть издали, одним глазком, как она молится, кланяется, становится на колени.

По неширокой, усыпанной песком аллее прошел он, осторожно и улыбаясь, к церковным дверям. На паперти, у белых, потрескавшихся колонн сидели, тихо переговариваясь меж собой, нищие, похожие в сумерках на кучи чего-то живого, но бесформенного,— и, заслышав шаги, начали, разом — все, кланяться и просить жалобными голосами. Герасим Егорович достал из кошелька монету, посмотрел на свет, медная ли, и бросил ее в первую чашку. Коротенький сухой стук ее сказал ему, что за доброту бог отплатит щедро, сделает так, что Таня полюбит его горячо, глубоко и, умри он, не выйдет замуж за другого, а будет горько плакать.

Церковь была полна народу, и Герасим Егорович остановился на пороге. Сквозь ладан, поверх множества голов, было плохо видно, что делается впереди: где-то, казалось — очень далеко, мерцали свечи, сонно тревожа старую, погасшую позолоту икон, да какие-то невидимые люди поочередно очень громко пели и, в ответ пенью, что-то читали, затягивая концы. У свечного ящика, устроенного от входа направо, все время позванивали деньгами. Староста, толстый и лысый, с кудряшками по бокам лысины, недоверчиво рассматривал, наклоняясь к свече, каждую подаваемую ему монету и, время от времени, вполголоса, но очень сердито, отвечал старухам, что правило завтра начнут читать в семь часов и что обедня будет не простая, а преждеосвященная.

— Преждеосвященных доров! — староста для важности говорил: «доров» и показывал пальцем, давая понять стару-

хам, куда, мол, им, дурам, знать, что такое преждеосвященные дары.

Герасим Егорович, вытянув вперед шею, стал на цыпочки, высматривая, не видно ли где Тани,— но кроме спин и потных затылков ничего не представлялось ему.

«Она ведь всегда становится около плащаницы»,— подумал он и передал старосте пятак, наказав поставить свечу Николаю-угоднику.

В воздухе было много ладана, народ молился, стараясь полагать крестное знамение вслед за дьяконом, который громко и небрежно, глотая слова, читал о благорастворении воздухов, и плавающих и путешествующих, о скорбящих и озлобленных, милости божией и помощи требующих. И за каждым прошением певчие торопливо и монотонно, постовым напевом отвечали ему:

— Господи поми-илуй!

Герасиму Егоровичу, который нес заказчику оконченную тужурку, стоять было неудобно, народ теснился, то выходил, то входил: можно было помять тужурку,— поэтому он осторожно выбрался из церкви, и на воздухе, после душной церкви, грудь вздохнула легко и широко.

На дворе совсем смерклось; длинная аллея, которая от ворот вела к паперти, потеряла уже ясные очертания; высокие деревья, точно заснув, слились в одно большое, чуть прозрачное пятно... Нищие перестали шушукаться и тихо дремали... На ясном и точно еще выше поднявшемся небе кое-где, отчетливо и редко, уже зажглись звезды, то крупные, то мелкие, и, казалось, улыбались кому-то внизу. И улыбка эта говорила, что, мол, подождите: стемнеет погуще, нас станет много, и на небе будет еще веселее.

Осторожно, словно боясь потревожить кого-нибудь, Герасим Егорович обошел кругом церкви, заглядывая в освещенные окна, бросавшие на дорожку длинные, колыхающиеся тени. Из темноты было ясно видно, как внутри, в церкви, залитой светом, молились люди и какими строгими, сосредоточенными глазами глядели они на иконы и кланялись им.

В одном окне, третьем от входа, Герасим Егорович увидел Таню. Она стояла у плащаницы. Сердце его радостно и тревожно затрепетало, и, оглядываясь, не подсматривает ли кто за ним,— потихоньку, крадучись, подошел он к окну и, ощущая холодок железной решетки, прислонился к ней лбом, жадно вглядываясь туда, в середину. Таня стояла ря-

дом с купцом Еремеевым и смотрела влево от окна, на алтарь, слушая, должно быть, что читают. Ее молоденький, еще девический профиль отдавал свежестью и наивностью, а когда она крестилась, то очень долго задерживала и прижимала пальцы у левого плеча.

Вдруг, словно по чьему-то мановению, весь народ опустился на колени и в церкви сделалось как-то просторнее и стали видны ножки ставников. Опустилась на колени и Таня,— и в глазах ее, больших и очень серьезных, показалось что-то особенно хорошее и чистое. И Герасиму Егоровичу захотелось стать около нее, помолиться о чем-нибудь, о счастье например,— чтобы не было на земле горя, страданий,— а самое главное, о том, чтобы она, вот это существо в черной косыночке, была бы его, его нераздельной, с душой, телом — неотъемлемой, навсегда, навеки...

И это так, на самом деле: она его, навсегда, на всю жизнь... Сейчас, например, он может войти в церковь, подойти к ней и сказать: «Таня! Идем!» — и она беспрекословно пойдет туда, куда он захочет, будет пить с ним чай за одним столом, отвечать на вопросы. И во всем свете для нее он — только один.

«Моя, моя!» — жадно вглядываясь в Таню, думал Герасим Егорович; все существо его наполнялось радостью, и дышать было легко и свободно.

— Дорогая! Золото мое! Сокровище! — шептал он ей в окно, через железную решетку, и других слов, кроме этих, не рождалось в нем. Ему хотелось говорить что-то громко, смело, и опасность, что подслушают и посмеются, ушла куда-то далеко... «Пусть!» — думал он и почти вслух говорил, целуя холодную решетку:

— За меня молись, дорогая... Бог любит тебя... Бог послушает тебя...

И он уже верил и в отца Иоанна, и в мощи, и молитвы казались ему чем-то близким и необходимым.

Купец Еремеев, который все время стоял неподвижно, расстегнулся, пошевелил плечами и вдруг с азартом начал креститься и заслонил собою Таню. Словно погасло что-то в церкви для Герасима Егоровича.

— Смотришь кого, что ли ча? — вдруг услышал он позади себя добродушно грубоватый вопрос.

Обернулся — сзади стоит и, может быть, давно — сторож, лохматый, с длинной седой бородою и густыми, нависнув-

шими над глазами бровями: собрался, видно, уже на ночь, в руках колотушка. Как-то странно, полосой, освещен он светом из окна; видны морщины, острый, угловатый нос,— похож на колдуна. Герасиму Егоровичу почему-то представилось, что такого же старика, вероятно, убили воры, когда воровали сосуды,— и он, как-то вздрогнув, опешив, ответил:

— Да, знакомого смотрю... По делу нужно... Войти-то неловко, тесно...

Старик как-то боком, насмешливо, осмотрел его, взглянул на узел под мышками, медленно перевел глаза на окно и не сразу ответил:

— Народу пропасть! Все кинулись говеть на шестой... Заботы мирские, хлопоты...

Глаза его как-то особенно, грустно, почти не моргая, смотрели в середину церкви и видели, казалось, только массу свечей, и только эта масса, масса огня, жившего какою-то особенною, своею жизнью, привлекала его внимание и живыми пятнами скользила у него по лицу. А остального — народа, икон, священника — словно и не существовало... О чем-то, видимо, думал он, думал упорно, настойчиво, и это заметил Герасим Егорович. Ему стало жаль старика, вероятно одинокого, должно быть николаевского солдата, которому холодно будет караулить церковь в весеннюю, еще не греющую ночь; вместе с этим сопоставилась картина своего собственного домашнего тепла и уюта, и захотелось сказать ему что-нибудь милое, ласковое,— и он спросил:

— А ведь небось страшно здесь ночью? А? Воров-то небось трусишь, дед, а?

Сторож по-прежнему глядел в церковь и по-прежнему же, кроме огней, ничего, казалось, не видел. Герасим Егорович подумал, что он не слышал его, но старик вдруг повернул к нему глаза, из задумчивых сделавшиеся спокойными, и протяжно, точно удивляясь вопросу, ответил:

— Не-ет! Чего же страшно? Ничего... Часы бьешь, колотушкой вот стучишь... О смерти думаешь.. Ничего!

Вверху, на колокольне, заунывно ударил колокол, точно жалуясь на свое одиночество, и сад, окружавший церковь, на минуту оживился, но, шепнув что-то своими вершинами, не мог преодолеть все больше и больше надвигавшегося на него вместе с темнотой сна. Казалось, что и этому сторожу, и людям, которые молились в церкви и вздыхали о грехах, хотелось иметь душу чистую, как небо, освещенное звезда-

ми, хотелось мира, покоя, хотелось возродиться, как в эту холодную, юную ночь возрождается там где-то, в своих тайниках, засыпающая земля.

И когда Герасим Егорович выходил из ограды и на него снова налетело воспоминание о том, что ему — сорок восемь лет и что народ говорил, будто Таню заставили выйти за него из-за денег, то, успокоенный, он сразу отогнал эти думы от себя и вслух сказал:

— Эхе-хе-хе-е! Дураки! Из-за денег! Олухи царя небесного! Тумбы!

А когда вспомнил про сторожа, вспомнил, какими грустными, задумчивыми глазами смотрел он в освещенную церковь, — то решил, что у старика, наверное, есть очень большая забота на душе, или он действительно скоро собирается умирать.

V

Когда стемнело, Петухин не стал зажигать лампы; он бросил подрясник и пошел в хозяйские комнаты. Он любил эти комнаты: в них воплощалось то, чего у него никогда не было, никогда не будет, что как ненужное, но в конце концов все-таки приятное прошло в жизни мимо него... Когда хозяев не было дома, Петухин бросал работу, шел в эти комнаты, садился в кресло, сжимал на груди руки и думал, — думал об этих комнатах. Думал он и о том, что вот прошла жизнь его, — прошла незаметно, скоро, наполненная то радостью, то горем. Радость была для него всегда в женской любви, горе — в нищете, безработице, запое. Теперь ему сорок восемь лет, — правда, по части бега в мешках ему еще не родился соперник, он все так же ловок и проворен, — но в волосах уже седина, лицо сделалось морщинистым и баб он берет уже не красотою, не тенором, не усами, а просто опытностью, ловкостью... И бабье уже — второй сорт. И вся уже жизнь его теперь второй сорт. А вот Герасим, его товарищ, с которым они вместе росли, учились, — всю свою жизнь засушил чрезмерной трезвостью, рассудительностью, сверхурочной работой, но нажил этим билеты и билетами купил себе молодую, красивую девушку, живет с ней, обладает ею, — и она целует его, обнимает, хотя и несчастна, хотя любит другого и потихоньку плачет... И все —

билеты, которые он показал дураку печнику, у которого тоже никогда не было ни кола ни двора... И вот у Герасима — эти комнаты, молодая жена, счастье... А вот ему, Петухину, скоро нельзя уже будет работать из-за дрожания пальцев, и придется лечь в богодельню. Хорошо, если в богадельне будут высокие, чистые стены, кровать будет застлана чистым шерстяным одеялом... Тогда бы еще жить можно было: надевал бы он очки, какие сейчас Герасим Егорович носит, и читал бы своим соседям, тоже старикам, поучительные газеты и книги, а они рассказывали бы про жизнь, про то, как при прежних царях служили в солдатах. А потом для развлечения заводили бы будильник, и он играл бы «Вниз по матушке по Волге» и «Коль славен»,— стариков бы прошибала слеза, и они подтягивали бы за будильником своими тоненькими старческими голосами: небось, если и пели в жизни, то только по пьяному делу, а так, серьезно, для самого пенья — никогда.

В последнее время Петухин особенно часто останавливался на Тане и Герасиме Егоровиче. Комнаты, альбом, граммофон, дорожку с красной каймой,— все это заслужил Герасим, все это он заработал своею жизнью, на это он имеет несомненное и полное право,— но Таня, Танина любовь, Танино счастье, счастье Гаврюшки, которого она любит и который ее любит, это захвачено Герасимом несправедливо, незаконно, насильно...

Обыкновенно наступали сумерки, всходила луна,— и тогда все в комнате освещалось особым светом: начинал както особенно выделяться на кафеле отдушник, кресло походило на согнувшуюся бабу, иерусалимский патриарх жмурил, казалось, глаза; по полу, перерезывая дорожки, чернели четкие, словно по линейке проведенные тени...

А Петухин стоял и думал, думал...

С каждым днем он все яснее и яснее понимал, какая огромная нелепость совершена людьми, которые связали Таню с Герасимом. С одной стороны, люди поразительно умны: они додумываются до железных дорог, телефонов, будильников, заставляют железо думать, двигаться, и подчиняться чужому хотенью,— все хорошо делают для тела; а для души, которая есть самое главное, от чего зависит счастье, они сочинили законы, которых, вот уже две тысячи лет не хотят переменить, которые и жестоки, и несправедливы, которые жизнь делают адом. И все это похоже, ду-

мал Петухин, будто люди придумали обувь: легкую, красивую, прочную, а самую дорогу, по которой идут, не хотят исправить: всюду камни, кочки, ямы,— и, дураки, удивляются: обувь хороша и легка,— но почему же идти так трудно, так тяжело, почему нужно обливаться кровью и слезами?

И вот, когда Петухин оставался с Таней наедине, он начинал с ней разговоры о жизни...

Он очень жалел ее: разумеется, нужда, бедность, дураки родители заставили ее идти за Герасима.

— Эх, болваны! — вздыхал в темноте Петухин и показывал кругом руками.— Ну, вот вам и богатство! Ну, вот тебе и кресло, вот тебе постель мягкая, ковер... Ну, а толк какой? Мать была больна! — кому-то ядовито и желчно возражал он.— Да мало ли чего — мать была больна! Тебе не хотелось ее тревожить да беспокоить! Да разве за Герасима мать-то твоя выходила? Ты выходила, а не мать! Ну, вот родится у тебя ребенок... Да разве ты его так будешь любить, как если бы он Гаврюшкин был? И потом удивляться будут: почему, мол, баба своего дитя не любит? Дураки! Хо-хо, братцы,— эта башка жизнь прожила, жизнь видела, из семи печей хлебы едала, все понимает, всякие планы развести может...

И Петухин гордо постукивал себя по лбу пальцем.

Вспоминался ему Гаврюшка, гроза всей округи, первый боец на кулачках, первый игрок на бильярде, но зато и первый резчик в иконостасной мастерской братьев Свиридовых. И был он, этот молодец, перед ним, перед Петухиным, как лист перед травой. И держал его Петухин в своих руках, как кучер — молодую, хорошую, но норовистую лошадь. В «Лондоне», где они обыкновенно виделись, Гаврюшка не знал, куда усадить его, чем потчевать. И все норовит куда-нибудь подальше забраться, в уголок, чтобы люди не видели, не помешали...

Петухин жмурит глаза и, как живые, представляет себе все эти сцены в трактире.

«Лондон» горит огнями и тонет в дыму. Разговоры, шум, крики. Снуют половые. В бильярдной щелкают шары... А у Гаврюшки, у этого здорового, сильного дурака, глаза чешутся. Он же, Петухин, солидно тянет богемское и говорит:

— И конешно, во всей этой истории дураком выходишь один ты. Да-а, вот побей меня бог!

И Петухин сразу начинает сердиться и пристукивать, в такт словам, стаканом о стол. Ему, в самом деле, с одной стороны, жалко этого парня, а с другой — досадно на его глупость.

— Да чтоб я, Петухин,— с азартом говорит он,— да позволил этой старой очкастой кочерге отбить у меня девку, да будь я трижды анафема! Да пусть любой человек харкает мне в рожу после этого! Ну, какой ты есть парень, скажи на милость? Ну? названья ведь тебе не придумаешь! Осел? Дурак? Шаром тебя мало по башке стукнуть? Ну? Чего ну? Чего бельмы вылупил? Не правду говорю, что ли?

Петухин сердито поворачивался в сторону, постукивал по полу подошвой и долго сидел в такой позе. Потом вдруг поворачивался к Гаврюшке и с страстными, убеждающими жестами говорил:

— Ведь даже, пойми, вчуже жаль... Сидишь вот так, работаешь, смотришь, и душа на части раздирается... «Танечка! Не хочешь ли грушек? Грушки сочненькие! Штучка четыре копеечки! Танечка! Бросила бы книжку! В книжке ерунду все про любовь пишут! В садике погуляла бы!» Слушаешь, слушаешь,— аж сплюнешь! И Татьяне-то тошно...

— Тошно? — встрепенувшись, весь загоревшись счастьем, переспрашивает Гаврюшка.

— Знамо, тошно... Любит она тебя, дурачину...— с большим презрением говорит Петухин,— любит...

— Ну?

— Вот тебе и гну! Жалко девку: дурака любит-то...

— Чего дурака? — вдруг вспыхивает Гаврюшка.— Дурака, дурака... Заладила сорока про Якова... А что бы ты, умный, на моем месте сделал-то, подумаешь?

Петухина словно иголкой кольнули.

— Кто? я-то?

— Да, ты-то!

Петухин искусственно сразу остывает, долго смотрит на Гаврюшку и уныло качает головой: так велико его презрение к этому человеку,— пусть он первый игрок на бильярде. У Петухина даже голос меняется.

— Господи, боже мой! — говорит он, вздыхая.— Мира создатель! Что бы я сделал? Что бы я сделал? — Петухин делает трагический, театральный жест.— Девка любит меня, я люблю девку, а тут какая-то шваль мешается... И что бы я сделал? Нет, брат Гаврюша, и люблю я тебя, и все, а раз-

говора, вижу, с тобой не выйдет... Да. Не выйдет разговора! Давай, брат, платить за пиво да пойдем бай-бай... Рано завтра вставать-то... Хоть и поздно вставать стал мой хозяин, а все-таки... Спится ему с молодой женой-то... Тело-то теплое, молодое... И греет-то оно старые кости... А кости-то старые с ржавчиной... Да. А все-таки поздно... Двенадцатый час... Охо-хо-хо...

И Петухин, словно забыв разговор, начинает ломаться и зевать. Но Гаврюшка уже побледнел, глаза у него заблестели, щеки как-то особенно задергались,— он хватает Петухина за рукав, наклоняется к нему через стол и бормочет дико, несвязно:

— Нет, ты скажи... Начал, так скажи... Скажи...

Петухин возмущается этой навязчивостью, резко выдергивает от Гаврюшки свой рукав и говорит:

— Пошел ты к чертям свинячьим! Чего пристал, как банный лист? Чего я буду с тобой говорить, язык обивать, когда ты дурак есть, самый форменный... Ассел, так сказать...— И Петухин делается ядовито-ласковым.— Ведь разговаривать, Гаврюша, приятно с человеком, который обсудить может и сказать по поводу. А ты что ж? На бильярде ты мастак, слова нет, а насчет умственности, вообще высших действий, у тебя, сизый, слабо... Слабо, голубь, слабо... И люблю я тебя, и все,— а против правды грешить не хочу: слабо! — И Петухин разводит ладонями.

Гаврюшка долго и мрачно смотрит на него, на насмешливые искры в его глазах,— душа начинает кипеть, зубы скрипят,— весь полный ненависти, сквозь стиснутые челюсти, говорит он:

— Ух-х, Петухин... Будь на твоем месте кто-нибудь другой... Сделал бы я из тебя рюмочку... Уж умылся бы ты у меня... Ей-бо-огу...

Петухин смотрит на него и сразу светлеет: нравится ему, что в человеке заговорило...

— О? Рюмочку? Сердитый какой! — ласково и улыбаясь, говорит он.— Серди-итый... Не тронь меня, завяну... А, знаешь, когда ты сердитый, фу-ты ну-ты! Да ну-у, не будь таким Иваном Грозным!

— Оставь! Не крути светом! — отвечает Гаврюшка.— И без брехни твоей тошно.

— Тошно, это ничего,— успокаивает Петухин и, таинственно оглядевшись кругом, наклоняется через стол, де-

лает большие глаза и шепчет: — А беде я твоей помогу... Помогу! Не роб, Кероп! Самое главное — не роб. Затем я сижу с тобой, чтобы помощь тебе оказать! Ты только не сердись! Слышь, Гаврюш? Да ну-у, полно...

И несколько минут спустя он выводит его через заднюю дверь на двор трактира. Темно. Никого нет. В уголку большого, закругленного здания видна кухня, слышно, как шипит плита. По кухне бегает повар и с кем-то разговаривает. После смрадной духоты «Лондона» здесь так много воздуха, вкусного и прохладного. Никто их не видит. Гаврюшка жмется к Петухину плечом, словно угадывая в нем какую-то большую, жуткую тайну.

Петухин что-то замышляет. Он берет Гаврюшку за руку немного ниже плеча, наклоняется к нему и, обдавая его легким запахом пива и табаку, говорит тихо и серьезно:

— Задумал я дело, понимаешь? Дело, брат, такое, что и на том свете может спроситься. Понимаешь? Ведь бог-то есть... Понимаешь? Он сидит, может быть, вон там и смотрит на нас и слушает: «Что ты, мол, старый сукин сын, делать хочешь?» Понимаешь? И все для тебя, для дурака... Не стоило бы, — ну, уж черт с тобой! Так и быть, где моя не пропадала! Только — условие...

— Какое? — сдавленным голосом спросил Гаврюшка.

— Вот какое... Ты мне, как перед попом, скажи: ты всерьез любишь Таню?

— Люблю... Всерьез...

— Ну, помолись на небо...

Гаврюшка снял фуражку и перекрестился...

— Ну, а теперь пойдем...

Пошли...

— Ты что же? Заговор знаешь? — спросил Гаврюшка, несколько взволнованный.

— Какой там заговор! — ласково и участливо говорит Петухин. — Что я, баба, что ли, заговоры-то читать? Жизнь знаю... И люблю... Вот и весь заговор. Чудак ты, ваше благородие. Заговор!

...Петухин сидит в кресле, вспоминает эти сцены и улыбается.

— Молодость, неопытность, — бормочет он сам с собой, — а проживи с мое, другое запоешь...

И опять в голову лезут думы о том, почему на земле так мало счастья? Все хотят его, все тянутся к нему, а оно

как кукушка на часах, то выглянет, то скроется. Жизнь, такую хорошую, такую привольную,— с солнцем, с небом, с реками, лесами,— люди делают каторгой. Жить тяжело, душно...

В спальне зазвонили часы — торопливо, деловито...

— Восемь!

Петухин поворачивается к окну, из которого его обливает лунный свет, и что-то, улыбаясь, бормочет.

«Вот восемь часов вечера,— думает он,— сколько сейчас в эту минуту рождается людей и умирает. Те, что умирают, много любили, быть может, много мучились. Те, что рождаются, много будут любить и много мучиться. И во всем какая-то нелепость, бестолковость. И как, вероятно, все это ничтожно и мелко перед богом, у которого тысяча лет — как один день... И неужели же когда-нибудь перед этим богом предстанут и Герасим, и Гаврюшка, и Таня, и он, Петухин? И неужели бог, такой огромный, такой великий, живущий тысячу лет, как один день, будет судиться с ними, наказывать их, мучить?»

И губы Петухина шепчут, и голова его покачивается:

— Нет, нет, нет...

VI

В сенях стукнула дверь.

У Петухина сильно забилось сердце,— он затаил дыхание и весь обратился в слух: пришла из церкви Таня. Слышно каждое ее движение. В сенях темно, и вот она осторожно ступает, боясь на что-нибудь наткнуться, вот шарит рукой по двери и не может нащупать скобки, вот она нашла ее, нажала; дверь, отворяясь, скрипит; Таня входит в мастерскую, и там темно, а она боится темноты. Окликает:

— Павел Мартыныч!

Петухин молчит и боится сразу отозваться: можно напугать.

— Мартыныч! — снова повторяет Таня, и голос ее дрожит, как перед слезами.— Мартыныч!

Петухин делает вид, будто дремал и только сейчас услышал ее.

— А? Кто это? Это ты, Таня? — словно спросонья, спрашивает он.

— Я,— отвечает Таня,— как вы меня напугали... Думала — никого дома нет.

Она, в кофточке, в кружевной косынке, входит в комнату: ее отлично видно, потому что свет из окна прямо падает ей на лицо. И вся она такая хрупкая, изящная. Глаза немного блестят и открыты шире обыкновенного; чувствуется робость, испуг... Она вошла в комнату и как будто не знает, что нужно дальше делать.

— А я тут присел и тово...— говорит Петухин, искусственно зевая и протирая глаза,— старость... Где присел,— сейчас же глаза под себя... Кончилась вечерня?

Таня отлично знает, что он здесь сидит давно и не спит, а все думает и ожидает ее, чтобы опять говорить — и все о том же. И разговор этот — преступный, беззаконный, передать его мужу нельзя, а все-таки сладкий он, щемит от него душу, хочется решиться на что-то окончательное, бесповоротное, непоправимое, хочется махнуть на все рукой и броситься в жизнь, как в воду. И — или жить, или утонуть.

— Кончилась...— отвечает она.

— Та-ак...— протягивает Петухин и опять небрежно зевает.— А супруг ваш, Герасим Егорович, пошли работу сдавать. Ждать велели часу так в двенадцатом. Никак не раньше. Долг там им нужно какой-то старинный получить, приклад разный купить, и все такое.

Таня, ничего не отвечая, проходит к себе в спальню и начинает медленно переодеваться. Огня она не зажигает. Слышно, как достает что-то из гардероба, как влезает на стул и потом снова опускается на пол: нога ступает легко и эластично. Переоденется, будет ставить самовар.

«Надо говорить!» — думает Петухин, и сердце опять так начинает биться, что он закрывает, как в изнеможенье, глаза и прислоняется затылком к креслу.

В третий раз уж говорит он с нею. Таня, видимо, боится этих речей и в то же время хочет их: ведь он говорит о том, о чем она сама думает каждый день, каждую ночь, в церкви, дома, на улице... И все сильнее и сильнее она подчиняется его мысли, с каждым днем его думы о жизни, о судьбе, о боге все глубже и глубже проникают в нее и сживаются с нею. Видно, как растет человек, преображается и боится своего преображения...

Тихо отворилась наконец дверь, и в комнату, где сидел

Петухин, робко вошла Таня. Она была в своей обычной, домашней кофточке, с косой, заплетенной по-девичьи, и выглядела как-то меньше, чем показалась сначала... Ступила два шага и остановилась у печки.

— Отец Влас служил,— говорит она для того, чтобы сказать хоть что-нибудь.

«Сама начинает,— подумал Петухин,— и чего же, старый болван, робею? — пронеслось у него в голове.— Как маленький... Ну, боюсь я ее, что ли?»

И он решительно повернулся к ней. Таня, заложивши руки назад, стояла спиной к печи, на фоне глянцевитого кафеля, освещенная месячным светом. Карие глаза ее, теперь почти черные, смотрели куда-то вдаль, беспокойно и тоскливо. Чего-то ждут они, о чем-то думают... И видно чрез них, как болит душа.

— Отец Власий? — для чего-то переспрашивает Петухин и добавляет: — Табак курит отец Власий хороший... Четыре сорок фунт. И голос у него ничего. На величании всех превосходит.

Опять начинается молчание и длится долго, томительно, минуты три. Петухин чувствует, что надо говорить, что драгоценное время уходит, что дело идет уже к девятому часу, а в одиннадцать с половиной вернется из города Герасим, и тогда все пропало: работа сдана почти вся, в город уходить незачем, и будет он торчать около Тани, как бельмо.

Петухин придает себе суровый вид, кашляет и многозначительно поднимает на Таню глаза.

— Ну, что же? — сердито начинает он.

Он сидит спиной к свету, глаза его в тени, и Тане хорошо и отчетливо видны только общие очертания его фигуры да взъерошенные волосы.

— Что? — переспрашивает Таня, словно не понимая, о чем идет речь. И голос у нее, как при кашле, срывается и делается грубым, необычным.

— Да вот о чем я говорил тебе... прошлый раз...— продолжает Петухин, нервно теребя пальцами скатерть.

— Говорил, говорил! Мало ли о чем говорил! Обо всем думать — головы не хватит... И еще я не понимаю, Павел Мартынович, зачем вы касаетесь меня? Вы живите сами по себе, я буду жить сама по себе... Убытку от этого вам никакого не может выйти.

— Дура ты, Танька,— вот тебе и сказ весь!..

Петухин вскакивает с кресла и начинает нервно бегать по комнате. Рваные туфли его смешно смурыжат по полу и сбивают дорожки, рубаха без пояса болтается во все стороны.

— Дура ты! — снова говорит он, останавливается и, пронизывая ее глазами, продолжает: — Жить не могу, когда несправедливость на земле вижу, да какую! Несправедливость-то, глупая, разная бывает: ну, там деньги отняли, поколотили, даже убили тебя — это ерунда! Это тело твое убили, ну и прах с ними! И эту несправедливость я перенесть могу. Но когда у человека душу убивают, да еще у какого человека: молодого, здорового, которому жить не тужить, тогда я терпеть не могу... Да! Не могу! Вот тебе и сказ весь. Тогда я должен поправлять дело! Защищать должен! Исправлять жизнь должен! Да! я Петухин,— пусть я пьяница и человек маленький,— исправлять жизнь должен и буду, как сумею... И думаю, что на том свете бог похвалит меня за это... Ведь вот ты... Ты же любишь Гаврюшку?

— Люблю.

— Ну и что же? Что мешает тебе любить его?

Таня прямо и спокойно вскидывает на него свои карие глаза, которые в темноте блестят по-особенному, и отвечает:

— Как что? Да ведь Герасиму Егоровичу-то я перед богом клялась...

— В чем клялась?

— В чем клянутся в церкви, когда венчаются: в том и я клялась.

Петухин опять бросается по комнате.

— Клялась! Перед богом! — говорит он, жестикулируя обеими руками.— Нужна богу твоя клятва! Да пойми же ты, глупая, что когда бог-то слышал, как ты клялась, ты, похожая на весенний цветок, клялась какому-то изжившемуся старику, так ведь бог плакал! Пойми, дурочка, плакал бог! Богу жалко тебя было...

Петухин останавливается около Тани, берет ее за руку, глаза его делаются лучистыми и ласковыми.

— Богу жалко тебя было! — продолжал он.— Ведь бог что? Бог счастья всем хочет, добра,— пойми ты это. Разве для зла создавал бы бог людей? Ну? Разве нужны ему наши страданья? Наши муки? Раз ты любишь Гаврюшку, а Гав-

рюшка любит тебя — значит, эта любовь от бога, значит — она угодна ему. А если там какие-то злые дураки сковали тебя, да в церковь притащили, да привязали на всю жизнь к какому-то, прости господи, хрену, так и нужно подчиняться не богу, а этим дуракам? Милая ты моя! Цветок ты мой ранний! Да и клятва твоя... Ведь она глупа, эта клятва, и опять-таки людьми придумана, а не богом. Людьми придумана для того, чтобы вот, к примеру сказать, связать то, что само собою не связывается. Вот ты и Гаврюшка, вы любите друг друга,— на кой вам шут какие-то там клятвы? Любовь — она сама клятва! Милая, милая! Люди, братец ты мой, такого на зе́мле нагородили, так занавозили человеческую душу, так жизнь запутали, что бог-то, поди, не рад, что и людей создал. И нужно, деточка моя, людям, у которых есть в душе хоть маленькая искорка, нужно распутывать сетку эту. Вот и ты. Тебя запутали, а ты не подчинись и потихоньку распрастывайся. Бог увидит, что ты ценишь и бережешь душу, которую он тебе дал, и полюбит тебя, и поможет тебе. Ты распростаешься, а там, глядя на тебя, и другой начнет распутываться, там третий, дальше — больше, пятый, десятый, и, еще может быть, сделается на земле прекрасная жизнь. А то: клятва! Не-ет, девушка, бог-то, бог, когда слышал твои клятвы, сказал ангелам, которые ведут запись жизни человеческой: «Слушайте вы, ангелы. Вон на земле, в церкви, клянется раба моя Татьяна. Сама не соображает, в чем клянется. Не принимайте этой клятвы. Не от сердца она,— по неволе! И греха, если она нарушит клятву эту, грехом не считать, и в книгу этого не записывать, и ответа на суде от нее не спрашивать!» Так сказал бог.

Петухин подвел Таню к окну.

— Посмотри вон. Разве эти звезды не людям светят? Разве они не для украшения жизни созданы? Нужно, девка, каждую ночь подолгу смотреть на них, и тогда поймешь, в чем дело. И будешь счастливой. Я вот человек счастливый, прямо так и говорю: я — счастливый. Жизнь я вот насквозь, как хрусталь, вижу и понимаю, что в ней хорошо, что плохо. И живу по-хорошему, и бог любит меня. А сколько счастья он мне посылал, царь ты мой небесный! И оно, счастье-то, близко около человека лежит, вот оно, в тебе самой счастье твое, только гляди на мир своими глазами — и весь разговор в этом. И когда будет наступать старость,

вспомнишь свою хорошую, веселую молодость и скажешь: «Вот молодцом жила! Наплевала на всех — и дело с концом!» Да, ей-богу! Чего там?

Таня молчала, губы ее подергивались, а глаза, как две чаши, наполнялись светлой и лучистой думой. Петухин наклонился к ней совсем близко, шептал, и шепот его становился все радостнее и радостнее:

— Любишь? По рукам, значит? Ну, во-от! Как ты потом поблагодаришь меня! Вот, скажешь, пес старый, придворный артист шаха персидского! И умница! И молодец! Будильник тебе подарю... Не хотел до смерти с ним расставаться, а тебе подарю, ей-богу, не вру: подарю... Люблю, чтобы люди хорошо жили! А около тебя-то Гаврюшка будет да еще будильник... Какого тебе еще корабля надо? Живи не тужи!

Таня выдернула от него руку и быстро ушла в спальню... Петухин постоял немного у окна, беспокойно прислушался, и лицо его распустилось в улыбку.

— Плачет...— облегченно прошептал он.— Плачет... Это хорошо... К счастью... Слава тебе, господи!

Растопырив руки, добрался он ощупью до мастерской, нашел там где-то за печкой свое пальтишко, накинул его на плечи и торопливо выбежал во двор.

Ясно и четко освещал месяц всю улицу, по которой вверх побежал Петухин, шурша своими большими, не по ноге, калошами. Черная тень его, то переломившись, то во всю свою неуклюжую длину, прыгала по заборам и стенам уже заснувших домов. Петухин спешил, что-то бормотал и ругал лужицы, которые маленькими зеркальцами блестели на неровностях тротуара.

VII

Счастливый, улыбающийся, надев пальто в рукава, сидел Петухин в саду на скамеечке и курил. Месяц, округлившись, поднялся еще выше и залил светом все небо, землю, сад, которому так сладко дремалось в эту полную сил и возрождения ночь. Под землей делалась работа, радостная и срочная. Переливалась кровь и бурлила, юная, сильная. Протекала она в деревья, в цветы, в травы,— бесшумно, как по жилам, струилась вверх и рвалась наружу, к свету, к небу...

— Да, братец ты мой! — говорил Петухин, оглядывая сад, видный насквозь. — Вот и весны дождались! Да-а... Вот и зацветешь скоро. Соловьи, брат, к тебе прилетят, песни запоют... Знатно заживем! Шалаш вот под яблоней соорудим... Спать на вольном воздухе будем... Да-а... Знатно!

Чем глубже в ночь, тем становилось все холоднее. Было зябко в пальтишке на рыбьем меху, и Петухин, чтобы согреться, закурил, защищая спичку ладонями, набрал полон рот дыма и затем сразу, клубом, выпустил его с таким расчетом, чтобы согреть себе нос. Порою он начинал как-то особенно хитро смотреть перед собой, щурился, жмурил глаза: что-то плавало в его уме, и это что-то заслуживало насмешки, победной и торжествующей... Один из хищников жизни, хищников маленьких, но жестоких, не рассуждающих, выхватывающих из ее гущи самые сочные и яркие жертвы, терпел теперь кару, и он, Петухин, содействовал этой правде, сделал эту правду торжествующею. Теперь его бог смотрит с неба и простирает над ним благословляющую руку.

Бывало когда-то, что в такие же ночи, ясные и радостные, — только теплые, — бегала к нему в рощу Домна. Трава была высокая и прохладная, небо синее, соловьи не засыпали напролет до самого утра, а звезды, казалось, справляют веселый праздник. И сколько разговоров было за эти ночи, сколько дум! А когда он жил в Орле, в магазине готового платья Совокина с сыном, его любила черноглазая Шура. Та любила песню про Ваньку-ключника... Славная песня!

Петухин зажмурил глаза, потом сразу открыл их, тряхнул головой и замурлыкал тихим, высоким тенорком:

— «В саду ягода малина — во цвету-то вся была...»

Это поет запевала. Только кончит — подхватывает хор:

«А княгиня молодая с князем в тереме жила!»

Хор большой, как это бывает на народных гуляньях, одетый в барские костюмы, заложивший руки в боки, с залихватскими тенорами и с глубокой, как колодезь, октавой. И среди этих песенников — он, Петухин, тоже одетый боярином, молодой, задорный, черту не брат, с лихими усами: вылитый Ванька-ключник. Его кафтан новее всех, знает песню он лучше всех, тенор его особенно выделяется: публика, столпившаяся у эстрады, смотрит на него с восхищеньем и спрашивает, откуда этот молодец взялся. Басам

не особенно нравится прохвост Ванька, соблазнивший молодую княгиню, и они очень неохотно поспешают с низов за головорезами-тенорами. У басов больше лежит душа к старому князю, у которого подвалы трещат от золота и заморского вина.

— «Он не даривал княгине ни парчи, ни кумачу»,— снова, зажмурив глаза, воображает себя запевалой Петухин, и хор снова удивляется: — «А княгиня к нему льнула, как рубашка ко плечу».

Кончится, бывало, концертное отделение, начинается новый триумф Петухина: бег в мешках.

— Завязывай! — кричит распорядитель Матвей Матвеич.— Хорошенько узлы закручивай, чтобы свободы не было!

А кругом за веревкой люди, ждут, смеются... В палатке сидят судьи, и на красном столе воздвигается приз: будильник с надписью: «Победителю».

«Смейся, смейся! — думает Петухин.— А ты поди, пробежи! Тогда и засмейся».

Он серьезен, к искусству относится с уважением и почтением и думает, что здесь нечего зубоскалить.

Побежали,— падают, отстают... И только один впереди несется в мешке, как без мешка. Нужно уметь, нужно знать, как в тесноте переставлять ноги... Идут разговоры: «Кто это? А вы не знаете? Петухин! Портной Петухин! Одарил же бог! Браво, браво, господин Петухин! Ваше искусство — поразительное... Извольте по заслугам вашим приз получить: будильничек-с. Девять с полтиной в покупке заплачен... Рано будит и две муыкальные песни исполняет».

И сейчас же из толпы высовывается завистливая рожа:

— Портной! Возьми за приз синюю бумагу!

Много уже времени прошло, но и сейчас Петухин не может вспомнить этого без отвращения: за приз? За искусство? Синюю бумагу?

— Тут сотни не нужны, болван ты этакой, а ты с синей бумагой лезешь! — говорит Петухин гордо и презрительно.— Не видал я твоей синей бумаги! Удивил чем... Ты вот заслужи поди, добейся... А то — синяя бумага! Какие вы, братцы, несообразительные!

— Дураки! — и теперь говорит Петухин, открывает глаза и прислушивается: от Варвары-Великомученицы разда-

ется, как вздох, удар колокола, нежного и серебристого...

— Одиннадцать! — с ужасом сосчитал он удары.— Сатана ты старая, анафема! Что же ты думаешь? Ведь вот-вот Гараська явиться должен! Ах ты черт голландский!

И Петухин побежал к дому, стукнул, не глядя, в окно. Никто не отозвался.

«Что за чертовщина?» — подумал он, стукнул погромче, заглянул. По комнате, наполовину освещенной месяцем, прошло что-то черное, высокое. Около него обвилось белое, нежное,— обвилось и расстаться не может...

— Ну, ну,— ворчит недовольно Петухин и, отвернувшись, снова стучит сурово и сердито: надо честь знать да утирать бороду. Ишь, разлимонились!

Хлопнула дверь. На пороге показался высокий, статный парень.

— Ну, Гаврюшенька, как дела-то? — ехидно спросил Петухин и сейчас же опять сделал серьезное лицо.— Прежней дорогой-то идти нельзя,— того и смотри, на хозяна моего напорешься,— а ты вот через сад жарь, а там огородами до самого переезда... Понимé? Ну, вот то-то и оно... Ну-с, айда...

Пошли. Петухин вдруг останавливается и спрашивает:

— Ну, а насчет будущего уговорились?

— Уговорились! — отвечает Гаврюшка.

— Где же? — не может сдержать любопытства Петухин.

— У Варвары...

— То-то, у Варвары... Ну, айда, айда... Живо... Смотри, угощенье не забудь...

Гаврюшка лезет в карман, достает деньги и сует их Петухину. Тот сердится:

— Болван! Что ты мне деньги-то даешь! Что я, сводня, что ли? Ради правды устраиваю я это... А ты деньги! Орясина! Пивом угостишь... И знаешь еще что? Две порции осетровой солянки... Ей-богу! Идет?

— Идет! Идет! — радостно отвечает Гаврюшка и перелезает через забор.

— До свиданья! — кричит он.

— Счастливо! — отвечает Петухин.

Залитая светом, у порога стоит Таня. На лице и радость, и страх.

— Ну, а дальше что же делать? Как быть с мужем? Как ему смотреть в глаза? Ведь вот он сейчас же явится...— тревожно говорит она.— Ну, научи же, Мартыныч!

Петухин закуривает папиросу и защищает спичку ладонями. Глубоко затягивается, думает о чем-то, потом сразу вскидывает глаза на Таню и отвечает:

— Понимаешь, хозяйка... Вот в чем дело-то... Ты пойми. Я свою обязанность исполнил. Чувствуешь? Ну, а теперь уж твое дело. Как хочешь, так и разводи планы. Хочешь с мужем жить, живи! Не хочешь — не живи! Это, брат, теперь твое дело, и никому нет до этого касательства. Как ты думаешь жить — тебе об этом только и знать. Вот тебе мой сказ. Вот завтра у Варвары и поговори об этом с Гаврюшкой. Теперь уж ты к нему. Да. Советы он будет давать...

— Господи! — с тоскою вспомнила Таня.— И причащаться завтра...

— А что ж? — серьезно ответил Петухин.— Теперь ты чиста перед богом. Теперь душа твоя — как хрусталь. Поруганье твое над богом-то окончилось. Теперь причащайся...

Стукнула калитка. Вошел Герасим Егорович с бумажными кульками и какими-то покупками.

— Вот и я...— сказал он,— а ты, Танюша, давно пришла? Вот грушки. Хорошие, сочные. Полтинничек десяток. Правило слушала? Ну, вот-вот. А там, сзади меня,— и Герасим Егорович обратился к Петухину: — Михрютка полз... Пьяно-распьяно! И все «Чудный месяц» поет... Ну и народ!..

Петухин прислушался. В самом деле поет,— звонко, задорно. И Петухин решил, что если бы Михрютке не пьянствовать и себя побольше беречь, то мог бы получиться тенор, на втору совершенно пригодный.

Хозяева ушли в дом. У Варвары опять ударили в колокол: начиналась полночь.

РОДИТЕЛИ

Рассказ

Восемь часов вечера. На дворе — мороз, идет снег, вот уже пятый день. В столовой купца Ивана Трифоныча Егорова тепло и уютно. Ставни с улицы давно уже закрыты и укреплены болтами; посредине комнаты, на круглом столе шумит самовар, выпуская вверх пар; над столом горит висячая лампа с молочным абажуром и отражается в окнах, стаканах, в кафельной печи... За столом, друг против друга, сидят и пьют чай вприкуску сам хозяин, Иван Трифоныч, маленький старичок, с виноватыми, слезящимися глазами, и гость Михайло Михайлович, тоже купец, его ближайший приятель и кум, — человек, наоборот, огромного роста, заросший весь волосами, в очках, которые в аптекарских магазинах называют «консервами». У печи приютилась жена Ивана Трифоныча, старушка в черном платке, такая же маленькая и сморщенная, как он; сидит согнувшись и вяжет чулок, быстро двигая спицами.

Егоров всю жизнь торговал кожами и готовой обувью, нажил большие деньги, теперь уже бросил торговлю и славится в городе тем, что много заботится о душе и жертвует на дешевые столовые и ночлежные дома. Со всеми он всегда ладил, покупатели любили его за тихий, уступчивый характер, и торговля шла на славу. Михайло Михайлович наоборот: торгует и до сих пор, но ему не везет, и он постоянно переучитывает векселя, ворча, что в России нельзя вести правильной торговли и не прыгать с крыш, то есть не банкротиться. Но зато он славится и уважаем в округе за свою образованность: он выписывает дешевые газеты, спорит со старообрядцами о перстосложении, и даже, когда единственный сын Ивана Трифоныча, Алек-

сандр, будучи студентом, приезжал домой из Питера, Михайло Михайлыч обстоятельно разъяснял ему, почему слово хлѣб пишется через ѣ. Но самым главным и удивительным его достоинством было то, что имена всех православных святых он знал по дням года; стоило спросить: «А такого-то числа каких преподобных?» — и Михайло Михайлыч, немножко подумав, говорил безошибочно. Однажды архиерей, ездивший по ревизии, узнал об этом, призвал его к себе и, проэкзаменовав по святцам, очень удивился и сказал:

— Ну, память! Для государственнаго мужа это было бы весьма величайшее облегчение.

С тех пор Михайло Михайлович еще больше гордится собой... Если бы в городе была дума, то его непременно избрали бы в головы.

В большом бездетном доме Ивана Трифоныча полнейшая тишина. Освещена только столовая, а остальные комнаты погружены во мрак. Слышно только, как в зале попискивает канарейка да часы иногда отбивают время. И среди этой тишины густой бас Михайла Михайлыча, медленный, рассудительный, кажется толстым канатом, который беспрестанно разворачивается и все тянется, тянется; так что не знаешь, когда ему будет конец...

— Конешно,— говорит он, выбирая ложечкой варенье из стакана,— если посмотреть на твоего сына Александра, а моего крестника, не прилагая особого умственного рассуждения, то, оно конешно... Проживает он в столице Российской Империи, занимается писанием рассказов и прочих светских сочинений, включая сюда и стихосложение, и получает за это деньги. Прекрасно! Это, конешно, так... С точки зрения материальной, за что бы ты ни получал деньги,— лишь бы получал. И твой сын Александр Иванович, как ты сам неоднократно говорил мне в наших дружеских беседах, зарабатывает в месяц рублей сто восемьдесят — двести...

— А уж это какой месяц, батюшка,— отозвалась старуха,— какой месяц! А то и двести пятьдесят выгоняет.

— А то и двести пятьдесят выгоняет...— подтвердил Иван Трифоныч.— Месяц на месяц не приходится...

— Прекрасно, мать, прекрасно... Пусть будет двести пять-

десят! Деньги, конечно, хорошие, что и говорить! Но все не то, что состоять на государственной службе! Не то! Там ты служишь, и не только что в настоящем, скажем, жалованье получаешь, столовыя, квартирныя, отопление, освещение и все прочее, но и в будущем себе уготовишь: в отставку выйдешь — пенсион тебе по основным учреждениям и законодательствам полагается. Как первое число подошло, отправляйся, сударь мой, в государственное казначейство, и только труда тебе, что расписаться в получении. Получил, мол, следуемыя мне и так далее...

— Ну-у! — протянула старуха, кланяясь ему. — У нас, батюшка, своих четыреста тысяч в банке лежит: все Сашеньке! Детей у нас нет... А дом-то! Во какой! Умрем — квартирантов пустит — и то пятьсот, а то и больше получать будет...

— Скажем, денжищ у вас пропасть! — соглашается Михайло Михайлович, и по лицу его пробегает легкая тень зависти, но сейчас же сменяется прежним задором: он хитро щурит глаз и пристукивает пальцем по столу. — Ну, а скажи-ка мне, матушка, что, состоя в оных сотрудниках и литераторах разных ежедневных, еженедельных и ежемесячных журналов, можно ли, например, чинов добиться? Можно ли быть удостоенным причисления к чину четырнадцатого класса, губернскаго секретаря, скажем? Ага! Можно ли, состоя в оных литераторах и стихотворцах, быть сопричисленным к ордену, хотя быть святыя Анны третьей степени? Ага! Да ты хоть сорок тысяч рассказов напиши золотыми буквами, а ничего не добьешься. Потому, государыня моя, частная служба. Что конторщик у тебя, бывало, счета писал и ты его могла ругать на все корки, — то и писатель. Даже, мать моя, формы никакой ему не полагается. Да. Поезжай-ка в Москву: там увидишь их тьму-тьмущую! И все смотришь, из дворянишков каких промотавшихся да из поповичей, семинарского звания. Право. Голытьба! Какому-нибудь писцу штатному в казенной палате и кокарда полагается, и золотыя пуговицы... Приди ты к нему в канцелярию, он накричит на тебя, и слова ему супротив не скажешь. Потому чин! Барин! Муж государственный! Персона! А писателю — ничего. Что писатель, что аптекарь — одна честь. Ходи в шляпе, и никаких. Ага? То-то оно и есть!

Михайло Михайлыч отгрыз кусочек сахару и принялся за чай. Было видно, когда он громко тянул с блюдечка, что какие-то новые мысли, новые аргументы рождаются теперь в его мозгу и только ждут, когда хозяин их, наконец, освободит рот от посторонних занятий, чтобы сейчас же вылететь на свободу,— и Михайло Михайлович улыбался им, лукаво щурился, чувствуя, какой эффект они должны сейчас произвести. Не было такого в мире занятия, ремесла, которого бы он не оценивал со своей точки зрения, строго практической,— и поэтому все, например, художники для него были возможны и он соглашался признать их полезными людьми лишь постольку, поскольку они могли писать иконы и вывески; музыканты — играть на свадьбах, управлять хорами и сочинять новые херувимские. На театр он глядел как на баловство, и актеров величал развратниками; а про беллетристику презрительно отзывался: «Романы!»

Допив чай, он перевернул стакан вверх дном, на котором положил оставшийся мокрый кусочек сахару, погладил бороду и, улыбнувшись, начал опять:

— Сашенька-то твой простой человек, нехитрый... Хотя и университет окончил, высшее, скажем, учебное заведение, которых на всю Россию девять зданий полагается. Весь вот в него, в старика, пошел. Такой же! Воды не помутит. А ты на других писателей посмотри. Вот тебе Толстой граф! Он, матушка моя, сначала до графов дошел, а потом уже и за письмо принялся. На гулянках, так сказать, на досуге, от нечего делать. И пишет! Говорят, умно пишет, замечательно пишет! Все газеты так и трубят. Заграничные люди и то удивляются. Как это, мол, в такой дикой и необразованной стране и такое вдруг, наше вам, писатель! Хорошо-с. Слышу я такие речи, беру повесть одну его сочинения и читаю, конешно. Читаю внимательно, вслух, навострив весь свой мозг. Повесть про хозяина и работника. Ну, думаю, вот сейчас планы разведет, как оно и что. Граф! А повесть угадай о чем написана? — Михайло Михайлыч усмехнулся.— Пишет это он, как мужик лошадь на дворе запрягал, потом они поехали степью; описывает, как мятель поднялась и как хозяин замерз, а работник жив остался. А ехали-то они лес покупать! И все?! Старый человек, а такие повести и рассказы пишет! Ну что тут особенного? Замерз и замерз. Ну, царство тебе небесное!

Мало ли народу всякого звания зимой замерзает? Какой в этом особенный сюжет? На то она и зима. Все, значит, и описывай?

— А тут, может, нравоучение молодым людям...— упрямо качнув головой, заметила старуха.— Не ездий, значит, в мятель, погляди, батюшка, сначала на небо да одеждой теплой запасись хорошенько. И к месту, значит, сочинение выходит. Ты в разум возьми!

Михайло Михайлыч досадливо поморщился.

— Ну, скажем, это так... А твой сын, Александр Иванович, такое, мать моя, пишет, что почитаешь и удивишься: неужели этому...

Но тут Михайло Михайлыч внезапно смолк, так как Иван Трифоныч, встревоженный, умоляюще глядел на него и делал из-за самовара знаки, чтобы замолчать. Он смутился, густо покраснел, неловко погладил бороду и заметил совершенно иным тоном:

— Погода-то... разыгрывается... Почты уже другой день нет. В северных странах при таких обстоятельствах костры на улицах зажигают. Проходящий народ идет и греется.

Наступает молчание. Михайло Михайлович стучит ложечкой по блюдцу и не моргая смотрит в темное, точно отлакированное окно, в котором отразилась и лампа, и самовар, и белая дверь. Иван Трифоныч облокотился на стол и задумался. Старуха по-прежнему вяжет чулок и улыбается чему-то далекому-далекому. А на дворе малопомалу поднимается ветер, и слышно, как он то ставней рванет, то загудит в трубе и со свистом пронесется по крыше. Маленький, сонный городок теперь весь занесен снегом, и кажется, что он, в поисках тепла и уюта, еще больше прижался к земле своими деревянными, покривившимися домиками... Темно, на улицах нет никого... И только кое-где, через отверстие в ставне пробивается робкая полоска света, причудливо отражаясь на высоких сугробах...

Приходит кухарка Марья, босая, с засученными рукавами, убирает остывший самовар, и тень ее тоже отражается в окне... А три человека все сидят, о чем-то думают, и медленно тянется не заполненное ничем время.

Наконец в зале часы степенно, по-купечески, отбивают девять...

— Охо-хо-хо!..— вздыхает Михайло Михайлыч и потягивается, забрасывая назад руки.— Засиделся я... Идти надо, идти... Ребята небось уже затворили... Сказывают, будто купец незнакомый из Астрахани приехал, фамилие чудное... Не то Боболеев, не то Околеев... Чудное! Д-да... Сегодня у нас восемнадцатое? Восемнадцатое! Завтра, значит... Завтра, значит...— И он, прищурив глаз, о чем-то напряженно задумался.— Завтра, значит, пророка Авдия и мученика Авраама. До рождества еще целый месяц... О-хо-хо-оо!.. Ну, прощай, мать!.. Вяжи чулок хорошенько...

— Прощай, батюшка, прощай! Заходи вечерком...

— Зайду, зайду... И то каждый вечер хожу...

Иван Трифоныч зажег свечу и пошел проводить его по темным комнатам до передней. Там Михайло Михайлович облачился в свою огромную волчью шубу, спрятавшую его всего, и еще для чего-то замотал шарфом шею, и тень его, занявшая всю комнату, беспокойно колыхалась на потолке и на стенах. Иван Трифоныч, стоя перед ним со свечкой в руках, долго мялся и наконец сказал нерешительно, чуть слышно:

— Сколько раз я, Миша, просил тебя! Не говори ты, создателя ради, о чем пишет Сашенька. Ведь она, мать, дура неграмотная. Ведь она помрет, если узнает. Я уже и то всяческими силами стараюсь скрыть от ней. Всяческими силами, братец!

И он выпустил его в дверь. Порыв ветра затушил свечу и обдал старика холодом. И уже из темноты, с порога, раздался бас Михайла Михайлыча, застенчивый, виноватый:

— Все, брат, забываю... Увлекаюсь... Неправильное функционирование памяти и других головных сосудов. Не буду больше.

— Не надо, братец, не надо... Зачем беспокоить ее? Она дура, неграмотная...

Иван Трифоныч запер за ним дверь, потрогал замок, крепок ли, и осторожно, ощупью, воротился в темные, чуть освещенные комнаты... И в зале и в гостиной горят перед образами дорогие, массивные лампады, а из столовой в гостиную, через отворенную дверь падает широкая полоса

света, ярко выделяя у порога блестящий кусок паркетного пола...

Делать нечего... И вот каждый вечер, проводив кума, Иван Трифоныч ходит по этим темным, чуть освещенным комнатам и думает... Слышно, как в столовой Марья накрывает ужин и, гремя тарелками, говорит:

— У Петровых опять собака воет. Старик, верно, кончится скоро... Соборовали уже два раза. Мятель!..

Что-то отвечает старуха, и разговор затевается у них длинный, мирный...

А он все ходит, ходит... Большие комнаты, тишина, одиночество, старость, большое состояние — так ненужны, тяжелы для него... Где-то назади, далеко, как пройденная дорога, протянулся длинный и бесцельный трудовой век, дни которого так похожи друг на друга. Где же радость? Где счастье? Почему его не охватывает трепет при мысли, что в банке, как должный и достойный результат этого труда, лежат четыреста тысяч?

— Купцу надо детей иметь, много детей...— вспоминает он слова Михайла Михайлыча.— Потому купец без детей как змей без хвоста.

Старик закрывает глаза, и перед ним, как живой, вырастает Сашенька со своим обычным, грустным и задумчивым лицом. Для него нажиты деньги, но почему он никогда не говорит, не пишет о них? С тех пор как его отправили в университет, он сделался чужим для их дома. Не успевал, бывало, приехать на каникулы, как через неделю его снова тянуло в Питер: глаза делались вялыми, сонными, и он говорил:

— Скучно у вас, папаша, скучно! В Питер надо ехать: там люди, газеты, опера, там жизнь! А здесь... глушь, акцизные чиновники какие-то...

Его собирали, провожали на вокзал, и там, стоя на платформе, он, казалось, понимал полные ласковой любви тоску и грусть стариков и говорил:

— Жалко мне вас, ей-богу! Одни вы! И зачем вы меня учили? Мне бы тогда не было скучно здесь! Жил бы с вами, торговал...

А когда трогался поезд, он, уже веселый, улыбающийся, махал им платком из вагона и кланялся; а они смотрели ему вслед, и в голове Ивана Трифоныча бессмысленно

вертелись слова: «Люди, газеты, опера...» И хотелось сказать старухе, что Сашенька для них чужой человек теперь...

Вспоминает старик, как это сознание росло в нем все больше и больше, когда Саша окончил курс и приезжал к ним уже не в студенческой форме, а в штатской, красиво облегавшей его паре. Он возмужал, выросла бородка, усы сделались длинными и красивыми. Взгляд стал еще глубже, серьезнее и как-то грустнее. Все думали, что Сашенька теперь поступит на службу, будет судебным следователем или адвокатом; а он как-то после обеда позвал отца в кабинет и, протягивая ему газету, сказал:

— Вот видишь? В этом номере напечатан мой рассказ. Прочти-ка! И смотри! Видишь? Подпись «А. Егоров».— И он ногтем придавил то место.— Теперь я, брат, литератор...

Он спросил: «А на службу? не думаешь поступать?» Саша только усмехнулся и через два дня уехал, и опять, когда они, провожая, стояли на платформе, в голове Ивана Трифоныча вертелись слова: «Люди, газеты, опера...» И было ясно, что какие-то люди, газеты, опера отнимают у них сына и что, в сущности, не надо было целый век гнуть спину, трудиться, наживать четыреста тысяч...

И вот, шесть месяцев тому назад, на имя Ивана Трифоныча пришла из Петербурга заказная бандероль. В ней была вложена небольшая желтенькая книжка, на обложке которой, вверху, раздельно и ясно, было напечатано: «Александр Егоров», а пониже, еще крупнее, во всю ширину листа, стояло: «Рассказы». У старика задрожали руки... Саша написал целую книгу! С гордостью он подал ту книгу старухе и сказал, волнуясь:

— Вот, мать, Саша-то! Книга-то! Его сочинение!

Старуха, неграмотная, ласково улыбаясь, вертела книгу в руках, перелистывала неразрезанные листы, и на глазах у нее блестели слезы.

— Это что же? — спросила она.— Из своей головы Сашенька написал или так?

— Нет! — гордо усмехнулся старик.— У соседа ходил голову занимать!

И она долго, точно силясь понять и разобрать те длинные

и черные строки, которые прежде чем попасть в книгу, были в голове Сашеньки, всматривалась в них и вздыхала: зачем она не умеет читать!

Он отлично помнит, как в тот же день он благоговейно разрезал желтенькую книжку, потом отвернул первый лист и начал читать...И помнит он, как чем дольше читал страницы, написанные рукой его сына, тем более и более росло в нем недоумение, и в то же время какой-то необъяснимый страх охватывал его.

«Зачем он это пишет? — вертелись в голове беспокойные думы.— Зачем он пишет об этом?»

Неужели в столицах только и замечательного, что падшие женщины, вертепы всякие, пьяные, разгульные ночи, побоища? Во втором рассказе Сашенька описывал каких-то маляров, грязных, оборванных, ругающихся между собой. В третьем рассказывал про студента, который пил водку и сделался босяком. И вся книжка об этом. О тех мерзких, продажных женщинах, имя которых никогда не произносилось в их благочестивой, богобоязненной семье, о которых боялись думать,— Сашенька говорил публично, в печатной книжке, так же просто, как о хороших купцах или почетных гражданах. Записывал речи маляров, рисовал жизнь падших женщин, их слезы, страдания. И неужели Сашенька, этот милый и чистый, на которого когда-то ветрам не позволяли дуть, знаком со всей этой грязью, ходит в дома, участвует, быть может, и сам в этих разгулах? Да и наверное участвует,— иначе он и не знал бы этой жизни, не описывал бы ее так подробно, с такой жалостью, с такой грустью, от которой при чтении душа сжимается, на глазах навертываются слезы и делается стыдно, что на свете есть нужда, такая огромная, гнетущая, а у тебя в банке лежат без дела четыреста тысяч и ты, только вдвоем, живешь в большом, просторном доме, ешь каждый день вкусные обеды и пьешь чай с сухарями утром и вечером. А люди, несчастные, забитые, ожесточаются, называют жизнь бессмысленной, жестокой, проклинают ее, заливают горе вином, и их тащат в участок, бьют сапогами по лицу; а проснувшись поутру, они плачут, и опять с прежней силой на их плечи наваливается старая тоска, и в то же время, такие жалкие и несчастные, они не верят в бога, в ангелов-хранителей, посылаемых каждой душе христианской, ни в загробную жизнь, ни в причастие. И старик здесь воз у-

щался... Он знал и мог согласиться, что можно скучать и тосковать, если подойдет глухая, одинокая старость, если около тебя не улыбается молодое, милое лицо, для которого жил, трудился,— но говорить о тоске и скуке жизни, о ее бесцельности, когда на небе есть милосердный бог, который все даст, все пошлет, все простит, припади только с верою пред его распятием; когда будет святая загробная жизнь, ради которой целые миллионы людей молятся, постятся, отрекаются от земной жизни, живут в пещерах и спят в гробах; когда настанет час, в который все умершие восстанут, и оживут, и услышат глас сына божия,— это для него казалось диким и нелепым. Прежде он знал, что Саша далек от него, чужд ему; а теперь стало ясно и то, что Саша сбился с дороги, пошел не по тому пути, стал, быть может, несчастным человеком... То же самое говорил и Михайло Михайлович.

И теперь, каждый вечер, напившись чаю, Иван Трифоныч ходит сгорбившись по ковровой дорожке из залы в гостиную и думает. Где Саша? Может быть, он сейчас сидит где-нибудь в притоне и говорит, как пьяный студент в его книжке, о том, что нет бога, что жизнь скучна и мерзка? Может быть, он тоскует и пьет водку, плачет? И старик чувствовал, что эти думы съедают его, как огонь свечу. Пусть Саша не хочет земного счастья, пусть не нужны ему родители, чины, ордена; но зачем он душу свою губит? Сколько раз хотел он написать ему в Петербург, чтобы он верил в бога, не забывал его, молился ему,— брал перо, долго смотрел в чистую бумагу, которую раскладывал перед собой, и не находил слов.

Долго ходит старик. И когда сердце его заполняется тоской и отчаянием, когда ему трудно становится дышать и по лицу льются слезы,— он близко подходит к темным образам, в которых скрывается счастье и его, и сына, и всего мира; долго глядит в пятно, отраженное стеклом от красного света дорогих хрустальных лампад,— и шепчет свою заветную думу:

— Господи! Господи! Батюшка! На тебя одна надежда моя! На тебя! Пошли ты ему, милостивый, веру в тебя! Укрой его! Упаси его!

И слезы бегут по щекам веселыми капельками...

— Старик! Старичок! — раздается вдруг из гостиной ласковый голос.— Ужинать иди! Уже готово.

Иван Трифоныч вздрогнул, быстро вытер лицо и откликнулся:

— Иду! Иду!

На пороге, в полосе света, которую бросала из столовой лампа, стояла старуха и улыбалась ему навстречу.

— Опять, опять, старичок? — с ласковым укором сказала она, замечая, что глаза его красны.— Ну зачем, зачем это? Зачем, дорогой мой, старичок мой? Опять тоскуешь? Ведь Сашенька приедет к нам! Он будет с нами! Вот поверь мне! Чем хочешь отвечаю тебе: он будет с нами! И мы, все трое, будем жить в этом доме, тихо, мирно. Мы с тобой тихонько будем доживать век свой, а он будет писать свои рассказы. Теперь ты читаешь их, а тогда он сам будет читать их. Он приедет к нам! Приедет... Ведь в Питере жить плохо, ему там не нравится,— я знаю, знаю! А у нас придет весна, зацветут яблони, вишни, на пруду заколосятся камыши,— он это любит, он говорил мне. И говорил он мне, что звезды у нас серебряные, яркие,— а там, в Питере, не видать их из-за домов; а если и увидишь, то оне маленькие, тощие, чуть видные... Как же он будет жить? Чудачок ты этакий! А ты тоскуешь... Эх, ты!

Иван Трифоныч с улыбкой смотрел на нее, на ее верящие, ласковые глаза, и ему стало легко.

— Ну, ну, хорошо! — сказал он.— Пусть едет! пусть! Места у нас много, дом большой, тихий...

После ужина Марья быстро прибирает со стола посуду, вытирает тряпкой клеенку и застилает ее поверх скатертью, а потом одергивает свои рукава и садится в уголку комнаты.

— Ну, что же? — говорит Иван Трифоныч, лукаво улыбаясь и чувствуя себя господином положения.— Надо ночь делить. Стели-ко, Марьюшка, постельку! да баиньки! на спокой!

— Ну-у, Иван Трифоныч! — разочарованно протягивает старуха.— Спать! С этих пор, с десяти часов! Еще успеешь: ночь — год. Наспишься! Ты почитай нам лучше Сашенькину книжку...

— Да ведь и так всю прочитали! — говорит Иван Трифоныч.— Самая малость осталась до конца.

— Ну, да! малость! Рассказывай! Эх, будь я грамотная!.. Не стала бы просить! Сама бы так отчитывала, что мое вам почтение! Сходи-ко в кабинет, Марьюшка, принеси

книжку-то! Знаешь, желтенькая, с краю на этажерке лежит...

— Знаю, знаю! — говорит Марья и исчезает за дверью, громко шлепая по полу босыми ногами.

— Эх, будь я грамотная!..— задумчиво повторяет старуха, и глаза ее загораются.— Да я бы!.. — Она машет рукой и останавливается, в бессилии выразить то, что сделала бы тогда.— Я бы каждый день ему письма писала! И такое бы писала, что ах! Сказать не могу! Мне тоже скучно, старик! И как скучно бывает-то! До краев душа переполняется! И ничего сделать с собой не можешь... А иногда как подумаю, да посмотрю на свет божий, да гляну на небо, а там божьи звездочки теплятся, да месяц погуливает, да тучки чесутся,— и такой радостью тогда загорится сердце мое! И тогда я не только тебя люблю, Сашеньку, Марью, дом наш,— а и Петербург люблю, и Москву люблю, и все, все я люблю! И вот тогда хочется мне Сашеньке писать письма! Очень хочется! И не умею! Не умею, старик!

Иван Трифоныч глядит на нее, улыбается и думает, как похож на нее был Сашенька, когда говорил ему, что он теперь будет в газетах писать и на службу не поступит. Глаза у него были точь-в-точь такие, как сейчас у старухи: так же горели, блестели, так же размахивал он руками... Точь-в-точь! И Ивану Трифонычу становится почему-то весело.

Но вот по залу опять раздается шлепанье босых ног, и в комнате появляется Марья с книжкой в руках. На лице ее изображается необычайно торжественное выражение и удовольствие...

Иван Трифоныч берет книжку, достает из футляра очки, долго протирает их, поглядывая на свет, потом надевает, солидно кашляет, разворачивает книжку в том месте, где лежит бисерная закладка, проводит по корешку листов ладонью, снова кашляет и, наконец, говорит важным, необычно торжественным голосом:

— Ну-с, прочтем! Вчера остановились на двести шестьдесят первой странице...

Затем он еще раз оглядывает своих слушательниц долгим, строгим взглядом и начинает, глядя в книжку:

— Было море, далекое-далекое. Этого моря нельзя увидеть отсюда никоими способами, даже если влезть на самую

высокую гору и смотреть в самую лучшую подзорную трубу, стоящую сто рублей...

Иван Трифоныч перевел дух и посмотрел на окно, в котором отражались и лампа, и он сам, и старуха с чулком...

— По морю, конечно, плавали корабли и возили товары. Ездили купцы и бывали бури. В бурю корабли разбивались о скалистые берега, и тогда матросы и купцы гибли, а которые спасались, те выходили на берег и, мокрые, озябшие, становились на колени и молились богу...

Иван Трифоныч, наслюнив палец, медленно переворачивает страницу.

— И вот однажды шел корабль по имени «Крылатый»...

Он усиленно напрягает мозги, стараясь создать что-нибудь интересное, захватывающее; припоминает все, что ему приходилось читать в житиях святых, в газетах, что рассказывал Михайло Михайлович, и сочиняет, сочиняет, перелистывая страницы, в которых написано о мерзких женщинах, малярах, побоищах и о всем том, чего старухе слушать нельзя.

— Везли на нем товаров тьму-тьмущую! — медленно выдумывает старик.— И товар был не простой, а выписывал его царь персидский, дочку свою выдавал замуж и готовил приданое. Потому по нынешним временам и в Персии, дикой стране, без приданаго не очень-то берут. Там были бриллианты, сапфиры, дорогие шелковые и парчовые ткани по сто рублей за аршин, башмачки, осыпанные жемчугом; а что пуще всего берегли купцы, это был ларчик, спрятанный на самом дне корабля. А в ларчике том, на бархатном футляре, лежала корона из упавших звезд.

Иван Трифоныч постепенно, сам не замечая того, увлекается, забывает переворачивать страницы и смотрит все в одно место; а глаза его оживляются, и картины, одна за другой, вырисовываются в воображении, и он, как умеет, просто, бесхитростно рассказывает их своим слушательницам. Тут действуют и колдуны со своими страшными заговорами и заклятьями, и звери с хвостами в сто верст, и почему-то телефоны. Добродетель борется со злом и после огромных усилий, при помощи благодетельных гениев, побеждает, конечно. И вдруг, в самую интересную минуту,

сквозь радугу собравшихся образов, Иван Трифоныч снова слышит робкий голос жены:

— Старик! Старичок! — И вздрагивает...

— Ну, чего еще? — недовольно спрашивает он и сердито смотрит на нее через очки...

Иван Трифоныч очень не любит, когда ему мешают при чтении, потому что, во-первых, можно сбиться, а во-вторых, он уже и сам начинает верить в то, что рассказывает, и кажется ему, будто он действительно читает по книжке, а не сочиняет, и слова, красивые и звучные, свободно вылетают из груди, и кажется, будто рассказываешь о таких случаях, которые действительно бывали в жизни, только много-много лет тому назад, или, по крайней мере, обязательно будут когда-нибудь.

— Да ведь ты, милый, опять про корабль читаешь... и про корону...— говорит старуха, разматывая клубок.— Ты нам онамеднясь читал об этом. И как водяной дно ему поцарапал, хотел дыру прогрызть, и как монах на коленках молитвы стал читать по молитвеннику. Только монаха-то будто звали Антонием, а не Иваном... И опять, птиц этих не было.

Иван Трифоныч сразу смутился, потерял уверенность, виновато заморгал, потрогал очки и нерешительно заметил:

— Как читал? Не может быть! Не мог я этого читать! Мы до этого еще не доходили!

И он, еще более смутившись, покраснев от волненья, быстро перелистывает книгу, озабоченно разглядывая что-то по страницам, и даже капли пота выступают у него на лбу... «Попался! — думает он.— Ах, дурак старый, дурак старый!» — И вдруг радостно вспоминает, находя что-то в книжке и поднимая очки:

— Тэ-тэ-тэ-тэ-э! — И лицо Ивана Трифоныча снова проясняется в улыбку.— Господи, боже мой! И вправду ошибся! Фу-ты, дело какое! Вот память-то индюшиная! Ведь мы остановились не на сто сорок восьмой странице, а на сто сорок первой! Так, так, так... Фу-ты, господи! Как это меня угораздило!

— Ну, вот то-то! — говорит старуха.— А я слушаю, слушаю и думаю: да ведь это знакомое дело: и корабль, и монах...

— Так, так, так! — соглашается Иван Трифоныч, облег-

ченно вздыхая.— Сбился, сбился! Эка грех! Что значит старость-то! А? И умереть так-то забудешь. Надо со сто шестьдесят восьмой, а я со сто сорок первой! Так, так! Ну, начнем другой читать. Марьюшка! приверни лампу, пожалуйста. Коптит, кажется. Фитиль, верно, перегорел. Эка, господи!

Марья влезает на стул и, озабоченно глядя под колпак, привертывает фитиль. Становится немного темнее, и старик подносит книгу ближе к глазам. Он все еще улыбается своему промаху и время от времени укоризненно потряхивает головой.

— Ну, другой начнем! — повторяет он.— Эка, господи! Нужно со сто семьдесят третьей, а я со сто сорок восьмой! Память!.. Ну, вот другой рассказ — «Утес»! — торжественно возглашает он и медленно начинает:

— Страница сто пятьдесят четвертая! Рассказ «Утес»! На Тихом океане, где живут китайцы и другие разные народы, похожие на калмыков, был утес. Такой большой, что не только порохом, но и динамитом, самым сильнейшим, не взорвешь. И в том утесе один святой человек вырубил пещеру, поставил там себе иконки, зажег лампадку, разложил на аналойчик книги и проводил жизнь в уединении и молитве. Услышав о такой его святой жизни, начал со всех сторон собираться к нему народ и просить исцеления. И он кому давал святую воду, кому образочек, кому ладанцу, а кому прямо говорил строгим голосом: «Не греши!» И грешники горько плакали о делах своих... И вот однажды...

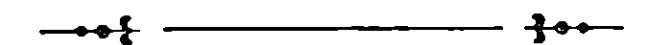
Иван Трифоныч слюнит палец, медленно переворачивает лист и в то же время с улыбкою поглядывает на своих слушательниц: старушка вяжет чулок, а Марья подперла лицо ладонью и смотрит куда-то далеко-далеко перед собой,— мечтает, очевидно, думает о святой жизни, о пещерах, о схимниках...

— И вот однажды, так часов в одиннадцать утра,— медленно продолжает Иван Трифоныч,— только стало припекать солнце, к этому самому праведному человеку прилетает орел, могучий такой, страшный, с когтями, и говорит человечьим голосом: «Скажи ты мне, преподобный старец...»

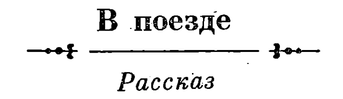
И снова Иван Трифоныч увлекается и забывает переворачивать страницы... Медленный его голос спокойно то

повышается, то понижается, и на душу обеих женщин веет покоем, счастьем, и комната кажется еще уютнее. А на дворе все больше и больше разыгрывается метель и рвет ставней; в зале часы отбивают время и чирикает проснувшаяся канарейка; кругом тишина; и только, когда притихает голос рассказчика, слышатся порою тихие, радостные восклицанья:

— Как хорошо! Как хорошо пишет Сашенька!



В поезде



Рассказ

I

В Харькове, еще днем, я так крепко заснул на своей верхней полочке, что когда наконец сильный, неожиданный толчок резко остановившегося поезда разбудил меня, то было уже темно. В вагоне, порождая ленивую смесь тьмы и света, мерцали над дверьми свечи. На платформе, залитой, с невидной мне высоты, электричеством, происходила обычная суматоха узловой станции.

Мимо окон поезда, словно в погоне за счастьем, неслись люди с узлами в руках; неуклюже, как тупа, вертелась женщина в старомодном, крылатом бурнусе, какие в провинциальных магазинах готового платья именуются так: «фасон мефистофель». Пробегали носильщики, нагруженные, как дачные мужья на юмористических картинках.

Женщина в бурнусе горячо призывала какого-то Митрофана Ивановича и, не обращаясь ни к кому, гневно говорила, что Митрофану Ивановичу кислым бы молоком торговать, а не искать места в вагонах.

Свесившись вниз, я заметил в своем отделении перемены: одного спутника, подсевшего к нам из Таганрога и всю дорогу напевавшего греческие песенки, уже не было. Другой, окутавшись одеялом и высунув наружу ноги в смявшихся чулках, безмятежно почивал.

Этот человек, как говорят хохлы, залил-таки мне сала за шкуру. Битых десять часов он посвящал меня в тайны германской политики; рассказывал про монаха, которому бы не акафисты читать, а перед коронованными особами оперы исполнять; подробно, с рисунками, сообщал мне, как за один гривенник можно устроить чудеснейший волшебный фонарь; уверял, что один известный архитектор любил иногда ни с того ни с сего кричать «караул»; маленькими глотками пил вино и, как подеста в «Гаспароне», каждый раз говорил, что это — необходимо для его здоровья.

Теперь он спал, и, видимо, крепко.

Суматоха меж тем на платформе не уменьшалась, и у самого моего окна вдруг послышалась оживленная дискуссия:

— Да ведь тебе же, идиоту, говорили русским языком! Ну, какой же леший, скажи пожалуйста, кладет масло на сахар? Что ты теперь прикажешь с этим сахаром делать? Ну?

Кто-то, и чуть ли не Митрофан Иванович, начал нерешительно доказывать, что если бы масло было хорошее, то оно не могло бы пройти в сахар, а раз масло прошло в сахар, значит, оно было нехорошее, значит, и жалеть его нечего,— но вдруг через все его рассуждения громом прогремело:

— Эх вы-ы! Сахар Сахарович! Фалдочка вы, и больше ничего!

В эту минуту на платформе произошло что-то неожиданное. Митрофан Иванович озверел и словно с цепи сорвался:

— Я т-тебе покажу фалдочку! — гневным голоском залепетал он.— Я не посмотрю, что ты одиннадцать пудов весишь! Я к с-самому начальнику станции пойду! Я т-тебя в жандармскую комнату притащу! Докажи мне: какая я фалдочка? С-сама ты фалдочка!

К великому моему изумлению, поднимается мой доселе мирно спавший сосед, вылезает говолой в окно и, посмотрев на все стороны, сонным голосом говорит:

— Слушай, фалдочка! Чего ты, братец, орешь? По какой уважительной причине ты такой тарарам поднимаешь? Пойми ты, что в поезде может действительный статский советник ехать. Ведь за такое нарушение общественного равноденствия ты дней десять клопов покормить можешь. Ах ты фалдочка этакая неразумная!

Где-то бьют звонки, и после протяжных свистков поезд наконец трогается.

II

Грязный, заплеванный вагон — старый: перевезший на своем веку миллионы людей. Кажется, что болят его колеса, как ноги у старика. И шатается он, и покачивается, и кряхтит, и визжит — но бежать вперед нужно, нужно

скользить по этим спокойным, мертвым, до отвращения знакомым рельсам.

Тусклое месиво огня и темноты. Куски мрака в углах. Мне видны освещенная надпись: «для некурящих», картонные объявления, разбитый термометр, кружечки для пожертвований.

На фоне своеобразного вагонного шума до меня из соседнего отделения доносятся тихие, как-то странно сквозь массу посторонних звуков слышные голоса. Там едут шахтеры, которым в четыре часа утра нужно слезать.

В противоположное мне окно глядит черная, досыта мраком напитавшаяся ночь, и только далеко-далеко — очевидно, на крутом изломе пути — маячит сигнальный огонь. И кажется, около него раскинулось что-то громадное и широкое: может быть, облака, может быть, лес.

Зябко и приятно протягивает легоньким сквознячком.

— И вот этот самый Софрон Иванович,— слышу я,— обведет вокруг себя мелом круг и едет на этом кругу, как на шарабане. Да еще усмехнется. Скажет: «Едем, Егор, к жене дыню есть».

— Ды́-ню? — спрашивает кто-то, ударяя на первом слоге.

— Дыню. Моя жена-то верст семь отсюда живет.

— Скажи на милость!

«Трах!» — словно испугавшись и крикнув, пролетел поезд по мостку и заглушил на мгновенье разговор.

— А в другой раз,— продолжает тенорок,— еду я с ним ночью, на лошади. И говорю: «Софрон Иваныч! Ты меня, говорю, прости, но удивляюсь я тебе. Силу ты имеешь такую необыкновенную,— ну, какого лешего тебе в шахте землю ковырять? Ведь дворец ты мог бы сделать?» — «Мог бы»,— говорит. «И жить в нем мог бы?» — «Мог бы»,— говорит. «Ну? — спрашиваю.— Чего же ты? какого лешего?» Молчит, усмехается, на месяц смотрит. Вижу: поперек речка течет. Что за шут, думаю. Никогда на этом месте речки не бывало. Теперь — речка. И так это месяц в воде играет, словно вот кто золотые деньги по ней разбрасывает. Гляжу: плывет что-то. Что — понять не могу: словно большая рыба. Вглядываюсь: гроб. Черный-пречерный. А на крышке — белый крест нарисован.

Эффект от рассказа получился, видимо, сильный: сразу все стихло.

Рассказчик сам, вероятно, не ожидал таких ярких результатов, потому что смущенным, неуверенным тоном еще раз повторил свою последнюю фразу:

— А на крышке — белый крест нарисован!

Это погубило рассказчика: оказывается, кроме меня, к разговору прислушивался и мой сосед — человек, как впоследствии выяснилось, великолепно разбирающийся в разного рода волшебных казусах.

Сбросив с себя одеяло, он, как был, в рубашке и носках, заглянул в соседнее купе и, крестообразно схватившись руками за верхние полки, остановился в проходе.

Шахтеры обратили, видимо, на него внимание.

— Это кто про гроб и белый крест рассказывал? Ты? — среди молчания, спокойно, как на экзамене, предложил он свой первый вопрос.

— Я! — довольно нерешительно отозвался невидный мне тенорок.

— Ты. Так-с. А скажи пожалуйста, милый человек,— тем же тоном вопросителя продолжал мой сосед,— какая тебе корысть этакую брехню — можно сказать, пятьдесят шестой пробы — разводить?

— Как так брехню? — запротестовал неожиданно уязвленный тенорок.— Когда я сам, своими собственными...

— Сам! Своими собственными! — насмешливо, в нос, очень задорно передразнил его сосед.— Своими собственными! Поглядите на него, добрые люди. Ну, что ты понимать можешь сам-то, своими собственными? Растолкуй мне, вышнего ради. Слушал, слушал я, как ты ер-рунду на постном масле здесь разводишь, и не выдержал. А паренек вон уши развесил, слушает, как дяденька азовские басни рассказывает. А в деле ты, я вижу, смыслишь, как известное животное в известном фрукте. Черный гроб! Белый крест! Это, брат, контрамарка, а не рассказ. Что гроб плыл по реке — тут хитрого ничего нет. Но чтоб на нем, на гробе,— сосед высоко поднял палец и отделял им каждое свое слово,— был животворящий честный крест нарисован,— это уж ты, сознайся, фука́ пустил. Я, брат, до женитьбы семь лет состоял пономарем при высокопреосвященнейшем митрополите киевском и галицком, с монахами и другими народами тонкое знакомство вел, книги запрещенные читал! Эти дела, скажу я тебе, нам виднее... И тебе, и Софрон Иванычу твоему, и пареньку вот этому заявляю я торже-

ственно: туда, где есть крест, только неразумный бес, который из молодых, сунуться может и сейчас же, конечно, посрамление примет. А понимающий, матерый бес никогда себе этой глупости не позволит. А ты мелешь мелево: черный гроб! Белый крест! Своими собственными!

Пономарь с негодующими, нервными движениями лег на свою лавочку, но задор, видимо, вселился и обуял его: он сейчас же опять вскочил, опять бросился в отделение к шахтерам, сел с ними и вступил в жаркое словопрение. Страстный, вибрирующий тенорок то и дело схватывался с раздраженным басом пономаря. Наперебой сыпались рассказы о колдунах, чернокнижниках, о том, что если прочесть всю Библию, то можно с ума сойти.

Пономарь говорил, что ему на своем веку приходилось встречаться с такими ядовитыми монахами, которых самые отчаянные бесы боялись, как собака — палки.

Говорили о лунатиках, о кликушах...

И я впервые, особенно наглядно, ощутил ту беду человечества, что всегда, во все времена и века, была, есть и будет, вероятно, такая стена, в которую оно, человечество, бьется головой — бьется до огромной боли, до потери сознания. Среди любой культуры есть эта стена и стоит всегда гордая, непреоборимая. Станет мысль человека тоньше, просверлит эту толщь, вырвется на волю, но глядишь: как голова у сказочной змеи, растет новая стена, рожденная уже утончившейся мыслью, окрашенная другой краской, спаянная другим цементом,— и снова твердыня на многие сотни лет...

...Разговор моих спутников все более и более оживлялся, привлекал других пассажиров; даже кондуктор, явившийся посмотреть, не сел ли со станции новый пассажир,— увлекся и рассказал довольно длинную историю о волшебном коте, который у них, в селе Рябове, проделывал необыкновенные штуки — например: в двенадцать часов ночи начинал гореть разноцветными огнями.

В окно было видно, как, блеснув убогими огоньками, промелькнула деревенька. Захотелось представить себе обстановку, противоположную этой, вагонной: хорошо бы теперь спуститься к реке, быть в ночном, сидеть где-нибудь на пригорке и ждать поезда, который издалека, версты за три, сверкнул бы своими холодными, неморгающими глазами. Чуть слышно пели бы песню, догорал бы, прощаясь с жиз-

нью, костер, чуть заметно дышала бы теплая, нежная ночь...

...Почему-то сразу замолчали. Должно быть, опять сразу родилось впечатление.

Я стал жалеть, что пропустил рассказ.

Пономарь стоял в проходе, и мне было видно, как он задумчиво гладил бороду, поворачивая голову то направо, то налево, и наконец глубокомысленно заметил:

— Этому я поверить могу. Могу! Только грех это, великий грех! В Иордане нужно другой раз креститься. Грех! Вел-ликий!

Снова заговорил тенорок.

Я живо представлял себе его голубые, вероятно, глаза — наивные и большие; рыжую бородку; нервные, порывистые движения; лицо строгое, ищущее. Это был человек, знавший, видимо, что на земле есть такие путы, которыми можно прибрать к своим рукам нечистую силу и затем, с ее помощью, жить как душе хочется: ездить, например, на кругу, как на шарабане, и есть с женою, живущею за семь верст, дыню. Когда он заговаривал о Софроне Ивановиче, то по тону его мне казалось, что когда-нибудь эта рыжая бородка придет к нему и горячо, со слезами в своих беспокойных синих глазах, попросит дать ему прочесть те черные книги, в которых разоблачены все тайны жизни, научить его всем заклинаньям и сделать его наследником своих знаний и могущества.

Тогда он бросит тяжелое рвущее силы шахтерство, тогда у него польется золото, начнется привольная жизнь, загремит слава и за ним придут, чтобы исцелить от болезни царскую дочь.

III

Мне надоело лежать, и я пошел на площадку. Когда я проходил мимо соседей, то увидел такую картину: верхние полки не были подняты, а внизу, во всю длину одной, лежал паренек, с густой копной белокурых, резко отброшенных волос и с пухом в качестве начинающейся бороды. Заломив руки за голову, он мечтательно смотрел перед собою.

На противоположной скамье, посредине, низко склонившись к пареньку, сидел, очевидно, тенор. Он не оправдал

моих предположений. Это был огромный человек, с длинной красивой бородой, похожий на старообрядца из Черниговской губернии, с мощными, чисто шахтерскими руками. Неуклюжий, он производил впечатление суровое, дикое, но когда вскидывал на вас большие детские глаза, то становилось понятно, почему этот человек выглядит басом, а говорит тенором. И было уже неудивительно, что ему очень хочется поездить на кругу.

На площадке было ветрено, и я, чтобы закурить, принужден был прятать огонь в выдвинутую коробочку.

Поезд летел, рассекая черную, нахмурившуюся ночь. А с ночью, черной и нахмурившейся, делалось что-то неладное. Где-то далеко, как внезапной мыслью, сверкнула ломаной линией молния: сначала нерешительно, потом молодым, изящным смешком прокатился по небу гром, и, может быть ободренная им, молния второй раз сверкнула ярче и ближе, на мгновение осветив густые, плывущие облака и огромное выкошенное поле с разбросанными там и сям скирдами.

На площадку еще кто-то вышел. Я не оглянулся, но скоро услышал знакомый голос:

— Эх, дождик будет важный! — восторженно говорил тенор.— Эх, да и обрадуется же земля! Месяца полтора в этой сторонке капли не было. Земля-то, как чай, сухая стала...

Я полуобернулся к нему.

Бородач завертывал себе папиросу, а паренек держал наготове спички.

— Д-да,— рассеянно, думая о другом, ответил паренек и, когда тот закурил, долго защищал ладонями от ветра еще не погаснувшую спичку. Спичка вспыхнула в последний раз, осенив странными, резко подчеркнутыми тенями его лицо и как-то особенно выдвинув в нем светлые, большие глаза.

Стало темно, и только красный фонарик на площадке, убегая с поездом вперед, маячил кому-то в степи.

— Д-да! — медленно и задумчиво повторил паренек.— Ты говоришь вот, что колдуном хорошо быть. А по мне, брат, святым быть лучше. Колдун что? Все это — нечистая, бесовская сила. За это в котле кипеть будешь.

— Ерунда! — уверенно и деловито ответил бородач.— Ерунда! Никакого котла не будет! Почувствовал, что каюк

приходит,— зови попа да кайся: и готово дело. И грех твой Митькой звали. А зато жизнь-то, жизнь! — вдруг оживился бородач, снова нащупывая любимую мечту.— Ведь это, брат, ты еще молод,— вот и поешь соловьем. А ты рассуди. Я работаю, как прóклятый, а денег получаю рупь десять. Это тебе и на харч, это тебе и на квартеру, это тебе и на одежу, и на обужу. Разве это житье? Встал да и за вытье! — Раздраженные, давно нажитые ноты зазвучали в голосе шахтера — и стук колес, одинаковый и упорный, подтверждал, казалось, его слова.

— Что же жизнь? — ответил паренек, и я жалел, что мне было плохо видно его лицо.— Здесь-то, пожалуй, деньгу наживешь... А ведь хорошо, если покаяться успеешь? А ну молоньей убьет? А ну бог сразу смертью накажет? Не пожелает твоего покаянья принять? А ведь там-то, брат, годам конца-краю нет! Конца-краю!

Ясно было, что сталкивались два миросозерцания, выросшие на одной и той же почве: жалкого, мозолистого существования, с одной стороны, и запросов души, ищущей смысла и правды жизни,— с другой.

— Д-да,— после паузы протянул шахтер, и непонятно было, чтó он хотел подтвердить. Слова парня будто навели его на какие-то соображения, которые он упускал раньше.

— А я, брат, тебе вот что скажу,— продолжал спокойно паренек, и голос его зазвучал глубоко, задушевно, словно он тронул в сердце самую нежную, самую любимую свою струну,— жил однажды святой. Пустынь его была тихая и далекая. Никто к нему не ходил, и никого он не знал. Человек был он простой, читать не умел. Ни псалтыри, ни святцев. И молитв никаких не знал. «Отче наш», «Богородицу» даже не знал. Знал только, что есть где-то бог,— вот и все. И только и молитвы у него было, что твердит, бывало, как день, как ночь: «Господи, я — твой, ты — мой». И ничего больше. Ниче-го! «Я — твой, ты — мой». И вот, братец ты мой, когда умер он, на могиле у него выросло деревцо...

Голос паренька дрогнул от захватившего его волнения.

— Выросло деревцо... Ветвистое такое... Всю могилу закрыло... И на каждом листке было написано: «Я — твой, ты — мой». На каждом листке!

Сверкнувшая снова зарница осветила его лицо, блеснув в крупной, жемчужной слезе, и совсем не в тон проворчав-

шему вдали грому была снисходительная, себе на уме, улыбка бородача.

Протяжно и хрипло засвистел паровоз, дрогнули внизу, умеряя ход, вагоны: вдали, на завороте, блеснула огоньками станция.

IV

— Что случилось?

— Что случилось! Бабу раздавили — вот что случилось. Ах ты елки-палки! Опять опоздаем в Тулу.

...— Раз с тобой желает говорить пассажир первого класса, ты должен почтительно удовлетворить его любопытству.

— Бабу раздавило-с, ваше превосходительство.

— Чем раздавило-то?

— Нашим поездом-с... Переехали-с...

— Ну-с, и что же, переехали?

— Докладываю же вам: бабу-с... Неизвестную-с... Звание вон пошли ее выяснять... Так что кончина ей, значит, такая от господа бога положена.

— Sancta simplicitas![1] Разве от господа бога такая кончина полагается? От господа бога — кончина мирная, безмятежная, и на Страшном судилище Христове ответа просим.

— Так точно, ваше превосходительство!

— То-то вот и оно! А ты: «от господа бога».. Ну, ступай!

...— И надолго задержимся?

— В-вероятно...

— А где же она?

— А вон за водокачкой...

— Вот тебе и фунт изюму!

— Да, вот вам и фунт изюму...

Маленькая, захудалая станция. Около двери, под навесом, колокол. Тут же фонарь с разбросанными по стене лучами теней. Гулко звучащий асфальт платформы. Как осенние листья под ветром — встревоженные лица. Неспокойное, не желающее уснуть небо. Чья-то квартира с

[1] Святая простота *(ит.)*.

тюлевыми занавесями на окнах, слабо освещенная внутри.

...— Жена начальника станции, оказывается.

— Какой? Этой станции?

— Этой. Слышите крик? Это сам начальник кричит. Бросил на землю свою красную фуражку и кричит.

— Закричишь. Простите, что вмешиваюсь в разговор. Восемь лет служу на этой дороге, всегда сопровождаем вот этот поезд: номер осьмой-с. Знаю ее прекрасно-с. Красавица. Восьмой номер в этих местах всегда вечером идет,— ну, вот она и выйдет на платформу... Да-с... закутается платочком и смотрит.

— Брюнетка или блондинка?

...— А сам он красивый?

— Краси-ивый! Усы как у императора Вильгельма.

— Теперь небось растрепались?

— Ну, конечно, растрепались... Растреплешься.

...— Все это так, я понимаю. А меня вот мороз по коже подирает. Все-таки и я проехал по ее телу... И я душил ее... И я был ее палачом...

— Философия, Володя, ей-богу философия! Вечно ты лак наводишь... Ну, при чем здесь я, ты, третий, десятый! Плюнь! Брось мысли! Пойдем нарзану выпьем!

— Здесь, господин, нарзану не будет-с... Станция без буфета-с.

...— Не нравится мне эта степь, черт ее дери! Не для людей она. Вы посмотрите-ка на эту даль, на эти тополя, которые исчезли там где-то, в темноте...

— Все равно! Не умерла сегодня, через двадцать лет умерла бы... Vita brevis. Ars longa[1].

...— Ну однако, сеньоре кондукторе, скоро в путь соблаговолим?

— Не могу знать-с. Не от нас зависит-с... Еще перенос тела будет.

— То есть как это так: перенос тела?

— Очень просто: надо перенести тело.

— Куда перенести-то?

— В квартеру-с... Вот ихняя квартера-с. При вокзале-с.

— А так нельзя? Немножко тело от рельс подвинуть, а поезд пустить...

---

[1] Жизнь коротка. Искусство вечно *(лат.)*.

— Не могу знать. Может быть, и возможно. Вы пошли бы дали совет...

— Нда-а... Совет... Получается Ляпкин-Тяпкин.

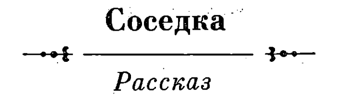
...— Н-ну, брат! Теперь, брат! Знай наших, поминай голландских! Целый век случая ждал! Теперь ни в какую игру проигрыша нет. Конец! Забрался это я в кучку — в народ, значит. И нагнулся прямо к ней, к покойнице. Бытто платок поправить хочу, а сам это рукою шарь, шарь: где кровь, ищу. И вымазал пальцы. Видишь: во-о! Кровь, брат. Настоящее. Теперь ни в какую игру промазать не могу. Потому руки в кровь самоубийцы помазал. От хоро-ошаго старика слышал примету! Хоро-оший старик был. Не хуже Софрона. Еще, пожалуй, почище. Пра-аво... Слышь, Сень? Не теряй, братень, случая. Слышь? Не теряй, говорю тебе я, случая! Добра желаючи говорю...

...Маленькая, захудалая станция. Около двери, под навесом, колокол. Тут же фонарь, разбрасывающий, как паутину, длинные тени. Гулко звучащий асфальт. Уже проясняющиеся лица.

Только небо по-прежнему неспокойно: как глаза, вспыхивают зарницы.

Квартира с тюлевыми занавесями на окнах слабо освещена изнутри: с платформы все-таки виден фикус, туалетное зеркало, картина и прочее.

Соседка



Рассказ

Посвящается В. С. Миролюбову

I

Скверно жить рядом с бывшим артистом императорских театров. Проснешься утром, выпьешь чаю, хочешь позаняться,— как вдруг за стеной громом загремит Марсель из «Гугенотов».

— «Не дрогнет, не дрогнет наваррца рука-а! И ро-од и род твой сотрет нечестивый!..»

— Проснулся, леший! — подает реплику Дарьюшка, подметающая коридор.— Начался день! Вот человек таскается целый век: и бога не боится, и людей не стыдится...

До слуха чуткого доходит Дарьюшкино роптанье, и я слышу вопрошающий стон бывшего артиста:

— Что такое? Бог-га не боюсь? Л-людей не стыжусь? «Х-ха-ха-ха! Сатана тот правит бал!» Бога я боюсь, но людей действительно не стыжусь: плевать мне на них в высокой степени! «На з-земле весь род людской чтит один кумир священный!» Почему я, артист (он выговаривает: агтист), должен стыдиться этих животных с ненормально развитой мозговой деятельностью? Что мне они? Пиф-паф!

— Вот мармалад навязался на нашу голову грешную! — сокрушается Дарьюшка.— И когда же его унесет, лешего, прости, господи, мое великое души согрешенье!

— Им самовара не подавать! — слышится тоненький, демонстративно громкий голос хозяйки Анны Сергеевны, дамы пухлой, постоянно зябнущей. Она уже сочинила на певца прошение и читала его мне и другому жильцу, Акиму Исакычу. Прошение было убедительное: денег артист Сверницын не платит, день и ночь рычит, как лютый зверь, затевает неудобные вопросы и грозит перестрелять всю квартиру из поганого ружья.

— Им господин мировой слово скажет! — ехидничает хозяйка во тьме коридорной.

— Г-гаспадин мировой! — сию же минуту принимает дискуссионный вызов артист.— Запугала меня г-гаспадином мировым. Не видывал я таковых! Мне особы третьего класса на Невском первые шапку ломят,— помнят! А то: мировой! Что такое мировой? Кэс-кэсэ?

Слышно, как артист обулся и совершает первое хождение по комнате.

— Самовар! Нужен мне твой самовар, как собаке пятая нога! — бормочет он.— В Рязани я запел песню отца из «Лакмэ», а мировой и нюни пустил. «Уведите, говорит, этого человека отсюда! Никакой вины в нем нет!» Да-а... А пока вот мы сейчас хрупнем...

— За в-ваше здоровье, милый студэнт! — и артист стучит ко мне в стену.— Да здравствует солнце! Да скроется тьма! Люблю студэнтов: это не люди, а сундуки с деньгами...

II

Артиста выдворили. У мирового он сознался, что перестрелять всех из поганого ружья действительно грозился, но только в шуточной форме,— что же касается мужичьих слов, о которых хозяйка дала добавочное показание, то:

— Этого не бывало! Вот вам студэнт императорского университета, личность в нравственном отношении самая безукоризненная, может подтвердить! — И артист сделал в мою сторону бросающий жест: — Я на казенных сценах певал, в лучших ансамблях,— рецензии обо мне имеют тридцать четыре фунта чистого веса,— и я себе этого позволить не могу...

После суда, не дожидаясь полиции, артист собрался, нанес мне довольно продолжительный визит и отбыл на Николаевский вокзал, сделав хозяйке уверенье, что деньги вышлет сейчас же по приезде в город Псков, где у него брат ворочает миллионными делами.

Через час я уже писал зеленый билет о том, что сдается комната, в первом этаже, квартира № 2, два окна на улицу, цена по соглашению. К вечеру уже комната была сдана,— явление это, так быстро совершившееся, было приписано

моей легкой руке,— а сегодня переехала новая жилица.

— Молодая и красивая! — вчера же, сейчас после найма, поставила меня в известность Дарьюшка.— Такая блондёночка... Глаза синие, а волоса — вот сюда, набок. Познакомишься,— меньше скучать будешь. Меньше изводить бумаги будешь. А то вот восемнадцать лет уже живу по хозяевам, уж волос седой стал, а еще не видывала, чтобы живой человек на бумаге столько писал. Бывали всякие народы: и на гитаре играли, и в карту сбивались,— а ты уж мозгою больно работаешь. Молодому человеку это не особенно подходит. Вред может быть. Да, вред,— и ты смеяться-то особенно не смейся, а человека, уж немолодого, послушать иногда не мешает. Всегда польза будет.

Сегодня,— вероятно, по случаю переезда новой жилицы,— она оставила меня в покое: я безмятежно лежу в своей постели, хотя уже скоро десять, и слышу, как новоприбывшая блондинка посвящается в курс нашей квартиры.

— Жильцов у нас,— говорит Дарьюшка,— по-благородному: только трое. Вы вот будете — раз! В той комнате, где дворник корзинкой зацепился, Аким Исакыч живет, человек хороший, трудящий,— по вечерам со службы приходит, чай пьет и на цитре играет. Рядом с вами, здесь вот,— и Дарьюшка понизила, все-таки, голос,— студент живет. Все бумагу пишет и выкидывать не велит. Ничего парень, в себе такой, иконостас смазливый,— но дрыхнуть здоров — прямо редкость, страсти господни! Вот уже десять, а его никакой пулемет не возьмет.

— А вы знаете что? — И я в первый раз услышал новый, совершенно неизвестный мне голос,— красивый, низкий, альт.— А картину вон ту снимите. Я не хочу ее.

— Картину? Ту? — изумилась Дарьюшка.— Это вот что парень разговаривает с девкой?

— Да, да...

— Зачем же? — взволновалась Дарьюшка.— Такую хорошую картину? И краски много, и рама золотая, и под стеклом. Стекло протереть можно...

— Не нравится она мне! — видимо улыбаясь волнению Дарьюшки, настаивала новая жилица...

— Это дело другое,— раз не нравится. Картина приличная. Студенту в комнату повесим. Они, студенты, народ аховой губернии. Икон им не вешай, а картин с девками сколько угодно лепи.

Судя по интонациям голоса, по манере говорить, человек поселился интеллигентный. «Г» произносит как французское «g», хотя «о» сливается с «а»...

Кто она и что она?

Мне думается, что она, с таким голосом, должна любить лирические стихи, музыку Грига, изящную литературу. Люди, которые обладают такой манерой говорить, бывают особенные, с сказывающейся породой,— к ним тянет, хочется им подражать, дотянуть до их уровня.

— Вы провинциалка будете? — с некоторым высокомерием спрашивает Дарьюшка.

— Провинциалка.

— В Петербург первый раз приехавши?

— Да, в первый раз.

— А откедова, позвольте полюбопытствовать, приехали?

— Из Крыма.

— Из Кры-ыма! — с почтением протягивает Дарьюшка.— Хорошая сторонка.

По комнате, в которой еще живут шагания пьющего пиво артиста, раздаются женские изящные шаги, слышится шуршание юбки. Стена, разделяющая мою комнату от соседней, тонка, и я слышу за ней каждое движение. Вот выдвигают ящик комода, перестилают его бумагой. Вот шлепают Дарьюшкины туфли...

Я слушаю застенные разговоры, шаги, шелест бумаги, ощущаю что-то новое, мягкое, влившееся в нашу квартиру, и начинаю, по своему обыкновению, гадать, что всякое может случиться, когда черт шутит, это новое, неизвестно откуда пришедшее, неизвестно что содержащее, может влиться в мою жизнь, может сделаться для меня близким и родным. В самом деле, как странно развертывается человеческая жизнь: десять минут назад не подозревавшая о моем существовании, она знает уже, что я — студент, пишу бумагу и выкидывать не велю, что иконостас у меня смазливый и что когда я сплю, то и пулеметы меня взять не могут. Какая-то новгородская баба, болтливая Дарьюшка, уже отравила нас первыми каплями сближения. Я родился на Волге, она — в Крыму. Даже думать не могли мы, что в Петербурге где-то, на Васильевском острове, есть крыша, под которой мы сойдемся, и до самой смерти, а кто знает? может, и после смерти будем помнить друг друга, а может быть, будем проклинать... А может, даже и не познакомим-

ся, не увидимся: завтра же она узнает, что в комнате есть мыши, и съедет на другую квартиру. Теперь же мне ясно то только, что за этой тонкой деревянной стеной, оклеенной полинявшими обоями, поселился человек, присутствие которого я буду постоянно ощущать, который заинтересовал меня, который почти потянул меня к себе. Если она останется здесь жить, то непременно создадутся какие-нибудь отношения. И что дадут они, что привнесут они в мою только что начинающую определяться жизнь? Встреча с девушкой, у которой белокурые волосы и синие глаза, не проходит бесследно...

Уже половина двенадцатого. На небе — холодное, почти осеннее солнце. Скоро пойдет снег, осыплются деревья, повянет уже и теперь дряхлая трава. Из Ладожского озера потянется лед, будет лениво трещать и большими, плохо разрубленными кусками — толкаться по застывающей реке.

— Так снимать картину? — предостерегающе спрашивает Дарьюшка.

— Снимайте!

— Снимем. Студенту повесим. Они — народ таковский. Намедни, в субботу, говорю ему: «Ты бы ко всенощной сходил, лоб перекрестил бы...» А он мне такую пулю отлил, что на том свете обязательно его, дурака, за язык повесят...

— А вдруг он слышит? — тревожным шепотом,— вероятно улыбаясь и кивая в мою сторону головой,— спрашивает соседка.

Мне очень понравился этот детски лукавый, наивный тон вопроса, который, не зная акустики стены, хотели скрыть,— и я затаил дыхание, чтобы не упустить разговора о себе.

— Фу-у! Делов куча! — пренебрежительно отозвалась Дарьюшка.— И пусть слушает. Я ему и в глаза скажу!

И, проходя по коридору, она стучит мне в дверь.

— Вставай, кормилец! Люди уж отобедали! Ох, и здоров же дрыхнуть! Как ты хлеб зарабатывать будешь? Ой-ой-ёй-ёй.

III

Вот уже второй день я сижу дома и слушаю, как живет какой-то чужой, незнакомый, но почему-то заинтересовав-

ший меня человек. Часов около трех она куда-то уходила,— вероятно обедать,— я побежал к окну и выждал, когда она проходила мимо меня.

Действительно красивая девушка. Белое выразительное лицо. Синие глаза встретились с моим взглядом. В этот момент она надевала перчатку на левую руку, разглаживая пальцы... Я открыл окно, еще не замазанное на осень,— и смотрел ей вслед, покамест она завернула за угол.

— Обернись! — гипнотизировал я ее.— Посмотри!

Не обернулась и не посмотрела.

А когда я пришел домой, в шесть часов вечера, она была уже у себя. Дарьюшка подала ей самовар и рассказывала интересные вещи про ее предшественника актера.

— Ох, и надоел же, жеребец проклятый! Поверишь, милая барышня, жизни не рада была... Как утром встанет— и пойдет! Дарья в пивную! Дарья за колбасой! Дарья в монополию!

В передней звякнул звонок. Я уже привык к «своим» звонкам. Знаю звонок почтальона, Акима Исаковича и теперь уверен, что пришел чужой человек, не наш.

Дарьюшка шмыгнула по коридору, и через минуту уже слышно было, как она очень охотно кому-то докладывала:

— Дома, дома! Пожалуйте! Вот так прямо по коридору, следующая дверь.

Кто-то бухает тяжелыми каблуками и стучит ко мне.

— Не туда, не туда! — кричит Дарьюшка.— Следующая дверь! Белая которая!

— Виноват! — басит пришедший.— Не туда попал...

— Сюда, сюда! — послышалась отворяемая дверь и голос соседки: — Это вы?

— Мы, мы! — снисходительно ответствует бас.— Собственной своей персоной! Здорово булы!

— Здравствуйте, здравствуйте, Аким Викторович! — говорит соседка; приветливость так и брызжет из ее тона.— Получили мою открытку?

— Всенепременно! Сегодня в ранний утренний час! И сегодня же прямо к вам...

— Я вас ждала. Ну, седайте! Куда вы? В угол? По-прежнему любите диваны? Ах, вы этакий... Шляпу давайте сюда. Все та же, Гарибальди? Как она постарела!

— Еще бы! — с гордостью ответствует бас.— И в жар, и зной, как это поется в «Руслане». Где эта шляпа не была?

Какого неба она не видала! И на Волге, и на Кавказе, и в Финляндии... Какие дожди ее не мочили! Какое солнце не грело! Оттого она так сморщилась, оттого на ней так много рыжих пятен...

Басу присущ пафос — качество, довольно распространенное среди людей, говорящих басами. Трагики — всегда басы.

— Ну, вот мы и устроим ее, вездесущую, сюда вот, на лобное место,— говорит соседка, и приятельство, самое откровенное, не таящееся, чувствуется в ее тоне.— Ну-с, что нового? Извольте вводить меня в курс дела. Рассказывайте. Как братия? Нет, ей-богу! — и она засмеялась.— Не могу насмотреться на вас; все тот же: волосы — копной, сапоги — бутылками... Бородишша еще длинней стала.

— Бородишша! Оно конешно! Растет! — весело повторил пришедший.— Я ведь вообще из породы неменяющихся... Чего там? Я постоянство обожаю, потому человек я есть положительный, добросовестный. Линию свою аккуратно гну... Да-с. А вы вот изменились. Да. Возмужали, похорошели... И очень напрасно...

— То есть как это так? — возмутилась, шутя, соседка.

— А очень просто! — в том же, искусственно-народном тоне ответил пришедший.— Что возмужали-то — это, конечно, ничего... Всякому живому существу, как вот и моей бородишше, этой самой, рост от господа бога полагается. А вот что похорошели — это напрасно. Совсем напрасно! Ну, на кой вам ляд, прости пресвятая богородица, такие вот глаза? Ну? Ведь это что такое? Безобразие! Синие, какие-то меняющиеся... Смотрите вы вот на меня и, кажется, душу мою высасываете этими глазищами... Ей-богу, не вру! Потом волосы эти самые? Почему они такие густые? Почему они так красиво лежат? Потом, простите, губы... Ей-богу,— не нравитесь вы мне... Чувственные губы! Год всего не видал я вас, помню, что была такая милая, славная гимназисточка, похожая на ласточку, а теперь вот... Перемена!..

— Беда какая! — с шутливым ужасом сказала соседка, всплескивая, вероятно, руками...

— А вы думаете — не беда?.. Это такое осложнение, которое требует обстоятельного учета,— говорил пришедший, и из его тона балагурство уже исчезало,— ведь это-то, и глаза, и губы, и волосы,— это, матушка моя,— земля и к земле гнет. А земля, кроме как о себе, больше ни о чем

не думает и в свою очередь к жизни гнет. Земля страсть как жизнь любит!.. Ну, а сейчас на земле такая жизнь, которую любить, ей богу, не за что! Жизнь будет хороша,— но только будет... А пока она — серая и нудная, и такие краски, синие, розовые и золотистые, какие я имел удовольствие констатировать, на вашем облике,— лишние на ней, на земле-то... Сейчас в жизни-то — осень, сплошная, гнилая осень,— земле-то... Сейчас в жизни-то — осень, сплошная, гнилая осень,— ну, а когда осень-то, в такую сплошную и гнилую, видишь весну,— тогда как-то на душе неловко и грустно становится, и думаешь: «Уйди ты, создателя ради, не искушай! Не соблазняй!»

— Не искушай, не соблазняй! — трагически повторила соседка и засмеялась.— Не буду, не буду! Наше место свято! Ну, а чаем вас искусить можно? Таким душистым, вкусным чаем? И булками,— вы не шутите: по три копейки штука, сдобные и мягкие... Право. И масло вот,— вы только понюхайте, как оно пахнет. Правда, и маслу не надо быть такому в наши серые и нудные дни?

— Логически рассуждая,— не надо... Вообще, никаких красок и изящных линий не должно быть теперь на земле. Должна быть — дума о той прекрасной и изящной жизни, которая только со временем вспыхнет на земле...

— Но ведь мы-то ее не увидим?

— Какие пустяки! Как это не увидим? Ну, пусть даже и не увидим... Мы ее учувствуем... А ведь это все равно!

...Она рада ему,— это несомненно. И радость эта идет от сердца, от всего существа. Это, чувствуется, радость такая, которая действительно просветляет лицо, делает глаза лучистыми и глубокими. Но кто он?

«Они» — для меня эти люди — таинственные «они» — вспоминают, вероятно, что в квартире есть и другие жильцы,— и понижают тон разговора... Но «они» не знают еще, не приспособились к акустике деревянной перегородки, разделяющей нас,— и понижение их тона ничуть не отражается на моей слуховой восприимчивости... Может быть, мне не нужно бы быть столь «восприимчивым»? Но почему? Ведь я не подслушиваю, я слушаю,— невольно слушаю. Мне сейчас ничего делать не хочется, а валяюсь на своей кровати, а за стеной разговаривают два неизвестных мне человека... И один из них, уже вышеупомянутый бас, стараясь быть более скромным в распределении своих голосо-

вых данных, докладывает своей собеседнице, которая занимается, судя по льющемуся кипятку, оборудованием чайного стола:

— Как получил вашу открытку,— прямо к вам...

— А я вчера бросила ее поздно, часов в одиннадцать... Боялась — не дойдет...

— Пошта в Питере исправная...— говорит постепенно понижающийся бас.

...У них, видимо, предстоит большой разговор,— и они, как всегда это бывает в подобных случаях, откладывают его до того момента, когда улягутся первые впечатления встречи,— а до тех пор говорят о ерундовых мелочах, о погоде, о том, как ездилось, как прошло лето...

В квартире тишина, которую я люблю в эти тихие предвечерние часы... Скоро восемь, вот-вот придет Аким Исакыч, будет долго раздеваться в своей комнате, кашлять, потом спросит самовар, и когда он закипит и оживет, этот дорогой и близкий друг всех одиноких, тогда до меня долетят звуки цитры,— Аким Исакыч любит играть нежные вещи, как-то: серенады Брага, Шуберта... Играет и думает, вероятно, о любви, которая ему только снится... Аким Исакыч, когда мы по вечерам встречаемся в коридоре, останавливает меня и всегда говорит:

— Ах, если бы приснился нежный сон! Какое это было бы счастье!.. Вы знаете, что́ я сегодня делал, чем был занят? Ой, боже мой! Я корректировал бланки частного ломбарда, затем объявление о новейших запахах духов косметической лаборатории и сорок семь страниц закона божия...

Аким Исакыч будет играть серенаду Брага, а ко мне в мою темную, так хорошо усыпляющую комнату, как к поэту, прилетят мои мечты, мои сны, до которых старому еврею так же далеко, как небу от земли. Скорее же приходи, друг Аким! Полно тебе сидеть в твоей вонючей типографии... Настало время опять всколыхнуть воздух звуками, под которые когда-то тоже, быть может, мечтал Франц Шуберт...

— А рядом с вами кто-нибудь есть? Живет? — тихонько спрашивает бас.

— Есть,— так же тихо отвечает девушка,— студент, кажется, какой-то...

Это, значит, указание на мою особу...

— А с того боку? — продолжает осведомляться любопытный бас.

— А с того боку? — стенка уже каменная, другая квартира. Хотя, если, например, шумят или играют на рояле, то слышно...

— Это плевать! — таинственно оценивает бас...

Голоса разговаривающих делаются все тише, уходят куда-то далеко, уменьшаются... Я почему-то начинаю испытывать неизвестно откуда залезающую в душу тревогу, какое-то беспокойство... Мне почему-то кажется, например, что я должен слышать их разговор, я должен ближе узнать ее,— но почему? Какое мне дело? И тем не менее я потихоньку подхожу к стене, стою, как вор, и отчаянно боюсь, что вот отворится моя дверь, войдет с чайными приборами Дарьюшка и захватит меня как подслушивающего бездельника... «Ну и черт с ней, и пусть захватывает!» — рождается в голове тупая мысль,— и я осторожненько устраиваюсь у стенки, оклеенной синенькими, чем-то пропитанными обоями...

— Приехал на днях Вася,— слышу я баса,— письмо привез... Илюшку в Самару услали...

— В Самару? — удивленно переспрашивает соседка.— А Женя?

— Женька скисся. Нюнит чего-то, ищет смысла жизни, Гартмана читает... На бильярде играет...

Пришедший говорит еще тише, этим же тоном отвечает ему хозяйка,— и из всего последующего разговора я слышу только одну ее фразу:

— Чего ж вы чай-то забыли?

Бас выразил, вероятно, свое согласие и начал звучно и хрупко кусать сахар...

Я убрался с своего предательского поста.

IV

За стеной тишина, но тишина — не немая: в ней говорят занятно, содержательно, не замечая, как летят часы... Я лежу на своем ложе, поскрипываю, ворочаясь, пружинами матраца, что-то насвистываю... На улицу, как паук, спустилась ночь, и глупые люди уже протестуют против нее — ведь такой на самом-то деле красавицы! — газовыми и элек-

трическими фонарями,— смешными выродками дня. У меня темно и хорошо.

Вдруг, вижу, просовывается из коридора Дарьюшка, и вместе с нею жалует ко мне расширяющаяся полоса желтого коридорного света.

— Вам в лавочку не надо? — спрашивает новгородское сокровище.

Свет мне кажется ослепительным, и я хмурю глаза... Думаю, что́ мне надо, и наконец вспоминаю:

— Надо... Бумаги мне на гривенник надо... Такой, знаешь, белой, без полосок...

Дарьюшка, бесформенная, вся какая-то серо-сплошная, приближается ко мне за гривенником и, нащупывая, протягивает руку...

— Дарьюшка! — шепчу я.— Нагнись поближе!..

У Дарьюшки, должно быть, мелькает опасение, уж не облобызать ли я ее хочу... И мне смешно делается.

— Дарьюшка! Милая! — снова шепчу я.— Кто это там сидит... Там...

— Рядом-то?

— Милая! Тише... Говори шепотком... Да, рядом...

— Шут его знает! — хрипит Дарьюшка, дыша чем-то старушечьим мне в лицо.— Какой-то малюсенький... вот такой ростом... В рубашке, без калош... Наследил, оглашенный, в коридоре...

— А что́ они делают? — смущаю я Дарьюшку вопросом.

— Самовар вносила,— сидели друг против друга и разговаривали. Теперь чай пьют с булкам.

— Дарьюшка! Милая! Тише! Сколько раз я тебе говорил: не с булкам, а с булками. Ну, да это пустяки! Дарьюшка! Милая! А что он... гость... красивый?

— Кто? он-то?

— Да, он-то...

Дарьюшка фыркает в темноте и дышит мне в лицо...

— Красота неописанная! — шепчет она.— Малюсенький, сам во́, а сапоги во́! С печки прыгни — прямо в голенище влезешь! А волосищи! Стог! Разве этакой девке такого нужно?

Для меня ясно, что Дарьюшка снабжена даром читать человеческие мысли. Это меня радует, и я даю разговору иное направление.

— Ну, а я пойду? — спрашиваю.

— Уж ты! — искусственно сердито говорит Дарьюшка и выпрямляется. — Бумаги-то, говоришь, чистой, без линеек? — громко спрашивает она и снова, наклоняясь, шепчет: — Ты-то подойдешь! Убей меня бог!

И толкает меня кулаком в бок.

...Ушла Дарьюшка, и я остался радостный, успокоенный. Не знаю почему, но она тянет меня, — белокурая, синеокая. Какие странные слова: белокурая, синеокая... Точно в старинном дневнике. Я иду к зеркалу, беру в правую руку лампу и высоко поднимаю ее над головой. На меня из глубины гладкого холодного стекла смотрит молодое лицо с лукаво и довольно ухмыляющимися глазами, и мне приятно.

«Сапожищи, голенищи», вспоминаю я Дарьюшку. То, что́ она мне сказала, возбуждает меня, хочется начать сейчас же с малюсеньким поединок из-за нее.

Прекрасно. Вы сидите там, у нее, господин малюсенький? Вы укоряете ее за голубые глаза, белокурые волосы? Прекрасно... Она вас теперь любит?

Я ставлю лампу на стол, два раза пробегаю из угла в угол, ерошу себе волосы, и у меня создается в уме целая картина. Там за стеной сидишь ты. Я знал тебя с детства. Я любил тебя. Тебе, первой и единственной, я пел свои песни. Везде я видел только тебя. И росы, и зо́ри, и звезды, — все это было только для тебя. А теперь вот пришел этот бас, такой же сильный и грубый, как и его голос, и ты не устояла против его животной мощи, и синие глаза твои льют теперь свои лучи на него, на его выпуклый лоб, на его дерзкие глаза, на возбуждающие красные губы. Ты забыла меня, поэта. Я смею только думать о тебе, целовать следы твоих ног, и стоном вырывается у меня фраза Чайковского:

— Забыть так скоро! Боже мой! Все счастье жизни прожитой!..

Как у тебя должно забиться сердце! Ты не знала, не могла даже подозревать, что я здесь, рядом, подслушиваю ваши разговоры, мучаюсь... Ты не знала! Так пусть же эта песня, которую ты когда-то так любила, — пусть она будет твоим укором, твоею мукою, твоим страданием!

Скрестив руки, как для молитвы, я обращаюсь лицом туда, где сидит она, и пою, и звуки идут легко и свободно:

Забыть, как полная луна
На нас глядела из окна...
Как колыхалась тихо штора...
Забыть так скоро!..
Забыть так скоро...

Ха-ха... А что́ ты теперь чувствуешь, неверная, забывшая клятвы? Да, да... Ведь все это было, все было... Мы сидели с тобой в комнате, залитой лунным светом... Было отворено окно в задремавший сад, и колыхалась тихо штора... И ты шептала мне слова вечной любви...

А теперь... Но что́ с тобой? Малюсенький! Вы не удивляйтесь и не расспрашивайте, почему у нее теперь на глазах слезы, почему она сразу опустилась и обессилела, как подстреленная птица, почему ее глаза смотрят вдаль, почему в них витают незнакомые вам тени, почему она не слышит вас, ваших нежных и участливых вопросов. Вы берете ее за руку, умоляете ее ответить вам, но рука ее — безвольная, ничего не чувствует, мертва.

— Забыть так скоро! Так скоро!.. Я желаю только об одном: нет виолончели, которая великолепно сопровождает в аккомпанементе эту часть романса.

Она услышала меня, вспомнила, и... я знаю, что́ теперь делается в ее душе... Знаю, знаю...

...Оборачиваюсь и — о удивление! — на пороге и, быть может, уже давно, стоит милая Анна Сергеевна... Вероятно, видела все мои жесты, движения... У нее флюс и щека повязана черным... Смотрит на меня и восхищенно удивляется.

— Шаляпин! Буквально Шаляпин! — говорит она. — Такой прекрасный голос! Такое дрожание! И вы до сих пор ни разу не пели, имея такой голос! Такое дрожание! Но только еще нужен аккомпаниман... Да, да, аккомпаниман... На пьянино или на гитаре.

Слово «аккомпаниман» приводит меня в бешенство своей слащавостью и носовым произношением, все что-то внутри меня порвалось, я с бешенством швыряю стулья и двигаю свой единственный стол так, что все звенит на нем, а Анна Сергеевна стоит и как ни в чем не бывало рассказывает об одном своем знакомом, который божественно пел «Ночи безумные» с «аккомпаниман» на гитаре, и она тогда плакала, и сердце ее разрывалось на части...

Не только что соседи, но и на улице, вероятно, был слышен рассказ Анны Сергеевны.

Хрен старый!

V

Знакомство произошло так.

Я стоял посреди ее комнаты и говорил:

— Вы человек интеллигентный, вы поймете. Полное одиночество, совершенно нет знакомых. Огромный город, масса людей, лиц, а разговариваешь только с Дарьюшкой да с Анной Сергеевной. Рядом же живет существо интеллигентное, чуткое. Ну, думаю, поймет и простит,— и я решился пойти к вам. Вы простите? Да?

— Прощу,— ответила она, улыбаясь.— Бог уж пусть вас накажет... Ну садитесь. Чаю хотите?

...Перед тем, как постучать к ней, я раз пять то надевал воротник, то снимал... потом махнул рукой, облачился в тужурку и решительно зашагал к ее двери.

В синей рубашечке, перехваченной у талии кожаным поясом, стояла она, держась рукой за спинку стула, и широко раскрытыми своими синими глазами, не понимая сначала моего бормотанья, смотрела на меня. А я говорил ей об ужасе одиночества, говорил о том, что слышу через стену каждое ее движение, говорил о бездне нерешительных, малодушных колебаний, прежде чем войти к ней...

— Что́ я о вас знаю? — говорил я.— Знаю, что вы из Крыма. Помню, как вы приказывали Дарьюшке убрать карти́ну в багетной раме, и тогда же заключил с радостью, что вы человек интеллигентный и тонкий. А Дарьюшка говорила вам, что я исписываю много бумаги и выкидывать не велю. И вы улыбнулись. Это чувствовалось через стену. И мы уже, помимо нашей воли, немного узнали друг друга. Между нами натянулись какие-то нити... Потом, когда у вас сидел кто-то, я вообразил, что вы — это та, которую я когда-то, давно-давно, любил и которая теперь меня забыла... И уже любит другого, который вот сейчас сидит у нее. И тогда я пел романс Чайковского...

— Вы его пели для меня? — изумленно спросила она.

— Да, для вас... Это были вы, изменившая и забывшая...

— Да вы мечтатель! — улыбаясь, сказала она.— Вы —

поэт. Вы, вероятно, пишете стихи... Так, так, так! — вспомнила она. — Вероятно, про эту-то бумагу и говорила Дарьюшка...

Я почувствовал, что краснею глупо, ярко, по-мальчишески. Сказать, что я пишу не стихи, а рассказы? И она улыбнется тогда, как все улыбаются, глядя на студентов, пишущих рассказы. И я соврал:

— Нет, — сказал я, — это лекции. Я переписываю лекции.

Она все-таки уловила мое смущение и улыбнулась. Но улыбка была другая, не та. Для нее я все-таки поэт.

— Вы и поете... — с той же улыбкой говорила она, и я почувствовал, что в ней, в ее душе заструилось что-то для меня ласковое и приветливое... Ясно, что она не сердится на мое навязчивое знакомство, ее не раздражает мое пребывание в комнате, ей не скучно, в глазах у нее даже блестит что-то, она думает, что перед ней — поэт, который стыдится своих стихов, как девушка стыдится цветов, приготовленных для возлюбленного.

— И пою! — сказал я.

— А знаете, — когда вы пели Чайковского, меня что-то захватило... Встревожило. Было, например, понятно, что это поет страдающий человек. Вы умели что-то вообразить и пережить. И тогда мне немножко захотелось познакомиться с вами... А вот у меня сидел знакомый, — так ему пенье не понравилось...

— А-а, это тот, который говорил все, что не нужно быть землей и тянуть к земле? Что не нужно вот ни этих глаз, ни этих волос...

— Вы все слышали?

— Слышал... Стенка такая, что все слышно. Я лежал на кровати, у меня болела голова, и я поневоле выслушивал все, что́ говорили...

— И он — знаете — как вас назвал?

— Как?

— Баритоном с дрожементом.

Пришлось сделать вид, что мне смешно.

Из этого разговора для меня совершенно определенно выяснилось одно обстоятельство: малюсенький или близок к ней, или рассчитывает быть таковым. Инстинктивное раздражение, закипевшее в нем против меня сразу, обнаруживает, что он зачуял во мне врага. О! ему, вероятно, уж не так безразличны эти синие глаза и золотистые волосы.

А ей захотелось познакомиться... Как прав раздраженный малюсенький! «Сапожищи, голенищи» — вспомнил я Дарьюшку и засмеялся...

— Чего вы? — спросила удивленно соседка.

— Знаете... Я — баритон с дрожементом, а его знаете как зовет Дарьюшка?

— Как?

— Малюсеньким. И говорит, что у него и сапожищи, и голенищи...

— Да что вы! — рассмеялась она.

— Правда...

И что-то легкое, правдивое легло между нами с этой первой же встречи... Разговаривалось легко, свободно, неизвестно откуда брались занятные, интересные темы. Я увидел, как у нас с ней было много общего, дорогого и любимого в литературе, в искусстве, и был колоссально рад новому знакомству: есть хоть с кем слово молвить в тоскливый, грустный час. Да исчезнет это проклятое столичное одиночество, терзающее душу, как чахотка! Еще больше радовало меня то обстоятельство, что и она, кажется, была довольна этим новым знакомством,— и потому мне особенно было легко с ней и свободно. В квартире тишина; Аким Исакыч, одинокий и мечтающий, играет на цитре,— и я говорю ей:

— Вы слышите? Играют. Играет человек с тонкой и нежной душой,— человек, которому некуда пойти...

Часов в одиннадцать пришла Дарьюшка забирать самовар и самым искренним образом ахнула на пороге:

— Ах, леший! Да ты уже сюда пробрался! — и закачала головой. Эти слова, вырвавшиеся из самой глубины сердца новгородского сокровища, рассмешили ее, и она сказала с напускным сокрушением:

— Да, да, Дарьюшка! Он здесь!

— Вот леший! — изумлялась та, забирая в одну руку чайник и стаканы.— Ведь надо же это сообразить! Ну, студенты! Ну, народ! Восемнадцать лет вожусь с ними! Уж теперь кто и студентом-то был, небось уж генералом стал... Ну и губерния! Булок тебе к завтрему нужно, что ли? И масла? Там ведь уже чуточку осталось. Ну, народец,— прости, господи, мое великое согрешение!

И долго еще слышно было, как она возилась на кухне и стучала самоварной трубой.

...Когда я пришел к себе,— первым долгом отворил окно: стояла светлая, чистая осенняя ночь. Было совершенно тихо. Я сел на подоконник и начал смотреть на небо. Там было много звезд. И я подумал: как огромна и сложна жизнь! Вот люди спят,— они теперь беззащитны, как мертвецы. Они искренни. У них не действует мозг — жало жизни. А засветит вот солнце, наберутся они у ночи темной мощи, озвереют и будут днем смеяться и ругаться над жизнью, которая могла бы быть все-таки прекрасной и счастливой.

Как разнообразна каждую минуту жизнь на земле! Рождаются люди. Умирают люди. Мчатся похожие на червяков поезда. Плывут, как лебеди, пароходы. В алтарях и могилах темно. Есть сердца, которые полны трепета и предчувствий и которые успокаивает свежая, чистая, осенняя ночь. Свежая, чистая.

VI

Создались славные, товарищеские отношения,— отношения совершенно новые, у которых нет прошлого. Я не спрашиваю, кто она, она не интересуется, кто — я, и это выходит прекрасно. Если выдается хороший день, мы едем на Острова и с высоты коночного империала наблюдаем толпы бесконечно чуждых и нам, и друг другу людей, их лица, их смех и печаль, и бесконечное взаимное равнодушие,— эту самую яркую и сильную тоску нашей окаянной жизни. Сквозь окна вторых этажей, мимо которых тянется наш ковчег, мы видим их радости, их начинающуюся любовь и, как венец всего,— на мостовых, бойких, озабоченных мостовых,— длинные, скучные похороны. В закрытом гробу лежит в смиренной, другими устроенной позе и покачивается пивший чай, обедавший, любивший женщин, смотревший на звезды, имевший в руках деньги.

Я люблю эти прогулки на Острова. Стоят уже последние, прощальные и оттого, вероятно, как-то особенно приветливые, прозрачные вечера: похожи они на лицо женщины, закутанное вуалью. Чувствуется, что скоро осыплются последние листья и, как никому не дорогие трупы, будут лежать на заброшенных дорожках,— вода залива сделается злою и неуютною, постареет, будет неохотно отражать в себе небо, и уже не хватит солнца, чтобы согреть ее и прилас-

кать. Потускнеют краски неба, и будет оно, сейчас еще синее, походить на выцветший, старый слезящийся глаз.

К закату наезжает из города толпа, серая, однообразно, словно по одному приказу одетая, и чувствуются в ней стены города, каменного и деловитого. Эти люди никогда по ночам не любуются звездами и приезжают смотреть засыпающее солнце только потому, что это случается после их обеда и некуда деть двух часов: между сладким и театром. Все в них застыло, отяжелело, как у наевшихся удавов, и, глядя на краски заходящего солнца, они думают о теплых калошах.

Каким огромным счастьем было, что вот возле меня сидит девушка, которая заставляет дрожать самые нежные, самые красочные струны моей души! Бог для счастья на земле дал ей золотистые волосы, синие, глубокие глаза. Отчего они так грустны,— эти синие глаза? Отчего кажется, что в них никогда не засыхает и вечной, отгораживающей от мира пленкой стоит никогда не тающая, прозрачная слезинка?

Начинало темнеть, и в далеком городе, бросая на небо багровые колеблющиеся полотна, вспыхивали фонари, цилиндры, переставали блестеть и, тихо шурша по колючему гравию, гуськом тянулись к мосту превратившиеся из измученного тела в дерево и кожу прекрасные экипажи. И оставались мы почти одни в потемневшем лесу. И тогда мы, одни, бродили по темным, нигде не кончающимся аллеям, такие близкие и такие далекие, и хотелось мне узнать, что волнует душу этого человека, какие течения, сильные, видимо, и глубокие, намечаются в ней? Еще один вечный, проклятый из проклятых законов жизни: можно быть бесконечно близким к человеку, не будет, кажется, граней между двумя душами,— но чем поручиться, что ты знаешь все, что имеет в себе тот, другой? Если он не захочет сказать, ты никогда не будешь знать... Нет таких способов, чтобы тебе самому, чтобы твоя душа своими собственными глазами заглянула внутрь другой души!

И я думал о тех загадках жизни, которые так поверхностно именуются ее случайностями...

— В разных концах, хотя и не далеких, мы родились с вами,— говорил я,— росли и никогда не подозревали о существовании друг друга. Но уже, может быть, задолго до нашего рождения была кем-то построена крыша, под ко-

торой мы встретились и узнали друг друга. И мы сошлись. И что-то внутри меня, такое, которое редко ошибается, говорит уже мне: мы не так легко разойдемся, как сошлись.

— Вы думаете? — тихо спросила она.

— Да, я так думаю. И думаю, что в вас есть что-то мое, мне принадлежащее. Когда у вас сидит тот, я не могу заставить себя не слушать его баса, его речей, его шагов и думаю: отчего она не хочет познакомить нас? Когда вас иногда не бывает по целым вечерам, я думаю: где она? Я слоняюсь из угла в угол своей комнаты, в которой не могу зажечь огня, я жду вашего звонка, вашего вопроса: «нет ли писем?» И душа моя болит и, кажется, корчится в судорогах.

Она ничего не сказала...

Медленно перешли мы мост, деревянный, покачивающийся от езды, сели в конку, долго ехали, потом долго шли по длинному проспекту и были чужими и для друг друга очень, бесконечно далекими.

Был вечер праздника, попадалось много пьяных...

VII

Когда пошли дожди и начались холода, я стал топить печку, сам носил из кухни дрова, укладывал их стоймя и долго разжигал огонь,— а когда он, сначала такой неохотный, вспыхивал ярким пламенем и в темной комнате, по углам и на потолке, начинали плясать обрывки теней,— я стучал к ней в перегородку и говорил:

— Маруся! Идите! Затопил печку...

И хотя она обыкновенно ничего не отвечала,— но я знал, что минут через пять придет ко мне девушка, с которой вот уже два месяца я живу рядом и которой не знаю,— придет в вечерних сумерках неясная, таинственная, с вязаным шарфом на плечах... Лампы мы обыкновенно не зажигали, а садились перед огнем: я — на стуле, а она — на маленьком табурете, и голова ее касалась моих колен, были близки ко мне ее волосы, мягкие и золотистые...

Молчали. Проходило много времени,— и я начинал думать свою обычную, тяжелую думу: она любит? Если любит, то во всяком случае — не меня. И сумерки, созданные для самых тихих и красивых моментов любви, делались мне противными и враждебными,— и комната, с ее неустающи-

ми тенями и отсветами, мучила меня. Хотелось весны, синего неба, соснового бора, в котором можно бродить целый день между огромными, прямыми деревьями, смотреть в просветы вершин и слушать их шум...

Иногда среди молчания я наклонялся к ней и, чувствуя, что смешон и надоедлив, шепотом спрашивал:

— Ну, Маруся, милая,— скажите же мне, кто вы?

Она чуть улыбалась... Начинало казаться, что ей даже нравится постоянство, с которым я повторяю этот вопрос... Глядя на меня снизу вверх своими немного прищуренными, блестящими глазами, она говорила:

— Какой вы чудак!.. Тысячу раз я вам уже докладывала, что приехала я поступить в женский медицинский институт, не поступила потому, что не выдержала конкурса отметок,— вот и все... А кто я? Ей-богу, не знаю, как вам ответить. Обыкновенная провинциальная девушка... Два года тому назад окончила гимназию, приехала теперь сюда, в Петербург, о котором всегда мечтала... Проживу вот еще три недели и уеду к себе, в Крым... Вот и все... Кажется, ясно...

Потом в эти прищуренные блестящие глаза начинает вкрадываться какое-то особенное, только женщинам присущее лукавство — и она добавляет:

— Иногда, знаете, я вспоминаю ваши слова, и тогда таким огромным, великим счастьем мне кажется, что в свою собственную душу человек, если захочет, может никого не пускать. Если захочет, только он один, своими собственными глазами, может глядеть в нее. Вот мы с вами: сидим близко, нас греет один и тот же очаг, смотрим друг на друга, а почем я знаю, что у вас делается на душе, о чем вы думаете? Почем вы знаете, что делается у меня на душе, о чем я думаю? Может быть, все, что я вам сказала о себе,— ложь? Какое счастье, ей-богу! Какая гордость!

И она начинала сильнее стягивать на плечах свой платок,— будто ее знобило.

— Маруся! вы любите?

— Люблю...

Что говорить дальше? О чем? Чувствую, что нужно уйти, убежать,— иначе создам такое глупое положение, из которого потом не уйдешь никакими судьбами,— но воля куда-то исчезает, в душе начинает шевелиться какое-то несложное, неприятное чувство... Скоро оно остается все больше и боль-

ше одиноким, как тупая физическая боль,— и, наконец, выливается в вопросе:

— А кто он?

И только тогда, когда уже эти три коротеньких слова сказаны,— стыд, едкий, острый, зажигается во мне. Я вижу, как дружеское расположение этого, сидящего около меня человека заменяется холодным и враждебным чувством. Она глядит на меня так же, как и прежде, снизу вверх, но обжигает меня уже не улыбка, а равнодушие, полное холода и безнадежности,— молчание, злое, таящееся. И в ответ, как око за око, у меня пропадает стыд и рождается прежнее несложное, неприятное чувство... Хочется причинить острую боль этому существу с золотистыми волосами,— и я принимаю небрежную позу, ставлю правую ногу в жерло печки и, придавая голосу умышленную небрежность, говорю:

— Ну, разумеется, это тот, который часто по вечерам ходит к вам... Малюсенький... Нашли кого! Я его ни разу не видал, но Дарьюшка говорила: маленького роста, в больших сапогах, а ходит так: бух, бух... Как дрессированная лошадь,— простите, пожалуйста...

— Вы угадали...— говорит она,— он... да, я его люблю...

Через несколько секунд, которые кажутся мне часами, я чувствую, как она потихоньку касается моей руки и говорит,— и в тоне ее звучат уже иные ноты,— мягкие, смиловавшиеся:

— Ну, будет...— шепчет она,— будет...

...Уже семь часов, а на сегодня куплены билеты в театр. Я заказываю самовар, помогаю Дарьюшке колоть щепки, говорю, что у нее плохие самовары, не умеют скоро кипеть,— а Дарьюшка лукаво подмигивает мне и говорит:

— Знаем мы плохие самовары! Ох, уж эти самовары, самовары...

Когда Маруся выходит ко мне одетая для театра, от нее пахнет прекрасными духами, и тут только почему-то я начинаю уяснять себе, как мне даже нельзя мечтать о ней... Едем в театр в фаэтоне с поднятым верхом: с неба капает какая-то мелкая, нудная сырость... Тепло, уютно, фаэтонишко прыгает и раскачивается. Извозчик оборачивается и говорит:

— Приготовьте, барин, деньги...

Так скоро... У подъезда, на фоне больших матовых фо-

нарей, видны короткие, прерывистые нити дождя. Кричат и размахивают руками околоточные в резиновых накидках, похожие на священников... Гуськом, сзади каких-то дам в капорах, входим в вестибюль, пол которого, из квадратных плит, покрыт отпечатками калош... По крутой старинной лестнице взбираемся далеко наверх... И когда усаживаемся на первой скамье, я считаю себя очень счастливым: так много народу, а я все-таки сейчас, в этом большом, круглом зале, ближе всех к ней... И когда в антрактах мы пьем с ней у буфета лимонад, я молю бога, чтобы не встретилось никого из знакомых.

VIII

Подряд, партия за партией, я проиграл маркеру шесть рублей,— и в последней игре он «налил мне сухую»: я не сделал ни одного шара...

— Волнуетесь, барин,— оттого и удару у вас нетути...— сказал маркер, улыбаясь,— игра, барин, вешшь такая, что спокойствие любит...

— Ну и пусть любит... Какое мне дело, что игра спокойствие любит... А я вот не люблю спокойствия этого... Где у вас тут водку пьют?

— Насчет водки в зал, пожалуйста... До свиданьица!

И вот я уже сижу около огромного, со странными блестящими трубами органа... Как чревовещатель,— не слышно откуда,— рычит он,— устало и протяжно,— вторую рапсодию Листа.

Много дыма. Много шума.

За большим столом, посредине зала, возле канделябров и искусственных пальм, сидят студенты. Многих из них я встречаю в коридоре университета. Блондин, высокий, с падающим на лоб чубом, говорит лакею:

— Слушайте: пусть замолчит этот дед... Ну его! надоел!

И деда останавливают...

Блондин встает, загадочно улыбается, обводит глазами свою компанию и, как регент, сквозь зубы, задает тон, и в зале раздается, среди пьяного шума, незнакомое и странное:

— По рррюмочке, по рррюмочке... Тирлимбомбом, тирлимбомбом...

Дирижер талантлив, умеет заражать собой хор, и он то вспыхивает, то замирает под его властной рукой...

— Пье-ешь, не пьешь — все равно умрешь,— запевает блондин высоким тенором, закрыв глаза и с упоеньем, видимо, слушая себя,— выпьешь, закусишь — и снова оживешь!

— Выпьешь, закусишь и снова оживешь! — подхватывали коллеги...

— И снова оживешь! — присоединялся мало-помалу к хору пьяный зал...

...У вас опять сидит малюсенький? Вы опять говорите шепотом? И опять он спрашивает про меня: «А этот дома?» И опять вы молчаливо и многозначительно киваете головой... Я уйду, уйду... На весь вечер уйду...

— Господа, господа! — уже суетился около студенческого стола управляющий: его прикрытая, как паутиной, лысина сверкала, наклоняясь, то там, то здесь,— петь нельзя-с. Законом строжайше воспрещено. Честное слово-с... Нам не жалко, только закон-с...— И он беспомощно выворачивал обе ладони...

— Выпьешь, закусишь...— и дирижер сделал неожиданный, останавливающий жест — и все сразу, как один человек, стихли.

— Господа!..— среди тишины послышался управляющий.— Прошу вас...

— И снова оживешь! — шутя и смеясь, перебил его хор...

Вместе с этой компанией, незнакомый, но свой, ушел я из трактира, долго бродил по спавшим холодным улицам, затрагивая женщин, прохожих, городовых...

— Господин! Господин! — приставал я к какому-то встречному.— Из какого языка взято слово: женщина? Женщи-на? Понимаете?

— Извините! — отвечал тот, ухмыляясь.— Мы полотеры-с... И этими вещами не занимаемся-с...

Потом все это надоело, голова прояснилась, и я пошел к себе. Один, сразу лишившийся веселья и задора, долго добирался я по коридорам пустых улиц до своего дома...

— Вы, может быть, еще сидите? — бормотал я.— Но простите: больше не могу оставить вас... Устал, хочу спать... Да...

Снег сыпал,— и на фуражке, и на плечах лежали его

холодные, приятные пласты. Первый снег, падающий с синего неба! Как ты похож на молодую любовь...

Подошел к дому. Ее окно было еще освещено. Еще, значит, не спит. Ушел тот или нет?

«А чем я рискую?» — проносится у меня в голове приказчичья фраза, и, приподнявшись на карниз, я стучу в ее окно...

Колыхнулась чья-то тень... Осторожно выглядывают изпод приподнятой шторы большие испуганные глаза. Силятся разглядеть, кто за окном. Я держусь за подоконник, мне неудобно, и все мое тело напряженно отклонено назад.

— Это я! — говорю я и чувствую, как на губах у меня появляется кривая улыбка.

Маруся узнает и улыбается, что-то отвечает, но за двойной рамой ничего не слышно.

— Я это! — кричу.— Снег идет! Хорошо!

Малюсенький, значит, ушел...

— Снег идет, Марья Константиновна!

И мне казалось, что если бы она чувствовала меня, то поняла бы, почувствовала эту фразу... Я не смею сказать: «Люблю тебя» — и говорю только о снеге, который так похож на молодую любовь,— о снеге, падающем с синего неба.

Маруся отворила форточку и высунула руку ладонью вверх...

— Снег? — говорила она.— Смотрите, в самом деле: все белое... Знаете что? Я сейчас к вам выйду, и мы пойдем гулять. Согласны?

— Согласен! Конечно, согласен!

И за опустившейся шторой снова заколыхалась черная, беспокойная тень.

Жду. Стою на тротуаре. Кругом все тихо, никого нет. Ночь. Только в противоположном огромном доме светится несколько окон в третьем этаже. Мне видны белые потолки и маленькие, с тремя лампочками, люстры... Весь дом спит и знать не хочет, что с прозрачного хрусталя неба сыплется первый душистый сухой снег...

На освещенной шторе то и дело пробегает ее суетливая тень... Спешит, одевается... А вот рядом и мое окно,— темное и унылое, как моя душа... Погас мгновенно огонь и у нее, сразу потемнела штора... Теперь она осторожно, на цыпочках, пробирается по темному коридору, словно на

свидание... Вот стукнула уличная дверь, и на пороге показывается она, в кофточке и черном платке,— веселая, улыбающая. Еще бы! Целый вечер с ним, без подслушивающего...

— Вы здесь?

— Здесь!

И мы, почему-то торопливо, идем мимо сонных домов, дворников, извозчиков... Вот река, которая еще блестит в далекой рамке немигающих огней... У разводящегося моста снуют буксиры... На мосту сторожа накручивают на столбы канаты. Какой-то господин, в котелке и с барашковым воротником, бегает по краю моста и кричит:

— Спите все, чертовы дети! Вот градоначальник примажет вас по десятке,— тогда узнаете камаринского мужика! Стервы проклятые! Уж десять минут четвертого! А? Ну, как это вам понравится?

Около моста стоят, глядя в воду зелеными и красными глазами, большие пароходы... Видны силуэты людей...

— Знаете что? Пойдемте к крепости! — шепчет мне Маруся.— Пойдем? Я люблю смотреть на нее... Она так хороша бывает в эту пору...

Мы идем на Биржевой мост. На фоне темного синего неба изящными и легко уходящими ввысь контурами обрисовывается крепость. У темных, похожих на монастырские ворот горит фонарь, плохо разгоняя вокруг себя тьму. Маруся облокачивается на перила моста и не спускает глаз с этого огонька...

...Было темно, и Дарьюшка, отворившая нам двери, долго не могла снова наложить крючок,— ворчала и говорила, что есть разные люди: которые спящие, а которые тротуары по ночам обивающие.

Я пришел к себе в комнату и, не снимая пальто, усталый, разбитый, сел в кресло... Тишина... Только Маруся осторожно ходит в своей комнате. Она тоже устала. Эх,— вырваться поскорее бы из этого окаянного города! Теперь бы хорошо очутиться у себя, на Волге,— в своем доме, в своей комнате... И я ясно представил себе нашу Кирилловскую улицу, большие, немного холодные комнаты, кабинет отца, книжные шкафы, бюст Гоголя... Брат Петька теперь каждый день бегает на реку смотреть: не замерзла ли,— и молит бога, чтобы он скорее лед пустил... У Петьки великолепные коньки с винтами: выменял их он на пару

лучших своих черно-рябых голубей и утверждал, что все-таки обманул дурака на четыре кулака: коньки дороже...

— У вас спички есть, Иволгин? — негромко слышится из-за стены.

— Есть! — таким же тоном отвечаю я.

— Дайте...

На цыпочках я иду в ее комнату...

— Вы где? — спрашиваю, боясь наткнуться на что-нибудь...

— Вот...

Зажигаю спичку. Среди мгновенно ожившей комнаты она стоит, не раздеваясь: в кофте и платке. У меня дрожит рука, и спичка гаснет. Опять темнота, но я знаю теперь направление и иду прямо к ней...

— Нате!

Она протягивает руку, и я чувствую ее, — эти милые знакомые пальцы. Теперь они холодны, — я держу их, хочу согреть... И говорю — не знаю зачем:

— Мои милые знакомые пальцы... Мои дорогие знакомые пальцы...

И целую их... Я знаю, что она сейчас прогонит меня, и — помимо моей воли — срываются все-таки с языка слова:

— Ты знаешь, что значит: «снег идет?» Это значит: «люблю тебя...» Понимаешь? Люблю тебя. Люблю...

И слезы, черт знает откуда появившиеся, капают на эти милые знакомые пальцы...

Она тихо ответила:

— А я хочу счастья, — счастья... Понимаешь? Простого, маленького, но только моего личного счастья... Хочу, понимаешь? Глупый! Ты ревновал... Милый! Снег идет!

Она приподняла край шторы и еще раз повторила:

— Идет снег! Милый снег!..

IX

Сегодня я еще спал, как Маруся постучала ко мне в стену:

— Ты спишь?

— Нет, не сплю, — отвечаю я, — так лежу, мечтаю.

Вот уже две недели, как мы живем по-новому. Я иногда рассказываю ей о своих муках ревности, о вечере в

трактире, о разговорах с Дарьюшкой. Мы подолгу сидим и мечтаем о свадьбе, о том, как проживем это лето у меня на Волге, как в июле съездим в Нижний, посмотреть ярмарку, потом спустимся до Астрахани. И будем потом на пароходе изолироваться от всяких знакомых... Нарочно выберем светлые лунные ночи и будем одни,— совершенно одни! Какие красивые и содержательные дни можно пережить...

Так мы мечтаем, сидя у огня... И теперь я уже свободно целую и эти волосы, и эти дорогие глаза,— и то прошедшее время, полное нелепых душевных переживаний, кажется мне скучным и досадным...

— Я ухожу! — говорит она.— Прощай...

Я не спрашиваю: куда? Какое мне дело! Везде, куда она ни пойдет, будет с ней моя любовь, которая охранит ее...

— Надолго?

— Не знаю,— может, к вечеру вернусь...

Голос ее неспокоен,— нервно дрожит. Вероятно, получила письмо. Есть какие-то у нее письма, которые волнуют ее... И после них блестят глаза Маруси как-то особенно: тревожно, боязливо, точно она ждет кого-то... И тогда она бывает особенно ласкова со мной, особенно тепла,— и любовь ее кажется мне безграничной.

— Ты, может, зайдешь ко мне на минуту? — говорю я, чувствуя, что сейчас нужно быть с ней, разогнать какую-то тучку, о которой я все собираюсь и никак не могу поговорить...

— Хорошо. Зайду.

Входит одетая в теплую кофточку с барашковым воротником, в барашковой маленькой шапочке... Волосы из-под шапочки чуть выбились и золотистыми нитями протянулись к уху через угол лба. Действительно, она и внешне возбуждена, глаза ее блестят,— блестят, как не умеют обыкновенно блестеть синие, нежные глаза... В эти глаза ушла ее душа, чуткая, теперь почему-то встревоженная. Вот она сидит у меня, на краю моей постели,— сидит моя жена,— та самая, для которой я родился на свет и которая родилась для меня. С ней я проживу всю мою жизнь. Ничего на свете нет для меня ближе... Для нее я открою самые далекие, самые заповедные уголки моей души. И теперь, и в сорок лет, и сходя в могилу, я буду целовать эти синие, нежные глаза,— кусочки теплого, весеннего расцветающего неба... Она сидит около меня, как около мужа. С нежностью

смотрит на меня весеннее небо. Она так близка ко мне, так близка... Ведь вот же я протягиваю к ней руки, я наклоняю ее к себе, я целую ее глаза, ее губы, ее свежие упругие щеки,— ее шапочка сползает набок, и она смеется,— смеется как-то особенно, странно и говорит:

— Ну, слушай, как тебе не стыдно так трепать меня...

Ведь так же это все близко, а вот... блестят ее глаза, как никогда не умеют блестеть синие, нежные глаза; смеется она нервно, возбужденно, как бы стараясь забыть черную мысль, стоящую сзади нее,— и что́ я знаю, почему это? Почему я не могу сам, своими глазами взглянуть в ее душу? Почему я так близок и так далек, так бесконечно, безгранично далек? Вот я спрашиваю у нее:

— Ты сегодня особенная, Маруся... Возбуждена, нервничаешь...

Она отвечает:

— Да, есть немного... Это я чувствую, и это скверно.

— Ты получила письмо?

— Да, получила письмо... Впрочем,— лучше не будем говорить об этом.

— Маруся! Ты любишь кого-нибудь?

— Люблю. Тебя.

— Ты любила кого-нибудь?

— Кроме тебя никого. Ты — первый и...

Заволакиваются кусочки синего неба тем нежным и сверкающим, которое, как пленка, отгораживает ее от мира, от счастья...

— И последний... Ну, впрочем, не будем говорить об этом. Об этом мы с тобою будем всегда разговаривать в сумерках, знаешь,— когда начинает засыпать день... Мы будем сидеть с тобою так вот рядом,— пусть это смешно, но я обязательно положу тебе на плечо голову и буду говорить, как я люблю тебя... И, понимаешь, ты всегда должен молчать... Ты всегда будешь молчать... Ты будешь мой... Только мой,— да?

— Только твой, да...

— Ну, а теперь вот ты спишь, а на дворе — мороз... славный, славный такой мороз...

— Ну-у? Мороз? Уже? И извозчики на санях?

— Да, на санях... Посмотри в окно: узоры...

— Вот хорошо-то! — протягиваю я.— Мороз! Приходи раньше,— поедем кататься далеко, на Острова, к заливу...

— А ты долго еще будешь валяться?

— Я-то? Спится... И сны все такие, что любить тебя еще больше хочется.

Она совсем припала лицом к моему лицу, щекой к щеке, нежно гладит мои волосы,— такая ласковая, святая,— и почему-то тихо, тихо,— я еле слышу,— шепчет мне на ухо·

— Ну, а рассказ ты мне свой, первый рассказ,— посвятишь?

И не знаю откуда,— но я начинаю ощущать в себе страх за этого дорогого мне человека,— я чувствую, что в ней творится необычное, какая-то огромная, гефсиманская тоска давит ее, душит,— ведь я же слышу эти скрытые рыдания,— откуда они? почему они? Почему этого не дано мне знать?

— Да, свой первый рассказ я посвящу тебе... Но Маруся... моя милая, единственная Маруся... Ты — мое солнце, ты — моя жизнь... Ты — моя единственная, светлейшая радость... Ты — мое счастье... Ты — смысл моего существования... Заклинаю тебя, скажи: ты любишь меня?..

И чуть-чуть, только напряжением всего своего существа я слышу:

— Только тебя!..

— Маруся! Но ты любила, ты сейчас получила письмо от него, и в тебе плачет, в тебе таится тоска по самому нежному и раннему твоему, может быть, разбитому счастью?..

— Я и люблю, и любила только тебя... Ты первый и...

Опять нервная пауза. Опять эти сухие, затаенные рыданья... Откуда они? Разве я ухожу от нее? Разве я не люблю ее? Разве она не видит, как это мучает меня, рвет мою душу на части?!

— И последний...

Молчание, в котором минуты идут как дни... Вот она приподнимается, оправляет волосы... Глаза ее сухи... Не смотрит на меня. Озабоченна... Вот взгляд ее упал на окно.. Улыбнулась — самой себе... И опять говорит:

— Посмотри в окно... Снег идет! Помнишь,— две недели тому назад...

И вдруг что-то тупое, свинцовое налегает на мою душу... Я задыхаюсь, я забываю слова... Не знаю, как это сказать... Я сжимаю зубы, до боли, тру ладонью лоб... Я понял,— эта женщина лжет,— да, лжет. Она мне лжет. Лгут ее гла-

за, лжет ее дыханье, лжет ее душа,— все в ней лжет! Каждое движение ее, каждый взгляд,— то, что она сидит у меня на постели, как у мужа,— все лжет! Около меня — огромная, давящая ложь!

— Маруся! — задыхаясь, спрашиваю я и беру ее руку.— Смотри мне в глаза... Прямо в глаза!.. Помни, что я знаю: ты утром получила письмо... Ну, теперь — скажи мне еще раз: ты любишь меня?..

Она долго смотрела на меня и... улыбнулась...

И я слышал... Слышал... И бессильный, счастливый, напоенный радостью, как солнцем,— я опять опустился на подушку...

— Ну, а скажи мне,— проговорила она,— ты на кого похож: на отца или на мать?

— На мать...

— Значит, будешь счастливый...

— Ну, еще бы!

— Ну, вот... Ну, а теперь прощаи... Прощай!..

Я обвил ее шею руками и прижал к себе. Полегоньку, нежно, высвободилась она, поправила волосы и шапочку и пошла к двери. У самого порога остановилась и оглянулась.

— Спи! — чуть слышно сказала она и прижала к губам палец.— Прощай! А ну, зажмурь глаза: я погляжу, как ты спишь... Ага, вот так... Какой смешной! Ну? — и она несколько секунд помолчала.— Прощай, мой дорогой! Прощай!

И я слышал ее легкие шаги в коридоре, лязганье крючка у двери,— слышал, как она что-то сказала Дарьюшке и та ответила: «Ладно, ладно, барышня!» И чувствовал я, когда она проходила мимо моего окна,— она посмотрела на него, улыбнулась и сказала ласково, как мать:

— Спи!

И снова дремота охватила меня: я захотел хоть в грезе еще раз увидеть ее, Марусю,— а какими-то неисповедимыми судьбами очутился на воздушном шаре, над океаном, в океане плывут на обломках мачт, на перевернутых лодках, на бочонках люди, потерпевшие кораблекрушение, и кричат мне: «Спаси нас, спаси! Возьми нас к себе!»

А я беспомощно развожу руками и отвечаю:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают! Этот окаянный шар не слушает меня и не хочет спуститься! Но вы, ребята, не унывайте!.. Вон на горизонте идет корабль — он спасет

вас... И вы вернетесь в свои семьи и будете целовать ваших детей... Да, да,— не вертите, пожалуйста, головами, а слушайте, что вам говорит порядочный человек: идет корабль! И привезет вас туда, где вас ждут ваши милые дети: мальчики и девочки...

X

Весь этот день был какой-то особенный: радостный и тревожный... Хотелось петь, работать, писать домой хорошее ласковое письмо. Накупил смешных открыток и отправил их Петьке, нарочно поддразнил его тем, что в Петербурге уже роскошный лед, на катках играет музыка, а среди катающихся есть такие искусники, что пишут на льду вензеля и танцуют мазурку... Кстати: непременно нужно будет и самому заняться этим спортом, и Марусю научить...

Был в университете. Как я люблю этот длинный, светлый коридор, в котором всегда так молодо, так весело, так шумно и так тесно... Встретил Славова: стоит и с серьезнейшей миной читает объявление какого-то землячества.

— Слушай,— говорит,— где ты пропадаешь? Ни в «Маньчжурии» тебя не видать, ни у Гусевых.

— Дела во́, по горло, брат. Занимаюсь, к зачету готовлюсь.

Славов вынул какой-то инструмент и начал чистить ногти: еще в гимназии у него была мечта иметь аристократические ногти.

— Счастливый! А я вот, понимаешь, проигрался в пух и прах. Шурка три креста вперед давал и все-таки выиграл. Он, подлец, за лето в своем Белгороде насобачился, и теперь житья нет православному народу. С маркером, понимаешь, так на так играть берется... Каково?..

И Славов делал круглые глаза.

...Давно уже смеркалось, шестой час идет, а Маруси еще нет. Я хожу по ее комнате и жду. Вот комод, вот стол, книги. Так же, как и у меня, висят юбки, кофточки... Ее умывальник, мыло,— недавно начатое, с чуть стершимися буквами. Полотенце с кружевной оборкой, хорошей тонкой работы, буквы «о» и «с»,— почему же не ее инициалы? Это меня заинтересовывает и даже немного тревожит.

Слышу, как в хозяйской комнате пробило семь, потом по-

ловина восьмого. На улице и в окнах магазинов давно уже горят огни. Ко мне приходила Дарьюшка,— ей, видимо, скучно, и лень, для нее совершенно необычная, чувствуется во всех ее движениях: должно быть, кости ломит.

— Что ж впотьмах-то сидишь?— спрашивала она.— Самовар ставить надо бы... Нету барышни-то...

— Нету!— отвечал я.— Пусть уж будет восемь... Авось подойдет...

— Засиделась, поди, где-нибудь...

— Да, конечно...

Дарьюшка начинает зевать и крестить рот. Сейчас начнутся воздыхания о грехах.

— Нравится тебе барышня-то?— спрашиваю.

— Ндравится, очень!— тепло говорит Дарьюшка.— Прямо редкая барышня! И тебя любит... Очень, ей-богу!.. Утром-то уходит и говорит: «Вы уж не будите его, Дарьюшка». Это тебя-то, лешего... «Пусть, грит, поспит...» Ну, пусть, думаю... Да-а... Там сахар у тебя вышел... Купить бы пока что, а то ведь лавки-то запрут, будешь чай несладкий пить...

...А что, если все, что было,— шутка, каприз? Что, если она все-таки, несмотря на все уверенья, любит малюсенького?.. И слезы подступают к горлу, и дышать становится мне трудно.

Против моего окна горит газовый фонарь, и светлая полоса простыней легла на пол комнаты, задела стол, угол какой-то книги, ножку дивана. Заиграл на цитре Аким Исакыч. Принесли мне письмо. Долго держал его в темноте,— и руки дрожали: не от Маруси ли? Потом чиркнул спичкой, посмотрел на адрес: из дому, рука отца. Зажег свечу. Рассеянно пробежал по кривым строчкам. Пишет старик: «все благополучно, желаю тебе быть здоровым, в делах твоих — скорого и счастливого успеха, все дома живы и здоровы, в городе — новость: чуть не подрались на дуэли Абрамов и Санденцкий, поссорились на любительском спектакле у Евдокимовых. Вторая новость: в архиерейской церкви повесили новый колокол, весом 553 пуда, гудит на весь город и даже, уверяют, в Михайловке, за 8 верст, слышно»...

И опять пришла Дарьюшка.

— Ну, голубь,— сказала она,— будешь пить чай — пей, а то я спать лягу... Знать, заночует где-нибудь барышня-то...

— Спи!

Ночь. А Маруси еще нет.

Я опять иду в ее комнату, стою возле стола и говорю:

— Маруся! Милая! Я люблю тебя. Ведь только же утром, сегодня, ты целовала меня! Где ты? Неужели ты забыла меня? Неужели ты теперь смеешься надо мной?

У меня звенит в ушах, а это, по приметам, значит, что кто-нибудь думает в эту минуту о тебе.

Темно. Квартира спит. Даже у Акима Исакыча пропала под дверью светлая полоса: он ложится позже всех. Один я хожу и думаю: вот звякнет звонок и придет она, раскрасневшаяся, здоровая,— и скажет мне, бледному, измученному:

— Ну, вот и я. Здравствуй, мой дорогой! А я где была-а... И протянет это: «была-а...»

И вспоминается мне почему-то ее вопрос: «Ты на кого похож: на отца или на мать?» Вспоминаются ее глаза, горевшие так, как никогда не умеют гореть синие, лучистые...

...Рассвет. Медленно, медленно, как бледный цветок, разворачивается из темноты утро. Погас фонарь на тротуаре, и комната сделалась серой. Опять у порога стоит Дарьюшка и широко зевает:

— Да ты не раздевался, что ли? Дурашка! Перестань, выкинь из головы думы-то! Ну, заночевала у подруги,— что за беда! Какой вы, ей-богу, народ, мужчины... Хотите, чтобы стой вот перед тобой, как лист перед травой... И гляди в твои шары... Да... Спят еще все: давать самовар аль погодить?..

И опять день,— солнечный, яркий... Идет снег... Извозчики на санях, и верхи их шапок запушены белым...

Заходил Славов... Звал в «Маньчжурию».

— Маруся! Где же ты?..

Вот опять ползет вечер, и опять будет ночь, длинная, как перед казнью...

И опять утро...

Из зеркала глядит на меня чье-то чужое, постаревшее лицо, с широко открытыми, неморгающими глазами... Обострившийся слух слышит каждое движение, каждый шорох в квартире.

— Надо полиции заявить: пропала Марья Константиновна-то,— в коридоре хозяйка.

— И куда это она? — горюет Дарьюшка.

— Вещи, все-таки,— продолжает хозяйка,— как-никак...

Оно, конечно, может, и уехала куда, а может, и случилось что... Оформить дело нужно...

Перед вечером она надела шубу, шапку, натянула вуаль, пошла, проходила минут сорок и, вернувшись, сказала:

— Фу! Запыхалась! До участка-то далеко, а в участке народу — пушкой не пробьешь... А тут еще суета: какого-то генерала, сказывают, в городе убили... Ну покамест туды-сюды,— околоточный сказал: «хорошо... дело видно будет...»

...Затоптались в коридоре... Какая-то толпа... Какой-то голос...

— Здесь жила Ольга Солнцева?.. Ольга Петровна Солнцева?

Испуганная хозяйка отвечает:

— Никакой у нас Ольги Солнцевой, ваше благородие, нету. Вот здесь из типографии живет, здесь — студент Императорского университета, здесь вот — барышня Марья Константиновна, исчезнувшая... Больше никого нет...

— Марья Константиновна! — грубо передразнивает ее тот же голос.— Хорошая Марья Константиновна, чтоб ее...

— Ничего в комнате не трогали? Все как было?

— Вот вам святой крест... Ни-ни... Ни капельки... Как ушла, прислуга, конешно, прибравши комнаты, постель. Прислуга у меня старая, Дарьюшка,— вот она...

— Птичку вы у себя держали!

Зашумели в Марусиной комнате...

— Ага! — заговорил какой-то до сих пор неслышный тенорок.— Чаек это у ней, сахарок... Посмотрите-ко, Евграф Иванович: чаек это у ней, сахарок...

— Удивительно! — иронически отвечал первый голос.— Какое открытие важное сделали! Чаек, сахарок... Дворник! Корзину вон ту из-под кровати выволоки! Да осторожнее, остолоп! Потому там такое может быть...

— Ваше вышескородие! — залепетал чей-то голос.— Я боюсь, ей-богу, боюсь... Ваше вышескородие! Пусть лучше человек, который опытный...

— Ермолов! Вытащи корзину!

— Вы говорите, Евграф Иванович, открытие, чаек-то... А вот посмотрите: чаек-то пьют, а иконы не видать... Пожалуйста, уж вы, Ермолов, поосторожнее!

— Ермолов! Скотина! Осторожнее!.. Что вы, в самом деле, господа, только что родились, что ли? Не знаете, как за дело взяться?

— Я так полагаю, Евграф Иванович, что удачный выстрел этой женщины вовсе не результат умения... Просто случайность. До поступления на полицейскую службу я служил в тридцать восьмом пехотном полку, и у нас...

— Слышали батюшка, слышали! Служили вы в тридцать восьмом полку и продолжали бы служить, спокойней было бы... А то понесло вас в полицию... Найдется вот такая стерва и отправит вас без очереди к Аврааму, Исааку и Иакову... Слушай, ты, борода! А рядом кто живет? Дворник! Тебя я спрашиваю или нет?

— Рядом-с?

— Да, рядом-с.

— Студент-с Иволгин...

— Ага!.. А ну-ка, госпожа хозяйка, пожалуйте сюда, на сцену!..

— Да я что же? — залепетала Анна Сергеевна. — Я же здесь при чем?

— Да вы, почтенная мадам, не дрожите... Вас мы вешать не собираемся, обиды вам причинить не причиним, — повесьте, значит, ваше сердце на гвоздь терпения и благоволите отвечать на мои вопросы, — вот вся ваша задача... Итак, — девица эта, здесь жившая и Марьей Константиновной себя именовавшая, вела знакомство со студентом Иволгиным?

— Вела-с...

— Вела-с... Ну, тэк-с... Осторожно, Ермолов... Отмычкой попробуй... Ну вот... Ты, борода! Тебе я говорю или нет? Паспорт его, этого самого студента, явлен?

— Обиждать изволите, ваше высокородие! У нас насчет этого насекомая муха и та, скажем, не пролетит. Мы завсегда, со всем усердием то есть... А особливо насчет студентов и продчее...

— То-то «и продчее»! Уследил вот здóрово! Поменьше бороду свою расчесывал бы, — а то ишь веером-то распустил... Как генерал какой! Нажрал морду-то! «И продчее!» Всыпать бы тебе горячих штук с полсотни, тогда узнал бы: «и продчее...» Мордоплюи! Арестанты!.. Тише, Ермолов! Болван! Тысячу раз тебе говорить, что ли?

XI

Теперь вот я уже могу писать,— а в первый раз проснулся, огляделся... Какая-то незнакомая комната,— нет, очень знакомая... Знакомые окна в три стекла или незнакомые? Знакомые! Так и льет в них солнце! Знакомый потолок,— вон, на карнизе трещина...

— Дома я, что ли, или еще сплю?

— Дома, дома, мой родной! Количка! Милый! Ненаглядный! Наконец-то! Дома ты, дома! Ведь это же я, твоя мама! Неужели ты опять меня не узнаешь? Я! Твоя мама!

Вижу: смотрит на меня родное,— теперь почему-то измученное и постаревшее лицо... В глазах у нее такой яркий страх: узнаю я или нет? Смешная! Ну как же не узнать?!

— Я дома?— спрашиваю.— И это моя комната? И там — Волга? Почему же кровать в этот угол перенесли? А где же мой стол?

— Стол вон стоит, а кровать здесь нужно было поставить...

— А это Петька?

— Он, он... Петя! Подойди поближе.

Петька идет как-то боком, глядит странно, немножко исподлобья... Он очень вырос, острижен машинкой.

— Здоров, Петр Андреевич! Чего ж это ты на коньках-то не катаешься?

Петька отвечает басом:

— Я всю зиму катался... А теперь уж и лёду нету... Пароходы пошли...

— Так что, весна уже, значит?

— Хо-хо!— И Петька становится самоувереннее и важнее.— Ну конечно весна... Кто ж теперь на коньках катается? Теперь все карасей ловят! Пароходы уже из Нижнего побежали!— И Петька вдруг потупился и сообщил скромным тоном.— А я вчера по-русски, по письменному, тройку с плюсом получил.

— А папа где же?

— Папа на службе... Он тут за тобой целые ночи просиживал...

— Так, значит, я был болен?..

— Был, немножко...

— Так, так...

Хотел приподняться и посмотреть на Волгу, которая те-

перь тихо, вероятно, сверкает на солнце,— и не мог. Что-то тяжелое толкало меня обратно на подушку... И потом, когда мама начала кормить меня, как ребенка, супом, я хотел сам продолжать эту операцию, но ложка была стопудовая!

А потом, когда солнце освещало мамину голову,— я вспомнил что-то далекое, когда-то бывшее... Конечно, теперь ее уже нет,— но ведь это пустяки: пусть ее нет, но ведь есть же на свете сумерки... Она так и обещала: в сумерки. И всегда приходит ко мне в сумерки... Каждый день...

И я говорю:

— Мама! Как долго здесь тянется день!..

Она отвечает:

— Теперь, милый, уж апрель на дворе... День-то прибавился... Большой стал...

Сумерки придут еще не скоро...

— Придут,— бог даст...

...Никого нет. Всех попросил выйти из комнаты. Никто ничего не знает. И я тихо говорю:

— Маруся!

И откуда-то, вон из того темного угла, слышится:

— А?

— Иди!— шепчу я.— Никого нет. Мама ушла...

— Сейчас, милый...— отвечает она,— сейчас...

И вот я жду, закрыв глаза, жду, жду... Кто-то тихо касается моей руки... Смотрю — она. Сидит, как тогда, у меня на постели, в той же кофточке с барашковым воротником, и так же прядь золотистых волос протянулась через лоб к уху... Но глаза у нее не тревожные, а спокойные, святые...

— Ты, ты, ты!— шепчу я.— Снова ты! Дорогая! Мое солнце, моя жизнь! Моя единственная, светлейшая радость... Ты меня любишь? Да? По-прежнему?

Она закрывает глаза рукою, будто что-то созерцает или вспоминает, и шепчет:

— Люблю ли я тебя? Да, люблю... Ты мой первый и...

Она уже смотрит на меня, улыбается тому, что я знаю ответ...

— Значит, снег идет?

— Идет, милый, идет...

И она, как тогда, касается сначала щекой моей щеки, потом гладит мои волосы, дышит мне в лицо... Рассказывает про тюрьму, про одно холодное зимнее утро, когда еще не было на небе зари... Потом мы вспоминаем Дарьюшку, цит-

ру Акима Исакыча, первый снег, который так похож на молодую любовь...

— Это ничего,— говорю я,— что ты днем никогда уж не будешь со мной... Это пустяки! Все равно, мы поедем с тобой по Волге и выберем красивые, красивые лунные вечера... И будут сумерки...

— Будут, будут,— шепчет она,— конечно, будут... Если бы ты знал, как я жду сумерек...

— А я? Ты думаешь, не жду?..

— А ведь мы с тобой и не видели, как прошла зима...

— Не видели...

— Уже снега нет, небо синее и звезды такие яркие...

— Как снега нет?— и я шутливо притворяюсь непонимающим.— Как это снега нет? Снег же идет!..

Она понимает меня и улыбается, и снова целует меня, и снова дышит мне в лицо:

— Идет! Идет! Снег идет!

И мы смеемся, полные счастья и радости встречи.

...В сумерки мало-помалу вливается, как вино, вечер... Уже был звонок,— вероятно, пришел папа... Так и есть... Шаги...

— Прощай, прощай, моя милая! До завтра, до сумерек...

— Прощай,— торопливо шепчет она,— до завтра, до сумерек...

И когда в комнату входит с лампой мама и стекла окон из темно-синих сразу делаются лакированными, черными, ее уже нет на постели... Я вижу, как она глядит на меня в окно, в верхнее стекло, улыбается и шлет свои поцелуи... Но не могу же я отвечать ей поцелуями при маме! И я только тихо и радостно смеюсь ей и одним шелестом губ говорю про любовь к своей проказнице... А мама, моя милая постаревшая мама — ну, конечно, она же не знает, в чем дело,— наклоняется ко мне, слезы у нее, у старой и глупенькой, в глазах, и шепчет она:

— Ну, Колюшка! Ну, будет, будет! Ну, господь с тобой!.. Ну, будет, мой дорогой... Ну, перестань, перестань!.. Успокойся!

— Да ведь были же сумерки, мама!— говорю я.— Ну, как же мне не радоваться?

Если бы она, старая, знала! Если бы ей рассказать, как счастлив ее сын!..

А она только и знает, что шепчет:

— Ну, будет, будет!.. Полно, мой милый!..

И гладит меня рукой по лицу... И я целую ее мягкую, милую, душистую ладонь.

— Ну, хорошо,— говорю,— я перестану, перестану...

Обещаю, а сдержать слово не могу: радость так и брызжет из меня и в конце концов превращается в смешок, такой маленький, такой тихий, что я просто удивляюсь, как его может замечать мама.

Английские духи

Рассказ

I

Во всем виноват путеводитель Филиппова.

Дело обстояло так.

Я мирно ехал из Майнца в Базель. Выехал пораньше, чтобы в Базеле ночевать, утром разменять деньги и затем продолжать путь до Милана. Все было высчитано и выверено, как в аптеке на весах.

И вдруг — путеводитель.

Страница двести шестьдесят третья гласит буквально следующее:

«Шварцвальд, или Черный лес. Это — интереснейшая цепь гор Западной Германии, дикая и романтическая. Шварцвальдская железная дорога — триумф инженерного искусства: виды вокруг — прекрасны и интересны. Еще более интересен самый народ: здесь необыкновенное разнообразие костюмов, характерные обычаи, деревни и пр. Все это до такой степени ново, странно и интересно, что турист не пожалеет затраченных на поездку пяти-шести часов».

Нельзя не согласиться с тем, что такая страница для человека путешествующего — страница ядовитая. Посмотреть Черный лес, дикий и романтический, посмотреть триумф инженерного искусства, видеть необыкновенное разнообразие костюмов, характерные обычаи, новые странные и интересные,— разве это не заманчиво? Тем более, если все это тут у тебя близко: рукой подать...

А что такое Базель?

«Для туриста Базель особенного интереса не представляет, для осмотра достаточно четырех-пяти часов».

Так говорит тот же самый путеводитель на странице сто шестидесятой.

— Едем? — спросил я самого себя.

— Едем! — бойко ответил внутренний голос.

— Но билет взят до Базеля? — спросил первый.

— Черт с ним! — ответил второй.

— Пусть, значит, пропадает? — ядовито спросил первый.

— Туда ему и дорога! — ответил второй.

— Расчетливо, нечего сказать! — не унимался первый.

— Один раз живем на свете! — бодро ответил второй.

Этот «второй» был существом удивительным. Я любил его. Он часто давал мне в жизни верные советы.

Опять на сцену появился путеводитель.

Оказывается, нужно доехать до Оффенбурга, в Оффенбурге переночевать и с самым ранним утренним поездом, и непременно в третьем классе, ехать до Зингена.

«Третий класс — это, очевидно, для костюмов: тут-то и есть разнообразие», — подумал я и похвалил Филиппова.

Подсчитал я свои капиталы. Выходило так, если купить билет на Шварцвальд, то немецких денег оставалось у меня немного, марки четыре.

— Денег немного! — Заговорил опять первый голос.

— А русские на что? — задорно ответил второй.— Разменяем в Оффенбурге.

— Сегодня воскресенье,— сказал первый.— Банки закрыты.

— Завтра понедельник, — ответил второй, — банки будут открыты.

— Ну, делайте как знаете! — Вздохнул первый.

— Да даже и сегодня на вокзале у кассира можно будет разменять, — сказал на это, словно желая несколько оправдать свою настойчивость, второй голос, — кассиры ведь меняют. Ну, потерпим немного убытку, — экая, подумаешь, важность, когда у нас в чемодане около рубах, купленных в Лондоне, лежат пять эскизов к новой картине... Плевать с высокого дерева хотели мы на убытки!

— Плевать и плевать! — смиренно и ехидненько согласился первый, незаметно вздохнув, — плевать... Вам с высокого дерева виднее.

И, купив билет на Шварцвальд, поехали мы вместо Базеля в Оффенбург, чтобы там переночевать и утром уже наслаждаться триумфом инженерного искусства, романтикой и странными обычаями.

Так судьба, или что-то вышестоящее, изменяет предначертания человеческие.

Приехали перед вечером: часов около пяти.

Было воскресенье. Накрапывал дождь. Носильщиков не видать. Взял свои чемоданы, пошел к выходу. Вокзалишко плохонький,— полы асфальтовые, помятые: невесело, накурено.

Против вокзала — гостиница. Пришел туда, попросил комнату,— дали хорошую, с видом на далекие горы. Горы красивые, как в Тоскане, с мягкими, спокойно волнистыми очертаниями. Что-то напоминает в них картины Перуджино. А городишко кругом маленький, приземистый,— сеет на него небо серые, холодные, редкие капли, и путешественнику делается грустно и хочется вспомнить большие человеческие гнезда на земле: широкие, просторные улицы, красивый вечерний свет, сумрак храмов, оживление и ярусы театров...

Умывшись, пошел опять на вокзал: путь короткий, через дорогу.

Обращаюсь в окошечко, к кассиру:

— Разменяйте мне, пожалуйста, двадцать пять рублей.

Кассир сидит против света таким хитрым образом, что усы его кажутся фиолетовыми. Нерешительно, словно боясь обжечься, он берет мою бумажку, смотрит ее на свет, разглядывает то одну сторону, то другую и говорит вдруг, возвращая деньги назад:

— Мы таких не меняем.

Я — изумлен, нагнулся к окошечку и смотрю на него, как на птицу в клетке:

— Почему?

— Эти деньги нам неизвестны.

— Как неизвестны? Это русские деньги. В Майнце мне меняли их на вокзале же и без всяких разговоров.

— Майнц — город большой, Оффенбург — маленький. Кассир в Майнце может знать русские деньги, кассир в Оффенбурге — может их не знать. Мы меняем только франки.

— Почему же только франки? А кроны, например?

— И кроны. Да ведь я вам должен вот что сказать: мы, кассиры, менять деньги не обязаны и, если это делаем, то по своей доброй воле. Куда вам билет?— обратился он через мое плечо к человеку, стоявшему в очереди.

Ясно было: разговор окончен.

Взял я обратно свою бумажку и меланхолически пошел

к выходу. В кошельке у меня оставалось ровно четыре марки.

В гостинице позавтракал, прочитал в путеводителе про Оффенбург и узнал, что в нем, на площади, поставлен памятник человеку, который первый привез в Европу картошку.

Пошел смотреть памятник. Дождь перестал. Небо прояснилось.

«Пожалуй, к ночи выглянут звезды»,— подумалось почему-то.

На улицах — народ, уже уставший от праздника; торжественная одежда, воротники, новые галстуки как-то особенно подчеркивают мозолистые руки, загорелые лица... Провинция,— глухая, далекая... В окнах магазинов — дешевая одежда, дешевая обувь.

— Будьте столь любезны,— обратился я к немцу, проходившему мимо,— скажите: где памятник человеку, привезшему в Европу картофель?

Немец взглянул на меня признательными глазами, приподнял новую, только по воскресеньям надеваемую шляпу и сделал два жеста, из которых я понял, что сначала нужно идти прямо, а потом свернуть налево.

Пошел по указанному направлению и увидел чугунного человека, гордо смотревшего на восток. Одна рука, как у Наполеона, была заложена за борт жилета, другая держала куст картофеля: удовольствие полное.

Смотрю: через мост, откуда-то снизу, идут люди,— идут семействами со всякими покупками в руках. Лица утомленные, довольные... Вдали слышатся звуки музыки... Я перешел мост, прибавил шагу и, все яснее и яснее различая звуки, а потом и человеческие голоса, очутился на ярмарке.

Ярмарка была построена покоем: в глубине, в ряд, стояли три карусели, а от них параллельными линиями тянулись: балаган с водолазом, балаган с индусом, балаган доктора Фауста и волшебный круг. Между этими зрелищами разместились тиры, лавочки с шоколадом, моментальные фотографии и прохладительные напитки. В прохладительных напитках не было, собственно, никакой нужды, ибо погода стояла достаточно холодная, и осеннее пальто ничуть не давило плеч. Я очень люблю карусели,— больше всего люблю слушать музыку органов, когда их играет сразу три. Впереди труб стоит маленький человечек,— кукол-

ка, одетая в клетчатые панталоны, помятый цилиндр, и дирижирует палочкой. Один орган играет марш из «Тангейзера», другой — мотив из «Евы», третий — неаполитанскую песенку. Получается, как говорят дирижеры на репетициях, музыка шаха персидского. Эта музыка и создает ярмарку.

...Походил и посмотрел индуса, водолаза и доктора Фауста. На все это истратил полторы марки. Купил пряников, которые тут же съел,— истратил полмарки. Снялся в медальон и увидел себя таким, каким никогда не видел в зеркале,— истратил марку. Оставалось в кошельке несколько пфеннигов, которые я предназначил на добрые дела: у входа на ярмарку было много нищих. У всех у них,— и на груди, и на спине,— были картонные вывески с точным указанием тех болезней, которыми они страдают.

По небу, как-то бочком, шел узкий караван туч,— туч сырых, видимо заблудившихся, лениво бредущих из страны, которой владеет осень.

Уже стемнело, зажглись огни, положив на землю тени иные, чем днем,— и казалось, что никакой Италии нет на свете и что вот за этими горами уже не живут люди, не поют птицы, не бегают звери, не ползают змеи,— и господь его знает: куда это бегут поезда, видные мне из отеля?

И начал грызть меня червь раскаяния.

«Ехал бы лучше в Базель, был бы теперь в хорошем городе, видел бы людей, бульвары и прочее,— упрекал я себя.— А тут вот смотри, как бегут поезда то вправо, то влево».

И, чтобы развлечься, я начал по порядку вспоминать чудеса доктора Фауста, только что виденные мною,— и мрачные мысли на некоторое время оставили меня.

Когда совсем стемнело, пошел к себе в отель ужинать. В столовой, в углу, увидел того же самого немца, которого видел за завтраком. Так как этот немец мне не особенно понравился, то я спросил слугу, нет ли еще комнаты? Слуга сказал, что есть: буфетная, что там тоже расставлены столы; но совсем нет никаких украшений, тогда как в этой (где сидел немец) есть зеркала: шесть штук, которые придают ей величавый вид.

Я предпочел лишиться украшений и пошел в буфетную. Присел к какому-то столику, вытер пенсне, глянул вправо на буфет и замер. Снял пенсне, снова, без всякой надоб-

ности, протер его, совершенно забыв про слугу, который подал мне карту и ждал заказов.

В черном платье за буфетом стояла женщина. Казалось, что вышла из рамки тициановская Катерина Корнаро. Прежде всего обращали на себя внимание ресницы,— черные лучи глаз,— и было странно: неужели они исходят из голубых глубин?

— Господи боже мой!— молитвенно прошептал я.— Вся к премудростью сотворил еси!

И ярко вспомнилось, как восторженно я пел этот псалом, когда ехал в горах Тироля; вспомнились тихие закатные вечера счастья, в которые когда-то казалось, что мне не тридцать лет, а бесконечные тысячи, что я стар и все понимаю на земле; когда я был уверен, что при сотворении мира играл оркестр, в котором было три тысячи скрипок, три тысячи флейт, три тысячи труб.

В зале почти никого не было, и я решил: пусть это будет сумасшествие, но я скажу ей сейчас то, что хочу сказать...

И сказал ей по-русски, рискуя показаться сумасшедшим:

— При твоем рождении играл оркестр, в котором было шесть тысяч скрипок, шесть тысяч флейт и шесть тысяч труб. Ты — лучше гор Тироля, лучше рек, падающих с высоты, лучше лучей солнечных, сползающих за край моря...

Она знала свою красоту, и мой восторженный тон, северные слова были понятны ей,— но как лениво и скучно ничего не ответили мне глаза! Должно быть, решила, что я пьян, и усмехнулась. Как гордо и презрительно сдвинулись в сторону четко очерченные губы!

Удивленный моим поведением, слуга который раз уже спрашивал:

— Что изволите скушать?

Я ответил:

— Прежде всего белого вина. Хорошего вина.

Слуга наклонялся, ласково улыбался мне и растолковывал:

— Это вы изволите выпить. А мне необходимо знать, что вы изволите скушать?

Я смотрел на него и долго не мог понять: что ему от меня нужно?.. И странное дело: когда я заметил, что физиономия его, склонившаяся ко мне, по крайней мере дней шесть не брита,— тогда я сразу угадал его мысли и все сделал по его желанию.

II

— Это кто? — спросил я, когда лакей принес хлеб и салфетку.

— Это? — и он осторожно повел глазами в сторону буфета. — Это? Это хозяйка отеля.

— Вдова? — спросил я.

— Нет, не вдова. Почему же вдова? — несколько сердито ответил лакей и, как мне показалось, недовольно покосился на меня. — Хозяин уехал в Страсбург покупать горох.

Лакей говорил сердито, но осторожно, — и я заметил, как она, что-то, видимо, подозревая, взглянула в нашу сторону. Лакей моментально съежился, придал себе деловитый вид, принялся якобы стряхивать со скатерти крошки и шепнул мне:

— Строгая!

Она стояла и вправду строгая, бесстрастная: оживленная Катерина Корнаро. Писала чеки, вырывала их из продолговатой книжечки, и я видел ее прекрасные заботливо выточенные руки — и потом минуты две уже не мог не следить за их движениями: видел, как пальцы, казавшиеся мне особенными, живыми существами, то прятали эту книжечку за корсаж, то оправляли кружева вокруг воротника. Иногда как-то особенно, чуть-чуть насмешливо, все время сознавая свою силу, она поводила глазами по залу, — и когда этот взор, похожий на холодный, ленивый огонь, падал на меня, то казалось, что раскрыта моя душа, видны мои думы, обнажены мои чувства, — и хотелось тогда сжаться в комок, уйти куда-нибудь далеко, — за те горы, где кончается земля: я понял, как верноподданный может трепетать при виде своей царицы, тайно любимой.

...Я сидел час, два: комната мало-помалу наполнялась людьми. Это были, очевидно, постоянные посетители кафе, потому что какими-то особенными, привычными жестами вешали они свои шляпы, особенными движениями снимали свои пальто, с видом старых знакомых делали заказы слуге и потом, осторожно ступая по полу, как в храме, направлялись к буфету приветствовать ее...

Они говорили с нею тихо, почтительно наклонившись, она отвечала улыбкой, полной снисхождения, — и эта улыбка на лице разговаривающего вызывала другую улыбку: почтительную, преданную. Все эти обычные любезности

и расспросы о здоровье звучали как-то особенно, тихо-торжественно, и со стороны казалось, что присутствуешь на аудиенции. И вдруг, словно что-то открылось,— мне стало ясно, что люди, наполнившие странную пятиугольную комнату, поголовно и безнадежно влюблены в нее, в царицу этого маленького города. Во всех этих домиках, мимо которых я проходил, ее знают, о ней говорят, ее и любят и ненавидят, желают ей и смерти и радости. А когда она приходит в церковь,— все смотрят на нее, и забывается смысл псалмов, и непонятно, о чем говорит пастор.

Были они все, эти посетители, щеголеваты: один, например, рассчитывал понравиться галстуком персидского рисунка; другой думал, что к нему особенно идет пиджак с двумя разрезами позади; третий продел часовую цепочку сквозь петлю сиреневого жилета; четвертый на виду держал свои замшевые перчатки с тремя черными полосами; пятый смазал волосы бриллиантином и частым гребешком сделал себе как по линейке геометрический прибор.

Они очень хотели нравиться,— эти подданные, влюбленные в свою королеву.

Все столы были заняты, все газовые рожки были зажжены. Было светло, тепло, и не чувствовалось, что на улице опять идет дождь, который принесли заблудившиеся тучи...

...Все разговаривали, все, казалось, были заняты друг другом, но совсем не было обычного трактирного шума. Все курили, но как-то так, что дым не стлался облаками по комнате и не заслонял ее. Чувствовалось, что каждое слово здесь хочет быть нежным и ею услышанным, каждый жест хочет быть изящным и ею замеченным, каждое движение хочет быть милым и только ей одной таинственно понятным. Человек, имевший на себе галстук персидского рисунка, видимо, страдал при виде человека, одевшегося в пиджак с двумя разрезами сзади, и английские перчатки не успокаивали своего обладателя, когда он видел часовую цепь продернутую сквозь верхнюю петлю сиреневого жилета.

Тихо струился разговор по углам. А она стояла у буфета, как у трона, и царствовала,— прекрасная Катерина Корнаро, создание Тициана.

И, при всей своей бедности, я рублей сто дал бы, чтобы посмотреть, каков ее муж? Как выглядит человек, уехавший в Страсбург за горохом?

И вдруг, я ясно видел, она вздрогнула.

Отворилась уличная дверь, и в комнату вошел молодой человек в черной широкополой шляпе. Сразу стало тихо, как по волшебству, смолкли разговоры. Десятки глаз, горящих то черным, то серым, то зеленым огнем, зло и недружелюбно следили за ним. Все знали его, гордеца,— знали силу его. А он увидел свободное место под картиной, небрежно извиняясь, прошел к нему, небрежно бросил шляпу на соседний диван, снял пальто, как-то особенно, подкладкой вверх, свернул его, привычным движением провел пальцами по волосам, словно желая выпрямить их кольца,— небрежно, свысока, осмотрел притихнувшую залу, и глаза его не сделались более почтительными, когда он увидел царицу, и приветствие, посланное им рукой, не вышло из рамок холодноватой вежливости. Она ответила ему, и в ее молчаливом поклоне было много слов, которые непосвященному так же трудно прочитать, как трудно прочитать то, что написано звездами на небе.

...Мне сразу стало скучно и стыдно за те слова, которые я говорил ей по-русски; какой-то червь влез в мое сердце, и я, сухо поклонившись ей, ушел спать и благословлял бога людей путешествующих: сон, посылаемый им, скор и благодетелен.

III

Утром было такое ощущение, будто я впервые взглянул на божий мир. Предо мною развернулись два государства: одно — по эту сторону гор, с поездами, с вокзалами, с отелями, полное забот о хлебе и горохе, другое — по ту,— и все, что было по ту сторону, казалось недосягаемым и загадочным. И казалось, что именно из той стороны, блаженной и счастливой, пришла сюда она.

Я видел вагоны, прикатившие откуда-то слева, и думал: вот едут люди, неизвестные мне, и у всех у них — одна забота: сколько времени стоит поезд, не дурно бы купить шоколаду, который здесь дешев, и свежих газет. Многие из них еще не разогнали сна, и ночные тени мелькают в нешироко раскрытых глазах.

Пошел вниз — пить кофе.

Метр указал мне на salle á manger, украшенную зеркалами и в которой теперь немца не было.

— Я предпочитаю все-таки буфет,— сказал я.

Метр пожал плечами.

— Как вам угодно,— ответил он и добавил неожиданные, непонятные слова:— Но только вы ошиблись.

Неискренняя улыбка не осветила лица, а сделала его скрытно злобным и недружелюбным. Такие лица были у всех вчерашних посетителей, когда в комнату вошел молодой человек.

— Я? Ошибся? В чем?

Метр спрятал лицо, отвернувшись в сторону.

— Вы ошиблись,— повторил он и ушел.

Мне как-то сразу стали ясными его удивительная гофрированная на груди сорочка, щегольские запонки в виде земляничных ягод, тщательно разглаженные брюки, лакированные ботинки американского образца...

«И этот — верноподданный»,— подумал я, и мне казалось, что ему не платят жалованья, что он какой-нибудь знатный человек и пошел в метрдотели только для того, чтобы быть всегда около нее, всегда служить ей и, если будет нужно,— отдать жизнь...

Я отправился в буфетную и сел за вчерашний столик. Хозяйки не было.

«Еще придет»,— мелькнула мысль.

Вместо нее за буфетом стояла девушка, читавшая книгу в зеленом переплете. В комнате никого из посетителей не было, и оставались пустыми места, на которых вчера сидели влюбленные люди. Персидский галстук лежал, вероятно, ожидая вечера, в комоде; золотая цепочка — в футляре; пиджак — в гардеробе и английские перчатки, вывернутые наизнанку,— в кармане. Все это были, вероятно, заветные, заколдованные вещи, которые должны были внести в ее душу частицы очарования и которые поэтому другим целям, низменным и житейским, служить не могли.

Показывая на девушку, вчерашний лакей сказал мне:

— Сестра,— но это уже не вызвало никаких чувств, и я со скукой допивал свой кофе.

...Поезд в Зинген уходит в час с минутами. Надо было торопиться, стряхнуть с себя странный сон, убедить себя, что царицы никакой нет, и ехать в Шварцвальд, где есть интересные обычаи и костюмы.

— С каким бы удовольствием пожил здесь еще денек-другой...— заговорил мой любимец.

— Глупо!— ответил его всегдашний и непримиримый враг:— Надо быть благоразумным, надо ехать.

— Горы,— соблазнительно мечтал первый,— близость Баден-Бадена, тень Тургенева, несомненно витающая в этих местах...

— Сам же знаешь, что это не то,— стоял на своем мой любимец,— не то, братец мой... Нечего, нечего... Надо идти, менять деньги и собирать свои умывальные принадлежности... Вы, кажется, откупорили сегодня свежий одеколон?

— Коли так,— так. Подчиняюсь. Идем.

Пошел.

О, город с памятником картофелю! После дождя ты со своими двумя кривыми, непараллельными улицами похож на выстиранные брюки, которые сушатся на солнце и еще не совсем высохли.

Вчера еще я заметил вывеску Reichsbank'a[1].

Вхожу.

Обыкновенно с представлением о банке соединяется представление о больших, высоких комнатах, отделанных с показною и очень дорогой простотою, которая всем входящим должна говорить: в этом месте денег много. А здесь в первой от входа комнате было просто окошечко пароходной кассы, и за нею белобрысый человек, взглянувший на меня с удивлением. Мне казалось, что в этом банке едва ли найдется пятьдесят пфеннигов.

— Разменяйте, пожалуйста, мне эти деньги.

Белобрысый малый, как эксперт на суде, долго рассматривал мою бумажку и потом, вернув ее мне обратно, сказал:

— Наш банк не занимается разменом денег.

— Как не занимается?

— Очень просто. Не занимается.

— Чем же занимается ваш банк?

— Всеми кредитными операциями, кроме этой.

— Где же я могу разменять эти деньги?

— Эти деньги — русские деньги.

— Мне кажется, что вы не ошиблись.

---

[1] Государственный банк *(нем.)*.

— Вы могли бы разменять их в частном банке. Нужно идти так, а потом так. Против королевского почтамта есть частный банк.

Я схватил с прилавка шляпу и бросился к выходу, но малый, улыбаясь, остановил меня словами:

— Я не сказал вам: вы можете разменять. Я сказал: вы могли бы их разменять в том случае, если бы владелец частного банка не уехал бы к своей дочери, родившей вчера, в пять часов дня, мертвую двойню.

— Прекрасно! — ответил я. — Предположим, что владелец частного банка уехал к своей дочери, родившей вчера, в пять часов, мертвую двойню. Но ведь, я думаю, у владельца частного банка есть заместитель, который, в его отсутствие, ведет кредитные операции?

Малому понравилась моя способность точно и определенно выражаться, и он поддержал разговор.

— Вы не ошиблись, — ответил он, — таковой действительно был, но он уже вот восемь месяцев, как умер. Это была его законная жена Амалия, прожившая с ним в супружестве тридцать восемь лет с небольшим. Теперь заместителя у него нет. Вы видите: я один. Я один! — повторил он значительно. — А ведь это Reichsbank, почему же не быть одному в частном банке?

Я чувствовал, что по спине у меня начинают бегать мурашки.

— А других банков здесь нет?

— Нет. Вам придется съездить для размена в Страсбург

— Но позвольте! Ведь у меня на билет до Страсбурга денег нет!

— Вам разменяет железнодорожный кассир.

— Не меняет!

Малый пожал плечами и ответил:

— Тогда вы, действительно, испытаете некоторое затруднительное положение. Я, со своей стороны, ничего не могу вам рекомендовать, и ничем не могу быть полезным.

Пошел я по улице так, потом так, нашел королевский почтамт, против него — вывеску: «Банк», переправился через дорогу и в самом деле на двери увидел объявление, сделанное от руки, но издали похожее на печатное:

— Geschlossen[1].

[1] Закрыто *(нем.)*

...Получилась история — положительно неприятная.

Мимо меня проходили кирпичного цвета немцы с корзинками в руках,— в городе был, верно, базарный день,— многие из них останавливались и читали:

— Geschlossen.

И объясняли мне:

— Вероятно, он уехал в Зинген, к дочери. Она должна вот-вот родить.

«О, Sancta Simplicitas! — Со вздохом подумал я.— Они еще не знают, что дочь в пять часов уже родила мертвую двойню».

Посмотрел налево. На меня с грустью косился человек, смутивший когда-то Европу картофелем.

— Что же делать?— на этот раз заговорил мой оптимист.

— А-а-а-а!— злорадствовал первый.— Что? Поехал в Шварцвальд? Посмотрел странные обычаи? А-а-а! А-а-а!

— Черт же его знал, что это такой дикий город,— робко оправдывался второй.

— Дикий город?— не унимался первый.— А-а-а! Дикий город? Посмотрим, как вы будете изворачиваться в этом диком городе!

— Эх! поймать бы за ухо этого задиралу!

Пошел в гостиницу.

— Счет!

— Изволите ехать?

— Да.

— В Зинген?

— Да.

— В час десять?

— Да.

Через некоторое время, которое мне показалось одним мгновением, принесли счет. В итоге стояло 15 марок и какие-то пфенниги.

Вынимаю российскую красную бумажку.

— Это багажная квитанция?

— Это — русские деньги.

— Ах, это русские деньги?

— Да.

Метр с любопытством рассматривает шелковую хрустящую бумажку, рисунок ее, особенно с оборотной стороны, ему, видимо, нравится. По крайней мере, возвращает он ее мне с удовольствием и почтением.

— Получите, пожалуйста, по счету,— говорю я и опять протягиваю ему десятирублевку.

Лицо метра становится несколько изумленным.

— Виноват, сударь,— нерешительно говорит он мне, здесь в ходу немецкие деньги. Я хочу сказать: германские.

— У меня нет германских. Я хотел разменять, но у владельца банка родила дочь, и он уехал в Зинген.

— Ах, уже родила?

— Да. Родила. Мертвую двойню.

— Мертвую двойню?

— Да.

— Извиняюсь, сударь.

И со счетом и с русскими деньгами метр понесся вниз по лестнице.

Я с облегчением вздохнул, стал смотреть на горы и вдруг почувствовал, что они вовсе мне не нравятся.

— И что в них хорошего? Низенькие, приземистые, как плохой забор. Там, за ними, наверное, пасут коров.

Минут через десять я услышал на лестнице тяжелые шаги. Сердце замерло: так не ходят по лестницам люди, разносящие веселые вести!

— Сударь! Хозяйка просит у вас германских денег. А эти деньги нам неизвестны. Стоимость их тоже неизвестна. При том же курс их...

— Уверяю вас: курс русских денег отличный. Если бы у меня были газеты, я бы вам легко показал это.

Метр учтиво, но не без тайного злорадства, поклонился и развел руками.

— Если бы отель был мой,— говорил он мне,— поверьте, сударь, вы не испытали бы таких затруднений. Но я служу у людей малокультурных и ничем вам полезным быть не могу.

«Положительно, в Оффенбурге никто полезным быть не может»,— пронеслась у меня в голове мысль.

— Быть может, вы,— говорю я,— как человек культурный, разменяете мне деньги? Возьмите по рублю за марку

— Сударь! Верьте слову,– и он вынул из жилета оловяные деньги,— вот все, что я имею. Все сбережения я в понедельник отправил своему другу Фрицу, попавшему в беду.

В голосе его и усмешке проскользнули уже явные ноты издевательства.

— Что же мне делать?

О, каким торжеством, каким ярким победным чувством блеснули глаза моего собеседника! Несмотря на двадцатый век, как тонко и неблагородно мстителен может быть человек!

— Вам придется поговорить лично с хозяйкою,— невинным тоном посоветовал мне метр.

— С хозяйкой?

Слова метра показались мне крутым кипятком.

— Да. С хозяйкой.

Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо, как задрожали руки, как в глазах пошли какие-то круги,— однако призвал на помощь бога людей путешествующих и ответил, насколько мог, спокойно:

— Отлично.

Он наслаждался и мстил за то, что я на один миг позволил себе полюбоваться его святыней!

— Будь дома хозяин, тогда, конечно, можно было бы поговорить с хозяином,— продолжал невинным тоном метр,— но хозяин, к сожалению, уехал.

В Страсбург,— сказал я.

— Да, в Страсбург,— ответил метр.

За горохом! – скрежеща зубами, говорил я.

- Да, за горохом,— спокойно отвечал метр.

Как осужденный, я спускался по лестнице и смотрел на его спину.

«Господи!— говорил кто-то внутри меня.— Не надо бы требовать вчера эти дорогие сигары, французское вино. Ну, какой же дурак пьет на Рейне французское вино?»

Каким милым казался мне теперь оставшийся в стороне Базель! Я готов был посылать ему поцелуи. Проснулся бы я теперь поутру, погулял бы по городу, спокойно, в первой лавочке разменял бы русские деньги и ел бы прекрасный шоколад. Подумать только: лучший сорт — 40 сантимов.

IV

Хозяйка сидела за письменным столом, хмурая и красивая, как темная ночь. Странным казалось, что она здесь, среди этих продолговатых конторских книг, каких-то сче-

тов, квитанций, замысловатых чернильниц и будильников...

Я стоял перед ней, как преступник перед судьей,— преступник-рецидивист.

— С вас, кажется, причитается получить по счету?— проговорил тихий, холодный голос, и на меня, не ведая ни жалости, ни гнева, взглянули два больших, спокойных глаза.

Я долго не отвечал, смотрел в эти глаза и думал: пусть меня посадят в тюрьму, пусть кормят селедкой и не дают пить, но я рад, что вижу эту прекрасную женщину, я рад, что не поехал в Базель!

— Да, сударыня,— скрывая свои мысли, проговорил я,— вам причитается получить с меня...

— Пятнадцать марок и семьдесят пфеннигов,— почтительно дополнил метр. Он так вытянул свои манжеты, что запонки, похожие на землянику, блестели, как пьяные глаза.

— У вас нет немецких денег?— продолжал тихий, холодный голос.

— Нет, сударыня.

— Вы предлагаете деньги русские?

— Да, сударыня.

В коридоре затрещал звонок, и я видел, с каким неудовольствием вышел из конторы метр.

— Вот эти?

— Да.

И опять испытующе взглянули на меня холодные, прекрасные глаза, и опять холодный, низкий голос спросил:

— Но почем мы знаем, например, что они, эти деньги, не фальшивые?

Я взял бумажку, внимательно рассмотрел ее на свет, пошуршал ею, показывая шелковистость ткани, и сказал, вкладывая в свою речь всю силу убеждения, на которую я был способен:

— Уверяю вас, сударыня, деньги не фальшивые.

Она ответила:

— Вы — человек заинтересованный и иного, конечно, сказать не можете.

— Сударыня,— заметил я, охраняя свое достоинство,— это все, что я могу сказать вам по этому поводу. Имейте

в виду, что у нас в России нелегко заниматься подделкой кредитных билетов. С какой бы стати, я например, стал рисковать каторжными работами? Посудите сами.

Красавица, Катерина Корнаро, опять повертела в руках красную бумажку, опять пренебрежительно бросила ее на стол, подумала, посмотрела в окно.

Я стоял перед ней, как перед судьей, я видел, как летний свет ясной полосой переливается в ее темных, слегка золотистых волосах; я забыл свое преступление, перестал думать о том, как жестока будет кара,— я смотрел на нее и ласково ощущал милую, шуструю мысль: «А все-таки отлично сделал, что не поехал в Базель».

Вдруг она повернулась ко мне и, как будто затрудняясь слегка, спросила:

— Вы путешествуете по делам или для удовольствия?

— А вы как полагаете, сударыня?— ответил я вопросом на вопрос.

Она замялась, слегка покраснела, и легкий румянец мягко и ласково, как нежгущий огонек, осветил ее лицо, сделал его еще моложе и прелестнее.

— Путешественники, а особенно такие, как вы,— подчеркнула она, взглянувши с легким укором,— покупают всегда много ненужных вещей, которые потом часто теряют по дороге.

— Совершенно верно, сударыня!— подтвердил я, вспоминая туфли из тюленьей кожи, забытые мною в гостинице в Кельне.

Налаживался приятный разговор, который я охотно поддержал бы, рискуя даже пропустить поезд.

— Что купили вы?— деловым тоном спросила она.

— Я?

— Да, вы.

Я чувствовал, что густо и глупо краснею, и не мог сразу вспомнить своих покупок.

Она смотрела на меня с улыбкой, снизу вверх, и, конечно, видела мои затруднения.

— Имейте в виду,— сказала она,— что я возьму лучшую вещь у вас за долг по счету.

Мне стало весело, я вспомнил:

— Сударыня! В Берлине я купил прекраснейший снимок с Мадонны Ботичелли. «Мадонна с лилиями», сударыня...

— Картину, да? — и в глазах ее замелькали тени скуки и разочарования.

— Увы, сударыня! Не картину, только снимок. За саму картину я согласился бы вычеркнуть два года моей жизни, самые лучшие: двадцать восьмой и двадцать девятый. Только она, эта картина, как праведник, и спасает Берлин. Иначе бог давно бы провалил и его и всех немцев сквозь землю.

Я старался говорить как поэт, она ответила:

— Не говорите пустяков: картин я не люблю, и, во-вторых, Берлин — отличный город.

— Сударыня! Вы? Вы? (Она поняла тон моих вопросительных знаков и милостиво и застенчиво улыбнулась.) Вы не любите картин? Вы не любите ночного неба? Вы не любите горного эха? Вас не тянет послушать, как бьются об утесы морские волны?

— Вы опоздаете на поезд, сударь! — с улыбкой проговорила она. — Что вы еще купили? Надеюсь, вы были не в одном Берлине?

— В Кельне я купил одеколону.

— Большую бутылку?

— Нет. Среднюю.

— Ну, это что ж? Это стоит пять марок, а с вас причитается почти шестнадцать.

— У меня есть чудесные сигары...

— Я не курю...

— В Лондоне я купил три летних рубашки.

— Это пустяки.

— Извините, сударыня, не пустяки: рубашки сшиты из шелкового полотна.

— К сожалению, я не ношу мужских рубашек...

— Но у вас есть супруг, сударыня, который, как мне известно, уехал в Страсбург за покупками...

В последнюю секунду я не решился сказать: за горохом.

- Пожалуйста, не заботьтесь о моем супруге, — не без раздражения сказала она, - потом, ваши рубашки могут ему и не прийтись...

— Он очень толст? - спросил я не без дерзости.

Она покраснела и уже с явной досадой сказала:

— Еще чем можете похвалиться?

А я втайне хитро подумал: значит, в самом деле толст. Разбух от пива и картофельного салата.

— Позвольте вспомнить, сударыня, — ответил я и, под-

нув глаза к потолку, начал думать, долго думал, вздохнул и сказал:

— Больше, к сожалению ничего у меня нет. Есть у меня еще флакон чудеснейших английских духов, но их отдать я вам не могу, потому что везу их своей милой.

— У вас есть...

И она запнулась... У меня сперло дыхание. Вдруг то, что сначала сверкало в ее глазах, сразу перелилось в холодный, тяжеловатый, отливающий какой-то странной мутью блеск.

— ...английские духи? — окончила она фразу.

— Да. У меня есть английские духи.

Какая-то мысль мелькнула, видимо, под золотыми волосами, но эту мысль сейчас же далеко, куда-то в душу, запрятали, а глаза сделались совсем невинными: ничего, ничего ей и в ум не приходило... Она — женщина солидная, ее отель хорош и известен, разве можно заподозрить ее в дурных желаниях?

— Раз вы везете их своей милой, — натянуто спокойным тоном сказала она, глядя в сторону, — я, конечно, не стану требовать их в уплату. Но, — и опять лукавство сверкнуло в посветлевших глазах, — но мне хотелось бы хоть взглянуть на флакон. Я никогда не видела английских духов...

Я пошел в свою комнату, раскопал дно чемодана, извлек оттуда красный шелковый футляр с напечатанными на нем золотыми буквами и опять предстал пред своей повелительницей. Было ясно, что, когда я уходил из комнаты, она смотрелась в зеркало: был приглажен локон, который раньше выбивался из прически, и около левой брови чуть легла полоска нестертой пудры...

Она осмотрела футляр, вынула флакон, подумала и вдруг сказала:

— Эти духи я согласна взять в уплату за счет.

Я ответил:

— Но, сударыня...

Она быстро спросила:

— Что?

Глаза ее сделались ласковыми, мягкими, словно прошли облака, грозившие молнией.

— Посадите меня, — ответил я, — в тюрьму, кормите селедкой и не давайте пить, но эти духи получит только моя милая.

— Хороша ваша милая? — последовал вопрос, и мне показалось, что грудь ее поднялась выше...

— О! Очень хороша! — сказал я с восторгом и уже приготовился рассказать о своей милой, подумав: почему не рассказать этой женщине, если порою я рассказываю о ней своему стулу? — но замолчал, так как увидел, что события начинают изменяться. Она поднялась со стула и стала у правой стороны стола, — и я близко, почти около себя, видел стройный стан и прекрасную, гибкую, из теплого мрамора выточенную шею. И образ милой в первый раз исчез за какой-то внезапно в глазах мелькнувшей черной стеною...

— Вы часто целовали ее? — Спросила она, и голос ее зазвучал глуше: пропали серебристые ноты, интонации стали ровнее; это показалось мне очень красивым.

И опять стали ясными и близкими воскресшие темные, почти черные глаза, которые я так часто целовал, которые теперь остались там, далеко, в России.

— Да, — ответил я, стараясь не выйти из делового тона, — я часто целую свою милую.

Она вздумала поднять выше оконную штору, для этого ей пришлось задеть меня на мгновенье плечом, и опять зарябило в глазах, и во второй раз милый образ исчез, как в высокой, неожиданно всплеснувшей волне.

— Она любит вас?

— Мне так кажется, сударыня.

— Она часто пишет вам?

— Жаловаться не могу, сударыня.

Она стояла, опершись на подоконник, облитая светом, — прекрасная, расспрашивающая о любви Катерина Корнаро...

Подумала о чем-то, медленно провела рукою по волосам, и от этого неосторожного движения снова отделился и упал на лоб непокорный локон, — и странно: оттого, что он упал на лоб, она вдруг стала похожа на девушку, совсем молодую, еще не невесту.

— У нее мягкие волосы?

Я помедлил с ответом, — не мог оторвать глаз от ее волос; видел летний свет, как золотая кровь в жилах, ясной полосой переливается он в их золоте.

Я ответил:

— Да, сударыня.

— У нее прекрасные глаза?

И, отражаясь черными лучами ресниц, ровно, с улыбкой на дне, смотрели на меня две голубых глубины.

— Да, сударыня.

— У нее красивые руки?

И я видел только ее пальцы, словно они одни только и существовали на свете: как живые браслеты, они обвили флакон с английскими духами... Я знал, что она пробует, как алмаз — на огне, свою силу; я знал, что эти духи нужны, быть может, для того, кто вчера так небрежно поклонился ей, и все-таки радостно дрожащим голосом ответил:

— Да, сударыня.

Она уже понимала, она уже праздновала новую, такую легкую игрушку-победу: вдруг улыбнулась, опять помолчала и тихо, заранее зная ответ, лукаво спросила:

— А какого цвета глаза вашей милой?

Я почувствовал, что еще мгновение, и я стану Иудой. Я почувствовал, что могу сказать только одно. Быстро, вереницей пробежал в уме ряд колебаний и сомнений, упреков и укоров. На душе стало смутно и весело. Было чего-то жаль, и в то же время радость явно колыхалась под сердцем. Каким-то занавесом, густым, непрозрачным начал заслоняться черноокий образ той, которой я покупал в Лондоне духи, — и я соврал:

— Синего, сударыня.

Еще тише, уже ласково и приветливо улыбнувшись, она спросила:

— А ресницы?

Я подумал: «Господи! Какое счастье, что пришлось соврать один только раз» — и опять ответил:

— Черные, сударыня...

И после паузы, снова слегла задохнувшись, спросил ровный, без серебристых нот, тайно торжествующий, голос:

— Так вы не хотите, чтобы я взяла эти духи?

Я помолчал, склонил голову и покорно ответил:

— Хочу, сударыня.

И снова спросил тихий голос:

— А кому вы должны были отдать их?

— Только своей милой, сударыня.

И еще тише и ближе спрашивал участливый голос:

— А кому вы отдали их?

— Своей милой.

И еще тише и ближе спросил участливый голос:

...— А кому вы отдали?— мягко, матерински и ласково и укоряюще спрашивала она, и я вдруг почувствовал, что совершилось что-то серьезное, большое, что есть в тоне этого вопроса какой-то надрыв, страдание,— глубокое, давнее, и когда я, почему-то опустивший глаза, снова поднял их на нее, то увидел: стоит передо мной Катерина Корнаро, прекраснейшее из прекрасных созданий Тициана,— стоит опустошенная душа, кого-то любящая или любившая,— любившая, быть может, мучительно, безответно, страдая... И запали далеко прекрасные глаза, и свет их померк, словно осенние тучи поползли по солнцу,— и даже золотистые полосы, казалось, потускнели и перестали ласкать шелковые косы...

Где действующие лица?

Муж ли, уехавший в Страсбург за горохом?

Этот ли молодец, вчера так небрежно расправлявший пальцами кольца кудрей?

Или еще кто? Живущий здесь, в этом городишке, или, может быть,— в Страсбурге?

Кто же отрекся от нее так скоро и охотно, как я отрекся от своей милой, далекой, далекой, живущей там, на западе Черного моря?

«Кто? Где? Когда? Почему?» — мелькали вопросы...

А она ласковым, мягким движением отдавала мне флакон в красном футляре и говорила:

— Передайте духи вашей милой... Любите, берегите... Чаще целуйте...

— Позвольте!— лепетал я.— А долг? А пятнадцать марок?

— Вы опоздаете на поезд,— вдруг прежним, сухим хозяйским тоном снова начала она.

В контору входил метрдотель,— и живое любопытство было написано на его лице.

. . . .

. . . .

Через двадцать минут я ехал в Зингер,— ехали со мной какие-то люди, читали газеты, ели шоколад... И только тогда, когда я уже приехал в Зингер и носильщик понес мои вещи в другой поезд,— только тогда я вспомнил:

— А где же Черный лес? Где странные обычаи? Неуже-

ли же я уже проехал шварцвальдскую железную дорогу — это чудо инженерного искусства?..

А на другой день, переночевав в Милане, я в семь часов утра уже летел на почту переводить деньги в Оффенбург. Миланская почта открывается ровно в десять часов!

Этого указания, к сожалению, нет в путеводителе Филиппова

Еленучча

Рассказ

> Что прекрасней песен о цветах и звездах?
> Всякий тотчас скажет: «песни о любви».
>
> *Из М. Горького*

I

Сезон уже кончался,— и в отеле занято было только четыре комнаты. На владельца отеля, синьора Манфреда, две вещи действовали угнетающе: во-первых, когда дул сирокко, это проклятое порождение африканских берегов, и, во-вторых, когда в отеле было мало народу.

Каждое утро, встав с зарею, он, как садовник любимое дерево, обходил свой отель. Поищите-ка на острове лучшее место!

«Это не отель, а король!» — думал Манфред и иногда, а особенно после тех дней, в которые иностранцы производили недельные расчеты, говаривал, кланяясь стене, обращенной к морю:

— Доброго утра, ваше величество! Как спали, ваше величество? Ночь была тихая и темная, ваше величество! Хорошо у нас на острове, ваше величество! Понаехали иностранцы, кошельки у них ничего себе, ваше величество! Вся утроба вашего величества полна. А ведь трудно переварить такой завтрак, ваше величество? Семнадцать англичан, тридцать восемь немцев, одиннадцать русских и двадцать четыре американки!

Любил Манфред пошутить с отелем, как с живым существом, как с близким другом,— любил поразговаривать с ним рано поутру, когда солнце, как красный, удивленный, неморгающий глаз, встает из-за синих морских ворот и впервые озирает новый, еще небывалый, только что рождающийся день.

Море — спокойно, утро — прохладно, и окна отеля отливают холодноватой сталью. Все спит,— и еще бы не спать: в этих желудках переваривается хороший обед, и Манфред вспоминает вчерашнее меню: макароны по-неаполитански,

спаржа с голландским соусом, филе карамболь, цыплята с салатом, ананасное мороженое и свежая земляника. И кофе,— душистый кофе с Явы, секрет которого, кроме Манфреда, никому не известен в Италии! Придушив все это сигарами, подчас недурными, попробуйте не заснуть!

«А вино? — вдруг вспоминает Манфред. — Вино, наше волшебное белое вино? Кровь земли».

Вьется дымок кухни. Уже проснулся повар,— поджаривает хлеб, нарезанный ломтиками. Это необходимо к утру, это особенно любят немцы.

Ах эти немцы! Все хорошо: аккуратные, платят отлично, вежливые, любят свою родину, выписывают свои газеты, но слишком много пишут открыток... И все пишут, пишут, и карандашами, и чернилами, а когда обедают, пишут в антрактах между блюдами.

«Много немцев на свете!» — думает Манфред.

Шевельнулась дверь на верхнем балконе, высунулась голова, и видно, как закрылись от наслаждения сонные глаза, как нос потянул аромат апельсинных цветов.

«Номер двадцать четвертый. Доктор. Одиннадцать лир,- соображает Манфред,— начался день. Началась суета. Пора жарить кофе».

Уже давно разгорелась жаровня. Расставив ноги, сидит около нее Манфред и помешивает на сковородке жирные, душистые зерна. Все выше и выше поднимается солнце,— все сильнее и сильнее, как на увеличивающемся огне, закипает жизнь отеля.

Снуют камерьеры во фраках, щелкают фотографические аппараты, — это все, и стоя, и сидя, и обнявшись, и чокаясь бокалами, снимаются немцы. Снявшись, собираются на прогулки и слащаво кричат друг другу: ау!

Уже отерли камерьеры первый пот. Ушли, перекликаясь, немцы. Лениво допивают кофе русские, прошатавшиеся где-то всю ночь. Надо готовить первый завтрак. Что на завтрак? Об этом заботится жена, — быстро стареющая Мария. Громким голосом она читает нравоучения повару Кальдо.

...Все эти иностранцы представлялись Манфреду теми молоточками, которые куют счастье для единственной его дочери Еленуччи.

Все они были двух сортов. Первый сорт – это те, у кото-

рых много чемоданов: черных, желтых, коричневых. Чемоданы эти — настоящие кожаные, дорогие, тяжелые: их трудно нести на голове, в них наложено много вещей. Эти люди платят за пансион по одиннадцати лир, платят охотно, не торгуясь, и окна их комнат всегда выходят на море, в ту сторону, с которой из-за синих ворот на заре выходит солнце. Жены этих людей отлично играют на пианино,— и вечера, когда играют на пианино, очень любит старик. Между женщинами бывают иногда прекрасные,— но кто их сравнит с той?

Вечерами, когда так сладко кружится голова, что кажется, остров плывет, лезет Манфред в свою кладовку,— так он называет память.

Конечно, в отеле бывают прекрасные женщины, но куда им до нее?

...Откуда-то... давно, из прекрасной земли, приехала она одна, поселилась в отеле: глаза ее были грустны, как струны, которых не касается рука. Этого было достаточно, чтобы вскрикнуло молодое сердце. Мария всегда была чудесной и верной женой, но не особенно хорошо, когда красны руки женщины, когда от волос попахивает пережаренным маслом и когда вместо разговоров о любви она читает нравоучения повару Катальдо: надо признаться, что беда уж не так велика, если немцы съедят не совсем тщательно промытый салат.

И вот приехала та.

Говорят, что звезды не так малы, как они кажутся. Есть ученые, которые смотрят в трубы и приближают небо к земле. Может быть, это так и надо, чтобы писать потом толстые книги для студентов. Но Манфред знает: умен тот, кто смотрит издали собор в Орвиетто и видом Рима любуется с Еникульского холма. Не надо приближать небо к земле. Если о небе нужны земные слова, то пусть будет оно синим морем, а звезды — островами серебряными. Скучноваты таки люди, все знающие. Хорошо, если бы звезды время от времени падали на землю, рассыпаясь, но неплохо, если они останутся на небе. Звездное небо, синее море, белые паруса, соколы — все это не такие вещи, которые могут скоро наскучить.

Прекрасно полезть в свою кладовку, когда немцы засыпают и остаешься один в саду, когда видишь, как золотой огонек сигареты медленно, но верно приближается к губам.

Из кладовки тихо выходят старые тени и спрашивают:

— Это ты, Манфред?

— Я.

— А Мария?

— Мария спит.

— Ты меня любишь?

— Люблю.

— А Марию?

— Я могу любить только одну.

— Иди ко мне.

— Иду.

— Целуй меня.

— Целую.

— Любишь?

— Люблю.

И до сих пор с каждым пароходом ждет Манфред: а вдруг в отчалившей лодке покажется знакомое лицо? И потому все люди острова привыкли удивляться: почему старик Манфред, имея трех бойких комиссионеров, говорящих и по-французски, и по-английски, и по-немецки, и даже немного по-русски, почему он сам всегда приходит к пароходу? Почему на нем всегда длинный сюртук, черный бархатный жилет и галстук старинного образца, обвернутый два раза вокруг мягкого воротника?

...Есть другой сорт пассажиров. У этих — чемоданы картонные, оклеенные желтым коленкором; женщины у них носят обувь со сбившимися каблуками. За пансион они платят по восьми лир, торгуются до слез, а за обедом норовят взять куска по три каждого кушанья и часто обходятся без вина.

Самый плохой месяц июнь: пуст отель.

Снявши черный сюртук, аккуратно, подкладкой вверх, сложив черный, двухбортный жилет, тщательно разгладив свой старинный атласный галстук,— Манфред целыми днями пропадает в кафе, у старого соседа Микеле. Этот Микеле видывал в своей жизни бурные дни.

Когда-то он был бедным, теперь же его не купишь за полмиллиона. Манфред слушает его рассказы и совсем не видит, что делается с его дочерью, с его единственной наследницей, богатейшей невестой на всем острове — Еленуччей. Ничего не видит.

II

В третьем этаже жил какой-то русский.

Бог его знает, что это за страна — Россия. Манфред в последнее время часто брал в руки карту, вырванную из путеводителя. Вот Франция — этому можно поверить. Вот Германия,— этому можно поверить. Но Россия... Что такое Россия? Трудно почему-то поверить, что есть такая страна, Россия.

Русский платил за пансион девять лир, но зато выпивал каждый день по бутылке хорошего вина. Это обнаруживало в нем порядочность, и он нравился Манфреду. И чемоданы у него были такие, о которых можно сказать надвое: не то они кожаные, не то коленкоровые.

Еленучче было пятнадцать лет, и ей, прежде всего, понравилось, как этот русский стучит каблуками, когда идет по лестнице. Много людей живало в отеле, но все они не так ходили по лестнице: или сбегали, шлепая подошвами по мраморным ступеням, или тяжело, как мешки, втаскивались вверх. Русский ходил особенно: как-то так ударяя каблуками, что мрамор отзывался четко и без эха. Еленучча решила, что так ходят короли, и говорила иногда самой себе:

— У нас в отеле живет король.

Еленучча ходила всегда во всем белом: белые туфли, короткая юбка и батистовая, слегка прозрачная кофточка: то с красным воротником, то с синим. Красный шел ей больше, и потому по утрам, ожидая, когда застучат знакомые шаги, она всегда надевала красный. Немцы все встают рано, и в половине девятого то и дело слышится слово:

— Моргн!

Русский спит долго; то до десяти, то до одиннадцати,— и когда выходит в столовую, ни с кем не здоровается: это Еленучче очень нравится. Чего, в самом деле, желать здоровья людям неизвестным? А вдруг среди них есть и плохие? Значит, и плохие пусть долго живут? Этого не должно быть. Плохим смерть.

Часов с десяти сидит Еленучча в маленьком коридорчике: в углу, на красном диване и терпеливо ждет, — и вот наверху послышались неспешащие, четкие шаги. Кровь приливает к щекам, больно бьется сердце, и рука машинально поправляет распущенные по плечам волосы.

Шаги приближаются,— и Еленучча уже не в силах си-

деть: она соскакивает с дивана и становится в угол, как наказанная. Он идет заспанный, но лицо от умывания свежее, волосы — влажные, тщательно зачесанные набок: это пока, а потом они просохнут и распадутся по всему лбу. Он привык видеть Еленуччу в углу и приветствует ее особым жестом, не наклоняя головы.

Стол его — в углу.

Еленучча, тайком от лакея, ставит ему свежие цветы, выбирает для них самый лучший бокал и потом украдкой, насторожившимся глазком, наблюдает: видит ли он прекрасные цветы? Он видит, и она от радости потихоньку, внутренне смеется и думает: «Так и быть. Завтра сорву ему фиолетовые».

Еленучча не боялась ни отца, ни матери. Мать ее любит, потому что — мать, а отец за то, что она похожа на него. Но теперь Еленучче становилось порою страшно: а вдруг кто-нибудь потихоньку накроет ее как раз в то время, когда она в щелочку подсматривает за русским,— мысль о том, что могут увидеть, обдавала ее холодом.

Она думала: «Зачем смотреть тайком? Пойду, стану у двери и буду видеть, как он пьет кофе и читает газеты».

Но... была особая сладость в том, чтобы смотреть на него тайком, в расщелину двери, и часто она целовала ее, эту дверь, как икону, и называла милой.

...Росли косы — ничего, но вот растет грудь,— это стыдно. Когда она, Еленучча, идет за марками в табачную лавку, то, кажется, вся площадь: и аптекарь, и парикмахер, и иностранец с красной книжкой — все смотрят ей на грудь. И потом нужно сказать, чтобы портниха шила юбку подлиннее: слишком видны колена, когда идешь, а разве это хорошо, когда на площади аптекарь, и парикмахер, и иностранец?

Что хорошего в этом острове? Круглый год, каждый день приезжают сюда эти иностранцы. Что они смотрят? Что нужно здесь ему, русскому? Эта башня с часами? Но что хорошего в старых камнях? Море? Оно хорошо потому, что по нему, сев на корабль, можно уехать далеко. Горы? Но с них хорошо только видеть, как по морю можно уехать далеко. И весь смысл жизни в том, чтобы уехать отсюда далеко.

Оказывается, иностранец с красной книжкой стоит уже близко и смотрит не моргая, и лицо у него такое, будто ему пить хочется и попросить страшно. И вот глаза его оста

навливаются на том месте, где грудь. Ага! Тебе нужна грудь?

И Еленучча, сделав презрительное, холодное лицо, идет мимо него. Она уже научилась при походке так шевелить плечами, что груди колышутся при движении. Для этого нужно притянуть назад рубашечку. И однажды она вслед себе слышала слова:

— Как две рыбки.

Она сначала не поняла, но потом поняла, покраснела и не оглянулась.

Вот почтенный Микеле. Раньше он не замечал ее,— а почему теперь и встречает, и провожает, и угощает каштанами?

— Как две рыбки? Это хорошо. Пусть будут рыбки.

Ночью, когда все спят: весь остров, все море, все небо, все гроты, все черти, все ангелы, все сирены,— Еленучча потихоньку открывает свет и рассматривает себя в зеркало.

Что, собственно, хорошего в этой девчонке? Волосы? Руки? Черные глаза? Синие — лучше. Плечи? Узенькие. Ноги? Правда, стройные, но их приходится закрывать: иначе нельзя. Еленучча, самодовольно улыбаясь, делает движение, и груди шевелятся: это хорошо. Потихоньку гладит она их руками и говорит:

— Милые мои рыбочки, милые. Пусть он вас полюбит. Кто?— после паузы спрашивает она сама себя и живо, шепотком отвечает — Он. Русский. Король.

Ночь прохладная и широкая. Что стоит оттолкнуть ставню и вылезть в окно? Взять камушек и швырнуть его через окно к нему в дверь? Хорошо было бы, если бы этот камушек попал ему в нос. Проснулся бы и подумал: это шутит черт.

...Сколько разных суетливых мыслей пробежит в голове, когда смотришь, как человек пьет кофе и, наклонив голову, читает газету.

После кофе он сворачивает эту газету и идет в гостиную. Там он подходит к пианино и, не садясь, трогает правой рукой клавиши, и струны словно высовывают из черного ящика свои невидимые головки,— и то радуются, то скажут что-то грустное. А он стоит и, опустив глаза, думает, и тогда непонятно: почему сжимается сердце? откуда влезает в голову неприятный, ненужный вопрос:

— О чём он думает?

Мало ли есть на земле средств, чтобы отделаться от неприятных мыслей? Можно засвистать песенку, можно пересмотреть старые открытки, можно поиграть в мяч, можно подразнить соседского попугая, можно, наконец, уйти к подруге Марии, — но эту мысль трудно вышибить из головы: «О чем он думает?»

Если бы он взглянул ласково...

И Еленучча тихонько показывается в двери.

Он оборачивается и смотрит: ласково, долго. Он даже что-то говорит на каком-то проклятом языке. Еленучча просит:

— Sonare...[1]

А он спрашивает:

— Что?

Еленучча повторяет:

— Sonare!

Он не понимает. Еленучча нетерпеливо дергает плечиком: как это можно не понимать такого простого слова! Сердясь на непонятливого человека, она протягивает свои десять пальчиков и шевелит ими по невидимым клавишам.

Он понимает: нужно играть.

«Ну вот, — думает Еленучча, — слава тебе господи!»

Он садится к пианино.

Минуту спустя начинается музыка, тревожная и сильная, и, как от ладана, которым кадят только в великие праздники, начинает кружиться голова, хочется закрыть глаза, хочется обессилеть, хочется, чтобы кто-нибудь поднял тебя и на руках, убаюкивая, нес далеко, в горы, нес бы целый день, и, бессильные, ничем не сдерживаемые, распустились бы волосы, и шелковые ленты упали бы на землю, пусть бы он потоптал их ногами...

И когда кончается эта музыка, когда он, оглянувшись и уже не увидев Еленуччи, уходит, она тихонько показывается из-за стенки, за которой спряталась, на цыпочках приближается к пианино и смотрит в заглавие нот, и читает непонятные слова:

«Тангейзер». Увертюра.

---

[1] Играть *(ит.)*.

III

Часто он приходил в общую гостиную, когда там никого не было. Газеты его, которые он оставлял потом на диване, были странные, напечатанные странными буквами.

«Что за буквы? Что за слова?» — думала Еленучча и, как близорукая, прислоняла к глазам эти строки, напечатанные в далекой, загадочной стране. Казалось, что там, в России, нет таких домов, как у них, на острове, нет таких женщин, нет таких девочек, как она. Там — все не то.

Входил он в читальню,— она выбегала на террасу и стояла,— страшно было заглянуть в комнату. А заглянуть хотелось — и Еленучча тихонько подкрадывалась к двери, думала: «посмотреть ли?» — и потом смотрела. Пиджак у него — синий, плечи — широкие, волосы — пышны спереди, но с лысинкой на макушке. И Еленучче делается скучно.

«Лысый! — думает она с неудовольствием.— Лы-сый!»

И невольно вспоминается немец из 23-го номера. Тот — молодой, с густыми, маслянистыми волосами.

«А этот — лысый, старый! — думает Еленучча.— И что я нашла в нем хорошего?» И ей хотелось бы, чтобы он ей не нравился. Так хорошо и спокойно было бы, если бы он ей не нравился. Опять все пойдет по-старому: как хороша прежняя жизнь!

Она идет к цветам, которые растут в ящиках на заборе, и, пробуя рукой землю, напевает:

— Он мне не нравится. Он мне не нравится. А цветы нужно полить, потому что земля сухая.

Слышно, как отец, отдыхающий после завтрака, спросонья говорит матери:

— Еленучча сочинила песню,— говорит и смеется.

— И я его не люблю! — напевает Еленучча мотив, но слова произносит только в уме, мысленно: она и слова рада петь, но проснулся отец. Услышит их и мать. Мать... Она — старая и милая. Она так хорошо причесывает волосы. Еленучча ставит лейку на пол и бежит в свою комнату посмотреть в зеркало: как хороши ее волосы. Они — длинные и на концах волнистые, распущены по плечам, и вплетены в них мягкие, шелковые ленты, купленные в Неаполе, в пассаже.

Еленучча глядится в зеркало и вдруг, словно неожиданно, вспоминает:

— А я ему нравлюсь,— снова только мысленными словами напевает она,— и ему хочется поговорить со мной.

И вдруг явилась смелость,— побежала опять к двери, сперва потихоньку взглянула, в читальне никого, только он сидит у пианино и играет тихо, спустивши модератор. Плечи — широкие, пиджак — синий. Играет еле слышно, снова задумался, голову поднял вверх, мечтает.

«А может быть, я ему и не нравлюсь?— внезапно думает Еленучча, и мотив вдруг ускользает из памяти.— Может быть, ему нравится другая? Может быть, он сейчас думает о другой? Может быть, это он ей сейчас играет? Чем тише музыка, тем она слышнее сердцу! Так кто сказал? Отец?»

И Еленучча, сразу решившись, достает из-под ящика кусочек засохшей штукатурки, хочет прицелиться в широкую спину, но попадает в клавиши,— убегает и, как белая ящерка, прячется в саду и закрывает лицо руками, странно, с перерывами, бьется сердце и почему-то глубоко стыдно. Она ругает себя: зачем она это сделала? А вдруг он рассердился? Может быть, поморщился? Может быть, подумал: «глупая девчонка».

Долго тянется день,— будто он хромой, будто он ходит на костылях. Будто очень не хочется ему умирать,— и Еленучча просит:

— Солнышко! Умри поскорее! Пожалуйста! Будь умненьким!.. Лезь в гроб!

Солнце подумало и начало морщиться, а потом и умерло, полезло в гроб.

...Сначала начали растоплять плиту, потом протащили в корзинах провизию. Какая мерзость это красное, кровавое мясо! Повар Катальдо полосует его отточенным, словно серебряным ножом, режет рыбу, крошит зелень. Горит огонь, у плиты жарко, хлопочет тут же мать: нужно, чтобы все было чисто; нужно, чтобы иностранцы были довольны; нужно, чтобы не рассердился Манфред.

Прозвонили два раза. Сейчас раздадутся шаги. Вот спускаются две немки-старухи: две ведьмы. Вот тащится профессор, который пишет здесь драматическую поэму. А вот и он: он всегда позже всех. И, затаив дыхание, встречает его из своего уголка Еленучча. К вечеру на ней опять красные ленты и красный воротник.

Он взглянул ласково и улыбнулся и, как утром, послал рукой привет.

Все время стоит она в потемневшем саду и смотрит: как он ест, как пьет вино, как рассматривает цветы, цветы фиолетовые,— он трогает их рукою, трогает нежно и осторожно, каждый стебелек: хорошая, славная душа. Вероятно, прекрасная страна эта Россия. Долго ли плыть туда по морю? Большие ли ходят туда корабли?

Потом Еленучча думает:

«Знает ли он, кто бросил штукатурку?» И отвечает сама себе: «Не знает. Откуда ему знать?»

Тихо ходит, вся белая, Еленучча в потемневшем саду. Кругом вдоль дорожек растут цветы, теперь задремавшие,— помощники любви. Сладко пахнет,— это цветет какое-то дерево у соседа-аббата, привезенное из Африки.

Еленучча вспоминает: и у них в саду есть дерево, плоды которого еще не поспели,— и она идет к нему, осторожно раздвигая кусты. Тут еще темнее. Отец бережет дорогой огонь и повернет садовый выключатель только тогда, когда иностранцам подадут фрукты,— сегодня землянику.

Еленучча находит впотьмах дерево, становится на скамейку, протягивает к себе упругую ветвь, срывает одну за другой, сжимая в ладони, ягоды. Вдруг стало скучно.

«Бросить опять? Хватить его по лбу? Скажет: какая наглая, навязчивая девчонка — эта Еленучча. А кто полюбит наглую девчонку? А вдруг пожалуется отцу и скажет ему такие слова: ваша Еленучча бросает мне в лоб твердые ягоды. Или скажет: ваша Еленучча испортила мне синий пиджак,— пожалуйте мне за него деньги, сто лир».

Эти слова приводят Еленуччу в радостное настроение, и она, словно ее оставили силы, опускается на скамью и восторженно думает:

«Он? Скажет? Этот русский? Он потребует сто лир? Он заговорит о деньгах?»

Вспоминает Еленучча, как он, гуляя в саду после завтрака, сорвал в саду цветок, положил его себе на ладонь и долго смотрел на его, как на ребенка. Тогда хотелось крикнуть:

— Это ваша дочка? Да?

Но крикнуть нельзя было, потому что это неприлично.

...Видны настежь растворенные окна столовой. Видно, как там, с блюдами в руках, бегают лакеи и их помощник, мальчишка Пасквалино. Уже разносят жаркое. Пасквалино подает салат. Этому мальчишке, вчера еще бегавшему у мо-

ря в порванных, серых и коротких штанах, удивительно хочется походить на взрослого лакея. В левой руке он держит салатник, правую закладывает за спину и важно наклоняется к столу, засматривая обедающему в глаза.

Теперь «этот русский» ест цыпленка. Очень трудно есть цыпленка! Надо его и ножом резать, и потом брать косточку в руки, а тут еще — салат, хлеб, вино. Приходится возиться со многими вещами. Еленучча замечала, что когда подают на жаркое птицу, то как-то стихают шумные разговоры.

«Теперь только его и смазать!» — думает Еленучча и, наконец, решается.

Тихо, как в комнате со скрипучим полом, она поднимается и по влажноватой земле идет на цыпочках.

Сад совсем спит: тихий, сладкий сон. Спит, должно быть, и море — и только выспавшиеся за день звезды закидывают с высоты в воду свои тонкие, серебристые, лукавые удочки. Немного спустя выйдет на середину главный хозяин неба и набросит на море большую хитросплетенную, странную сеть.

Тени окон лежат на земле квадратами, удлиненными вправо. Шагнуть из темноты в такой квадрат — все равно что с земли попасть в воду. Еленучча, держась рукою за стену, тихонько высовывает из темноты на свет свою ножку, словно испытывая: а вдруг кто увидит? А вдруг отец увидит? — и она пугливо оглядывается. Никого. Еленучча передвигается дальше, в свет яркого квадрата, и вот уже виден он. В стакане у него до половины вино. Сегодня он пьет красное. Сегодня из Флоренции получены плетеные бутылки.

Надо спешить, пока нет никого, — вот вся Еленучча, белая, изящная, с красными лентами в распущенных волосах, — на свету. Из левой горсточки она берет ягоду, самую маленькую, — ту, которая не ударит больно, — и вдруг в это мгновение он поворачивается к окну. Он видит ее, он улыбается и опускает стакан, уже поднесенный ко рту. Нет уже сил отступить назад в темноту, и тихо выпадает из рук скользкая ягодка.

Вдруг он снова поднимает вровень с головой наполовину красный стакан и делает знак, что пьет за ее здоровье, и она тихонько, чтобы было не слышно, отвечает ему:

— Благодарю, благодарю!

И, попадая то из света в темноту, то из темноты в свет, бежит мимо окон к воротам, от ворот — по узенькому пере-

улочку, из переулочка — по неширокой аллее, с неширокой аллеи — на широкую, а там — по старой, развалившейся крутизне спускается, царапаясь о кусты, к морю и уже смело, слышно говорит, поворачиваясь к отелю:

— Благодарю!

Все ближе и ближе море: вот уже и ветер, вот развалины монастыря,— сегодня не пятница? Сегодня вторник: значит, привидение вон из головы, можно спокойно ползти вниз: отель все дальше и дальше, все выше и выше,— и Еленучча уже кричит, потому что никто не подслушает:

— Благодарю! Благодарю!

В первый раз она благодарит любимого,— какой восторг!

А море тихое и спокойное: спокойно покоряется тому, что звезды забросили в его глубину свои скользкие, серебряные, вечные, чуть заметные удочки.

Скоро, через полчаса, дома хватятся,— Еленуччу будут искать. Пусть ищут. Кто же может быть дома, на свету, когда так бьется сердце? Первая заметит мать. Скажет тревожно: «Еленуччи нет?»

А разве можно доводить дело до того, чтобы заметили, как бьется сердце?

— Нельзя!— тихо, секретно отвечает Еленучча, покачивая головой.— Нельзя! Ведь правда нельзя?— спрашивает Еленучча у моря.

Море спит, молчит. Звезды делают с ним все, что хотят.

— Нельзя? Слушай, ты!— еще раз обращается Еленучча к нему, и, чтобы нарушить сны, бросает в воду камень.— Решено! Нельзя!

Камень словно растаял и расплылся темным, торопливым кругом, но море только вздохнуло и не проснулось: должно быть, хороши сны.

Еленучча сердится и бросает еще камень: больший. Круг расплывается еще шире и еще торопливее, но всплеск, показалось, был сонливее и неохотнее,— и опять нет ответа.

«Не с кем поговорить!— думает Еленучча и добавляет:— Проклятый остров».

И вдруг вспоминает Мадонну,— ту, что стоит в гроте, вся в лилиях

Надо завтра вечером пробраться к Мадонне. Надо понести ей лилий. Мадонна любит лилии. На одной картине, которую любит отец, нарисовано: Мадонна вознеслась на небо, а гробница ее наполнилась лилиями. Стоят кругом лысые

апостолы и сложили руки в изумлении. Лилий, лилий ей, Мадонне!

А почему непременно нужно идти к самому гроту? Разве отсюда Мадонна не услышит? Мадонна слышит и видит все, что делается на земле.

И говорит Еленучча покорно:

— Сделай меня счастливою, Мадонна! Сделай меня счастливой! Я обегу весь остров, я сорву все лилии, какие есть на острове. Если не позволят, я украду, но я все их принесу тебе. Сделай меня счастливой! Ты знаешь, о чем я прошу тебя. Ты все знаешь. Ты все видишь. Ты все слышишь.

IV

Еленучча знает, что после обеда он всегда ходит гулять. Так же как и она, он сначала пойдет по узенькому переулку, потом свернет на неширокую дорожку, потом на широкую аллею, потом сядет на площадке, снимет шляпу и будет долго смотреть на море.

«А может быть, сверху увидит меня?— думает Еленучча и еще думает: — Меня трудно не увидеть. Я — беленькая».

Она смотрит вверх и различает конусы гор, торчащие кактусы, темно-серые волнистые полотнища дороги. Все боятся ночью ходить по этой дороге,— Еленучча ничего не боится. Ей даже хочется послушать сирен: говорят, что они поют, когда поднимается ветер: не то трамонтано, не то сирокко.

Стоит тишина, странная, особенная. Кажется, что кто-то затаил дыхание,— и все больше и больше набирается воздуху в грудь, все труднее и труднее сдерживать это дыхание, но остров крепится, не хочет дышать, боится шума, караулят его двуокие огни. Пусть шум будет в далеких городах!

Становится прохладно. Еленучча подбирает под платье ноги и думает: вот скоро она наденет длинное платье, будет невестой, будет самой красивой девушкой острова. Кто сравнится с нею? У кого такие волосы? Такие брови? Такие губы? Губы — красные и горячие. Кто бы не хотел их поцеловать?

— Кто бы не хотел их поцеловать?— мечтательно говорит Еленучча.

Еленучча знает, кого она хочет поцеловать.

— Укусила бы ему губы! — думает она; ей смешно и опять не страшно, хотя и море, и сирены тут, неподалеку.

Еленучча нащупывает около себя камень, большой, тяжелый, гладкий, и думает: «убить можно человека» — и вдруг с отвращением отталкивает его ногой: никого не нужно убивать.

...Тихо, тихо: не дышит, притаился остров, будто бы захотел, чтобы его все забыли. И вдруг — шаги. Кто-то идет сверху.

Еленучча замерла.

— Неужели?

Насторожились глаза, остро вцепились вверх: кто-то идет.

«Неужели он? — родилось предположение и радостное, и страшное. — Он увидел ее издали?»

Он идет сюда? Господи боже! Куда же нужно бежать? Куда?

Бежать никуда не надо. Надо только идти вдоль берега, идти поскорее, — и он никогда не нагонит ее. Разве угонятся его ноги за ее беленькими туфлями?

Надо бежать, — шаги все ближе и ближе; но почему же тайно так хочется, чтобы он увидел, как она бежит, куда, в какую сторону?

Шаги слышнее. Скатываются и хрустят под скользящими ногами мелкие камни... Ясно, что он увидел ее: зачем бы ему в этакую пору идти сюда?

Она убежит у него под самым носом, как только он подойдет на расстояние пяти шагов.

И вдруг:

— Еленучча! Это вы?

Его голос.

Низко пригнулась, потом немного выпрямилась, — нельзя иначе: так бьется сердце.

А голос, заглушающий шаги, еще ближе.

— А там весь отель отправился на поиски, — говорит он. — Профессор с женой пошел в одну сторону, англичанин — в другую. А я почему-то думал, что вы побежите к морю. Это вы? Ну конечно, вы. Я издали увидел ваше платье. Сегодня море светится.

И он совсем близко от нее, он берет ее за руки, и не

отрывает их она,— только прячет лицо свое в изгибе, там, где локоть.

— Что с вами, Еленучча? Вы плачете? Вас напугали сирены?

Ах, какой он смешной! И Еленучча тихонько смеется: чего бы это она плакала?

— Или вы смеетесь, Еленучча?— говорит он и как будто стыдится своего первого предположения.— Вас не разберешь.

И выходит еще смешнее: он плохо говорит по-итальянски,— очень плохо, в особенности не выходит у него буква «и».

Он начинает тихо гладить своею ладонью далеко открытую руку и говорит:

— А Еленуччу ищут... Ищут...

— Ну и пусть ищут!— говорит она смешливо: ах, как плохо говорит он по-итальянски!

— Еленуччу ищут,— словно не зная или не находя других слов, повторяет он и вдруг говорит на неизвестном языке, вероятно на своем, русском:— Милая Еленучча...

Она вздрогнула и прислушалась к неизвестному, а он еще раз говорит:

— Милая Еленучча...

Еленучча не любит ничего непонятного: она поднимает голову, широко раскрывает глаза и спрашивает:

— Milaja? Che cosa «milaja»?[1]

— Что такое милая, спрашиваешь ты?— опять на непонятном языке говорит он.— Разве ты не понимаешь, что такое: «милая»?

— Parlate italiano,— отвечает капризно Еленучча,— non capisco[2]

— Ты хочешь, чтобы я говорил по-итальянски?— И он снова дразнит ее непонятными, неуклюжими словами:— Ты не понимаешь? Я давно уже заметил тебя,— твои глаза, твои ручки, открытые до локтя, твои белые туфельки и стройные ноги, милая.

Опять сказано это слово: «milaja». Почему оно такое странное? Почему оно, непонятное, волнует Еленуччу,—

---

[1] Милая? А что означает милая? *(ит.)*

[2] Говорите по-итальянски, не понимаю *(ит.)*.

даже легкая дрожь пробегает по телу? Все слова, все непонятное, протекло как вода,— почему это слово остановилось в мозгу? Почему так мучительно хочется поскорее узнать его смысл — и она спрашивает еще раз:

— Che cosa «milaja»? Dite, signore,— prego.

Что за чудо? Он, такой большой, такой широкоплечий, пришедший из неизвестной страны, делается самым близким на земле: вот он сейчас стоит около нее, и она не может вспомнить, какое лицо у отца и какой голос у матери? И нежной, неокрепшей рукой она близко привлекает его к себе, и слышит он ее частое, прерывающееся дыхание и не может разобрать тех слов, которые она говорит, и только прорывается одно, его же собственное:

— Milaja! Milaja!

Что дорого в нем? Глаза: светлые. У кого здесь такие глаза? Ни у кого нет. А вот у нее, у Еленуччи, есть теперь серые глаза.

Что дорого в нем? Волосы: светлые. И у отца — черные, и у матери — черные; и у Микеле — черные; и у всех — попов — черные; и у всех на острове — черные. А тут светлые, волнистые.

Разве он, этот большой и милый человек, видит ее мысли? Она может думать, что хочет. Она может говорить, что хочет. Она может повторять, сколько хочет.

— Milaja! Milaja!

Море никому не скажет: оно не понимает любви. Цветы? Они — помощники любви. Они свидетели ее судьбы. Звезды? Их никто на земле, тем более на этом острове, не услышит: они — далеки.

...Вверху опять зашуршали камни,— это, конечно, идут сюда; это, конечно, ищут Еленуччу. Боятся: пропадет Еленучча. Еленучча — маленькая и глупая девочка.

— Здесь! Здесь она!— кричит русский и грозит ей потихоньку пальцем.

И это прекрасно, что он грозит пальцем. Кричит он для видимости. Это секрет. Когда начались секреты,— тогда началась любовь.

Бежит сама мать,— выбежала из дому, в чем была: с растрепавшимися волосами, в фартуке, смешная, сердитая. И кричит нараспев:

— Ах ты девчонка скверная! Ах ты девчонка маленькая!— кричит и хватает Еленуччу за руку.— Высечь тебя

надо! Ты куда забралась? Ты хочешь, чтобы сирены тебя в воду затащили?

— Нет, она хорошая девочка! — смешно и успокоительно говорит русский. — Она хорошая. Просто она вышла погулять.

— Она вышла погулять! — кричит, сердясь, мать. — Хорошее местечко она выбрала для прогулки, нечего сказать!

И тащит Еленуччу за руку, как девчонку, попавшую по шалости в воду. Еленучча покорно тянется вверх, по плохой дорожке, но хитро и шаловливо оглядывается: ей приятно, что за ней идет русский, такой темный, такой неясный. Все, что говорит он, все, что говорит мать, все, что сейчас будет говорить отец, — все это пустяки. Важно, что есть секреты.

— Какая же она хорошая? — вдруг с большим гневом говорит мать и останавливается, чтобы передохнуть, потому, что идти еще далеко. — Весь дом ищет ее, негодную! И отец беспокоится, и я беспокоюсь! Нажили отель, нажили денег, купили недавно виноградники, — для кого все это будет, если она, не дай бог, в такую темноту да соскользнет в воду?

Ах, какая смешная эта мать! И как приятно, что он заступается за нее. А нравятся ли ей светлые волосы? А нравится ли ей этот русский, который, улыбаясь в темноте, идет сейчас сзади?

И она говорит:

— Мама! Ты — milaja.

Мать спрашивает:

— Что?

Так смешно, что идти дальше — невмоготу. Опять останавливаются отдохнуть, — они, эти три человека.

Еленучча повторяет:

— Ты — milaja.

Мать опять ничего не понимает и опять сердится, но уже смущенно. И обращается к русскому:

— Благодарю вас, синьор, что вы помогли отыскать эту негодницу! Не будь вас, я никогда бы в эту пору не спустилась к морю. Здесь — места опасные. Здесь места — не особенно чистые. Здесь нужно бы выстроить часовню.

...Еленучча уже взбежала на верхнюю площадку. Видно все-таки, как они: и мать, и русский, словно старики, идут по круче и он бережно взял старуху под руку, помогает ей,

а она задыхающимся голосом что-то говорит ему, — и Еленучча кричит им, приставив руку ко рту:

— Ты — milaja.

И смеется от радости: пусть-ка они там внизу разберут, к кому относятся эти слова.

Как прекрасно море, не знающее любви! Как хорошо, что бог так высоко, на тонких ниточках, повесил звезды.

Как широко море, — по нему можно уехать куда угодно: в Россию, например. Плывут корабли, и едут в Россию люди. Неужели в России такие же, как и здесь, дома, такие же рыбы, такой же хлеб?

Покатилась звезда. Она умерла, или ей надоело висеть на небе? или оборвалась ниточка? или это заплакал бог? Неужели богу не хочется пожить на земле?

Хорошо иметь секреты.

— Отель вещь хорошая, — уже на близком расстоянии говорила мать, — но только что я вам скажу, синьор: трудно нам, синьор. Мы двое: я и муж. Уже старики. Уже нет прежних сил. В прошлом году и я, и он уже купили очки. Ездили для этого в Неаполь. И ноги, — ведь самое главное в человеке — ноги. А ноги наши уже скрипят, синьор. Да, скрипят. Как старые колеса. Починить надо. А кузница наша — на небе. У самого господа бога. У архангела Гавриила. У нашего патрона Констанция.

Что так говорлива мать?

Она разговорчива только с людьми, которые ей нравятся. Русский ей нравится? Вообще она иностранцев не любит, почему же тогда ей нравится русский? Вот интересная вещь.

V

Каждый вечер долго тянется обед.

Уже темнеет. Уже прохладно. Уже купается в море золото, упавшее с луны. На что морю деньги? Почему деньги не тонут? Портрет какого императора чеканится на этих золотых шаловливых монетках?

Как долго тянется обед! Как скучны, недвижны полосы света, падающего из окон в сад. Выходит так, что столовая, соседка сада, дразнит его:

— А у меня светло. А у тебя темно.

А сад зажмурился и будто не слышит. Хитрый.

Еленучча издалека заглядывает в окно.

Пасквалино уносит уже пустой салатник. Слава богу! Теперь скоро съедят фрукты. Он не пьет кофе,— тогда время пролетит скоро. Сколько раз она говорила ему:

— Разве можно так долго сидеть за столом! Почему так долго?

Каждую черешню он аккуратно опускает в стакан с водой. В голове его сейчас — только думы о ней, об Еленучче Он закурит скоро свои чудесные папироски,— привез их из Турции.

Вот он, наконец, встал.

Еленучча быстро, как ящерица, скользнула в самый темный уголок сада. Он уже знает, что она — там и, проходя по дорожке, улыбается: это видно в полосах света. Среди темной зелени белеет ее платье. Он подходит, берет ее руки и близко, близко смотрит в глаза.

— Ты взял бы меня с собой в Россию?— спрашивает Еленучча.

— Я не вернусь в Россию,— говорит русский.

— Как? Ты не вернешься в Россию?

— Не вернусь.

— Ты не любишь Россию?

— О, нет, милая девочка! Я люблю Россию.

— Но почему же ты не вернешься?

— Не вернусь.

— Что ты говоришь?!

— Правду говорю.

— Бедненький ты! Отвратительная Россия!

— Россия? О нет! Россия — прекрасна. Россия — прекраснейшая из стран.

— Она прекраснее Италии?

— Прекраснее.

— Чем она прекраснее?

— Это трудно сказать сразу.

— Но когда-нибудь скажешь?

— Скажу.

В саду вспыхивает электрический свет.

Обед кончился. Сейчас все выйдут из комнат. Как мимолетно время!

...Утром Еленучча достает географию, старую растрепан-

ную книгу, которую она так не любила в школе, и находит, почти в самом конце, отдел: Russia. Читает, и сжимается сердце:

— Как ехать в такую страну? Как можно жить там?

Он врет, что эта страна — прекраснее Италии. Чем она прекраснее? Просто он хочет наговорить ей, глупой девчонке, много соблазнительных слов, чтобы потом поскорее и полегче увезти ее на корабле.

Она бежит в читальню и там, под нотами, находит карту, два раза порванную в середине.

— Вот она: Russia.

Тут живут его мать и сестры. Она будет любить их. Она — богата. У ней хватит денег на все. И отель, и отцовские деньги — ее. Она богата. Хорошо быть богатой.

И опять ждет Еленучча: как томителен день! Как далек вечер!

Скоро ли засияет золото моря? Много денег и у луны. Чья она невеста? Чья она дочь? Сколько у нее лент! Как красивы ее волосы. Кто ухаживает за ней на небе? Кто ее целует? Солнце? И если Еленучча — луна, маленькая луна острова, то солнце...

— О, мое милое солнышко!

Звезды — девушки. Сколько на небе девушек! Где же их милые? Или луна — мать? Может быть, она строгая и ворчливая женщина? Может быть, она не позволяет звездам, своим дочерям, заглядываться на кавалеров?

А может быть, звезды — бриллианты бога?

У короля есть прекрасные картины: в Венеции, во Флоренции, в Риме, в Неаполе. Король разрешает показывать их всем. Все могут смотреть Тициана, Корреджио, Тинторетто, Джорджоне: сколько о них рассказывал отец! Когда ему грустно, он бросает все и едет во Флоренцию смотреть тициановскую Магдалину. Он плачет, когда рассказывает, как нарисованы ее волосы.

Так, может быть, и бог? У короля — картины, у бога — корона. На что ему ночью корона? И он говорит кому-нибудь из ангелов:

— На землю идет ночь. Покажи людям бриллианты моей короны. Пусть смотрят всю ночь. К утру собери.

Если ангел любит людей и не ленив, — он покажет, он рассыплет перед людьми все бриллианты. Их так много, что даже на небе тесновато. Тогда люди говорят:

— Какая прекрасная ночь!

Иногда ангел не особенно любит людей — тогда он покажет не все бриллианты.

А иногда и сам бог разгневается. Иногда люди очень много нагрешат за день — и скажет:

— Ангел! Не показывай в эту ночь этим дуракам мою корону!

Тогда по небу ползут тучи. Тогда небо темно. Тогда воет ветер.

...Но как томителен, когда в первый раз полюбишь, летний день! Как далек вечер!

VI

Вот и оно, утро, чудесное, прохладное.

Нужно поблагодарить бога за сны. Снами человеческими заведуют на небе два ангела: один — белый, любящий людей. Другой — темный, не любящий людей. Первый — показывает человеку: дворцы, моря, все страны, прекрасных юношей, цветы, поднимает человека на воздух и несет его над землей; поит его удивительными винами и кормит удивительными фруктами; говорит о любви. Человек проснется и думает:

«Как коротка ночь! Сегодня сны были прекрасные. Спасибо тебе, нянька-ночь! Как ты хороша!»

...Сидит Еленучча и читает книгу. Прекрасно пишет поэт о любви. Что такое поэты? Ангелы, посланные богом на землю, как в ссылку, в наказание. Поди-ка поживи среди людей: нелегкое дело!

Пришел отец с пристани.

«Всегда он какой-то особенный, когда приходит с пристани»,— думает Еленучча.

В это время он особенно мягок, и его обо всем можно просить, и он, что обещает, все сделает: купит новую шляпу, даст денег на ленты, обещает свести в кинематограф.

Он красив в этом сюртуке и бархатном жилете. Кудри его причесаны на один бок и, мягкие, шелковистые, колышутся, лишь дохнет ветер. Старик строен и высок, и еще хорошо блестят его взволнованные глаза.

Еленучча смотрит на него и улыбается:

— Ты чего смеешься?— спрашивает он, устало присаживаясь к ней, на красный диван.

Пристань — далеко: шел пешком, чтобы насладиться своими думами.

— Я не смеюсь,— улыбаясь, отвечает Еленучча.

— Коли не смеешься, то чему ты улыбаешься?— говорит отец.

Как усталы его глаза!

— Улыбаюсь я от радости, что ты у меня красивый.

— Красивый?

— Красивый. Согласись сам: приятно иметь красивого отца.

— Приятно?— и отец делает непонимающее лицо.— Почему приятно?

— Я не знаю, почему,— отвечает Еленучча.— Быть может, потому, что люди могут сказать: у красивого отца — красивая дочь.

— Ах, вон оно что? Ты говоришь так, будто ты большая. Да, может быть, ты и в самом деле большая?— спрашивает Манфред слегка взволнованно.— А ну-ка привстань!— Бегает тут девчонка Еленучча, всем мешает, во все дела впутывается. А может быть, девчонка уже растаяла и получилось что-нибудь другое?

Еленучча не встает — ей стыдно. Она прижимается к отцу и тихонько говорит:

— Видишь мои волосы? Это твои волосы. Они так же вьются, как и у тебя. А когда я смотрю в твои глаза, то вижу себя, как в зеркале.

Старик усмехается, лукаво смотрит и обнимает дочь, как самую любимую.

— Уже коробочка с хитростью открылась,— говорит он,— уже начинается в тебе женщина. У тебя есть ленты красные и синие. Вероятно, уже понадобились зеленые? Ты стояла перед зеркалом и решила, что будет неплохо, если около черных бровей будет болтаться зеленая тряпочка? Или постой, постой, я начинаю думать другое. Быть может, сегодня в кинематографе идет хорошая картина?

— На афише написано: «Любовь матери»,— отвечает Еленучча.

— Тебе, значит, хочется посмотреть «Любовь матери»?

— Хочется, конечно,— отвечает Еленучча,— но я вовсе

не для этого говорю. Просто ты красивый. Ты мне нравишься. Мне кажется: живи ты в Риме, тебя бы взяли охранять короля.

Старик прислоняет голову к спинке дивана, глаза его закрыты; лицо — усталое, и думы, сладкие и любимые, текут, видимо, в его мозгу. Стоит около него светлый ангел. Сидит он так долго, потом медленно идет к себе и через полчаса — неузнаваем. На нем — старая серая жакетка, старые туфли, глаза как будто стали не такими большими, воротник не повязан галстуком и голос — неприятный и дребезжащий.

— Опять вино в чулан отнесли? — кричит он то направо, то налево. — Опять хлеб засох? Опять этот старый черт не принес молока? Опять забыли немцу из двадцать третьего номера счет написать? Что это такое, а? Черт бы вас всех подрал, а? Закрывать отель, что ли? а?

И ходит он кругом, и швыряет со стола книги, и не подвертывайся в это время к нему под руку важный Пасквалино.

Подошел к отцу темный ангел.

Еленучче делается скучно, и она скоренько убегает в сад.

...Есть ли еще на земле где-нибудь такая скука: когда милый ушел и нет его уже давно, — часа четыре?

Вяло пошла в свою комнату.

Ах, как все надоело! Этот туалет, эта маленькая, такая чистенькая кровать, этот гардероб. Она открывает его, — там висит все белое. Вот платье первого причастия, вот другое: в нем она провожала в путешествие новобрачную Катанью.

А в нижнем ящике? Стой! И Еленучча радостно открывает его. Там — куклы. Как могла она забыть их, своих друзей? Как они все это время плакали без воздуха, без света, голодные, никем не приласканные. Вот — Мария в красном платье и в туфельках, — они немного ей широки. Вот Энрико. О! Энрико красавец, с черными усами, будущий берсальер.

Прежде Энрико был простым мальчишкой, который на пристани приставал к иностранцам, становился на руки и просил сольди. Теперь Энрико вырос, он влюблен в Марию или, быть может, в Анну? — он, видимо, кокетничает с ней, важно в темноте крутит ус...

— Но почему же ты сейчас не смотришь на Анну? — спрашивает Еленучча. — Почему ты теперь на меня вылупился? Разве я лучше Анны? А? Посмотри, какая Анна? Ну, посмотри же, глупый! Тебя скоро отдадут в солдаты Ты будешь бравый берсальер. Ого? Ну-ка? Как ты будешь ходить? Анна! Смотри, как ходит твой берсальер. Смотри, как он отдает честь генералу...

Еленучча ставит на пол обе куклы и, придерживая их за спины, придвигает друг к другу, а сама напевает марш и пристукивает в такт каблучками. Ох, идет бравый солдат Энрико, влюбленный в Анну! Трепещите, женские сердца! Ох, берсальер идет...»

— А ты, Мария, плачешь? — спрашивает Еленучча, бросая влюбленных. — Ты плачешь? — И Еленучча прижимает ее к сердцу. — Ты ревнуешь? Тебе изменил Энрико? О, моя хорошая! Он вернется к тебе. Ему скоро надоест эта глупая Анна. Я сошью тебе новое платье, я куплю тебе новые туфельки, ты будешь хорошенькая, — куда же Анне до тебя? И снова полюбит тебя Энрико, и женится на тебе, и увезет тебя на корабле далеко, и там ты будешь счастлива, и там ты будешь молиться за меня какому-нибудь святому, чтобы он помог мне. Я тоже несчастна, Мария! Я люблю этого русского, а он меня не любит. Вот я тоже плачу. Он куда-то ушел — и вот уже пятый час, как его нет, как я его не вижу. Это пытка. Это несчастье. Пойдем с тобой завтра, Мария, на кладбище и там на чьей-нибудь могиле завяжем ленточки. И пройдет наша любовь. Это средство испытанное. И ты забудешь своего Энрико, а я — своего русского.

Стукнула железная калитка, — входная: знакомые шаги застучали по плитам. Куклы как попало летят в ящик, и Еленучча не видит, что берсальеру прищемило руку, а обе его дамы упали ничком, уткнулись носиками в одеяло, молчат, ничего не видят и не отвечают на стоны своего возлюбленного.

Еленучча выбежала в вестибюль. По лестнице поднимается русский, видит ее, снимает шляпу, кланяется.

Еленучча сердито отворачивается, не отвечая ему, а сама радостно думает:

«Гулял. Устал. Теперь дома будет целый вечер. Пойдем к морю. Весь вечер мой. Хорошо, что я рассердилась».

И она бежит в свою комнату и нашивает на рубашечку синие ленты: красные надоели.

VII

Было утро. Он там, наверху уже встал: балконная дверь, что выходит на море, отворена. Умывается, должно быть. Ужасно много он тратит воды,— горничные жалуются: три кувшина каждый день. А кувшины — огромные.

Утро ясное, такое широкое: кажется, что остров стал больше. Небо далеко, солнце распоряжается всем миром, и нет совсем ветра, этой воздушной змеи.

Входит в садовую калитку женщина в желтой юбке. На всем острове в желтой юбке ходит только Розалия, та самая, которая служит там где-то, у русских, на дальних виллах. Розалия идет в отель. В руках у нее письмо. Подошла ближе. Волосы у нее толстые, как черные нитки. Осторожно спрашивает Еленуччу:

— У вас тут живет русский? Высокий такой?

Еленучча молчит; ей почему-то неприятно. Смотрит она на тонкий, шелковистый конверт, который та как-то странно бережно вертит в своих заскорузлых руках.

Розалия, удивленная, опять повторяет свою фразу:

— У вас тут живет русский? Высокий такой?

Неприятна эта женщина, хитры ее глаза и слишком ярка желтая, плохо выглаженная юбка.

Замерло сердце Еленуччи. Зловещими показались эти жесткие, корявые пальцы.

— Живет, да,— собрав силы, ответила Еленучча,— а вам на что?

Как хитры глаза Розалии. Вероятно, ей хорошо заплатили за труды!

— Письмо ему,— говорит она, показывает на конверт и вдруг спрашивает: — а ты чего, маленькая, побледнела?

Отвечает Еленучча.

— А разве ты не чувствуешь, какая жара? Постой-ка на ней — и ты побледнеешь.

— Утро сегодня прохладное,— возражает хитрая Розалия.

Еленучча не хочет больше разговаривать с этой бабой, которая не говорит, а как-то выпускает слова: осторожно, таинственно. Слова ее ползут, как змеи в траве.

Еленучча протягивает руку и говорит:

— Давайте, я передам письмо. Он еще не приходил вниз. Он еще спит.

Розалия неприятным, хищным движением прячет письмо за спину и отвечает испуганным шопотом:

— Нет, нет. Не могу отдать.

— Почему? — взволнованно спрашивает Еленучча.

— Письмо секретное... — отвечает Розалия, и вдруг глаза ее сделались еще более пронзительными и острыми, указывающими прямо в сердце. — Письмо от синьоры, — словно по секрету, сообщает она.

— От синьоры? — сразу упавшим голосом спрашивает Еленучча.

Господи! Почему об ее любви первою не узнала мать? Почему об ее любви первым не узнал отец? Почему об ее любви первою узнает эта неопрятная, хитрая женщина? За что такое наказание? Разве Еленучча не носила лилий Мадонне? Разве она не молилась там, у моря, богу?

— Да, — отвечает Розалия, все понимающая, хитрая, насмешливая, — письмо от синьоры. Да, — еще раз говорит, наслаждаясь, Розалия, — письмо от русской синьоры. Он каждый вечер бывает у нас... Синьора богата и живет одна...

Розалия наклоняется и, огромный секрет, сообщает шепотом:

— Мне кажется, — говорит Розалия, — он любит синьору.

— Любит?

Розалия деловито, словно ничего не замечая, со спокойными глазами, повторяет:

— Очень, по-моему, любит. Синьора прекрасна. Волосы ее золотисты и глаза — светлы. Кроме того она превосходно играет на рояле. Рыбак Габриэле и тот — большой знаток! — говорил не раз: превосходно. А он слыхивал настоящих маэстро.

Еленучча отвечает гордо и спокойно.

— Если письмо секретное, — поди и передай сама. Он, кажется, умывается. Пойдем провожу. — Сказала и легко побежала по лестнице вверх. Розалия, колыхая обвисшею грудью, шагая через две ступеньки, еле поспевала за ней, а на верхней площадке совсем запыхалась и не могла перевести духа.

Еленучча подбежала к его двери и, не жалея пальцев, начала стучать и боялась: вот рассмеется, вот заплачет.

— Войдите, — раздался за дверью знакомый, теперь слег-

ка удивленный голос. Она слышит, но все стучит, все стучит и не может остановиться: и то хочется рассмеяться, то странно близки к смеху слезы.

— Войдите! — еще громче говорит он.

Она стучит.

— Господи боже! — говорит он и, подняв воротник жакетки, еще не совсем умытый, слегка приотворяет дверь, видит Еленуччу и спрашивает удивленно: — Это вы?

— Я! — сухим сдавленным голосом отвечает она и показывает в сторону Розалии, теперь почтительной и смиренной: — Вам письмо.

— Мне? Письмо?

Свежее, любимое и теперь такое чужое лицо перестает улыбаться.

— Да, вам письмо, — с показной радостью отвечает Еленучча: — от русской синьоры. От прекрасной русской синьоры с золотистыми волосами вам секретное письмо.

Еленучча говорит спокойным голосом. Глаза ее смотрят презрительно. Губы улыбаются презрительно. Она делается повелительною. Как принцесса, предводительствующая войсками, она командует:

— Передайте письмо! — говорит она Розалии. — Вот этот синьор, которому прислано секретное письмо.

Еленучча повернулась и спокойно пошла по лестнице.

— Еленучча! — крикнул русский.

Еленучча не оглянулась.

— Еленучча! — крикнул русский громче.

Еленучча не спеша сходила по ступенькам и не оглянулась.

VIII

— Ты ничего не ешь, Еленучча! — сказала мать за завтраком, подвигая к ней глубокую чашку с любимыми ягодами.

— Не хочется, — ответила Еленучча и даже не взглянула на ягоды.

Все было противно: и хлеб, аккуратно, горкой, разложенный на тарелки, и рыба, политая красным соусом. Только полстакана вина выпила Еленучча, — от него стало жарко, в

голове поднялась какая-то муть, в теле почувствовалась усталость.

Не дождалась Еленучча конца завтрака, сказала, что болит голова, и вышла в сад; но и там было все противно: деревья показались Еленучче низкими, земля — сырою и липко неприятною, вода в фонтане — грязною. Попугай увидел ее и стал кричать дико, надоедливо, хлопал крыльями, перескакивая с ветки на ветку,— и в первый раз захотелось ударить его, чтобы замолчал. Противны были и эти ряды окон отеля, и балконы, к решеткам которых старые немки привязывают для просушки свои зубные щетки. И солнце жжет так сильно, и на небе нет ни облачка,— куда, спросит, разошлись? — и голова кружится, а самое главное: так болит душа, так болит душа.

На том углу третьего этажа, что к морю,— его балкон. Но разве она теперь взглянет туда? Лучше умереть, чем поднять голову в ту сторону. Он теперь пишет ответ русской синьоре, он сочиняет нежное письмо,— зачем же мешать? Он напишет ей своими русскими буквами: «milaja» — и она поймет значение этого слова.

Как болит душа!

«Умереть бы,— думает Еленучча,— умереть. Хорошо теперь было бы лежать в земле: темно, никого не видно, никого нет. Тихо, покойно. Душа будет в раю, потому что на ней греха нет. Есть только одно мучение: любовь. Пойти к морю, и конец. Море всегда манит к себе людей. Море как змея: когда на душе горе, не нужно заглядывать ей в глаза,— не будет сил сдвинуться с места. И из людей только пожалеет мама да поплачет отец. Они так ее любят. Будут беречь на память ее ленточки, ее кофточки».

И Еленучча, одинокая, потихоньку спускается к тихо шумящему морю. Остаются позади просторные аллеи, торчат по пути кактусы, из щелей скал выглядывают глаза цветов.

«Это мальчишки,— думает Еленучча про синие цветы,— а это девчонки, розовенькие. А это вот я, царская дочь! — вдруг громко говорит она и срывает фиолетовый цветок, самый красивый, отливающий на солнце, как риза священника.— Это я. Это я выросла».

И говорит она цветку:

— Вот я тебя сорвала, и ты умер. Так умру и я. Сейчас вот иду на смерть. Вместе умрем. Ведь вот ты умер, и тебе

теперь не больно? Солнышко не жжет? Ветер не бьет? Ящерицы не обижают? Так надо и мне. Хочешь со мной? Вместе? Обоим будет хорошо.

Еленучча прикладывает фиолетовый цветок к уху и старается расслышать согласие... Вот и море. Далеко, на самом припеке, сидят и жарятся иностранцы, натянувши на самые уши свои пробковые шлемы. Сидит на террассе длинноволосый, противный немец, который зимой и летом ходит босой и которого никто не любит.

А в другом месте, далеко от них, за огромным камнем слышен плеск и визг; это купаются все свои, все знакомый народ,— Мария, Маргарита, Джильда, когда-то подруги по школе, теперь вот уже невесты. Каждая из них уже влюблена, страдает, пишет тайные письма,— и все на почтовые марки занимают деньги друг у друга. Увидели Еленуччу, издали кричат, рады:

— Еленучча! Еленучча пришла!

Еленуччу любят подруги, и эти восторженные крики она принимает как должное: она — маленькая, красотою, как короной, венчанная королева острова.

Идет к ним. Как синее солнце, светит море. Глазам больно. И фиолетовый цветок близко прижался к телу: как обезьяна, думает Еленучча, и ей почему-то становится весело.

— Елену!— кричат ей, оглушительно выкрикивая «у», и все слышнее визгливые голоса, шлепанье рук по воде.— Иди скорее за камень и к нам.

Про этот камень говорят, что он — голова какого-то бога, сброшенного за безобразия на землю: теперь он как ширма.

Навстречу Еленучче выползает лучшая и самая верная подруга Мария: выходит из синей воды, а сама вся белая, как двухдневное отстоявшееся молоко. И волосы у нее такие густые и мягкие: блестят на солнце, как через золото,— и переливаются в них скользя серебряные, капризные полоски света. Так и бегут кругом, как ртуть, потому что в Марию ни с того ни с сего вселился бес радости и она шаром катается по горячему песку.

— Телеграфисты в подзорную трубу смотрят!— резонно говорит Еленучча.

Там, на верху противоположной горы, станция беспроволочного телеграфа. Бездельники телеграфисты, которым

далеко оттуда сходить в город, сидят и от скуки целыми днями наводят трубы на дома, на сады, на аллеи, по которым ходят влюбленные,— и все знают, все секреты, все измены, все поцелуи.

— Ну и пусть!— задорно отвечает Мария.— И пусть! Экая важность! Ну и пусть смотрят!

Мария встает и важно-красивая идет по песку, словно желая, чтобы весь мир взглянул на нее в подзорную трубу.

— Пусть хоть посмотрят,— задорно говорит она и смеется.

Солнце, вода, радостные глаза подруг,— все это согревает заболевшую душу, и Еленучча чувствует, что не все потеряно, что если Мария считает себя красивой, то она, Еленучча, еще поспорит с русской синьорой.

Медленно, тоненькими пальчиками расстегивает пуговицы, падает белая рубашка на теплый песок, и небрежно отталкивает она в сторону свои белые туфли. Теплым ветром обдало всю, стало стыдно, замолчали подруги, и невольно, закрывая грудь руками, тихо и радостно засмеялась Еленучча.

Как царевна, отыскивающая Моисея, хочет ступить в воду Еленучча. Подуло с моря свежестью, и тело стало матовым, словно было вылеплено из размягченной слоновой кости. Еленучча чувствует на себе взгляды подруг и, кокетничая под этими взглядами, пальчиками ног касается только самого краешка моря: холодно, и сама собой нога отдергивается назад.

— Холодно!— говорит Еленучча и делает на груди руки крестом, точно защищаясь.

— Смелее, Елену!— кричат в нетерпении девочки.

И видно, и чувствует это Еленучча: они хотят, чтобы она скорее вошла в воду. Есть у них тайная боль, что она красивее всех,— и Еленучча желает еще продлить этот момент и опять, чуть отступя, осторожно касается воды пальчиками уже другой ноги.

А кто-то из подруг, не зная, к чему придраться, говорит тоном фальшивого соболезнования:

— Ах, Еленучча, как подвязки натерли тебе ногу! На теле — как два красных обруча. Это некрасиво, Еленучча!

— Ах, некрасиво?— И Еленучча, словно желая наказать

обидчиц, прямо, как в пропасть, на смерть, с прервавшимся дыханием, бросается в воду, чувствует, как что-то жадное, холодное, словно лед, и враждебное — сразу и цепко схватило ее в свои лапы, как пропадает сознание, как перестает биться сердце, как трудно вздохнуть,— и все это брызжет, лезет в рот, в нос, в уши, и невозможно что-нибудь теперь поделать,— и сами собою взмахивают и разбивают воду быстрые, загребающие руки, не чувствуя силы, отдаваясь на волю судьбы.

— Волосы, волосы замочила Еленучча!— слышит она подруг.

И тогда только она чувствует, что нога ее может коснуться дна, а дно мягкое, как тесто,— приятно стать на него, приятно очнуться от холода, увидеть на горе — маленький городок, на небе — солнце.

— Еленучча! Не выставляй на солнце мокрого лица! Нехорошо!— кричат подруги.

Эти девочки завистливо влюблены в нее. Даже на Марию, кажется, нельзя положиться. Некому рассказать, что делается на душе.

— Экая важность!— далеко запрятывая свои мысли, отвечает Еленучча.— Дома вымоем еще раз.

Она знает, что хороши ее волосы, что темным, широко расплывающимся покрывалом текут они теперь по воде, и это красиво: белое тело, темные волосы и синяя вода.

Бурная радость рождается в душе, и, порывисто дыша, закрыв глаза, Еленучча снова бьет ладонями воду и, переворачиваясь, плывет в просторе, где более крупные волны, и далеко слышен ее хрупкий, рассыпчатый смех.

Может быть, кто-нибудь видит с горы?

И, как стая дельфинов, плывут за ней подруги, и смеются, и кричат какие-то только им одним понятные девические слова.

Потемневшими, сухими глазами посматривают на них с дальних лодок суровые рыбаки, и плохо держатся в их руках тяжелые сети, и не клеится обычный веселый разговор: потускнели и кажутся длинными слова.

— Мария! За мной!— кричит Еленучча.— Не отстань, милая!

— Я здесь, Елену!— отвечает, запыхавшись, Мария.— Но разве за тобой уплывешь?

— Елену! — предупреждает какая-то трусиха. — Осторожнее! Не уходи далеко! Вчера здесь видели акулу.

— А, пусть! — беззаботно отвечает Еленучча: волосы совсем вымокли, и теперь она — совсем девочка, совсем школьница, — и далеко куда-то отошла печаль, такая великая с утра.

IX

Пошла домой гладко причесанная, с усилившимся румянцем. Навстречу идут иностранцы: целая толпа мужчин и женщин, с фотографическими аппаратами, в низко опущенных шляпах, вместо жилетов — широкие пояса. Увидели ее — замолчали, как по команде, и потом, вслед, сразу же заговорили, и в тоне их голосов, в тоне их голосов, в тоне их слов, непонятных и смешных, слышались восторженные ноты.

Еленучча внутренно улыбается, и явная, слава богу, пришедшая снова радость колышется в сердце: пусть видят, как она хороша. У поворота дороги, идущей террасами в гору, остановилась, как будто для того, чтобы еще раз взглянуть вниз на море, и усмехнулась: стоят как вкопанные, иностранцы и смотрят на нее. Один, высокий, и молодой, и красивый, с стройными ногами навел бинокль. Если ласково и призывно взглянуть на него — пойдет ли он к ней? Встревожится ли? Конечно, пойдет. С иностранцами остановились их женщины: жены и дочери. У них смущенные, молчаливые улыбки.

«Куда вам до меня, несчастные?» — думает Еленучча.

А подруги, окружающие ее, как свита, говорят:

— Смотри, Елену, нас снимать хотят.

В самом деле один из иностранцев осторожно, боясь спугнуть, стал направлять в их сторону раздвижной аппарат. О чем-то сразу там, внизу, заговорили.

Еленучча повернулась, поправила упавший, не высохший, похожий на шелковистую веревочку локон и пошла в гору, дальше. Прошла еще один поворот и опять на площадке остановилась. Взглянула: иностранцы все еще там, на старом месте. Она взглянула на них, улыбнулась и приветливо махнула им рукой, прощаясь. И этот жест разбил там молчание: замахали шляпами, обнажились то лысые, то во-

лосатые головы: и слышен был оттуда непонятный и неясный разговор.

Фотограф умоляюще сложил руки и знаком просил Еленуччу не трогаться с места.

— Пойдем, Елену,— страдая, сказала Мария,— стоит ли, чтобы всякая ерунда снимала нас?

— Пусть,— ответила Еленучча и крикнула: — снимай, уж если так хочется.

И сказала подругам, как старшая своим ученицам:

— Приедет к себе в Англию, привезет снимок, и все будут спрашивать: где это вы сняли этих девушек? Вы их снимали, спросят, после купанья? Видны еще следы воды на волосах.

Еленучча думает:

«Какой хороший вопрос: где живет эта девушка?»

Иностранец внизу спешит, расходует все свои пленки, щелкает и волнуется, как бы не ушли.

А Еленучча думает:

«Я уже девушка. Я — девушка».

И говорит, вслушиваясь в слово, будто оно — незнакомое:

— Девушка. Девушка.

У фотографа в одном аппарате заряды, видимо, кончились. С левого бока он достает другой, с двумя стеклами, как большой биноколь, и опять наводит, и все суетятся, все показывают, как снимать, все вмешиваются в работу, дают советы, а фотограф сердится, краснеет и ругается.

Это хорошо, весело, смешно — и Еленучча смеется, а там внизу пользуются случаем и все наводят стеклышки, которые похожи на темные глаза.

Как весело! Подруги умирают от зависти. Жаль, что нет здесь другой Анны, дочери Скалити: та Анна хвалится, что она — самая красивая девушка на острове.

Еленучча говорит потихоньку,— так, чтобы не слышали подруги:

— Нет! — Я самая красивая девушка на острове.

И вдруг чужой, незнакомый голос отвечает где-то там, в глубине сердца:

«Не хвались, как глупая Анна. Русская синьора покрасивее тебя».

Сжалось сердце, и противным показались все эти волнующиеся внизу форестьеры.

Как сжалось сердце! Как ему больно!

И накатываются на глаза слезы, и медленно уходит Еленучча опять в гору и уже не останавливается на новом повороте, чтобы посмотреть вниз.

Разошлись подруги по домам. Осталась она одна.

Тяжелы ноги. Мешают руки. Уйти бы и лечь куда-нибудь в траву. Где высокая трава? Высокая трава там, у фаральонов. Еленучча сворачивает с прямой дороги, с трудом идет по тропинке: шуршат скатывающиеся камни. Никого нет. Города не видно за горой.

И ложится Еленучча в густую и прохладную траву. Закидывает руки за голову. Выпачкается платье? Будет ругать мама? Пусть!

«Я красива?» — думает Еленучча и чувствует, как глаза ее застилаются слезами и это мешает смотреть в небо. Она потихоньку, рукавом, вытирает их и глядит прямо в небо, которое, как шелковая занавеска в алтаре, скрывает от людей бога.

Еленучча говорит богу:

— Зачем ты дал мне красоту, если ее никто не любит? Эти англичане с фотографией? Но зачем они мне? Зачем?

...Облака — беспокойный народ: им все нужно; они, плавая, озирают всю землю, все земные порядки, всех людей,— видно ли им с высоты, как плачет от горя самая красивая на острове девушка?

X

А ночью не спится. Как томительно долга и скучна ночь! Простыни то и дело сбиваются, и лежать на них неудобно и жарко.

На широкой постели, чуть освещенная из коридора падающим светом, спит мать. Маленькая, седенькая, она спит, как ребенок,— положивши кулачок под голову. Устала за день. Из соседней комнаты слышно легкое похрапывание отца.

Необычно в темноте светит зеркало. Через окно падают на пол странные, неспокойно, как в тесной клетке, ползающие лучи луны.

Под луною спит остров. Хорошо теперь идти вниз к мо-

рю. Зачем ночью свет? Днем он нужен для дела,— а ночью? Может быть, теперь поют сирены? Луна расщедрилась и сыплет серебро в воду без счету. Серебро волшебное: возьмешь в руку,— растает. Только колдуны, знающие особые слова, тут могут забирать его горстью в кошелек и потом расплачиваться где угодно.

А сна нет. На часах только два.

«Что же делать?» — с тоскою подумала Еленучча, немного еще полежала, потом спрыгнула с кровати, пробежала в соседнюю комнату, повернула выключатель. Вспыхнул свет, проснулось все,— и кресла, и стулья, и этажерки стояли как ни в чем не бывало, словно и не приходила на землю ночь.

В углу — зеркало, большое и широкое. Горит в нем отраженный огонь с матовыми очертаниями, видна глубина комнаты, странная, немного не похожая.

«Стыдно так долго смотреть на самое себя»,— думает Еленучча, и глаз оторвать не хочется.

Вот стоит девушка. Где тот милый, который придет к ней и скажет: «Как прекрасны твои глаза и алы твои губы, как густы твои волосы, как кругла и тепла твоя грудь. Я люблю тебя»,— где тот милый, который скажет эти слова?

— Ты придешь? — дразнит себя Еленучча.— Откуда? Здесь, на острове, никого нет. Откуда ты придешь? Я хочу, чтобы глаза твои были светлыми, волосы — волнистыми, руки — сильными. Чтобы ты мог взять меня на руки и поднять высоко. Чтобы на груди твоей, если припасть к ней щекою, было бы тепло и чуть слышно, как бьется твое сердце.

Повернула Еленучча выключатель, и опять умерло все: провалилось куда-то, ослепло, упало в яму. В комнатах жарко.

«Пойду посижу в сад»,— думает Еленучча и надевает туфельки, достает кофточку. Тихо, чтобы не скрипнула, отворяет она дверь и крадется по коридору. Надо пройти осторожно, чтобы не будить людей.

Вот контора. Вот столовая. Вот диван. Вот стол, на котором лежит книга для записи приезжающих.

Еленучча вспоминает, и от этого воспоминания почему-то хорошо делается на сердце:

— У него плохой почерк.

И кажется, что за это можно простить многое.

Отворяет дверь, и всю ее, как струей, обдает прохладой ночного сада. Хорошо! Хорошо вымыться воздухом. Вверху — небо, теперь такое заметное.

«Оно больше земли,— думает Еленучча,— походить бы по небу. А звезды — как цветы на стеблях. У бога — серебряные цветы. У бога — серебряный цветник. Богатый бог».

Сад спит, тихо опустивши листья. Где-то, в деревьях, спит попугай. У попугая бывают сны или нет?

Вдруг взгляд Еленуччи падает на балкон, и она, почему-то зажав уши, бежит в глубь сада.

— Не думаю, не думаю и не хочу думать о тебе,— шепчет она,— не хочу. Теперь ты — не мой. Теперь ты — чужой. Я не дам тебе поцеловать даже кончик своего мизинца. Ты мне не нужен. Уедешь в свою Россию,— я даже не вздохну, и не вспомню, и лист из книги, где ты записал свою фамилию, вырежу. Только чтобы отец не заметил.

Тихо в саду.

«Буду колдуньей,— думает Еленучча,— буду колдуньей. Заворожу цветы, пусть не спят. Вот эти. Я знаю, что вы влюблены в фиолетовые. Ну, как вам не поцеловаться? Спешите, пока ночь, пока никто не видит. Постойте, помогу!»

Видит красный цветок, срывает его и подносит к фиолетовому.

— Вот целуй скорее, пока жив еще! — беспокойно шепчет Еленучча.— А то к утру умрет. Целуй!

И кладет его на фиолетовые цветы.

Вдруг сразу что-то приходит в голову.

«Постой! — думает она.— Я же тебя!»

В саду, в углу, лежит куча камней: есть и большие, и маленькие. Еленучча выбирает маленькие и считает: раз, два, три... Взяла шесть штук: все такие хорошенькие, гладенькие.

Балконная дверь, та, на которую не хотелось смотреть, отперта. Кровать его — недалеко от двери.

— Ты спишь? — сама с собой тихо разговаривает Еленучча.— Так не дам же тебе спать. А проснешься — убегу.

И, затаив дыхание, бросила вверх один камушек: не

попала. Бросила другой: ударился об решетку. Изловчилась, бросила третий: влетел в комнату, и не было слышно, как ударился об пол. Должно быть, попал прямо в кровать, в него, в спящего,— может быть, ударила? Ушибла? Только бы не в голову, не в глаз, боже спаси!

Отскочила назад в темную глубь сада, ждет: не проснется ли? Не выйдет ли на балкон? Нет, никого. Ни шороха. Спит. В такую ночь!

Подкралась опять, закусила губу, прицелилась и снова бросила камень. Этот стукнул, ударился обо что-то твердое: или об пол, или о спинку кровати,— кровать деревянная. И снова нырнула в черные тени, мешающие земле посмотреть на месяц, опять ждет,— никого! И опять вышла на свет, смелее бросила еще камень, пятый, шестой — теперь верен глаз: все летят в комнату. Теперь проснется. Теперь выйдет на балкон. Ждет Еленучча. Никого...

«Ну и спит! — думает Еленучча.— Ну и спит!»

И опять ей скучно, и надоела чернота сада: трава, цветы покрыты тенями, как черными простынями, плохо выглаженными, дырявыми. Небо, хоть оно и больше земли, и больше моря, а скучно. Скучно, так скучно, что ничего не поделаешь.

— Хоть бы кинематограф ночью был, пошла бы в кинематограф! — говорила Еленучча.— Но какой же ночью кинематограф?

Скучно. Решительно скучно. Хоть плачь.

Потом смягчается сердце. «Пусть себе спит,— думает она о русском,— может быть, много гулял, читал, или пришли посланные богом хорошие сны. Буду думать вот о чем,— решает Еленучча,— буду думать о подругах: о Марии, об Анне и Розалии. Все они — хорошие девочки. Все они,— лучше меня. Я напрасно, глупая, горячусь. Все они красивее меня. Сегодня я вообразила, что это меня хотели снимать англичане. Это они снимали Марию и Розалию. Все любят этих девушек. Если бы на моем месте была Мария, то разве этому русскому могла прийти в голову мысль: писать русской синьоре? Или бы спал он в такую ночь, когда в саду, в черной тени, сидит и который вот уже час ждет его Мария,— милая, славная красотка Мария?»

Долго сидит так Еленучча и то думает, то разговаривает сама с собой. Вдруг вся сразу вздрогнула:

— Господи! Неужели заснула в саду?

Откуда-то слышится тихий разговор, женский смех. Где это? Кругом никого нет. Неужели приснилось или почудилось? Вдруг кто-то толкнул: взгляни вверх. Взглянула.

Там, у него, на балконе, женщина. Вышла из комнаты и смотрит на море: оперлась на решетку. На ней длинное, плохо застегнутое платье; волосы наскоро собраны в большой узел; руки — белые: при лунном свете они кажутся выточенными из мрамора. Вся она грустная и красивая: смотрит на море.

«У него женщина. К нему пришла русская синьора»,— думает Еленучча и боится, что кто-нибудь — сад ли, цветы ли, птицы ли, спящие на деревьях,— услышат ее мысли: все это теперь ожило: все смотрит, все слышит, все подползает к ней ближе, жадное, протягивающее лапы...

Она чувствует, что не может двинуться с места, что застыло все: пальцы, руки, ноги, шея... Потом только, немного спустя руки, слава богу, начинают трястись и верхние зубы не попадают на нижние: лихорадка.

«У него женщина...»

Какие еще слова остались в памяти?

«У него женщина...»

Как змея, она тихо, беззвучно переползает на другое место; тихо, без шороха, раздвигает ветви, ползет по кустам, по цветам, давит розы, тюльпаны: нужно, чтобы было видней,— смотрит вверх сухими блестящими глазами.

Проходит некоторое время, и Еленучча чувствует, что она, слава богу, выходит из оцепенения: вспоминаются другие слова и ползут в мозгу так же осторожно и тихо, как она — по розам, по тюльпанам.

«Это и есть та самая русская синьора,— будто молоточком кто-то настукивает в мозг,— в том письме она писала ему, что придет сегодня, и пришла. Пришла в тот час, когда все устали, когда все легли спать.»

Нельзя удержать зубы на месте: опять стучат. Еленучча стискивает их до боли,— тогда начинает трястись подбородок. Трясутся колени, хочется закрыть юбкой ноги, но юбка — коротка, не достает,— и холодно, холодно! Откуда такой холод в июньскую ночь?

Она его не любит, ей все равно, кто бывает у него ночью ли, днем ли, но ей холодно, как в ноябре, когда даже в Неаполе выпадает снег. Она схватывает рукой куст роз, и колючки, как змеиные языки, густо впиваются в ладонь,— в первый момент хотелось крикнуть от боли, но сейчас же,— как крадущийся вор шепчет молитву,— так зашептала и она:

— Это хорошо, Еленучча. Это хорошо, Еленучча. Не кричи. Молчи. Будь тихой.

Завтра на цветах видна будет кровь.

— Это ничего, Еленучча. Только молчи.

Завтра на дорожках сада, посыпанных белым песком, будут следы крови. Первое, что может всем прийти в голову, это будет мысль: здесь зарезали или тяжело ранили человека,— вот следы.

— Это хорошо, Еленучча. Пусть думают что угодно... Только сумей молчать.

Ломаются и никнут к земле тюльпаны. И кусты, рождающие белую сирень, будут в крови.

— Ничего, все ничего,— шепчет Еленучча,— я насажу цветов еще лучших, чем эти, но теперь нужно молчать.

Хорошо было бы проскочить теперь в комнату, достать самое толстое одеяло и укрыться с головой и лежать так смирно, чтобы дыхания не было слышно. Чтобы не было слышно, как они — он и она — спустятся по лестнице, как они — он и она — будут воровать у мраморной лестницы звук своих собственных шагов; чтобы не было слышно, как скрипнет, быть может, парадная дверь; как прозвучит последний, прощальный поцелуй.

Сухими глазами смотрит Еленучча наверх, на балкон. Редко, сами собой, моргают ресницы. Нужно сделать усилие, чтобы моргнуть.

— Ага! Вот и он!

Вышел, на ходу застегивая пиджак. Стал около своей любимой, что-то говорит ей, что-то, улыбаясь, показывает ей, и вдруг тихо обратно в сад падает с балкона маленький камушек.

Еленучча закрыла лицо руками; слышит, как заскрипели зубы. Надо стиснуть их еще крепче, пусть они, острые, глубже вонзаются в десны, иначе же можно крикнуть, крик-

нуть на весь остров; можно упасть на траву и вырвать все свои волосы.

Слышно: вот еще падает камень,— другой. Еще падает камень,— третий. Он подобрал их,— все камушки, которые она бросила.

Как было это, вероятно, смешно! Он, конечно, рассказал русской синьоре:

— Это бросает их маленькая итальяночка, дочка моего хозяина. Вся беленькая такая. Она влюблена в меня. Но я, конечно, ее не люблю.

— Ты бросишь ей эти глупые камни обратно? — спросила, конечно, русская синьора.

— Брошу, конечно!

— Пусть она, маленькая и глупенькая итальяночка, знает, что ты любишь только меня.

— Пусть знает.

— А ты ее не целовал?

— Ну, что ты? Буду я целовать какую-то девчонку!

— Мне рассказывали, что здесь, на острове, есть какая-то беленькая королева. Дочь содержателя отеля. Ты ее не знаешь?

— Знаю. Это дочь содержателя другого отеля.

— Ты только меня любишь?

— Только тебя.

Летит сверху еще один камушек. Упал и умер. Завтра с дорожки сметет его в траву Пасквалино. Обиженный посланец!

Слышен тихий разговор, тихий смех. Если говорят или смеются, то смотрят друг на друга. Если молчат,— смотрят на море. А на море — бессонница: светит луна, щекочет светом волны; собрались теперь около острова рыбы из Неаполя, из Искии, из Прочиды, из Сорренто, справляют бал, обсуждают свои дела.

И опять тихо падает с балкона камушек,— последний,— и звук этого падения внезапно просветляет ум: слава богу! Все ясно. Что говорить о любви? Нет любви. Еще болит сердце? Но Еленучча думает, что оно уже не болит.

— Какое счастье! Какое счастье! — быстро, быстро шепчет, утирая глаза, Еленучча.— Какое счастье! Уже не болит сердце. Уже снова весело. Снова хорошо. Снова я — прежняя девочка. Снова завтра поплыву с подругами в море.

Она теперь уже никогда не уйдет от них. Будут, как стая рыб, гурьбой ходить по острову. Она будет царевна, они — фрейлены. Она будет хорошо с ними обращаться. Все будут смеяться и радоваться.

«Только нужно сделать это. Это нужно сделать. Непременно!» — думает Еленучча, и сама еще не знает, как «это» сделать.

Она тихо идет к забору.

— Нужно тихо, тихо! — ободряет она сама себя, осторожно раздвигая кусты. Оглядывается: все стоят. Молчат. Смотрят на море.

Около забора есть куча увесистых камней, похожих на большие вытянутые пули,— привезли их с моря еще весною,— поправлять дорожки, обкладывать клумбы. Еленучча приползла к ним, нагнулась и в темноте выбирает, пробуя на вес то один, то другой: нужен такой, чтобы руке было хорошо держать его, чтобы удобно и цепко можно было держать его, чтобы ладонь хорошо и плотно могла зажать его. Примерила пять штук, шесть,— нашла такой.

«Вот он!» — думает Еленучча радостно.

Словно сделан по руке, холодный и скользкий, приятный.

Спрятала левую руку, в которой камень, за спину. Правою раздвигает кусты. Вытянула голову, прислушалась. Тихо. На балконе стоят? Стоят. Смотрят на море. Тихо.

«Поползу»,— думает Еленучча.

И ползет на прежнее место затаив дыхание.

Теперь что-то говорит он, указывая рукой на море: жест плавный, покойный, будто читает стихи. Конечно, он говорит о море. Он говорит о том, как оно велико, как сине, как прозрачно, как бездонно, как одна и та же полоса его превращается то в серебро, из которого чеканят деньги, то в золото, из которого куют обручальные кольца.

Русская синьора слушает, что он говорит. Она не сводит с него глаз. Складки ее одежды лежат лениво, вся она ленивая, трудно ей стоять, устала.

«Слишком много целовались»,— подумала Еленучча, и внезапно по всему телу как будто бы вскрылись раны, и было больно от них, и казалось, что течет из них кровь...

Ноют раны, болят, но сладка боль и жгуча.

«Ты недобрая, эта ночь,— думает Еленучча,— ты повела его к другой. Твои сестры, прежние ночи, были добрее и лучше. Первый раз, когда он меня поцеловал, была темная ночь. Пусть имя ей будет Еленучча. Помяни, господи, Еленуччу. Вторая ночь была светлее, вышел кусочек месяца,— эта ночь: Мария. А третья ночь, когда месяц был светел и когда нужно было прятаться под деревом, эта Анна. Вот мои три подруги».

Еленучча видит, как он берет ее голову руками, как долго смотрит в ее глаза и как нежно прикасается к ним губами: то к одному, то к другому.

Есть на земле любовь? Нет на земле любви. Болит сердце? Не болит сердце. Камень, что в руке, твердый. Он гладко поворачивается в ладони. Хороший камень. Еленучча тихонько, еле открывающимися губами, целует его, этот камень.

— Ага! Это они прощались!

Скоро утро. Она уходит. Неужели он не пойдет проводить ее, свою возлюбленную? И Еленучча упорно, пристально, как застывшая, смотрит в подъезд: не мелькнут ли там тени? Как долго они, влюбленные, медленно, лениво, прижавшись друг к другу, идут в темных коридорах, тихо, нога в ногу, спускаются по ступеням...

И время тянется долго, и они идут медленно.

Тихо, чтобы никого не разбудить, открывается дверь. Он — в своей проклятой, такой красивой шляпе, первый выходит из двери и оглядывается по сторонам: не видит ли кто? Нет ли кого в саду?

— Никто, никто не видит! — беззвучно, не шевеля губами, отвечает ему Еленучча.— В саду нет никого. Не беспокойся!

В темноту подъезда он сделал жест, означающий: «Никого нет. Иди».

Выходит она, закутанная в кружева; видна ее тонкая, худая рука, длинные пальцы, поддерживающие косынку. Из-под косынки выбились на лоб несколько прядей волос...

— Красива ты,— беззвучно, не шевеля губами, говорит ей Еленучча,— не спорю с тобой. Ты — королева.

Они идут к воротам. Ворота чугунные, решетчатые, и кажется, что на противоположной стене, залитой светом, кто-то начертил строгий черный узор.

Еленучча одной ногой выступает на освещенную дорожку. Он делает шаг к воротам, она смотрит им в спину, боится, чтобы не оглянулись, и тоже делает шаг к подъезду. Вот они проходят одно окно, другое. Вот третье. Он знает, что за этим окном спит она, Еленучча.

Неужели даже не взглянет? Неужели не вспомнит?

Все замерло в Еленучче. Куда делось дыхание? Расширились глаза, больно им, будто она, не моргая, смотрит на солнце, в сто раз большее, чем солнце, висящее на небе в летний день. Стынет рука, сжимающая камень, холодный камень.

Не взглянул. Прошел мимо.

Зажглось сердце. Опять загорелась огнем рука, в которой — холодный камень.

Открывают ворота. Спускаются по порожкам.

Еленучча взмахивает правой рукой: в ней — камень. Как хорошо видит глаз! Как широка его спина!

«Бросить ли?» — мелькнула в последний раз мысль, и не родилось в мозгу ответа.

Вдруг они остановились. Сейчас должны выйти на улицу. Там их всякий может увидеть, поэтому нужно проститься здесь. Тонкие руки высвободились из-под кружев, обвили кольцом его шею.

Темнеет сознание. Только ясно видна спина.

И больно, и какая-то сладость на сердце. И прекрасно видят глаза, и сильна занесенная вверх рука.

Он опять, как на балконе, берет руками ее лицо, любуется им и говорит, вероятно:

— Как красивы твои глаза!

И все сильнее делается рука, вернее, чем самые дорогие друзья, видят глаза.

Он целует ее глаза.

— Любишь?

Может быть, она крикнула это слово?

Потемнело на мгновение сознание.

— Трах!

В спину. Прямо. Хорошо.

Еленучча юркнула в дверь и, пригнувшись, побежала к себе.

В комнате тихо и темно. Слава богу, мать спит.

Еленучча скользнула под простыню, накрылась с голо-

вой, затаила дыхание. Тишина, тишина... Молчание. Идет время. Скоро утро. Кончаются ночные празднества. Расплывутся рыбы: кто в Искию, кто в Прочиду, кто в Сорренто.

...Кровь льется из сердца. Слезы льются из глаз. Ах, эти слезы! Иногда их камнем не вышибешь, а иногда они сами льются, и ничем их не сдержишь, и их много: их хватит до самого утра.

Ослабли руки. Поникла голова.

А мать что-то говорит во сне. Как будто ругает Паскванлино.

— Паскванлино, Паскванлино, важный Паскванлино! Хоть бы ты пожалел, хоть бы ты слово сказал! Одно только слово! Я бы за тебя вышла замуж, и был бы ты хозяин отеля и сам бы бил маленьких мальчишек!..— шепчет Еленучча...



Следы вчерашнего

Рассказ

I. Длинные мундштуки

В зале: на пианино, на подсвечниках и в пепельнице, похожей на лапоть, — всюду лежат длинные, белые бумажные мундштуки от докуренных папирос. Такие гильзы в табачных магазинах называются «графскими». Эти папиросы курит один мой знакомый, начинающий писатель, который иногда, большей частью перед вечером, заходит ко мне за советами.

Вчера он сидел у меня, убитый горем. Нагнувшись, закрыв лицо руками, он говорил, и голос его был глух:

— Боже мой! Боже мой! Если бы вы знали, как мне тяжело! Как мне тяжело! Капля за каплей я собирал в своей душе эту драгоценную, душистую жидкость! В праздничный день я наполнил ею серебряный сосуд и понес ему. А он... а он посмотрел на меня презрительно и толкнул сосуд ногою, — и полилось все это, что я собирал годами, — полилось на землю... Если бы вы знали, как я страдаю!

Я лежал на диване, и слушал, и думал о том, что написано в его рукописи. Эта рукопись мне известна. Восемь раз она переписана, переписана левой рукой, потому что этот еще ни разу не напечатанный писатель болен агрофией и не может писать правой. Мне казалось, что у него есть талант. Рассказ его в некоторых местах мне нравился: была в нем и наблюдательность, и способность изобразительности. По моему совету он послал его известному писателю. И вот вчера рукопись пришла обратно. Наверху, около заглавия, красным карандашом было написано одно только слово: «Малограмотно».

— Разве я посылал ему, — говорил молодой человек, не отрывая рук от лица, — за тем, чтобы узнать, грамотен я или неграмотен? Если бы мне нужно было знать это, я пошел бы ближе, в гимназию, к учителю словесности. А не к

нему. А я пошел к нему за тем, чтобы узнать, есть ли у меня талант,— талант, да, а не грамотность. А он — «малограмотно».

Начинающий писатель нервно подернул плечами, встал и так же нервно прошелся по комнате и вдруг усмехнулся.

— И на кой черт он мне нужен? — вдруг другим тоном, дерзким и вызывающим, сказал он.— На кой черт мне нужны его слова? Я и сам знаю, что я — талант! Сам знаю! Без вас! И все равно я буду писателем! Буду! Я стал на этот путь, и сам сатана не столкнет меня с него. Да, но... но все-таки...

И голос молодого человека снова упал и задрожал... Он стоял ко мне спиной, и я только чувствовал, что на глазах у него, как первые звезды в весенний вечер, выступили слезы.

— Но все-таки...— тихо повторил он,— мне тяжело... Очень тяжело!

Он взял свою рукопись, писанную левой рукой, и не моргая долго всматривался в заголовок, где ярко светил красивый, четкий карандаш.

...Этот писатель все время курил папиросы, у которых были очень длинные мундштуки,— они теперь торчат всюду: и на пианино, и на подсвечниках, и в пепельнице, похожей на лапоть...

II. Письмо

Когда наступает осень; когда небо, как ведьма, из красавицы превращается в злую старуху и целыми днями брюзжит и не знаешь, когда придет конец этому; когда злее и раздражительнее становится обыватель, запертый в своем скучном и сером городе; когда отовсюду выползают и начинают ворчать старики,— плохие провинциальные старики, уже умирающие и еще не знающие, что такое смерть; когда адвокаты, самые интересные люди в городе, идут в клуб, играют и за весь вечер проигрывают в стукалку по три с полтиной; когда отовсюду ползет скука и жизнь делается противной и омерзительной,— тогда Анин зажигает лампу, открывает средний ящик стола и достает оттуда письмо.

Это — длинный, мудреный листик, который посылается

без конверта и склеивается по краям. На обратной стороне, рядом с круглыми почтовыми штемпелями, тянется адрес, который говорит, что письмо это когда-то пришло из Москвы в Петербург, на Гороховую улицу, в Графские меблированные комнаты, в номер 8.

В этом письме мелким, без нажимов, почерком написано:

«Как быстро все прошло. Так много хотелось сказать, спросить. Ты поторопился со своим отъездом. Тебя тянуло в Петербург.

В этот приезд ты уже не замечал моей любви. Ты забыл лето и далекий город. Ты забыл, как мы каждый вечер уходили на полотно, спускались с высокой горы, ложились на зеленой траве.

Небо было всегда ярко, и я уверяла тебя, что в северном венце справляют праздник: играет музыка, горят ярко свечи, пестреют бархатцы, алеют георгины.

Ровно в одиннадцать часов начинало слышаться глухое, отдаленное гудение, дрожала земля: это пролетал поезд, который потом и тебя, и меня унес сюда, на север, в чужую жизнь. На повороте, возле балки, мелькал в последний раз цветной фонарик, и мы снова оставались одни, и опять темная ночь была нам ласковой матерью.

Раз ты, поднявшись на локте, прислушался к музыке, которая неслась с горы, из города, вероятно, из какого-нибудь сада. Солдаты, вероятно, играли громко, грубо — но сюда, до нас, долетала мелодия нежная и широкая, которая родилась у автора ночью, быть может, среди слез и печальных поцелуев.

И ты сказал:

— Я не знаю, как называется эта музыка. Но я, вот сейчас, посвящаю ее тебе, этой ночи, этому небу. Где бы, когда бы я ее ни услышал,— буду думать о тебе, вспомню эти теплые вечера, вспомню твои глаза, твою улыбку,— всю вспомню тебя, мою зорю ясную...

А огоньки, которые я тебе проспорила? Как мне нужны были тогда, одним утром, огоньки! Непременно те самые, что растут в городском саду, в цветнике, под высоким фонарем. Рано-рано, сначала по спящим улицам, потом по росистым аллеям, я бежала к дому садовника,— садовник еще спал, и мне хотелось постучать в решетчатую закрытую ставню и тихонько-тихонько сказать ему:

— Садовник, встань. Мне нужны цветы для моего милого. Мне нужны те огоньки, что растут в цветнике, под высоким фонарем.

Хотелось сказать это тихо, чтобы не разбудить жену его,— и я побоялась, и не постучала, и не сказала.

Пришлось терпеливо, дрожа от утреннего холода, сидеть на влажной еще скамейке, пока проснулся и вышел из дома сам Карл Борисович, еще заспанный, еще неумытый и серый. Целый час он не соглашался резать огоньки под фонарем и говорил, что по контракту с городской управой он имеет право продавать цветы только из оранжерей,— и все-таки мальчик принес тебе проспоренные огоньки из-под фонаря и потом вечером ты сам видел следы преступления Карла Борисовича...

Письмо длинно, и я, чувствую, пишу то, что ненужно...

Люблю ли я тебя? Не знаю. Но я так жду, когда наступит скучный московский вечер и сквозь двойное окно будет слышен тихий монотонный звон к вечерне. Я тогда не зажигаю огня. Я ложусь на диван, закрываю глаза и вижу яркий северный венец и слышу, как дрожит земля под пролетающим поездом.

Двенадцать уже пробило.

Где-то, за океаном, за высокими горами, за глубокими синими реками рождается день, который не несет мне ничего нового.

Прощай. Письмо и длинно, и неразборчиво...»

Когда Анин перечитывает по памяти это письмо, то перед ним оживает далекое теперь, задумчивое, уже страдавшее лицо с глубокими темными глазами, с волной волос, спадающих на угловатые, девические плечи...

И исчезает осень; и опять роскошной, синеокой красавицей раскинулось небо, и нет раздражения на этот глупый, глухой провинциальный город, где живут старики, не умеющие сказать, что такое смерть, и адвокаты, проигрывающие по три с полтиной в стукалку и считающие это таким событием, о котором можно проговорить с женой всю ночь до зари...

III. Профессор

Всякий раз, при встрече, я низко ему кланяюсь. Я люблю встречать его в густой толпе Невского проспекта, еще

издали видеть, как он, старый, сухонький профессор, осторожно пробирается среди этого неудержимого человеческого потока. Еще за несколько минут, которые мне представлялись очень длинными, я предвкушаю это удовольствие: снять шапку и низко поклониться ему. И тот день, когда я встречаю его, бывает у меня днем особенно хорошим, таким, будто вот было больно — и тебя утешили, мягко и ласково.

Вчера, в воскресенье, еще издали, я увидел его. Погода была удивительная: легкий мороз, совершенно ясные дали, и Невский весь как на ладони: от памятника до Адмиралтейства. Профессор шел в своем неизменном пальто с полуподнятым воротником и нес в руках что-то круглое. Судя по упаковке и красной ниточке — торт.

Когда около церкви св. Екатерины мы поравнялись, я снял шапку и поклонился. И вижу, профессор остановился и явно направился ко мне. Остановился и я.

— Скажите, пожалуйста,— сказал профессор, подавая руку, и голос его прозвучал так же далеко и знакомо, как и в тот осенний непогожий вечер,— скажите, пожалуйста,— повторил он, и как это с ним постоянно бывало на лекциях, шевелил пальцами, точно нащупывая следующую, нелегко дающуюся фразу,— всякий раз, когда я вас встречаю, вы мне кланяетесь.

— Да,— ответил я, испытывая так хорошо мне знакомое, особенное, благодарное настроение,— всякий раз, когда встречаю вас, я низко кланяюсь вам.

И подчеркнул слово: низко.

— Да-с,— подтвердил профессор, забирая торт из левой руки в правую и опять подыскивая следующую фразу,— вот видите ли... Вы, вероятно, мой ученик?

— Да, профессор,— ответил я,— я ваш ученик.

— Представьте, не помню вас,— говорил профессор, благодушно улыбаясь: — ищу, ищу вот в памяти, и как будто что-то знакомое есть, а припомнить не могу. Хоть убейте.

— Удивительного мало,— сказал я,— у вас так много учеников. А держал экзамен я у вас на дому, в темный осенний вечер.

— В темный осенний вечер? — почему-то испуганно переспросил профессор.

— В темный осенний вечер,— повторил я,— и экзамен был тогда, так сказать, экстраординарный.

— Экстраординарный? — уже удивился он: — Но почему экстраординарный?

Сухонький профессор зашевелился. Он то постукивал по коробке сморщенными, широкими в суставах пальцами, то как-то перебирал нитку, отчего круглая коробка крутилась в одну сторону, как карусель. Поэтому, прежде чем ответить ему, я заметил:

— Не крутите нитку. Нитка может порваться, и торт упадет.

Профессор взглянул на меня своими ясными, близорукими глазами и уверенно сказал:

— Нитка? Нитка нет, не порвется. Торт, видите ли, мокко,— объяснил профессор и возвратился к первоначальному разговору: — Ну-с? Итак, почему же экзамен был экстраординарным? Я что-то не помню. Вас, вероятно, выгоняли из университета, или что-нибудь в этом духе подобное?

— Нет, профессор,— ответил я,— не в этом духе. Видите ли,— говорил я, заражаясь его манерой,— у меня далеко на юге в тот день умерла жена.

— Что-с? Жена? — И в глазах профессора как будто мелькнули следы какого-то старого, но еще не плотно забытого воспоминания.

— Да, жена,— напомнил я,— я получил телеграмму, и мне нужно было выехать в тот же день, но в то же время, я уже не помню почему, мне необходимо было выдержать у вас экзамен. Экзамен по расписанию мог состояться только через неделю, но ждать, пока пройдет эта неделя, конечно, нельзя было, и вот я пришел к вам...

— И мы в это время обедали,— сказал профессор.

— Да, вы в это время обедали,— подтвердил я,— но когда я рассказал вам... в чем дело, вы бросили обед.

— Помню,— отчетливо вымолвил профессор и глубоко моргнул,— помню.

— Вы успокоили меня,— говорил я,— дали мне белого вина.

— Да, и когда вы его пили,— помогал мне профессор,— у вас стучали о стакан зубы.

— Может быть,— согласился я,— может быть, и стучали зубы. Вы успокоили меня, и от вас, и от вашего темного, серьезного кабинета шло ко мне какое-то большое, умиротворяющее чувство. Потом вы меня проэкзаменовали.

Я знал всего только десять билетов. Я только начинал готовиться к вашему экзамену. Вы спросили меня о каких-то пустяках, спросили так мягко, так участливо, с тем только, чтобы соблюсти, видимо, формальность.

Я рассказывал и видел, как профессор явно волновался.

— Ну-с? Ну-с? — торопил он меня.

— Да и все,— закончил я,— вы поставили мне высшую отметку, и я с последним поездом, в ту же ночь, выехал из Петербурга.

Профессор явно и все больше и больше волновался, все круче вертел тортом, и я в глубине души предвидел катастрофу: нитка была очень ненадежная.

— И вы с тех пор не женились? — вдруг торопливо спросил он.

— Нет,— ответил я,— не женился.

— Что же, у вас остались после покойной жены дети?

— Да, остались. Две девочки.

— Сколько им лет?

— Старшей — девять. Младшей — семь.

— Как же их зовут?

— Старшую — Колокольчиком. Младшую — Елочкой.

— Где же они живут?

— На юге.

— С кем же они живут?

— С бабушкой. С моей матерью.

И вдруг нитка с легким треском лопнула, и торт полетел на тротуар. Предположения сбылись.

— Боже мой! Торт! — бросился я помогать нагнувшемуся профессору.

— Да, да, торт... Ишь ты ведь... Три с полтиной стоит,— бормотал профессор, перчаткой смахивая с коробки снег.

— Но мне кажется, что он не повредился,— утешал я профессора, видя его смущение,— торт,— говорил я,— упал не ребром, а плашмя. Если ребром, то было бы худо. А так... пустяки.

— Да, да, если бы ребром, то, конечно,— пробормотал профессор и вдруг взглянул на меня,— к великому своему изумлению, я увидел, что из его ясных, серых глаз текут редкие, медленно рождающиеся слезы.

«Черт возьми,— подумал я,— ему жаль торта».

Явилась досада. «Ведь вот,— думал я,— хоть не прямо, косвенно, а все-таки причинил ему неприятность и убыток:

торт стоит три с полтиной, мокко,— и притом, может быть, и в самом деле это какой-нибудь особенно удачный торт».

Профессор стоял как раз против света, и мне было ясно видно, как на глазах его, серых и беспокойных, рождались крупинки слез и одна за другой текли по щекам вниз.

— Вы меня простите,— вдруг сказал профессор.

— Что такое? — спросил я удивленный.

— Простите! — тихо повторил профессор.

— Но за что? За какую вину? — спрашивал я.

Профессор замялся и опустил глаза.

— Видите ли, тогда,— заговорил он, избегая моего взгляда, и снова вдруг замолчал. Слышалось только гудение и шум беспрерывно двигавшейся толпы, голоса, мужские, женские и девичьи.

— Видите ли, тогда,— снова начал профессор и, словно решившись, прямо взглянул мне в глаза,— в тот вечер... я не поверил вам. Ну, думал, обычный студенческий прием... Есть, видите ли, такие шалопаи... Часто бывает... Пришел, притворился, подчищенная телеграмма, то, се, разжалобил старого дурака и получил, господи, видишь за что, пять. Я в таких случаях, видите ли,— сконфуженно говорил профессор,— просто не противлюсь злу.

Мне почему-то стало больно, было жаль того хорошего, ясного чувства, которое вот уже несколько лет жило в душе.

— Так-то! — сказал профессор и вдруг опять чуть не уронил торт, вовремя подхватив его левой рукой.

Мы молчали, избегая смотреть друг на друга...

— Но позвольте! — сказал я.— А вы? а ваше участие? Ваши большие, внимательные глаза, полные сострадания, полные такого деликатного человеческого внимания? Тоже игра?

Профессор пожал плечами.

— Что же ты будешь делать? — ответил он.— Поверить — трудновато, не поверить — страшно. Думаешь, ну актер, пусть. А вдруг — не актер? И если видишь, что уж очень хорошо у человека выходит, что уж очень он актер хороший,— ну, получай пять. За искусство, так сказать. И вы тогда, я теперь это отлично помню, показались мне актером первоклассным.

Я перебил его:

— Но позвольте заметить, профессор, если и вы только,

так сказать, имитировали ваше отношение ко мне, то и вы — актер первоклассный.

— Я актер,— согласился профессор,— я хороший актер. Это я знаю.

Я обозлился.

— Может быть,— сказал я,— и эти слезы, которые вот только что катились по вашему лицу,— тоже бутафорские слезы?

Профессор испугался и полез за платком.

— Разве есть слезы?

— Есть.

Профессор торопливо стирал слезы платком. Я почему-то в это время все внимание устремил на инициалы платка: там стояла буква А, «значит, женин платок»,— подумал я.

Утерев лицо, профессор сказал:

— Знаете что? Знаете, что я надумал? Вот этот торт,— и он показывал мне круглую коробку, словно демонстрируя торт,— роскошный, я вам скажу, торт... Можно сказать, замечательный. Двадцать лет, каждое воскресенье, я заказываю его жене своей бездетной, Анне Михайловне. Кондитер, Егор Васильевич, за это время сделался моим другом, и я иногда беру у него деньги взаймы. А он просил меня даже в кумовья к нему пойти...

Профессор так торопился говорить, словно была опасность, что я уйду.

— Да-с, и вот, видите ли,— захлебывался он, подыскивая следующую фразу,— так вот... Прошу вас... убедительнейше прошу, пошлите его вашим девочкам. Право, а?

И профессор снизу вверх просительно заглядывал мне в глаза.

А день, как цветок, с каждой минутой расцветал все больше и больше, великолепие его сделалось все выше и торжественнее; по тротуару, огибая нас, как вода — камни, текла живая человеческая волна, и все люди, сразу, вдруг, стали казаться мне веселыми и радостными. И профессора, этого замечательного актера, хотелось погладить по волосам, сняв с них кругленькую, потертую каракулевую шапочку. Его предложение послать торт детям показалось мне таким простым, таким ясным, таким человеческим, что стало весело и хотелось только улыбаться.

«Какими переливами может играть жизнь!» — стояла в голове одна только мысль в то время, как я говорил:

— Что ж? Великолепно! Пошлем! — и вдруг вспомнил: — А Анна Михайловна? Она что скажет?

— Ах, боже мой! — поморщился профессор: — Анна Михайловна, Анна Михайловна! Если Анна Михайловна посидит одно воскресенье без торта,— наша планета не остановит своего движения.

— Великолепно! Если так, то посылаем торт! — говорил я, принимая из профессорских рук тяжеловатую коробку.— Торт, говорите, мокко? Три с полтиной стоит?

— Ей-богу, три с полтиной! — вдруг тенорком взбожился профессор, и мне показалось, что вот он сейчас, в доказательство своей правоты, перекрестится на святую Екатерину маленьким крестным знамением: — Три с полтиной!

Профессор смотрел на меня и смеялся мелким, старческим смешком, и на глазах его, я ясно видел, показывались уже радостные, радужные слезинки.

И подумал тогда я: есть в сердце человеческом две чаши слез: одна полна слезами радостными, другая — до краев налита слезами печальными. Умирает человек и оставляет на земле одну чашу печальную, вероятно, всегда пустою. Бывает ли так же опустошена чаша со слезами радости?

Мне было весело, а профессор, сдав торт, засуетился, сел на извозчика и уже, когда экипаж тронулся, крикнул:

— А когда поедете на юг, то поцелуйте их: Колокольчика и Елочку.

— Ладно! — опять густым басом сказал я, чувствуя, как на душе моей становится все веселее и веселее: день, снег, далекое небо, румяные девушки, зеркала магазинов, фасад церкви, а в руках — торт.

И я громко сказал, удивляясь:

— Торт! А? Каково!

Сказал так громко, что проходящие оглянулись.

Когда я дома раскрыл коробку, то торт оказался целым и невредимым. Я тщательно переложил его тонкой бумагой и на другой день отослал по назначению.

На днях я получил ответ.

На листке, вырванном из ученической тетради, по косым голубоватым линиям, крупными, не закругленными буквами, было написано:

«Милый папочка! Извини, пожалуйста, что мы тебе давно не писали. Все некогда было: учились. А когда нас

распустили, то мы забыли. Торт твой был очень хорош, все ели, и всем было вкусно. Спасибо тебе, что ты не забываешь нас, детей своих. Когда еще будешь посылать, то клади в хороший ящик».

Это были письмена старшей.

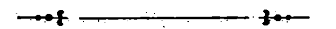
Немножко ниже стояли каракули младшей:

«И я тебе кланяюсь,— выводила она, и каждая буква была почему-то похожа на куклу,— пришли еще пирогов Этот съели. И пришли еще рубль денег. Потому что на дело нужно».

Внизу стояла торжественная, как на манифесте, подпись.

Делать нечего. Сходил в кондитерскую. Сходил на почту. Заказал торт, послал рубль.

Раз на дело,— что ж тут еще разговаривать?



Путь звездный

Рассказ

I

В городском саду, на детской площадке, около гигантских шагов, сошлись после полудня маленькие Петровы, Щербенины, Васильковские. На одной скамье в ряд, как воробьи на проволоке, сидят француженки, тараторят, вспоминают Париж, Лион и своих бедных матерей. Немки образовали другой кружок, свой, подобрали ноги под туго натянутые юбки и молча, торопливо, опустив носы, вяжут из гаруса кто шапку с кисточкой, кто петуха на чайник. Отдельно от всех, в платочке, в белом фартуке, сидит Васильевна, около нее — Мишенька.

Мишенька — бледный, больной мальчик с большой, неправильной головой, с широко расставленными, печальными глазами. Всякий думает, глядя на него, что мальчик этот — не жилец на свете. С детьми играть Мишенька не любит, да и не может: бегать ему трудно, мешает тяжелая голова, и потому всегда он около няни, стоит, прислонившись к ее колену, она тихо гладит ему нежные, тонкие волосики, говорит ему что-то неразборчивое и ласковое, а он посматривает, как другие ребята бегают на гигантских шагах, играют в разбойника и городового, ловят мяч и орут во все горло и обдают друг друга песком. Если никого нет и Мишенька один, тогда он тихонько ходит по аллеям, серьезный, маленький, похожий на гнома без бороды, и, с трудом наклоняясь, собирает в тележку упавшие листья.

Утренняя поливка уже просохла, образуется пыль, и мадемуазели, закрутив веревки вокруг столба, запретили беготню на гигантских шагах. Ребята играют в колдуна, делают страшные, выпученные глаза, разговаривают страшными голосами; когда идут друг на друга — растопыривают пальцы, прыгают, стараясь походить на чертей, но вдруг Лева сразу соскучился и объявил:

— Я не боюсь колдуна.

Колдун обиделся, сел на лавочку и затянул:

— А если та-ак... То я играть не хочу-у...

Лева, не обращая внимания на протест, предлагает:

— Давайте хвалиться!

Это сразу принято, все собираются в кружок и начинают:

— А мы сегодня в монастырь поедем после обеда!

— А мы в поле...

— А мы дальше поля.

— А я скоро именинник.

— Вре-ешь! — говорит завистливый Левка.

— Правда! — отвечает именинник. — И еще вот что: за меня Соня позавчера замуж выйдет. Она говорит: у вас хорошо, у вас дома жилеток мно-ого!..

Тихо, не моргая, смотрит на них Мишенька, серьезный, неулыбающийся; прижался к старухе: прекрасны его глаза, — глаза матери, родившей единственного, скорбного, больного.

Левке скоро надоедает хвалиться, потому что больше его и лучше его все равно никто не похвалится: он и под облака взлетит, он и хвост вырвет у губернаторского павлина, он до фруктовой будки на одной ноге проскачет, — он может сделать все, это решено, это бесспорно, Левка — царь. Вдруг Левка видит Мишеньку, о чем-то на секунду задумывается, подходит к нему и говорит:

— Ну, иди к нам играться! Принимаем тебя!

Мишенька жмется к колену еще ближе, молчит, и Левке отвечает за него Васильевна:

— Нет, господин, сегодня мы к вам уж не пойдем играть!..

— Почему? — задорно спрашивает Левка.

Левка — маленький, толстенький, румяный. Золотые его волосы кудрями выбиваются из-под матросской шапочки, а нос — как пуговка.

— А потому, — отвечает Васильевна, — давеча вы сказали, что мы маленькие и что вы нас в свою компанию не возьмете.

— Нет, он большой! — легкомысленно отвечает Левка, показывая на Мишеньку.

— Ишь ты фокусник какой! — обижается сразу Василь-

евна и на Левку смотрит косо.— Даве был маленький, а теперь вот сразу вырос...

Она обнимает Мишеньку, как будто коршун Левка может больно клюнуть его.

Васильевна не любит ни француженок, ни немок: лопочут — не разберешь что, детей не любят, все хи-хи-хи да ха-ха-ха, а жалованья получают рублей по сорок, на всем готовом.

Ребята, оставив Мишеньку в покое, сошлись в кружок. На солнце жарко, то ли дело стоять под каштаном? Тень такая, будто по земле вода разлита.

— Я уже цифры учусь писать,— говорит Левка и вдруг предлагает: — Хотите, научу вас?

Все хотят, все с восхищением смотрят на мудрого, великого Левку.

Левка схватывает какую-то палочку и начинает чертить на песке, пыхтит, старается,— и вдруг, кончив, говорит торжественно:

— Готово! Нарисовал! Четыре. Это цифра — четыре. А если посмотреть на нее вверх ногами, то она похожа на стуло... Если похожа на стуло,— учит Левка,— значит, правильно.

— Не стуло, Левочка,— поправляет, картавя, гувернантка,— а стуль.

— Ну, стуль,— огрызается Левка,— все равно.

II

По соседней аллее, тенистой, прохладной, с густой каштановой крышей, лениво идет высокий человек в светлом костюме и желтых башмаках. Он молод, красив, губы — красные, на шляпе лента с полосками. Идет, постукивая тросточкой и движением руки делая полукруг.

Васильевна видеть не может этого человека, не любит, отворачивается.

«Леший бы тебя поймал за ногу!» — недоброжелательно думает она.

Она знает, зачем он явился в сад и кого ждет, и снова ее рука, защищая, обнимает Мишеньку, как будто и здесь ему грозит большая беда.

— Явился, окаянный! Рано пришел, шут! — шепчут ее

губы, и сердитые дальнозоркие глаза следят за каждым движением молодого человека.

А тот дошел до конца аллеи и оглянулся. Пришел в цветник и опять оглянулся.

— Придет, не бойся! — сама с собой, по-прежнему недоброжелательно, разговаривает Васильевна.

Проходит пять, десять минут, и правда: вдали, на первом повороте от главной аллеи, показывается женская фигура. Знакомая шляпка с черным пером, знакомая походка.

— Не вытерпела! — почти вслух, забыв и французенок, и немок, говорит Васильевна и, обиженная, гладит Мишенькину щечку, как будто и он обижен, и приговаривает: — Миленький ты мой! Болезненькой! Доля твоя — хуже сиротинушки!

Это пришла Мишенькина мать, Евдокия Алексеевна, красавочка Душенька, как называют ее все знакомые. И хотя муж ее, адвокат, жив и здоров, и каждый год ездит в Ессентуки для уменьшения в весе, и все живут вместе, и вместе ходят в театры и на музыку, и дом роскошный, и доходов в год тысяч двадцать, и у окна около парадной висит вогнутое зеркало, чтобы видно было, кто звонит на пороге,— Васильевне Мишенька кажется сиротинушкой, и, как обиженному, как заброшенному, гладит она ему щечку и говорит нежные, уменьшительные словечки.

Идет, держа на плече японский камышовый зонтик, Мишенькина мать. На ней белое платье, купленное, когда ездили за границу. Висит на шее у нее любимый медальон с накладными, крест-накрест поставленными буквами. Васильевна отлично знает этот медальон, никогда не раскрывающийся; знает, что в нем, только для приличия, портрет мужа, еще молодого, еще тонкого, стройного. Теперь он размяк, каждый день с горячими калачами ест по полуфунту икры, а прежде и на него любо было поглядеть всякой женщине.

Идет Мишенькина мать. Васильевна знает все, что делается в доме. Она знает, что сегодня с утра был приготовлен голубой, новый корсет. Хорошо видят и все понимают дальнозоркие, острые, с маленьким зрачком, глаза.

Идет она не той походкой, какой ходит дома, по высокой зале, когда тоскует и, закинув руки за голову, тихо напевает что-то вполголоса. Она теперь стройна, и кажется, будто никогда не рожала и ничем не мучилась. В белом пла-

тье она похожа на девушку. И глаза смотрят иначе, чем дома — на картины или на ноты, когда играет. Нянька понимает, что это она зачуяла любимого.

Издали ее заметил красивый человек и весь подтянулся, подобрался, сделался еще стройнее, перестал размахивать палочкой, пошел к ней навстречу, лицо его радостно.

Видит Васильевна каждый день, как встречаются они, как целует он ее руку, туго затянутую в перчатку; видит, как вспыхивают и не умеют скрыть радости ее глаза.

— Ну, конечно! — враждебно бормочет про себя Васильевна.— Здрасте-здрасте! Как поживаете? Как ваше здоровье? Какая сегодня погода!

И, словно жалуясь, вдруг обращается к Мишеньке и гладит его шершавой коричневой рукой по щечке:

— Милый ты мой! Болезный ты мой! Сиротинушка ты мой! Папенька твой человек хороший, добытчик, день и ночь о судьбе твоей промышляет, деньги тысячами волокет: и картинок хороших накупил, и зеркалов от полу до потолка, и люстры раззолоченные, как в церкви. До двух часов ночи, промышляючи-то, сидит, и с народами разными разговаривает, и по телефону... А маменька твоя... Эх! Прости ей господи!

И опять с сокрушением смотрит старая нянька в противоположную сторону сада и видит, что «они» пошли в нижний сад, и опять вздыхает:

— Думаешь, там никто не увидит, бесстыдница? Увидят, увидят... Спрятаться хочешь?.. Не спрячешься; от людей не спрячешься...

...Солнце переваливает за полдень; кажется, что где-то накаливаются миллионы печей и обжигают землю. Французенки спрятали лица за вуали, немки побагровели, но все еще вяжут, и все больше и больше вырастают в их коротких пальцах синие петухи. Дети приумолкли, захотели есть, даже Левка осовел и уже не с прежней радостью глядит на свет божий.

Тихо поднимается с своего места и уходит Васильевна, держит Мишеньку за ручку, и идет он за нею, как безбородый гном, с грустными, большими, редко моргающими глазами: ножки у него слегка искривлены, поверх коротких чулочков видны бледные, синие, дряблые жилки; еле плетется он, склонив набок тяжелую головку, по желтому, туго утрамбованному тырсу.

Из тени выходят они на тротуар, от асфальта еще жарче, совсем трудно идти Мишеньке: нянька кряхтит, поднимает его и усаживает в изгиб правой руки и несет, перебирается через дорогу на другой тротуар, туда, где тополи. Прикоснулся Мишенька головкой к ее голове, и обливается у старухи сердце жалостью: такая жара, а щечки не разогрелись, глазки не заблестели, губки бледненькие и по краям будто синим шнурочком обведены.

— От нелюбимого рожден, бедненький мой! Батюшка! — бормочет Васильевна, целует Мишеньку в губки, и тихонько, движением губ, отвечает он ей, и этот чуть слышный поцелуй до слез трогает душу — и чувствует она, что нет ничего на свете дороже этого Мишеньки, что навек он привязал ее к себе своей тихостью, болезненностью, поцелуями, безмолвием, медленными взглядами.

Особенно дорог ей Мишенька темными ночами, когда все спит, когда Мишенька в своей белой кроватке с высоким пологом лежит навзничь и глаза его, спящие, полуоткрыты, и от этого берет жуть ее, старуху, и кажется тогда, что в комнате происходит чудо, и спящий мальчик видит его, видит не сон, а будущее, то, что скоро случится в их доме, и это не похоже на обычные видения. Никогда не разбросается он ручонками, не забормочет спросонку, не улыбнется, — лежит тихий, недвижный, чуть заметно дышит, и не снятся ему ангелы, залетающие в пазуху.

Странные ночи в их доме, неспокойные, не такие, как у всех людей. Шуршат в темноте не то беды, не то печали, не то еще какие предзнаменования, и не отогнать их молитвой. И опять бормочет тогда старуха:

— Ох, доходишься ты, мать, со своим зонтиком! Ох, доходишься!

Придя домой, долго стоят в темной передней, отдыхают от жары. Васильевна сажает Мишеньку в высокое креслице, сама идет на кухню. Дом хороший, высокий, прохладный. Затворены стрельчатые ставни. Таково-то хорошо идти в полутемноте, в прохладе... Не хочется на дачу от такой благодати ехать, а ехать скоро: уже принесены с чердака чемоданы, свежей бумагой выложены корзины.

По стенам висят картины, купленные в Москве. Ими всегда хвалится хозяин, Егор Иванович, показывает их гостю, ведя его под руку, и если вечер, то зажигает рефлекторы. На потолке люстра с искусственными свечами. Напо-

ловину в чехле рояль, сделанный будто из черных зеркал, в них через оконные щели играют зайчики. Развернуты ноты: видно по ним, как нужно играть. Нехорошее играет она, Мишенькина мать.

— Ушла! С зеленым зонтиком! — враждебно бормочет, пробираясь в полутемноте, Васильевна и вдруг с неудовольствием, мысленно, обращается к хозяину, к адвокату по гражданским делам, к Егору Иванычу: — И ты тоже хорош! Как утро,— подавай ему колбасу малороссийскую! С капустой! Круга два съест! И пищу все тяжелую любишь! И за обедом целую бутылку красного вина выпьешь! Фу, прорва! — плюет Васильевна.— Оттого и разнесло!.. Оттого и дразнят тебя пирамидой.

Чувствует Васильевна, что поддалась женской слабости, нехорошим чувствам, и гонит с души все колебания и отвечает сама себе:

— Ну, и толст. Ну, и некрасив. А с лица что? Воду пить?

III

Проходит день, проходит обед, за которым раскрасневшийся Егор Иваныч сидит в одном жилете и видно, как под мышками у него просачиваются пятна. Вечером на дворе делается прохладнее, чем в доме, и Егор Иваныч собирается в клуб. Ожидая свой час, он медленно прохаживается по темной зале, в которой теперь отворены окна на большую площадь и, после сна, пробует голос, мягкий баритон, которым очень гордится и полный тембр которого пускает при защите только значительных дел. На разные лады и с разными ударениями он повторяет несколько раз одну и ту же фразу:

— Кто смеет здесь страданьями путь звездный оскорблять?

Через две комнаты, из столовой, виден свет: там зажжены лампа и три рожка по стенам. Мишенька, завешенный салфеточкою, сидит в своем креслице, на подставке у него чашка с чаем, и Васильевна, обмакивая в нее круглый бисквит, дает его Мишеньке, и Мишенька, молча, глядя перед собой, медленно и долго разжевывает его, потом глотает, вытягивая шейку, и ждет, пока проглотится, а потом опять ждет и смотрит на отражение огня в подвеске.

А в зале, ожидая свой час, ходит Егор Иваныч, слышны шаги. Остановится — слышны слова:

— Какой вечер, а? Какой вечер, а? — И опять раздается полный, слегка напряженный тембр: — Кто смеет здесь страданьями путь звездный оскорблять?

Барыни нет: сидит в своей комнате и читает желтую книжку.

IV

Когда Егор Иваныч, взяв на руку пальто, уходит, Васильевна идет к барыне. Мишенька сидит один; в комнату залетела бабочка, и он внимательными, серьезными глазами следит за ней.

Васильевна вошла к барыне и зажгла боковой канделябр; через кисею вспыхнули электрические нити.

— Чего в темноте сидеть? — спрашивает Васильевна сурово.

Барыня видит, что Васильевна сердита и хмура. Из рук выпадает желтая книжка, и листы полукругло подмялись. Васильевна молча поднимает книжку, расправляет листы и кладет на стол.

Барыня досадливо-равнодушно спрашивает:

— Ну, что? Опять подглядела? Опять? Ну, что?

— Ничего! — отвечает Васильевна, не глядя на нее.

— Ничего,— устало, как маленькая, повторяет барыня.

— Ничего хорошего, матушка, нету! — повышает голос рассерженная Васильевна.

— Слыхали, слыхали...— тянет барыня.— Сто раз с разом слыхали...

— Видела, матушка, видела...

— Ну, и видела... Ну, и что ж?

— Я-то видела — ничего. А вот другие, ежели кто, то плохо будет, коли ежели увидят... Коли ежели заметят...

— Ну, и пусть замечают, кому охота...— упрямо твердит барыня.

— Да что хорошего! — все больше и больше сердится Васильевна.— Отца у тебя, скажем, нет, матери нету А Егор Иваныч душа человек, добытчик... Ты посмотри: что дом, что одежа, что обужа... Ну?

— Пошла теперь: одежа, обужа... Не люблю я его! Пойми!

— Не любишь, любилка! — укоризненно говорит Васильевна.— А того, что который с тросточкой, того, значит, любишь?

— И того не люблю...

Молчит Васильевна, отвернулась.

— Значит, так... выкомариваешь? — И вдруг, повернувшись прямо, лицом к лицу, спрашивает: — А Мишенька?

Закрыла барыня лицо руками и повторяет с тоскою, как о горе:

— Ах, Мишенька, Мишенька, Мишенька!..

Васильевна наступает на нее и уже скрытно, вполголоса, допрашивает:

— Не люб Мишенька? Хиленькой? Слабенькой? Болезненькой? Краснощекого захотела? Нет, милая, этого люби!.. Этого!.. Все равно сын...

Наступает Васильевна, словно бить свою барыню хочет, а та, закрыв лицо, съеживается, будто удары эти и боль неотвратимы, и опять похожа на маленькую, жалкую, обиженную, беззащитную.

— Совсем за последние дни забыла Мишеньку? А? — допрашивает нянька.— А что-то тебя часто так тошнить стало? А? Что мало ешь за обедом? Что на ужин соленое да кислое заказывать стала? А? А от кого, и сама не знаешь? Не то от мужа, не то от кого которого?

Через некоторое время обе они, и Васильевна, и барыня, идут через темную комнату. Вдруг барыня останавливает Васильевну за руку и спрашивает:

— А что он по ночам-то? Все смотрит? Глазок не закрывает?

— Не закрывает...— отвечает Васильевна: - смотрит...

Приходят в столовую. Мишенька взглядывает на мать серьезными, внимательными глазами, и никакого внимания не обращает на то, что она держит в руках синего, гремящего паяца-музыканта, а она все говорит:

— Мальчишечка ты мой милый! Мальчишечка хороший!

Целует его в синие губки — и покачивается в разные стороны тяжелая головка, и по-прежнему серьезны, безразличны и к чему-то одному, непостижимому, внимательны большие, прекрасные глаза.

А около одиннадцати, раньше обычного срока, приходит домой Егор Иваныч.

Уже сложен ему маленький, желтый чемодан, чтобы

ехать в судебную палату на защиту. На чемодане, около замочка, приклеен таможенный, уже вытершийся, ярлычок, который почему-то бережет Егор Иваныч. В половине двенадцатого, за полчаса до отхода поезда, Груша, горничная, приводит извозчика с двумя фонарями, на стекле фонарей коряво нарисована цифра 87. От фонаря падает свет полосой, и от этого странно видны отдельные предметы: часть красных вожжей, рука извозчика, верх колеса и засохшая грязь на спицах.

Егор Иваныч надевает перчатку, сзади него стоят барыня и Васильевна.

Провожать приходится часто, почти каждую неделю, ехать Егору Иванычу без пересадки восемь часов, утром будет в палате, послезавтра вернется домой. Привыкли.

Когда извозчик тронулся, еще минутку постояли на крыльце, посмотрели на огромную площадь перед домом, совсем темную, с силуэтами больших построек вдали. Вверху колебался огонь звезд, будто мерцанье было от ветра.

Завернул извозчик за угол, за кручараевский дом, стало совсем тихо, будто и не в городе.

Барыня повторяет давешние задумчивые слова:

— Кто смеет здесь страданьями путь звездный оскорблять?

— Тяжело на душе-то у него...— говорит Васильевна и ждет вопроса, но вопроса нет.— Конечно, мужчина, что тосковать,— говорит дальше Васильевна,— скрыть может...

Молчит барыня.

— Ты бы пошла да погуляла,— предлагает Васильевна.

— Куда? — спрашивает, очнувшись, барыня.

— Да вот... по тротуарчику... Вдоль дома... Гладенько, чистенько, никто не обидит...

— Скажешь ты...— лениво говорит барыня.

Хлопает дверь, щелкает английский замок. Тушатся в доме огни. Только у Мишеньки горит ночничок.

Васильевна собирается спать. Помолилась богу. Еще раз посмотрела на Мишенькины глазки, незакрытые, строгие. Мишенька спит, чуть слышно дыхание, и чуть заметно, еле-еле, приподнимается под рубашечкой грудь.

Не идет сразу сон, лезет в старую голову разная чепуха,— то Грушка, то Левка, то будто намочила ноги в холод-

ной воде, то синий паяц хлопает в тарелки и поет, приплясывая:

— Ах ты, бабушка Маланья, разварилась до зимы...

Вдруг все пропадает, Васильевна вздрагивает и, повернув голову к двери, прислушивается. Ясно, что кто-то потихоньку открывает уличную дверь, входит. Ясно, что в передней два человека, они стараются скрыть ночной разговор, смех; тихо, на цыпочках, проходят в комнаты. На секунду под дверью вспыхивает огонь и снова гаснет, и снова тишина...

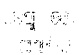
Тихонько, боже сохрани, чтобы стукнуть, поднимается с своего ложа Васильевна, подкрадывается к Мишеньке и видит: по-прежнему смотрит сонный мальчик. И тонкой, непрозрачной кисеей закрывает тогда нянька его неусыпные, внимательные, строжайшие глаза.

А сама опять становится на молитву и просит:

— Аще не обидь руками твоима раба твоего Михаила малаго. Аще пошли ему дух силы и в головку, и в ручки, и в ножки, и в пальчики. Аще не обидь раба твоего обиженного Егора, пошли ему несмышление, избавь его от черного раздумья и заботливости. И аще пошли ему добычу легкую и скорую на пользу раба твоего Михаила... И аще запрети чреву рабы твоея Евдокии понести, обесплодь ее, но не осуди и помилуй по глаголу твоему и по велицей милости твоей...

До самого утра длится молитва, и когда начинается рассвет, когда часы, неслышные днем, теперь слышно бьют три раза, снова шуршат по комнатам крадущиеся шаги, теперь обратные, снова не умеют скрыть разговора, снова осторожно и отчетливо защелкивается английский замок.

А на полу валяется, раскинув руки, молчаливая кукла, и в щели ставен прокрадываются полоски темно-синего света. Осторожно подходит Васильевна к Мишеньке и снимает с его личика тонкую, непрозрачную кисею.



Седельников

Рассказ

— Местечко нижнее-с, нумер первый-с! — сказал носильщик, отдавая сдачу.

— И отлично, — ответил отставной штабс-капитан Седельников. — Волоки багаж.

— Еще рано-с, — возразил носильщик. — Еще первого звонка не было-с. Пропуску-то еще нет-с. У вас три местечка?

— Три.

— Ну вот-с. Как только звонок-с ударит-с, так мы и тово...

Какой-то человек с бородой, но без усов (не лакей ли?), евший за соседним столом осетрину, взглянул мельком, словно нечаянно, на багаж штабс-капитана, и, конечно, презрительная улыбка скользнула по его лицу.

Седельников стиснул зубы так, что двинулись скулы. «Презираешь?» — хотелось сказать ему. Вот этак, картинно встать, опереться на полку, чтобы видна стала больная, оторванная на войне нога, и со злостью, глядя в упор, сказать: «Презираешь, черти б тебя взяли? Презирай, имеешь право. Смотришь на мой багаж? Любопытствуешь? Изволь, я тебе расскажу про мой багаж. Вот видишь? Корзиночка маленькая, старенькая, перевязанная стареньκой же разлохматившейся веревкой. Тут — моя еда. Ты вот ешь осетрину, а я вот посиживаю и курю. В стакане чая себе отказываю. Буду в вагоне из чайника пить. Ты хочешь знать, что в узле? Изволь. И это любопытство твое удовлетворю. В узле — две подушки и одеяло. Одеяло — без пододеяльника. А на подушках — наволочки грязные. А вот в этом ящике — запасная нога моя. Лишняя. На всякий случай. Вот сейчас, опираясь на палку, я пойду за носильщиком. И ты, быть может, догадаешься, если наблю-

дателен, что одна нога моя — деревянная. Кровь на войне за тебя, холуя, проливал. Чтобы ты свою осетрину мог спокойно жрать. Так-то, братец. Где ногу потерял? А на что тебе это нужно? Потерял, и концы».

Седельников любил вести такие разговоры. Ему нравилось сидеть на вокзалах, в фойе кинематографа, на бульварах в своем городе и думать: вот он сидит один, мимо проходят люди и видят, что человек молчит; прищурился, смотрит на свет божий и молчит. А человек совсем не молчит. Он ходит и не кланяется, а знаком со всеми и беседует со всеми: и с буфетчиком, и с протоиереем, и со смотрителем ночлежного дома, и с кассиршей кинематографа. Он может, если захочет, поговорить и с губернатором, и с архиереем. Может написать письмо даже министру,— кто ему запретит? Разве человек сложен? Всякого можно скоро разгадать: все по утрам пьют чай или хотят пить чай; все между двенадцатью и шестью обедают; все спят,— спят обязательно все: без сна человек жить не может. Все видят сны: кому снится пища, кому — ордена, кому — женщины, кому — лошадь. Ему, например, Седельникову, всегда снится утро мая. Одинаково все, за малыми исключениями, любят женщин. Одинаково все, за малым исключением, боятся смерти.

«Все вы одинаковы! — наставительно говорит людям штабс-капитан.— Вот и вы, сидящие сейчас в зале первого класса. Зачем вы в Москве? Сейчас вот вас здесь человек тридцать восемь. Вы сейчас кушаете, пьете чай, в уме подсчитываете ваши дорожные расходы. А придет такой час,— и все вы будете спокойненько лежать головами к востоку. Все! Ручки вам сложат чуть повыше животика. Ножки обуют в туфельки,— в этакие маленькие, на картонных подошвах, чтобы легче было шагать по горним селениям. А вот попа того, который для желудка пьет ессентуки, оденут в золотую ризу, положат на грудь книгу, закроют лицо вышитым бархатом и над самим ухом будут читать ему евангелие. И удивится мертвый поп, когда услышит евангелие, и подумает: откуда, мол, льются такие прекрасные слова? Откуда такая светлость? Почему в жизни своей я этих слов никогда не слышал? И неужели их теперь читает знакомый дьякон Степан?»

Седельников засмеялся и продолжал свою воображаемую речь.

«Подойти бы к нему и надоумить человека: «Батюшка,— сказать бы,— почто столь много печешися о здравии своем? Посмотри, к чему ведешь ты дело свое. Борода у тебя роскошная, и подтеков под глазами нет, значит, почки твои очень хороши. Губы твои — красные, зубы твои — белые — значит, и все внутри тебя хорошо. Готовишь ты из себя свежий и вкусный кисель для земельных властителей. Стоят ли они, червячки, того внимания?»

Седельников потихоньку смеялся и ясно видел, как человек, уже покончивший с осетриной и теперь доедавший маленькие соленые огурчики, осторожно взглядывал на него.

«Смеюсь? — внутренне рокотал Седельников.— Смеюсь? И буду смеяться. Думаешь, что сумасшедший? Думай. Ничем не рискую».

На платформе один раз ударили в колокол. Швейцар, желтолицый, болезненный, с отекшими, видимо, ногами, провозгласил на всю залу каким-то колючим, скопческим голосом:

— Пер-рвый звонок! Рязань, Козлов, Ростов! Поезд стоит на первом пути!

И сейчас же подошел к Седельникову носильщик и, вытирая руки о фартук, сказал:

— Удачливо вам вышло. Маленькое купе-с. Двухместное. Беспокойства будет не весьма.

— Ну, проводи,— ответил Седельников, и, упираясь в палку,— эх, добрая палка! — поднялся.— Ну, вот,— говорил он, прихрамывая, и — прощай, Москва, прощай, златоглавая! Спасибо за хлеб, за соль. Накормила на мои деньги, матушка! Походил по театрам, посмотрел соборы, памятники, а теперь — домой!

Седельников жил на юге, в маленьком заштатном городке, где у него была сестра, был свой домик, доставшийся от отца, где он когда-то, приезжая из училища, был первым кавалером и покорителем сердец и где теперь по вечерам, особенно зимним, была такая длинная, особенная, молчаливая скука.

Подниматься по лесенке вагона было трудно; деревянная нога плохо сгибалась,— нужно было подтолкнуть ее рукой и в то же время ухватиться за перильца, а перильца были железные, холодные, настывшие.

Седельников, чтобы предупредить смех носильщика, сказал:

— Ножка-то, брат, не своя. Лесом подарена. Мою ножку посадить в землю,— яблоки вырасти могут. А ту-то, кожаную, мамашину, японцы с кашей съели,— подай им бог побольше здоровья!..

А носильщик, улыбаясь, помогал и говорил:

— Это еще — не горе, а полфунта. Других-то япоши в сырую землю отправили.

Седельников взобрался на площадку, ответил ему в тон: «Вот тебе и полфунта!» — и дал ему вместо тридцати полтину: такой хороший был мужик этот носильщик; такие светлые глаза были у него, так они ясно смотрели,— синие с черными крапинками.

Было холодно, но уже чувствовалась весна: четко яснела даль; начинался март. На платформе резко легли тени, и видно было, как темная полоса хочет срезать полосу света, как тень грядущего вечера пожирает свет дня. Идет человек по платформе, белый и свежий; вошел в тень — и сразу постарел лет на пять. Вышел на свет — и опять прежний, и опять на щеках проступает румянец.

«А я — все в тени!» — подумал Седельников: и вдруг по-старому сжалось сердце и вспомнилось, как ушла от него Фрося, два года жившая с ним как жена; как пропали поглощенные какой-то тенью связи с товарищами; как все больше и больше оставался один; и только в снах еще видел светлое утро мая и бывал в хороших компаниях. Только во сне карманы бывали набиты золотом; только во сне кипело в стакане вино; только во сне улыбалась ему прекрасная дама, которую Фрося, стоя на коленях, одевала в бархатное платье.

А наяву — искусственная нога. Он дал ей имя Маруся. А ту, запасную, что была в ящике, звал неласково — Аленой, а свой пенсион в 86 рублей — Егор Егорычем, и когда первого числа шел на площадь к присутственным местам, в казначейство, то говорил:

— Пойду за Егор Егорычем.

Обступали его знакомые мальчишки; показывали ему на небо, еще не вечернее, и спрашивали:

— Барин! Ведь народился молодой месяц. Куда девался старый?

Седельникову почему-то очень нравилось слово «народился». Он долго в уме повторял его и потом говорил, смеясь:

— Куда девался старый? Эх, вы, дураки! И чему вас учат в школе? Старый на звезды покрошили.

Мальчишки смеялись, рассказывали родителям и скоро, неизвестно по каким основаниям, в городке прошел слух, что японцы повредили штабс-капитана. Ничего не понимали ни мальчишки, ни город, который совершенно справедливо выделили за штат.

И вместо счастья, вместо интересной и веселой жизни, о которой мечтал еще с корпуса, на долю выпал этот тихий городок, тихий звон к вечерням, тихие и скучные жители. Девушки его не замечают, не смеются, когда проходят мимо,— все знают и смотрят на деревянную ногу. Нога унесла все: с тех пор как ее отрезали, стал толстеть, лысеть, носить пенсне, и даже усы почему-то сделались рыжими. И бриться он стал не так часто: раз в неделю, по субботам, часа за два до всенощной.

Вагон наполнялся пассажирами.

«Кого-то бог пошлет мне в попутчики?» — думал Седельников и разглядывал соседей: какой-то иконописный старик в поддевке, с ним толстая старуха в бархатной шубе и платке. Стоят в проходе у окна, разговаривают и мешают носильщикам.

«Нумерок второй будет там-с!» — послышался разливной говорок в другом конце вагона. За носильщиком шел высокий человек, лет тридцати двух, в шубе с пушистым воротником, в желтых перчатках, и прищуренными глазами взглядывал в те купе, мимо которых проходил.

Седельников смотрел на него и думал:

«Господи! Почему всегда так ласковы носильщики!»

Это была первая дума,— показная, наружная. А внутри, под ней, как под слоем, уже шевелилась вторая,— тайная, глубоко скрытая, еле для самого себя заметная:

«Не хромает. Красивый. Бритый. Глаза прищуренные».

— Вот здесь,— повернувшись к своему барину, лебезил носильщик.

— Ну, что ж? Клади,— ответил пришедший, начал медленно снимать с правой руки перчатку, взглянул на Се-

дельникова, догадался, видимо, что это попутчик, и ласковым голосом, в противоположность прищуренным глазам, спросил:

— Далеко изволите ехать?

«Это он надеется, что освобожу нижнее место»,— сообразил Седельников, сразу загорелся неприязненным чувством и ответил, стараясь походить на богатого барина, холодным тоном: «Да. Не близко». Отвернулся к окну и, довольный собой, стал разглядывать, как в промежутке меж рельсов мужик на голове тащит какое-то ведро: похоже, будто несет сахарное мороженое.

Не в голове, а, казалось, где-то далеко, в душе, под сердцем, уже была вторая дума:

«Усмехнулся. Пренебрегает. Подумаешь! Шушера иерихонская. Увидит, что хромой, еще усмехнется. Узнает, что нога деревянная,— еще усмехнется. Лягу спать,— подумает: почему не снимает сапог? Догадается. Усмехнется. Шушера!»

Носильщик уложил чемоданы и побежал за другими вещами.

«Как баба,— думал Седельников,— семьдесят семь мест с собой таскает. Ты бы еще письменный стол захватил...»

И вдруг среди шума, толкотни, суетливых, неспокойных, мелко-тревожных разговоров послышался женский голос:

— Ты здесь?

С радостным лицом, со светлыми, широко открытыми глазами, с поднятой на лоб вуалеткой, с большими длинными стеблями белых роз в руке шла по коридору женщина. Она спешила, она боялась опоздать,— и разрумянились зарей ее упругие щеки, и горели глаза,— видимо, бегала по всем вагонам, искала бритого, слегка запыхалась,— жарка была шуба,— и от этого, должно быть, была красивее, чем всегда, и ярче, чем всегда, и радостнее, и приветливее, чем всегда, расширялись ее глаза и горело в них, не потухая, не уменьшаясь и не усиливаясь, что-то редкое, хорошее, всем видное и понятное, ибо даже старик иконописный, который всем мешал, вдруг перестал разговаривать со своей старухой и смотрел вслед той, что шла, поспешая, с белыми розами в руке.

Седельников взглянул, все понял и подумал:

«Еще одна дура в бархатной шубе».

И вдруг стало досадно: зачем это подумал? Кажется, не нужно было этого думать.

— Ты здесь?

— Здесь.

Седельников оглянулся,— тот, бритый, уже снял шубу. Был он теперь в статном, хорошо выглаженном костюме, в воротничке с отложными концами. Не успел Седельников разглядеть только одного: какого цвета у него галстук. И когда он снова видел мужика с сахарным мороженым, то мучительно, неотвязно, как будто в этом была какая-то разгадка, вертелось одно желание — узнать: какого цвета галстук?

«И на что это нужно? — тревожно удерживал он себя.— На кой черт? Ну, буду смотреть в окно,— заставлял он себя,— вот идет мужик, несет сахарное мороженое. Мужик, дай сахарного мороженого! В чайный стакан, на гривенник! Клади с верхом!»

А где-то под сердцем, как обезьяна, вертелась одна мысль:

«Ну какого цвета галстук? Может быть, благодаря галстуку он так красив? Может, в галстуке — весь секрет? Может, за галстук любит его женщина эта?»

— А я вот тебе принесла розы,— слышался из купе разговор, и в тоне этой фразы ясно Седельникову одно желание: «Похвали меня за эти розы, приласкай, взгляни так, чтобы была видна и твоя любовь».

И отвечает он коротко, но за короткими словами этими слышится другое, им двоим и их глазам только понятное,— договаривают радостные глаза:

«Спасибо, милая».

Поцелуй. Что он целует? Руку или губы?

— Спасибо, милая.

«Шифрованные телеграммы».

Он тронут. Он еще раз целует. Что? Руку или щеку? Так хочется оглянуться,— хоть на сотую долю секунды.

«Ах, черт возьми! — думает Седельников, и от досады чуть не выступают слезы на глазах.— Да какое же мне дело? Ну и пусть целует ей губы, руки, глаза... Может быть, и цена-то этой женщине — десять целковых. Что мне?

Экой дурак я стал! От одиночества, что ли? Да ведь сто́ит захотеть... Эй, мужик! Дай сахарного мороженого! Что за дурацкий мужик болтается здесь под окном с ведром на голове? Заявить бы начальнику станции, чтобы хорошенько взмылил его, осла этакого! По путям посторонним лицам ходить строго воспрещается».

Взглянул Седельников на часы: двадцать минут шестого. Часы идут на пять минут вперед: значит, по-настоящему — четверть пятого. До отхода поезда — еще семь минут.

«Мало, мало вам осталось, дружки сердечные!» — думает Седельников, на сердце делается легче, и он напевает мотив,— веселый мотив, прыгающий на высоких нотах.

А там, за спиной,— опять поцелуй.

«Черт возьми! — И снова негодование вселяется в сердце Седельникова: — Это вам поезд, вагон второго класса, а не дом свиданий! Целоваться можете в меблированных комнатах!»

А за спиной говорят:

— Милый ты, мой милый! Только одна дума о тебе и есть! Ну, пиши же чаще! Ну, не забывай! Ну, дай слово!

Седельников думает:

«Он напишет! Жди! Держи карман! Как приедет, так сейчас же за горничной ухаживать начнет. Едет-то, должно быть, в Ростов. Знаем мы ростовских».

А за спиной говорят:

— Поставь розы в воду. Возьми у проводника стакан.

Говорит почти шепотом, но ведь все же слышно, глупая женщина!

— Я,— говорит почти шепотом,— заколдовала розы. Розы чудотворные. Я с ними молилась. Понимаешь? За тебя, за любовь мою молилась...

Говорит почти шепотом:

— Розы будут сниться тебе. Я хочу, чтобы они снились тебе!..

Все говорит почти шепотом, как будто о ворованном, но ведь все же слышно, глупая женщина,— слышно так, будто молотом стучишь ты по железной стене,— и Седельников орет вдруг:

— Пр-роводник, чер-рт бы тебя драл, скотина этакая! Закрывай дверь, если идешь! Не май месяц!

В ответ послышалось:

— Извините, ваше благородие!

— Ызвините, ваше благородие,— басом передразнил его Седельников и добавил: — Дурак голландский!

Добавил и подумал: «Почему голландский?» Смешно.

За спиной замолчали. Остолбенели? Язык отнялся?

И вдруг — два звонка. Слава тебе, господи! Как петух в полночь. Исчезай, нечистая сила!

А нечистая сила вцепилась в грешного человека и шепчет,— но ведь все же слышно!

— Ну, люби же! — шепчет.— Ну, не забывай же! Ну, прощай же. Ну, до свидания же. Ну, мой милый. Ну, мой единственный!..

«Дешево у тебя сто́ит слово. Ну,— думает Седельников и сейчас же поправляется: — Даже и не слово, а приставка. Этимологию начал забывать».

А нечистая сила, слегка зацепив Седельникова за руку, уже перешла на площадку,— и опять дверь не затворена, опять дует в бок холодным колючим ветром, опять иконописный старик морщится и прикрывает лысину ладонью.

«Это нарочно,— решает Седельников и холодеет от злости.— Ага! Нарочно? Ну, постой!»

— Черт возьми совсем! — демонстративно громко говорит он.— Тут швейцаров за вами нет! — с досадливой силой захлопывает им вслед массивную желтую, обитую железом дверь.

Там засмеялись? О, конечно, засмеялись! Когда человека выкидывают на лестницу, то ему, конечно, остается одно — смеяться.

Седельников презрительно смотрит в окно. Отворить бы его? Нельзя. Туго заклеено. Зимнее положение: вагоны еще отапливаются.

А даль синеет. Скоро ночь. Скоро зажгутся огни. Люди начнут думать уже о завтрашнем дне. Скоро придет вечер, слуга ночи. Он под ноги расстилает ей ковер звездный. Сегодня вечер будет святой. Хорошо тому, у кого мир в душе. Плохо умирающим.

Третий звонок. В окно отлично видно, как она сходит на платформу. Остановилась и глаз не сводит с площадки.

Что-то говорит, но разве через зимние рамы услышишь? Только губы шевелятся: как в кинематографе. Улыбка вдруг делается неестественной, как-то в сторону кривятся красные губы, из левого глаза показывается давно уже там родившаяся слеза.

«Плачешь? Плачь, Маргарита!» — думает Седельников, а кто-то там, в глубине, как незваный гость, как татарин, взял и прошептал:

— А сколько бы ты дал за одну такую слезу?

Седельников бледнеет. Что-то внутри так сильно крикнуло, что эта мысль, как сразу и очень испуганная птица, вспорхнула, унеслась ввысь, скрылась из глаз,— и дай бог, чтобы навсегда, чтобы навсегда! И бог с ней! И бог с ней!

И Седельников плотно сжимает ладонями оба уха, словно боится: вот подойдет опять кто-то и шепнет такое, от чего снова крикнет сердце...

Поезд тронулся. Ненужным стало все то, что осталось слева. А она все-таки хочет быть нужной: она идет вслед за площадкой, все что-то говорит, все куда-то, в одну точку, смотрит заплывающими глазами. Ах, спотыкаешься! Ах, ударишься о трубу! Ну, уходи же! Ну, зачем он тебе? Есть люди и покрасивее его! Чем он так мил? Ведь ты же все равно останешься слева!

А около водокачки стоит, раскорячив ноги, мужик, и нет уж на его голове сахарного мороженого.

Исчезает понемногу все. Исчезла и она: мелькнула в последний раз бархатная шубка и протянутая с прощальным приветом рука. Тянутся вдоль рельсов какие-то красные дома, одноэтажные, двухэтажные — скучные, как строки канцелярской бумаги.

Отворилась желтая дверь. Седельников прильнул к толстому и холодному стеклу. Седельников знает, что это — он; на площадке холодно. Пошел в купе,— сидит, неслышный.

Проходит пять минут. Проходит десять минут.

Седельников оглядывается. Почему же, в самом деле, ему и не оглянуться? Ведь у него есть место, нумер первый, у него есть багаж. Может быть, в багаже у него есть вещи тысячные?

Седельников оглядывается и видит: сидит на диване че-

ловек, наклонил голову и о чем-то думает, и кажется, даже, что его губы что-то нашептывают.

«Не опоздал ли, мой друг, думать?» — мысленно спрашивает у него Седельников и снова смотрит: галстук у него черный, с красными полосками. Жилет серый. Жакетка темно-синяя.

«Шепчешь? — думает Седельников. — Ну, пошепчи, пошепчи».

Хочется ему думать, что сегодня же барыня и розы свои забудет, и слова свои забудет, и слезы свои забудет и сегодня же позвонит в телефон, нумер которого записан на тайном листке.

«Эх, друг!» — вздыхает Седельников, и хочется ему ударить этого человека по плечу и рассказать ему, что такое любовь, повеселить его душу каким-нибудь словом, залихватским, веселым, выбранным из песни.

А человек поднимает глаза, взглядывает на Седельникова, и выражение лица у него такое, будто хочется припомнить: где он видел этого штабс-капитана, серенького, хроменького, с рыженькими усиками? Где он видел это кривосидящее пенсне? Эту фуражку с помятыми полями, с потускневшим, выпуклым по обрезу козырьком?

Смотрит он на Седельникова, а у самого в душе — счастье: счастье в глазах, счастье в улыбке, счастье в углах губ, — и даже, кажется, в прядях волнистых, откинутых назад волос струится счастье.

Седельников опять отворачивается, и снова лоб его ощущает приятное, холодное, толстое стекло. За стеклом — ночь, все шире и шире дышит она в полях. Как ведьма, — она сожрала весь свет весеннего дня. Как ведьма, из злой старухи она превратится в красавицу, у которой корона на голове.

Приходит из вагона-ресторана лакей с бумажкой в руке. Седельников видит его белый, словно из бумаги сделанный и плотно приглаженный галстук, видит в его петлице четыре жестяные цифры: 1844.

— Обедать изволите? — спрашивает лакей.

— Нет, — глядя в сторону, отвечает Седельников, и ему стыдно за то, что он не может израсходовать два рубля на обед. Придется есть сыр, копченую колбасу. В корзиночке

имеются еще три апельсина, коробка фиников и филипповские калачи.

— Обедать изволите? — снова, повернувшись к Седельникову спиной, спрашивает лакей.

— Да, — отвечает сосед, — да.

И когда тот через десять минут, забрав газеты, уходит в вагон-ресторан, Седельников, хромая, идет в купе и садится на свое место, у окошечка. Побаливала нога: натрудил ее за день.

На столе лежали розы, — прекрасные, белые розы! Что такое розы, лежащие на вагонном столе? Или их отняли от груди матери? Или на то они и рождаются, чтобы быть свидетелями любви? Хорошо ли, что подкосил их нож садовника, плохо ли?

Седельников встает и, не наступая на больную ногу, закрывает дверь купе, защелкивает замок, защелкивает вверху предохранитель и опять садится на свое место. Теперь никто не войдет. Теперь он — хозяин этой мягкой клетки.

Седельников сделает то, что хочет. Седельников забирает в руки длинные стебли, — все, все! Седельников осторожно, благоговейно, — как священник — чашу, в которой уже свершилось чудо, — поднимает их, наклоняет к ним лицо свое и чувствует, как струится из них аромат, белый, чуть ощущаемый аромат: дыхание полюбившей.

И ясно: ни роз своих она не забудет. Ни слов своих она не забудет. Ни слез своих она не забудет. И нет у нее никаких тайных записей.

Струится аромат: дыхание полюбившей. Осторожно, как крылья бабочки, обрывает Седельников по нескольку лепестков с каждого цветка и кладет их в свою записную книжку, между страницами, на которых записано: кому должен, сколько должен; в которых написано, как делать муравьиный спирт, полезный при ревматизме; в которых записан адрес Фроси, по которому писал, но не получал ответа; в которых записано много вещей, — нужных и ненужных. Кладет потом розы на прежнее место, открывает дверь, выходит в коридор. Кстати, идет контроль, — надо предъявить билеты.

Темно. Скоро, должно быть, зажгут электричество.

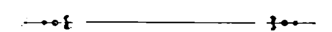
Поезд подкатывает к станции, замедляет ход, но не останавливается. На станции горят керосиновые фонари, на платформе, в ряд, как магометане на молитве, стоят семь

молчаливых мужиков в бараньих шапках. Вот бы всем им на головы дать сахарное мороженое!

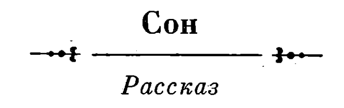
Темно. В воздух как будто накачивают темноту,— все больше и больше. Звезды смотрят и словно ждут: что будет сегодня на земле хорошего?

— Ваш билет, пожалуйста. И плацкарточку. Ваш нумерок первый-с? Проводник, отметьте: нумер первый-с. До Ростова. В Ростове — пересадочка.

Все — ласковые люди. Как хорошо!



Сон



Рассказ

Зима в том году была странная, неровная. На крещенье, на водосвятии, дамы стояли под зонтами: так было тепло. А уже в ночь на тридцатое выпал снег и начались морозы. Через несколько дней по улицам города, по направлению к пивным заводам, потянулись возы с большими, продолговатыми глыбами льда. Лед был похож на очень толстые, плохо промытые увеличительные стекла.

В конце января почтальон подал Крынину письмо. Почерк на адресе показывал, что письмо это могло прийти только из Петербурга. Между тем на обороте конверта, на самой середине, с небрежным наклоном вправо, была наклеена красненькая марка: это говорило о том, что письмо пришло по городской почте.

Тогда родились странные, смутные предчувствия. Крынин долго не хотел распечатывать конверт; потом нерешительно оторвал от него, с узкой стороны, неровную полоску, развернул хрупкий, сухо шелестящий листок. «Ты изумишься, когда прочтешь эти строки,— так было написано в начале,— но, друг мой, то ли бывает на свете? Да, верь глазам своим. Я не в Петербурге, а здесь, в твоем любимом городе. Живу в гостинице «Европа», которую ты, наверное, знаешь. По крайней мере, тебя тут знают,— я спрашивала. Жду тебя целый день».

Далеко, внизу письма, стояла размашистая буква «Н», похожая на «И».

Было холодно, хотя весна в том городе начиналась обыкновенно со второй половины февраля. Прошлой ночью выпало много снега, и потому кругом все было бело и чисто.

В семь часов вечера Крынин поднимался в гору и думал о том, зачем она приехала сюда, за две тысячи верст? Он ясно представлял себе ее петербургскую квартиру. коллек-

цию оружия в кабинете мужа, стильные высокие комнаты, на вечерах по пятницам много народу. Теперь — конец сезона, последние балы, итальянская опера, а она едет сюда, в глушь.

Осенью она вызывала его в Петербург, и там каждый вечер приезжала к нему в меблированные комнаты. Прислуга почтительно и молча смотрела на богатую таинственную даму. Но все это: и приезд, и любовь казались капризом, который скоро пройдет. Ей нравится его прошлое, рано поседевшие на правом виске волосы — вот и все. Когда он уезжал из Петербурга, она опоздала на вокзал: приехала уже после первого звонка. Тогда стало ясно, что, действительно, все было капризом: щеки у нее горели от возбуждения, но казалось, что оно было вызвано не его отъездом, а чем-то другим. Чем? Об этом не хотелось думать. Было все равно. С этим же поездом уезжали какие-то офицеры; гуляя по платформе, они заметили ее. Это, видимо, ей понравилось. После третьего звонка она поцеловала его и дала ему несколько стеблей высоких, белых, очень душистых цветов, название которых он забыл. Когда в Москве на другой день, утром, он переезжал на Курский вокзал, то злобно бросил цветы, еще прекрасные, на снег.

«Но зачем ты теперь здесь? Так неожиданно? Что случилось?» — думал Крынин, поднимаясь в верхнюю часть города.

Со времени приезда из Петербурга он прожил здесь несколько месяцев, успокоился, понял, что и ревность к офицерам, и злость, с которою были брошены цветы на снег — все это тонкий налет на душе, который исчез бесследно и теперь не вливает в жизнь былого беспокойства и страдания. И это ощущение сливалось с городом. На улицах было тихо; ушли со своих углов газетчики. Тени фонарей ложились бледноватыми, неуверенными пятнами. Скоро должна была прийти безмолвная, как тоскующая душа, ночь.

В театре назначен был спектакль: у подъезда на длинной, изогнутой проволоке горел круглый фонарь; около входа с программами в руках озябшие продавцы.

II

Когда Крынин подходил к юнкерскому училищу, сзади него захрустели спешные, легкие шаги. Он обернулся и

увидел, что идет Наташа. Была она в той же длинной каракулевой кофточке, которую носила в Петербурге. Наташа торопилась, смотрела себе под ноги; видимо озябла; прошла бы мимо, не заметив Крынина.

Была она другая,— не та, которую он знал в гостиной, в длинных, дорогих платьях. Теперь она скорее походила на курсистку последних семестров, одевшуюся в богатый наряд.

Когда она прошла мимо него вперед, шага на три, он окликнул:

— Наташа! — и от этого коротенького слова что-то, казалось, дрогнуло в воздухе.

Она резко остановилась, первое мгновение как будто не верила себе, что видит его,— как будто все это был сон; вздрогнула. Медленно, неровными шагами подошла, протянула руку. Улыбнулась так, как улыбаются в первый раз после тяжелой утраты, и тихим, чуть дрогнувшим голосом сказала:

— Ну, здравствуй. А я так спешила домой. Ходила получить телеграмму до востребования. Боялась, что ты в это время придешь, не застанешь меня дома и уйдешь. Хотя, конечно, можно было и на извозчике. Я говорю, что на телеграф можно было поехать на извозчике. Тогда скорее. Не догадалась.

Наташа коротко, отрывисто засмеялась. И после смеха, после слов о телеграмме, после этих отрывистых, как-то странно прерывающихся движений голоса Крынину сразу стало видно в ней что-то новое. Мелькнула мысль, что искры, которые он когда-то подмечал в ее голосе, глазах, теперь из отдельных ярких точек срослись в одно целое и сделались значительными, похожими на новую, красивую душу. Те лукавые, переливающиеся блестки глаз, так раздражавшие его на вокзале, исчезли. Из глаз ее, широко открытых, теперь лились на него волны сложного и мучительного чувства.

— Не ожидал? — спросила она.

— Не ожидал,— ответил Крынин.

— Почему же ты вчера не приходил? Я ждала тебя целый вечер. И думала, что ты просто не хочешь прийти ко мне.

— Я только сегодня получил письмо. Здесь городские письма приходят на другой день. Почему ты не послала из

гостиницы мальчика? Непременно нужно было по почте?

Она пытливо взглянула на него, убедилась, что он не сердится, а шутит, и сказала:

— А я так боялась, что ты не придешь.

Он ближе наклонился к ней; мягко улыбнулись его глаза.

— Теперь я понимаю, что нужно было бы предупредить тебя о приезде телеграммой. Ты бы встретил меня на вокзале. Помог бы мне разобраться. А то такая путаница. Гостиница плохая, холодная...— торопливо, думая о чем-то другом, говорила Наташа.

Они стояли на улице, совсем потемневшей. Наташа отвернулась, словно застыдившись того, что вскрылось у нее на душе.

— Ну что ж? — спросил Крынин.— Идем к тебе?

— Идем,— сказала она,— подожди только немного. Я хочу посмотреть на эту улицу. Какая она широкая, красивая! Спускается вниз. А вон вдали огоньки.

— Это уж село,— ответил Крынин,— девять верст от города.

— А это что такое? — спросила она, показывая на большой, вверху освещенный дом, около которого они стояли.

— Это? Юнкерское училище.

Крынин смотрел на стоящую перед ним женщину, улыбающуюся, задумчивую. Свет плохого керосинового фонаря изменил ее черты: колеблющиеся, перебегающие тени делали ее то знакомой, то незнакомой. Казалось, что из какой-то темноты вырос перед ним неизвестный человек, и он почему-то ведет с ним разговоры об юнкерском училище и о селе, которое стоит от города за девять верст.

Мимо изредка проходили люди, стараясь разглядеть их темные, неясные очертания; некоторые узнавали Крынина и кланялись. Все больше и больше налегала на город ночь.

После молчания Наташа как-то неожиданно, лукаво взглянула на него и сказала:

— Ты не изменился: то же пальто, та же шапка, то же лицо.

— Да, все то же,— ответил Крынин и показал рукой кругом: — А вот и то, чего у нас с тобой никогда не было: потемневший провинциальный город, пивная «Германия», керосиновые фонари. А вон инспектор народных училищ в шубе прошел.

То напряженное настроение, которое охватило их с первых же слов, не прошло: было тяжело и тоскливо. Наташа понимала это, и на лице у нее иногда появлялось страдание.

— Знаешь что? — сказала она.— Пойдем мы с тобой в театр. Не хочу я идти в номер. Там холодно, свечи горят тускло. Пойдем в театр. Хорошо? Первый здесь вечер в театре? Хорошо? — И она заглядывала ему в глаза.

Крынин посмотрел на часы.

— Но еще только четверть восьмого,— сказал он.

— Ничего, идем. Посидим, подождем! — ответила Наташа.

Пошли. Около театра было пусто; только шипел фонарь, да уныло стоял у двери городовой в башлыке, и казалось, представление не состоится.

III

Кассирша была одета в шубу и пила чай. Она долго перелистывала книгу, длинными почерневшими ножницами отрезала два зеленых, продолговатых билета с неразборчивыми штемпелями на обороте и подала их Крынину.

Места были на балконе,— так хотела Наташа: пришлось идти по лестницам, мимо сырых, некрашеных стен.

До начала спектакля было еще далеко. В театре, в разных углах, горело только четыре лампочки, и потому темнота неосвещенных мест особенно выделялась. Придя со света, можно было разглядеть на ложе кусочек бордовой занавески, светлое пятно на полированном стуле. Кругом — тихо и пусто; голоса и шаги Крынина и Наташи звучали громко, рождая где-то над головами неспокойное эхо.

Чтобы разыскать места, Крынину пришлось зажигать спички. Сели, одни, на скамью: немного боком к сцене. Пахло пылью, керосином, залежавшимся сукном. За занавесом разговаривало два мужских голоса. Где-то далеко стучали молотком.

Видно было, как в оркестре, похожем в темноте на канаву, отворилась дверь, вошел музыкант и положил на стул скрипичный футляр.

— Странно! — сказал Крынин.— Ты приехала сюда, за две тысячи верст, так неожиданно; у тебя что-то случилось, тяжелое и важное: лицо твое — грустное, улыбка — больная и беспокойная, но ты молчишь. Зачем-то долго стояли на

улице, зачем-то пошли в театр, сидим в темной, пустой зале, звучат чьи-то чужие голоса, а ты молчишь. Я хочу знать, что случилось, я хочу знать, почему ты так неожиданно, не предупредивши, приехала сюда?

Она ничего не ответила и, казалось, не слышала вопроса. Интересовалась только театром: глаза привыкли к темноте, и, наклонившись через барьер, она разглядывала ложи и удивлялась,— какие они маленькие. В партере насчитала только одиннадцать рядов. На занавесе был нарисован дворец с мраморными колоннами, гордо плавающие лебеди высокие фиолетовые кипарисы и, по углам, бородатые маски. Это ее занимало: она говорила, что лебеди похожи на моржей, и смеялась, закидывая голову.

— Это прекрасно, что мы пошли в театр. Я рада, что увидела настоящий провинциальный театр,— говорила она с подчеркнутым оживлением.— Наши места почти в центре, отлично будет видно. А что идет сегодня? А мы и не знаем? У нас даже и афишки нет? Вот молодцы-ы!

Крынину стало больно оттого, что рядом с ним сидит страдающий человек и этим детским, подчеркнутым оживлением старается спрятать, не показать своей души. Как спросить? Как подойти к этой душе?

— И то прекрасно,— говорила она,— что мы сидим в этой темной зале, неуютной, пустой. Я не знаю,— почему, но это прекрасно. Я уверена, что до самой смерти не забуду мгновений, в которые я вижу вот эти ложи, этот странно освещенный занавес, этот футляр, который лежит на стуле, эти темные, пустые места. Лицо твое кажется далеким и чужим. А душа твоя — близка, как родная. Душа твоя,— зашептала она,— теплая и чуткая. Ты стараешься не показать этого, но я вижу. Ты не любишь меня. Да, да, не любишь. Я это почувствовала ясно, когда ты только еще окликнул меня. Нет, нет, не говори, не говори. Ничего не нужно говорить. Все равно: что бы там ни было, я люблю тебя. И счастлива с тобой. И готова тебя безумно благодарить. За что,— не знаю.

Время шло; понемногу загорались другие огни, становилось светлее; понемногу собирались зрители, чаще хлопали дверью внизу. В оркестре над пюпитрами засветились зеленые абажуры. Какой-то очень, до самой шеи, лысый человек раскрывал рукописные ноты, сначала разглядывая их на свет.

Наташу интересовало все: кто вошел в ложу, как фамилия первого скрипача, хороша ли в театре труппа, нет ли в ней знакомых имен? Потом она задумалась и стала прежней,— такой, как была на улице. То на лбу появлялись тонкие складки, то в углах губ рождалась радостная, чуть заметная улыбка.

Около четверти девятого шумно заиграл оркестр, причем особенно был слышен тромбон, ровными нажимающими звуками монотонно отбивавший два звука. Тяжело и неровно, как-то боком, потянулся вверх занавес: сморщились лебеди и мраморные колонны.

На сцене была бедная комната с тремя дверями. Очень высокий господин с длинной, квадратно стриженной бородой ходил так, что дрожали декорации. Господин часто выглядывал в окно и возмущался, хлопая себя по бедрам:

— Нет, черт возьми, это становится невыносимым,— повторял он громкое, чуть придушенное шипение суфлера.— Уж не убит ли мой племянник? Скоро пять часов вечера. Вот на башне святой Аглаи бьют часы. Раз, два, три... Ах, боже мой! Как в этой комнате мало мебели. Да, господин Беренс, вы неважно устроились в Лондоне. Ваш дядюшка, приехавший наградить вас молодой женкой и большим наследством, не одобряет вашего поведения. Не одобряет-с. Да-с...

И актер делал вид, что он очень недоволен.

Приходила хозяйка в чепце; приносил почтальон письмо.

Дядюшка, сев верхом на стул так, что публике были видны подошвы его сапог, рассказывал, что у него в Шотландии есть прекрасная ферма и образцовое молочное хозяйство. Почтальон оказался похожим на одного доброго малого, которого у них в Шотландии вздернули на березу за хорошие дела.

Кончилось действие — и опять, одним боком, спустился занавес. Раздались аплодисменты. С галереи высунулся какой-то человек в шубе, далеко выставил хлопающие ладони и с азартом кричал:

— Фунтиссимо!

Стало скучно.

— Уйдем? — спросила Наташа.

Молча поднялись.

И опять потянулись лестницы, небритые капельдинеры,

курящие мужчины, дамы с необыкновенными прическами и поясами.

Вышли на улицу.

Театральный фонарь освещал дорогу с блестящими санными следами, противоположный тротуар, золотые буквы вывески писчебумажного магазина. На телефонных столбах гудели проволоки. От проволок на снег ложились тени, похожие на нотные строки.

Тихий город заснул.

IV

В номере Наташа долго не могла зажечь свечи. Было видно, как у нее дрожали руки и огонь не приставал к черному, нагоревшему фитилю.

— Ты не снимай шубы,— сказала она.— Здесь очень холодно. Хотя печку сегодня топили два раза. Я вчера ждала тебя. Прислушивалась целый вечер, не услышу ли в коридоре твоих шагов. Этот коридор — такой гулкий. Ты заметил, что когда идешь, то гнутся доски?

На столе, к стенке, лежал чай в неловко разорванной свинцовой бумажке, какой-то сверток с напечатанным адресом, начатый лимон.

Крынин сел на диван, не сняв пальто. Было, правда, холодновато и почти темно. Наташа стояла, прислонившись к печке. Чуть белело лицо ее; был виден шарф, которым она закутала плечи.

— Ну вот, ты у меня в гостях,— после молчания сказала она.— Ты не рад, что я приехала. Когда ты последний раз был в Петербурге, то мне казалось, что ты так любишь меня. Когда ты был на вокзале, то казался таким печальным, так задумчивы были твои глаза. И я думала: это потому, что он расстается со мной.

Крынин не сразу и тихо ответил:

— Я рад, что ты приехала. Я рад. Но я вижу, что не все благополучно, а ты не хочешь сказать, скрываешь. Вот я и мучаюсь, жду — и на душе у меня, правда, нехорошо.

Наташа улыбнулась.

— Ты милый и чуткий,— прибавила она, и я скажу тебе все, что случилось.

Она еще помолчала, потом, поправив шаль, улыбнув-

шись, нерешительно, словно в чем-то застенчиво признаваясь, сказала:

— Случилось вот что. Во вторник пришел муж, подал мне синий билет и плацкарту и сказал: «Ты любишь его. Я вижу. Поезжай к нему». Слезы лились у него из глаз, а когда я брала билеты, то руки дрожали от счастья. Вот и все. Я и поехала. В том же поезде, с которым уезжал и ты. В шесть тридцать. Меня провожал муж, целовал мои руки, плакал и повторял: «Ты едешь. Ты едешь».— Она снова помолчала и чуть слышно добавила: — Я и поехала, потому что и в самом деле люблю тебя.

Было тихо. Где-то глухо, но четко дребезжал звонок; в коридоре раздавались чьи-то шаги, и можно было догадаться, что доски пола, действительно, гнулись.

— Помнишь, перед отъездом я подарила тебе цветы,— опять начала говорить Наташа.— Они были белые. Когда я поняла почему-то, что тебе нужны были белые цветы, то сразу стало ясно, что я люблю тебя. И на вокзале тогда я была полна этого опьянения и счастья. Мне казалось, что ты всю ночь не будешь спать: эти белые цветы не дадут тебе спать. Я поехала с вокзала в ресторан; было рано, посетителей — никого, но кругом — ярко, светло,— такие высокие, красивые потолки. Я сидела одна, и лакеи удивлялись: женщина — одна. Дали мне кофе. Я смотрела на себя в зеркало напротив и смеялась от счастья. И любила тебя. А ты ехал в поезде и был далеко.

Наташа подошла к нему, опустилась на колени, положила голову на его руки.

И почему-то не было ничего удивительного в том, что мерцает свеча и прыгают неуклюжие тени, что в номере холодно, что на коленях, теплой щекою прижавшись к руке, стоит перед ним прекрасная женщина, которой когда-то, в зимний день, белые цветы подсказали, что она любит.

...— Тогда тебе нужно уйти из этой гостиницы,— после долгого молчания сказал Крынин.— Ты останешься здесь, в этом городе. Я найду тебе квартиру.

Наташа, не поднимая головы с его колен, отрицательно покачала головой.

— Но почему же? — спросил Крынин.

— Ни, ни, ни! — ответила она, и можно было догадаться, что вопрос Крынина дает ей радость и счастье.— Я проживу здесь три дня и уеду.

— Куда?

— В Крым, к сестре...

Она подняла голову, и светлая, как пригретая солнцем, смотрела на него. В глазах ее струились какие-то мечты, думы.

— Я поеду в Крым, к сестре,— медленно, словно рассказывая любимую сказку, говорила она.— Там горы, там сады, там море. Там зеленеет трава. Там фиалки. Там большой дом, покой. Душа моя нальется жизнью, как чаша. Будет одиночество. Будет хорошо.

— Но почему ты не хочешь остаться здесь, со мной? — спрашивал Крынин.

Наташа тихонько, по-детски засмеялась, опять прильнула к его коленям, и снова послышалось глухое:

Ни, ни, ни! Я ни за что не останусь здесь. «Ни за какие деньги», как говорит муж.

Сказала, и замолкла, и опять ушла думою далеко. И нельзя было понять,— куда: в прошлое или будущее.

— Я скоро буду безобразна,— таинственно, полушепотом прибавила она.— У меня вот тут, на лбу, появятся коричневые пятна. А ты и так ведь не любишь меня. А тогда и совсем с глаз прогонишь.

— Ты беременна?

Она не ответила. Напряженное дыханье теплом касалось его колен.

И только после долгого молчания сказала:

— И, знаешь: то, что ты не любишь меня, это мне как-то все равно теперь. Да, мой дорогой, да. Только не люби другой женщины. Да? Не будешь любить другую женщину?

И она ползала на коленях и засматривала ему в глаза.

...Было слышно, как в коридоре, в телефонной будке, кто-то кричал звонким ярославским говорком:

— Нет, нет. Нет, нет. Я — человек строгих правилов и позволить вам этого номера не могу. И как вы там планы не разводите, а пятьсот рубликов — не фунт изюму. Это вам не нотариус Володя Мышигинский. Почему? Вы спрашиваете — почему? А потому-с, что — потому всегда оканчивается на «у». Да-с, вот и все-с. Приятных сновидений-с.

V

Три дня, которые Наташа провела в городе, прошли как-то странно. Ночью выпадало много снега, морозы стояли градусов по двенадцати.

Когда начинало смеркаться, Наташа и Крынин шли бродить по широким улицам, из которых так хорошо было видно небо. Городской сад, в который теперь никто не ходил, был завален снегом, и только на главных аллеях протоптали узкую, глубокую тропинку, похожую на белую канаву. Вечером в городе и внизу, на вокзале, зажигались матовые электрические огни, а здесь, между деревьями, было темно, и зимние птицы крепко спали в гнездах. Крынин брал иногда карманный фонарь и наводил туда свет: птицы просыпались, и начиналась суматоха.

Было очень хорошо, что Наташа не начинала разговоров о любви и не требовала никаких уверений. Хорошо было разговаривать с ней об искусстве, о небе, о Петербурге, который отсюда, за две тысячи верст, казался ярким и недоступным.

— Теперь там едут в театр,— говорила Наташа, когда на колокольне медленно и неровно било восемь часов.— Я люблю это время. Едут, пожимаются от мороза; около театра мальчишки бегут за санями, пристают с программами.

— Здешнее время отстает почти на час,— отвечал Крынин.— Теперь в Петербурге кончается первое действие.

— А здесь такая тишина. Так красивы те огни!

Крынин видел, что перед ним — больная, надорвавшаяся душа, что нужно бы сказать ей много нежного и ласкового; но в то же время было ясно, что если заговорит он, то это будет правда со словами жесткими и холодными, которую так же нельзя говорить, как во вьюжную зимнюю ночь — из дома бесприютного, одинокого человека.

— Скажи, пожалуйста,— говорила Наташа, пристально вглядываясь в даль: — Почему люди страдают перед смертью? Почему последние часы человеческие должны быть запачканы кровью? Почему бы смерти не быть последним, самым радостным благословением жизни? Благословением земли и жизни?

— Зачем ты мне говоришь об этом? — спросил Крынин.

Наташа тихо и серьезно ответила:

— Потому что чую ее за спиной. Да, милый, я умру. Это для меня ясней ясного.

У Крынина сжалось сердце.

— Полно, Наташа! — перебил он ее.

— Нет, нет, милый, правда! — терпеливо сказала она и схватила его за руку, будто боялась, что он начнет возражать ей.— Это — правда. Оттого я и не огорчаюсь, что ты не любишь меня. Мне важно только то, что я люблю тебя. Это странно, быть может, но это так. И я хотела бы, чтобы не оставался в живых он... твой. Пусть он умрет вместе со мною. На земле ему будет холодно.

— Полно, Наташа! — снова и робко говорил Крынин.

— Нет, милый, так, так. Все будет так, как я говорю.

Становилось холоднее, и, чтобы согреться, они начинали ходить по саду, спускались к пруду и, набирая в калоши снега, смеясь и падая, скользили по льду. Как-то незаметно, по-детски, изменялось настроение,— все тяжелое и нудное куда-то уходило.

Медленно, переходя по краям неба в густо-фиолетовые тона, протекал зимний вечер.

Когда сад закрывался, они, озябшие, в припадке ребяческого шаловливого задора, бежали греться на почту. Там в это время бывало уже темно: освещались только телеграф и продажа марок. За другими закрытыми окнами шла суетня: разговаривая и сердясь, шлепая чем-то тяжелым по полу, чиновники запаковывали мешки с корреспонденцией для почтового поезда, который уходил на север в десять часов четырнадцать минут.

Было уютно сидеть в углу темной, теплой залы, прислушиваться к шуму, смотреть, как сторож кладет в печь белые, тяжелые поленья. Все были заняты своим делом, и никто не обращал внимания на две фигуры, сидевшие на подоконнике. У тех, кто сдавал телеграммы, были сумрачные, озабоченные лица.

Бывали мгновения, когда становилось особенно ясно, что Наташа верит в чудо, ждет от него слов любви. Тогда он смотрел в ее темные, надеющиеся глаза, брал ее руки и не мог ничего сказать: забывал те слова, которые могли бы убедить Наташу, что близость и поцелуи не нужны, что в их отношениях стеною стоит холодная, бесцветная правда, что не нужно ни писем, ни упреков, ни ожиданий, что он не любит ее и только по каким-то странным, неуяснимым дви-

жениям души не в силах не отвечать на ее поцелуи, не улыбаться ее глазам, когда в них, как у звезд в морозный вечер, переливают и дрожат испуганные слезы.

А когда эти слова где-то в мозгу, далеко, рождались и приближались к сознанию, когда смысл их мелькал уже, вероятно, в его глазах,— тогда Наташа, как-то странно, словно предчувствуя беду, пугалась, хватала его за руку крепко сжимала ее и говорила:

— Не нужно, ничего не нужно. Милый, ничего не нужно. Я люблю тебя. Да, да.

VI

На вокзале перед отъездом Наташа не могла преодолеть волнения: гуляя с Крыниным по платформе, она то неожиданно останавливалась, то переставала говорить, то глядела в темноту и, казалось, что-то припоминала. А темнота там за пакгаузами, была огромная, безглазая, озлобленная на станцию и ее огни. Когда дошли до паровоза, Наташа долго и пристально глядела на огненную массу, клокотавшую внизу. Налево было темно: в туманных, вечерних очертаниях виднелись какие-то постройки,— то высокие, то низкие.

— Все — сон,— сказала Наташа.— И этот огонь — сон, и ты — сон. И ты — мой самый любимый сон. И вот этот клок волос,— седых старых волос,— тоже сон. Кажется мне, что я за него полюбила тебя и все в тебе.

На платформе, по обыкновению, суетилось много народу: барыни, купцы, попы. Носильщики возили багаж, и заледеневшие колеса тележки скрипели и визжали.

Когда ударил второй звонок и нужно было идти к вагону, Наташа торопливо, волнуясь, сказала:

— Ты мне пришли, обязательно пришли вид с горы, собор, потом фонтан, потом еще что? Что-то хотела еще... Ах, дай бог памяти... Не помню. Попаду ли я еще когда-нибудь сюда? Мне очень понравился твой город. Очень! Я помню, что ты любишь его и Петербург. Ты говорил. В нем хорошо жить. Бульвар прекрасный, летом, вероятно, тенистый, уютный.

Она смотрела на высокий, чуть заледеневший фонарь и, улыбаясь, припоминала. Было совсем ясно, что она не

сказала того, зачем приехала, не сказала того, о чем думала все эти дни. И опять повезет она, как ярмо, это невысказанное, невыразимо тяжелое и тоскливое, что изменяет глаза, улыбку и даже ту радугу, сквозь которую струятся слезы человеческие. И в самый последний момент, когда уже решила все сказать, она заговорила об открытках.

Еще позвонили три раза.

Наташа вздрогнула, помутившимся взглядом скользнула по лицу Крынина, сделала порывистый шаг вперед, остановилась и, сразу, в одно мгновение все, видимо, решив, уже спокойно пошла в вагон. На ступеньках чуть поскользнулась. Стала у двери на площадке. Молча, освещенная, глядела на Крынина.

Медленно тронулся поезд.

Крынин не заметил, как он пошел за ним, держась за ручку вагона, сбивая с ног каких-то людей, махавших носовыми платками. Он все ждал, хотел услышать то, что нужно и должно было услышать.

Кондуктор с фонарем в руках кричал ему:

— Барин! Так нельзя! так нельзя!

И было смешно это «нельзя».

А она наклонилась к нему и — счастливая, все быстрей и быстрей ускользающая, радостная оттого, что он еще с ней, — громко говорила те слова, которые он слышал во все эти три дня:

— Ты мой. Я смотрю тебе в лицо. Вижу тебя. Вижу твою душу.

Кончилась платформа, Крынин соскочил по двум какимто ступенькам и уже бежал по насыпи. Поезд начинал спешить, чаще стучали колеса. Крынин немного отстал и видел только огромные, напряженно расширявшиеся глаза, видел руку в натянутой черной перчатке и, когда все скрылось, когда поезд пошел полным ходом, то показалось, что где-то, покрыв грохот железа, послышался звонкий, рыдающий крик.

VIII

Прошло три года.

В том же городе, на главной аллее общественного сада, сидит Крынин. Весна. Двадцать шестое апреля. Каштаны,

прежде всех радующиеся солнцу, уже распустились и вверху, очень высоко, сплели полукруглую душистую крышу. Каштаны эти — очень стары, посажены еще князем Барятинским.

Уже вечереет. Часов около семи, совершенно неожиданно, налетел западный ветерок, притащил с собою, вероятно с Черного моря, компанию неуклюжих, неповоротливых туч, похожих на постаревшие облака, и теперь изредка капают теплые, крупные крапины дождя: кто надел новые соломенные шляпы, тем нужно поскорее открывать зонты и спешить домой.

По распоряжению городской управы весенний сезон начинается с первого мая, и поэтому двадцать шестого апреля сад еще не убран, еще очень красив, освещен на главной аллее только одним ацетиленовым фонарем. Фонарь, как непрошеный гость, висит между каштанами, фальшиво освещает их изумрудную зелень и делает мертвенно-синеватыми лица гуляющих чиновников и барышень.

Сад — большой, спускается под гору. Внизу есть пруд, над которым сплетаются липы. Недалеко от главной аллеи бывают, обыкновенно, разбиты ковровые цветники; но так как еще рано, только двадцать шестое апреля, то вместо клумб лежат груды черной, влажной, еще не беременной земли. Благодаря неверному освещению в цветниках кажется темно, как в могиле.

Крынину не мешает крикливая толпа. Он думает о том, что за ним всегда внимательно следит злое начало жизни. С упоением он вертит им, как игрушкой, кружит по белому свету и только на редкие мгновения оставляет его в покое. Эти мгновения наступают тогда, когда он приезжает в свой город. Тогда он как будто просыпается после тяжелого, кошмарного сна и видит свою старую любимую комнату с маленьким письменным столом, на котором стоит портрет Аксакова. Рядом с его комнатой — зал. Там, в углу, большая божница с семейными купеческими иконами. Есть среди них и его святитель: строгий старик с запавшими глазами и высоким коричневым лбом.

Когда Крынин обедает, за ним тоскливыми глазами следит старуха, которая тридцать лет тому назад родила его. Когда он гуляет по залу, она в соседней комнате слушает его шаги.

Город — невелик и тих; похож он на меблированные ком-

наты, в которых все знают друг друга. Самое лучшее и дорогое в нем: это каштановый сад.

...К Крынину на скамью подсаживаются гимназисты и начинают говорить о том, что завтра, на письменном экзамене, дадут, пожалуй, такую тему: «Значение культуры в истории народов».

Крынин невольно слушает эти разговоры, и ему делается скучно. Он поднимается, идет в цветники, и, когда, как в храм, вступает в их темноту, когда слышит запах свежей, взрытой земли, видит синее небо, немного звезд и густые тучи на западе,— тогда далеким, волнующим воспоминанием рождается образ женщины, с которою в недолгие три дня он гулял здесь по упругим, скрипевшим сугробам: зимние вечера начинались рано, часа в четыре, было холодно, и в гнездах спали озябшие птицы.

Где-то далеко, у бабушки, растет ее и его сын. Она, как и предчувствовала, умерла от родов. Перед смертью пересматривала, как колоду карт, открытки, присланные Крыниным, и просила написать ему. Сестра ее исполнила просьбу и послала ему письмо, в котором очень коротко сообщила ему о смерти и о том, что похороны были в прекрасный день.

Крынин идет теперь и шепчет:

— Похороны были в прекрасный день...

И эти короткие слова, как вспоминавшийся мотив, не хотят оставить его. Вспоминается, как после той зимы, в марте, приехал в этот же город ее муж, плакал и говорил, что Крынин отнял от него жену. И рассказал, как он, узнав о ее любви к Крынину, о беременности, прогнал тогда ее из дома. Она приехала в этот город одинокая, без крова... И тогда стало ясно, что она хотела и не могла сказать...

С тех пор ушло три зимы.

Ацетиленовый фонарь шипит,— слышно даже здесь, в цветниках,— и, благодаря его резкому синеватому свету освещенные аллеи кажутся далекими и красивыми.

Крынин потихоньку, как в чащу, идет в темноту и чувствует, что на руку ложится, как печать, теплая, тяжелая капля дождя.

— Дождь пошел на запад, к морю,— кто-то мечтательно говорит в темноте.

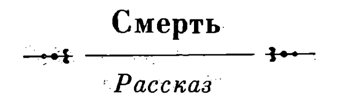
Крынин от неожиданности вздрагивает и разглядывает на низкой скамье какие-то силуэты.

— Да, дождь пошел на запад, к морю,— так же мечтательно, медленно повторяет женский голос. И в голосе этом слышится вся полнота первого земного счастья.

Крынин потихоньку идет дальше. Что-то заволакивает глаза. Он останавливается, долго смотрит на небо — и кажется ему, что там, вверху, на синем фоне светлыми буквами сделана надпись на неведомом языке. И только тогда, когда человечество прочтет эти звездные слова,— тогда счастье придет на землю.

Опять доносится до него тихий разговор. Он вспоминает о дожде и видит, что тучи действительно уплывают на запад: к морю.

Смерть



Рассказ

Золотые дни «бабьего лета», казалось, установились надолго.

Солнце на синем, пустынном небе, где курлыкают летящие на юг журавли, светит, но не греет, и в тени лежит иней. Воздух синь чрезмерно и крепок своим бодрящим холодком, а тишина — черства. Колонны террасы, обвитые виноградником, аллеи из кленов в парке и земля под ними сгорают в багрянце листопада. Озеро стоит синим, зеркально-гладким, и в нем отражается белая пристань, с лодкой, лебедями и статуями. В садах фрукты уже сняты, листья опали, и здесь, после лета, как-то нелепо пусто.

В такие дни, от бодрящего холодка, от крепкого воздуха, настроение становится бодрым, здоровым и ровным. Спокойно думаешь о бывшем и будущем. Хочется ходить по опавшим листьям, а в садах — искать незамеченные яблоки и слушать курлыкающих, летящих на юг журавлей.

Ипполиту Ипполитовичу — сто лет без года и трех месяцев с днями. В Московском университете он учился вместе с Лермонтовым и дружил с ним, увлекаясь Байроном. В шестидесятых годах, уже под пятьдесят, вместе с государем Александром, он обсуждал освободительные реформы, а дома зачитывался Писаревым.

Теперь только по огромному костяку, обтянутому пергаментной кожей, можно заметить, что когда-то он был велик очень, кряжист и широкоплеч. Большое лицо его все заросло длинными желтовато-белыми волосами, ползущими с носа, со скул, со лба, из ушей, но череп — лыс. Глаза его выцвели и белы. А руки и ноги ссохлись и кажутся нарочито тонкими.

В его комнате пахнет воском и тем особым затхлым запахом, который имеется у каждой старой барской семьи. В большой комнате пусто: только массивный, красного дерева и с выцветшим зеленым сукном письменный стол, заваленный старинными нужными безделушками, вольтерово кресло и диван. Лепной потолок. Стены крашены под мрамор зеленовато-белой краской. В виде дракона камин. Полы из паркета карельской березы. Стекла в окнах без гардин, закругленные вверху и с частым переплетом рам выцвели, позеленели, и по ним разбегается радуга.

В окна идут холодные, бодрящие лучи осеннего солнца и бодро ложатся на стол, на часть дивана и на пол

Старик уже давно не может спать ночами, чтобы бодрствовать днем. Уже лет двадцать прошло, как про него верно можно сказать, что он почти все двадцать четыре часа суток спит, точно так же, как верно будет и то, что эти же сутки он бодрствует.

Он всегда дремлет, лежа с полузакрытыми, выцветшими глазами на большом облупившемся диване, обтянутом свиной кожей английской выделки и застланном медвежьей шкурой. Закинув правую руку за голову, он лежит дни и ночи. И если, и ночью, и днем, окликнуть его: «Ипполит Ипполитович!» он всегда через полминуты откликнется:

— Так?!

У него мыслей нет. Все, что есть кругом и было раньше в его жизни, ему безразлично, все изжито. Все изжито, и думать ему не о чем. У него нет и ощущений, ибо все органы восприятия у него отупели.

Ночью шумят мыши. В большом колонном зале, что лежит рядом, бегают и гулко шлепаются, падая с кресел и столов, крысы. Старик не слышит.

Утром в семь часов приходит Василиса, Васена, баба лет тридцати семи, крепкая, здоровая, румяная, напоминающая июльский день своею цветистостью и ядреным здоровьем.

Она говорит спокойно:

— Доброго утра вам, Ипполит Ипполитович.

И Ипполит Ипполитович отвечает голосом спетой граммофонной пластинки баса:

— Так?!

Васена моет его губкой, кормит манной кашей. Старик сидит на диване сгорбившись, положив руки на колени. Ест медленно с ложечки. Молчит. Глаза старика смотрят куда-то внутрь, невидяще.

В окно идет золотое, бодрое солнце, блестит в белых волосах старика.

— Сынок ваш приехал, Илья Ипполитович,— говорит Васена.

— Так?!

Ипполит Ипполитович женился на четвертом десятке лет, и из трех его сыновей в живых остался один Илья. Илья — художник. Ему — сорок пять.

Старик вспоминает своего сына, восстанавливает его образ и не чувствует ни радости, ни заботы — ничего. Где-то далеко затерялся длинный, расплывающийся образ сына, сначала ребенка, потом мальчика, юноши, а теперь уже тоже почти — старика. Вспоминается, что когда-то, давно, этот образ был нужен и дорог, а потом утерялся и теперь — безразличен.

И лишь по инерции старик переспрашивает:

— Приехал, говоришь?

— Да. Отдыхают теперь. Ночью приехали. Одни.

— Так?! Меня приехал перед смертью посмотреть,— говорит старик.

Васена деловито откликается:

— Что же?! Ваши годочки не такие, чтобы...

И старик и Васена спокойны.

Молчат.

Старик откидывается к стенке дивана и дремлет.

— Ипполит Ипполитович, вам надоть гулять идти.

— Так?!

Воздух «бабьего лета» синь и крепок... Где-то далеко наверху кричат журавли. Старик в чесучовой фуражке, надвинутой глубоко на лоб, и черном длинном пальто, сгорбившись, опираясь на бамбуковую трость с изображениями змей и поддерживаемый здоровой Васеной, ходит по кровавым листьям виноградника около белой террасы, залитой холодным солнцем.

Иногда старик замирает на несколько часов. И из него уходит окончательно, так кажется, жизнь. Он лежит землисто-бледным, с помертвевшими губами, с глазами открытыми и застеклевшими, почти не дыша.

Тогда гонят лошадей за врачом, и врач впрыскивает камфару и делает искусственное дыхание, дает дышать кислородом.

Старик отходит медленно, бессмысленно поводя глазами. Врач сосредоточенно и важно говорит:

— Если бы еще одна минута, была бы смерть.

Когда старик отходит окончательно, Васена ему повествует:

— Так уж боялись, так уж боялись... Совсем, думали, умерли уж... Да, ведь, и то, годочки ваши не такие чтобы...

Ипполит Ипполитович слушает безразлично и молча, и лишь иногда вдруг нелепо немного, весь сожмуриваясь, щуря глаза и растягивая губы, смеется:

— Хгы! хгы! — смеется он и хитро добавляет: — Умру, говоришь? Хгы! хгы!

Илья Ипполитович, сын, ходит по пустым комнатам умирающего дома. Пыльно и затхло здесь. Твердая тишина, черствящая, застыла в доме.

Сын так же громоздок, как и отец, но он ходит еще очень прямо. Волосы на висках его уже серебрятся, а лицо брито. У него серые большие и уставшие глаза.

У сына, Ильи Ипполитовича, сумрачно и тяжело на душе при мысли об отце потому, что дни его, отца, подсчитываются; и он тоскливо думает о нелепости смерти и о том, как держать себя с человеком, который обречен окончательно.

Но ходит он в то же время — от угла до угла — бодро очень.

Отец и сын встречаются у террасы.

— Здравствуй, отец, — говорит бодро сын, нарочно беззаботно улыбаясь.

Отец, старик, сначала не узнает сына, смотрит безразлично, но потом улыбается, идет наверх и подставляет щеку для поцелуя. От щеки его пахнет воском.

— Так?! — говорит старик.

Сын целует его, крупно смеется, хлопая по плечу.

— Давно не виделись, отец! Как живешь?

Отец смотрит на сына из-под козырька фуражки, улыбается бессильно и не сразу говорит:

— Так?!

Васена отвечает за старика:

— Уж какое житье их, Илья Ипполитович?.. Что ни день, то все боимся,— говорит она речитативом.

Илья Ипполитович тайком бросает укоризненный и испуганный взгляд Васене и громко говорит:

— Пустяки, отец! Ты еще сто лет проживешь! Ты устал, отец! Присядем вот сюда, отец. Потолкуем!..

Они садятся на мраморную ступень террасы.

И молчат.

Сын краснеет, напрягает мучительно мысли и не находит, что сказать.

— А я все картины пишу... За границу собираюсь...— говорит он.

Старик слушает, смотрит невидяще и бессмысленно и вдруг спрашивает:

— Это ты приехал меня посмотреть?.. Умру скоро...

Илья Ипполитович бледнеет пятнами и растерянно говорит:

— Что ты это, отец, как ты это?!

Но отец уже снова не слушает. Он откидывается к барьеру. Глаза его полузакрыты, лицо утеряло всякое выражение.

Он дремлет.

Светит солнце, небо сине, а в далях над землею разлит хрусталь. Илья Ипполитович ходит по парку и думает об отце. У отца была большая, полная и богатая жизнь. Было так много хорошего, нужного и светлого. А теперь — смерть. И не останется ничего. Ничего!

И это — *ничего* — Илье Ипполитовичу кажется чрезмерно ужасным, лежащим по ту сторону человеческого сознания. Ведь жизнь, свет, солнце, все, что есть кругом и внутри человека, человек познает через самого себя. Умрет человек — умрет для него мир. И он уже ничего, ничего не будет ни сознавать, ни чувствовать. Для чего тогда жить

развиваться, работать, когда концом будет — ничто?..

Сознает это отец? Или он верит в бога? — до боли хотелось узнать это от отца, ибо в его, отцовских ста годах чуялась какая-то большая мудрость, и еще потому, что он был — отец.

Если бы отец сейчас все время кричал безумно и бился бы головою о стену, Илья Ипполитович понял бы и оправдал.

Где-то, далеко-далеко в пустынной синеве кричат журавли:

— Курлы, курлы-ы,— несется с пустынного неба от едва заметной черной стрелки, направленной к югу.

Под ногами шуршат листья, красные и подернувшиеся инеем. Большое лицо Ильи Ипполитовича бледно.

Устало и бессильно сложены губы.

Он, Илья, целую жизнь прожил одиноким и одним в холодной мастерской, тяжело живя, среди картин и для картин. Для чего?

Ипполит Ипполитович в большой и пустынной столовой, повязанный по-детски салфеткой, ест бульон и куриные котлеты. Потом Васена его проводит в кабинет. Старик ложится на диван и дремлет.

К нему приходит Илья Ипполитович. Он опять нарочито бодр, но в глазах, уже усталых, тоскование. А в его бритом лице, в сером английском костюме и желтых ботинках чуется почему-то большая, измотанная, запутанная душа, сейчас страдающая и хотящая скрыться.

Он сидит у ног отца.

Отец долго ищет его глазами и говорит, будто граммофонная пластинка спетого баса:

— Так?!

— Давно не виделись мы, отец! Хочется поговорить мне с тобой! Ведь как-никак, отец, а дороже тебя нет ведь у меня никого, отец! Как живешь, отец? — говорит сын, бодро встряхивая седеющими кольцами волос.

Старик глядит невидящими глазами; кажется, не слушает; и вдруг, жмурясь хитро, растягивая губы и открывая пустые челюсти, смеется и говорит:

— Хгы! хгы!.. Умру скоро! Хгы! хгы!

Но Илья уж не теряется так, как первый раз, у террасы, и только быстро как-то, чрезмерно тихо, почти шепотом, спрашивает:

— А разве не боишься?

— Нет! Хгы! Хгы!..

— В бога веришь?

— Нет! Хгы!

И отец и сын — молчат долго.

Старик опять улыбается хитро, поднимается на локте и говорит:

— Вот, когда человек спать хочет... дороже всего сон... так и умереть захочешь... понимаешь? Когда устанешь...

Старик смолкает на минуту и потом смеется хитро:

— Хгы! Хгы! Понимаешь?!

Илья смотрит в хитрое лицо отца, смотрит долго широко раскрытыми глазами, не шевелясь, и в него вселяется страх.

А старик уже дремлет.

День ушел. Осенне-синие сумерки застилают землю и смотрят в окна. В комнатах — синий дымок и шарят тени. За стенами мороз.

Ипполит Ипполитович лежит на своем диване, заложив правую руку за голову, с полузакрытыми глазами.

Он ни о чем не думает. И нет у него ощущений. То место, что он занимает, что занимает его тело, похоже на большой, темный, пустой ларь, в котором нет ничего.

Где-то близко пробегает и шлепается крыса. Старик не слышит.

Шалая осенняя муха садится около глаза. Старик не мигает.

От пальцев ног, в голени, в бедра, в живот, к груди, к сердцу идет слабая, едва заметная, сладкая немота и замирает.

Уже вечер. И в комнате уже черно. А туман на фоне окон кажется густым и страшноватым.

Старик лежит, закинув руку за голову, с полузакрытыми, стеклянно-тусклыми глазами. И лицо его, все заросшее белыми волосами и с лысым черепом, мертвенно.

Входит Васена, спокойная, крепкая, с широкими бедрами и ядреными грудями, свободно прикрытыми красной кофтой.

— Ипполит Ипполитович, кушать надо,— говорит она.

Но Ипполит Ипполитович не откликается, не говорит своего обыкновенного:

— Так?!

Скачут, взмыливая лошадей, за врачом.

Врач выслушивает; подносит к губам зеркало. Потом сосредоточенно и важно говорит:

— Умер.

В комнате Ипполита Ипполитовича толпятся люди.

Илья Ипполитович целует тело отца и плачет. И сугубо сильна в нем жалость к отцу и себе, и сугубо непонятно — почему здесь люди, почему здесь он? Почему, для чего все это? Почему все не исчезло со смертью отца? Как другие могут стоять и шептаться, когда ведь и они тоже умрут? Почему не бьются они так же, как он, судорожно целующий сейчас, заливающий слезами отца.

Васена в сторонке, среди баб, немного похожая на зверя, спокойно повествует:

— Да, как же, годочки его... все помрем... Да уж что ему? Уж чего-чего не было в его жизни? Все было! — повествует она.

Когда обмывают тело отца и поют попы, через гулкий колонный зал, один, тайком, на террасу выходит Илья Ипполитович.

Прямо на него из-за деревьев смотрит низкая мертвая луна. На белой террасе от нее ложатся бледные, зеленоватые тени.

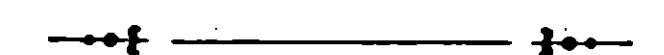
И вдруг перед глазами Ильи в другом свете проходит смерть отца и вырастает прекрасный, зверино радостный образ Василисы. И в душу входит ясновидящий, молитвенный покой. И удивительно покойно, торжественно спокойно проходит мысль: «Пусть — ничто! Да,— только ничто! Но пусть жизнь пройдет полной и нужной, и тогда *ничто* будет — желанным и нужным.

Пусть ничто — есть ничто!»
И Илье Ипполитовичу легко.

Ночью, перед утром, проходят низкие, пушистые облака. За ними идут тучи.

Падает снег крупными, холодными, спокойными пушинками...

«Бабье лето» умерло, но народилась другая радость земли — первая, белая пороша, когда так весело бродить с ружьем по свежим звериным следам.



Содержание

Илья Дмитриевич
Сургучев

ГУБЕРНАТОР
Повесть, рассказы

Редактор
В. ДОЛЬНИКОВ,

Художник
Б. ЛАВРОВ

Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор
В. ТУШЕВА

Корректоры
И. ПОПОВА, А. ВОЛОДИНА

ИБ № 4256

Сдано в набор 21.04.87 Подписано к печати 15.10.87 Формат $84 \times 108^1/_{32}$
Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип № 2 кн.-журн Усл печ л 25,31
Усл. краск -отт 25,47 Уч изд. л 27,14. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1572
Цена 2 р. 50 к

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46



Сургучев И. Д.
С90 Губернатор: Повесть, рассказы / Вступ. статья А. М. Кузнецова.— М.: Современник, 1987, 477 с., портр.— (Из наследия).

Илья Дмитриевич Сургучев (1881 1956) родился в Ставрополе, в семье крестьянина. Был близок писателям (А. Серафимович, А Куприн, И Бунин, Л. Андреев и др.), которые сосредоточились вокруг прогрессивного книгоиздательского товарищества «Знание» и находились под могучим влиянием таланта М. Горького

В произведениях И. Д. Сургучева запечатлена жизнь русского провинциального общества конца XIX— начала XX столетия самых разных сословий, профессий, социальных групп: крупного и мелкого чиновничества, мещан, купечества, разночинного городского люда. В сборник вошли повесть «Губернатор», рассказы «Ванькина молитва», «Счастье», «Родители», «Еленучча», «Седельников» и другие.

$С\frac{4702010100-319}{М106(03)-87}19-87$ ББК84Р1
Р1